

ISSN 0132-0637

ОКтябрь

10 1992

ОКтябрь 1992



**РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
НОВУЮ ФОРМУ УСЛУГ—**

КОЛЛЕКТИВНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ, КОЛХОЗНИКОВ, ЧЛЕНОВ КООПЕРАТИВОВ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ С ЦЕЛЬЮ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМ И ИХ СЕМЬЯМ ПОТЕРИ ДОХОДОВ, СВЯЗАННОЙ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ.

В ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ МОГУТ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ИНТЕРЕСАМ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА.

ЕСЛИ У ВАС УСТОЙЧИВЫЙ ХОЗРАСЧЕТНЫЙ ДОХОД, ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ТАКИМИ УСЛУГАМИ РОСГОССТРАХА, КАК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ, ДОМАШНЕГО ИМУЩЕСТВА, ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ, СТРАХОВАНИЕ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПОТЕРИ РАБОЧЕГО МЕСТА В СВЯЗИ С БАНКРОТСТВОМ, ЛИКВИДАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПР.

Наш адрес: 103381, Москва, Неглинная, 23, Управление Росгосстраха, телефоны: 200-29-95, 200-47-77.



ОКТЯБРЬ

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

10

1992

ОКТЯБРЬ

МОСКВА. ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРЕССА»

Общественный совет: А. АДАМОВИЧ, Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН,
В. БЫКОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛГИН,
А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Р. КИРЕЕВ, Вяч. КОНД-
РАТЬЕВ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ,
Р. САГДЕЕВ, А. САЛЫНСКИЙ, Л. САРАСКИНА, Вад. СОКОЛОВ,
В. ТИХОНОВ, Л. ФИЛАТОВ, И. ФИЛОНЕНКО, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО,
Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Ирина ОДОЕВЦЕВА. Оставь надежду навсегда. Роман. Предисловие и публикация А. КОЛОНИЦКОЙ	3
Владимир ЛЕОНОВИЧ. Пять стихотворений	54
Генрих САПГИР. Рассказы	57
А. И. ДЕНИКИН. Очерки русской смуты. Окончание третьего тома . . .	76

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

А. АВТОРХАНОВ. Мемуары. Окончание. Подготовка текста к публикации С. НИКОЛАЕВА. Примечания Д. Г. ЮРАСОВА. «Вместо послесловия» Г. ПОМЕРАНЦА 131

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К столетию Марины Цветаевой

Марина ЦВЕТАЕВА. Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным, — и послесловием. Вступление и публикация Юрия КЛЮКИНА. ✽ Н. КАТАЕВА-ЛЫТКИНА. Поэт Марина Цветаева и семья композитора Скрябина 160

Евг. ШКЛОВСКИЙ.
Необязательные заметки. По мотивам «Апокалипсиса нашего времени» В. Розанова 180

Виктор АРСЛАНОВ.
Три революции 189

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы сможете приобрести любой интересующий Вас номер журнала «Октябрь» (начиная с № 7 за 1992 г.) в магазине «Дом книги» на Новом Арбате (Москва, Новый Арбат, д. 8) в секции «Ассоциация независимых литературных изданий России» — АНЛИР.

Там же можно купить и сделать заказ на другие журналы АНЛИРа: «Волга», «Дружба народов», «Знамя», «Иностранная литература», «Интерпол-Москва», «Искусство кино», «Новый мир», «Северные просторы», «Юность» и книжные приложения к ним.

Итак, в магазине «Дом книги» на Новом Арбате всегда для Вас журналы и книги серии «АНЛИР».

Телефоны для справок: 290-45-07, 131-79-74.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

Редакционная коллегия: **И. Н. БАРМЕТОВА** (заместитель главного редактора), **И. А. БРЯНСКАЯ** (зав. отд. публицистики), **Н. К. ЛОШКАРЕВА** (первый заместитель главного редактора), **В. Н. МАЛУХИН** (заместитель главного редактора), **И. К. НАЗАРОВА** (отв. секретарь).

Коммерческий директор **Л. Б. ЖУРАВЛЕВ.**

Технический редактор **З. П. Кузнецова.**

Сдано в набор 07.09.92. Подписано к печати 06.10.92. Формат 70×108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 134 100 экз. Заказ № 2006. Цена 19 р. 90 к. В розницу — цена свободная.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11.
Телефон главного редактора — 214-62-05, заместителей гл. редактора — 214-63-64, 214-79-49, ответственного секретаря — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, поэзии — 214-69-37, критики — 214-71-34, публицистики — 214-60-24.
Телефакс: 214-50-29.

Типография издательства «Пресса». 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Ирина ОДОЕВЦЕВА

О с т а в ь н а д е ж д у н а в с е г д а

РОМАН

Два года назад 14 октября 1990 г. в Петербурге на 96-м году жизни умерла Ирина Владимировна Одоевцева, писательница, поэтесса, «прекрасная дама серебряного века».

Она вернулась на родину в возрасте 92 лет первой ласточкой свободы, легко и безоглядно. Вернулась уже навсегда прикованной к постели после многих неудачных операций.

«Как можно было в таком возрасте решиться вернуться?» — изумлялись тогда многие.

«Только в таком возрасте и можно было рискнуть», — шутили другие.

А она вернулась и, могу засвидетельствовать, никогда не жалела об этом. По невероятному совпадению она поселилась на Невском как раз рядом с Домом искусств, где в 20-е годы было общежитие поэтов, там жили многие ее друзья, откуда в последний путь увели чекисты ее учителя и друга поэта Николая Степановича Гумилева.

Она была женщиной необыкновенной, особенной, ни на кого не похожей. «Вся сиянье, вся непостоянство, как осколок погибшей звезды, — ты заброшена в наше пространство, где тебе даже звезды чужды...» — очень точно писал о ней Георгий Иванов. Она была избалована, аристократически нежна и капризна и одновременно необычайно сильна и тверда духом. С невероятным мужеством переносила тяжелый недуг, она умела выводить людей из состояния уныния, жить с превосходством над бытом. У нее было легкое дыхание, она умела быть счастливой и всегда говорила: «Возраста не существует».

Она была щедра и доброжелательна. Взыскательная к людям, умела всем все прощать. Она легко поддавалась влиянию и говорила, что Георгий Иванов называл ее «соглашателем». Но это только в житейском, бытовом смысле. А в главном, высоком была абсолютно непоколебима. Помню, как перед выходом книги «На берегах Невы» ее угораздило выбросить лишь одно место из книги — там, где про деньги, которые она увидела в ящике письменного стола Гумилева. «Меня могут объявить выжившей из ума, — говорила Ирина Владимировна, — но я, последний свидетель этих событий, не должна ни солгать, ни смолчать. Пусть литературоведы и прокуроры копаются в этом хоть целый век, а я пишу только то, что видела собственными глазами и слышала собственными ушами».

А познакомилась я с Ириной Владимировной в сентябре 86-го года в Париже (с той случайной закономерностью, про которую принято говорить: судьба свела).

История, которая произошла со мной, до сих пор для меня непонятная и почти мистическая, эта история полностью принадлежит Ирине Владимировне Одоевцевой, ее прекрасным книгам и стихам, ее судьбе, через «железный занавес» приведшей к ней читателя.

Любовь к поэзии вообще и особенно к поэзии «серебряного века» мне внушил в детстве мой дед, скромный преподаватель русской словесности, одержимый литературой, немного сам писавший стихи, но все гибло в революциях, войнах, в «размахе шагов саженьных», которые он ненавидел. Эту любовь он передал мне как заветную тайну с запретом даже произносить такие имена: Гумилев, Ахматова, Кузмин, Мандельштам... У него же я и нашла малюсенький сборничек Одоевцевой «Двор чудес».

С этой тайной я так и жила долгие годы. Во время короткой хрущевской оттепели, упавшей на мою юность, когда что-то полуусеченное стали печатать, что-то просачивалось из эмиграции, попала ко мне книга И. В. Одоевцевой «На берегах Невы». За одну ночь я прочтала и запомнила книгу почти наизусть. Она была населена любимыми поэтами, ожившими, заговорившими. Но я и сейчас убеждена, что книга эта, написанная на одном дыхании, в настоящем времени — больше поэма, чем проза, т. е. проза поэта. Художники мне говорили, что можно писать портреты по этой книге, настолько в ней совершенно живые образы.

Драгоценная книга была из Парижа. Хотелось так много спросить, узнать. Но Париж был для меня тогда так же далек, как космос. Еще школьницей я там похоронила

своего любимого писателя Бунина, знала, что еще живы Зайцев, Агамович, но большего узнать ничего не могла, хотя ведь кто-то ездил тогда в Париж, но у меня «выездных» знакомых не было.

Потом накрыли нас годы обморока (их называют застойными), когда исчезло и то небольшое, что успело появиться, гибли и уходили друзья; кто-то уезжал, кто-то записывал...

Но была еще одна весточка из Парижа за эти годы — часть книги «На берегах Сень», дата написания: 1983 г. Значит, жива Ирина Владимировна!

И вот весна 1986 г. Начало «перестройки», о которой я еще не имею и понятия. И тут происходит настоящее чудо. Какая-то неведомая сила вдруг выталкивает меня из Москвы в Ленинград, в гостиницу «Октябрьская». Белые ночи, пустынные улицы незнакомого города. Хожу по адресам книги «На берегах Невы». Квартира Огоевцевой на Бассейной, 60 (некрасовская), которую она покинула в 21-м году, последняя квартира Гумилева на Преображенской, переулки и улицы, по которым они бродили, он мэтр, учитель и тоненькая студентка, маленькая поэтесса «с большим бантом». Это ведь о ней в его «Лесе».

Я придумал это, глядя на твой
Косы, кольца огневещей змей,
На твой зеленоватые глаза,
Как персидская больная бирюза.
Может быть, тот лес — душа моя.
Может быть, тот лес — любовь моя.
Или, может быть, когда умрем,
Мы в тот лес отправимся вдвоем.

Белые ночи наполнялись призраками-теньями, как в «Поэме без героя» Ахматовой. За пять суток этой нереальности лишь раз днем попадаю в Русский музей и то, наверное, только для того, чтобы познакомиться с милейшей дамой — искусствоведом, похвалить ее платье, узнать, что оно французское и сама она прожила в Париже год, чтобы для Русского музея привезти картины от русских эмигрантов. «А у вас не осталось телефонов этих эмигрантов?» И дерзкая по тому времени мысль: пойду на почту, позвоню и что-нибудь узнаю об Огоевцевой. Получаю восемь—десять телефонов. Возвращаюсь в Москву. Узнаю от мужа, что есть турпоездка в Париж от Союза журналистов. Одной нельзя, можно только с ним. А ему неинтересно туристом, да и дорого очень — две путевки. Умоляю, уговариваю, зарабатываю, занимаю, достаю деньги. Прилетаем в Париж, провозят нас мимо: на шесть дней в провинцию. Отчаянию моему нет предела. Наконец, в пятницу вечером нас выгружают в гостинице на рю Рома на четыре дня. Думала: ну, сразу в киоск, покупаю «Русскую мысль», узнаю все телефоны. Но не тут-то было: «Русская мысль» продается далеко не везде, чтобы позвонить, нужно где-то купить какую-то карту, языка не знаю, спросить не у кого. На пальцах объясняю портье, чтобы включил в нашем номере телефон, не представляю, сколько это может стоить, т. к. генерал — туристские копейки, но рискую. По всем телефонам отвечает автомат. А утром нас увозят в Версаль на целый день, на праздник газеты «Юманите», к чему приурочена наша поездка, чтобы целый день там гулять с коммунистами, о чем я всю жизнь, конечно же, мечтала...

Утром перед отправлением в отчаянии наугад набираю один из телефонов. Живой голос! Говорю быстро, что туристка, что очень надо встретиться, что телефон мне дала дама из Русского музея. Приглашают к чаю к пяти часам, быстро записываю адрес. Экскурсия моя отменяется.

При полной своей топографической тупости иду по городу, «знакомому до слез». Где-то ныряю в метро, пристаю к «мадам» и «мессе» с адресом, ныряю и выныриваю и, наконец, читаю крупными буквами «Монпарнас». Как во сне прохожу рогеновский памятник Бальзаку, кафе «Дом», «Селект», знаменитую «Рогонду», «Доминик», где писал Бунин. Адрес приводит меня к сестрам Гржебиным. Это дочери издателя Гржебина, вместе с отцом уехавшие в 1921 г. Они балерины, у них тут же, в доме, студия. Угощают чаем, разговариваем. Я уверена, что, конечно, у цели. Это ведь первая эмиграция, а она в моем представлении абсолютно едина. Говорю, что разыскиваю Ирину Владимировну Огоевцеву, ученицу Гумилева. И вдруг в ответ: «А она жива? Да что вы? Ей ведь лет-то ого-го!» И тут я впервые понимаю, что я сумасшедшая и все, что со мной происходит, — мистика: ведь такая простая мысль, что ее уже может и не быть, да же не приходила мне в голову. Что-то лечу насчет «Русской мысли», ведь случись что, там было бы что-то. Они звонят в «Русскую мысль», но суббота, и в редакции никого нет. Очень хотят мне помочь, звонят в дом престарелых, в больницы, где могут быть русские, обзванивают своих знакомых. Никто ничего не знает.

Ухожу, одна из сестер со мной прощается, а другая возвращается на телефонный звонок. И, уже почти поворачивая за угол, слышу: «Анна, вернитесь! Огоевцева у себя дома, вот ее телефон». Взлетаю по лестнице. Набираю номер. Объясняю, что приехала ее читательница, почитательница. И слышу в трубке картавый голос: «Я страшно рада. Приходите». Договариваемся на понедельник. «Только я плохо слышу, если не откроют, ключ под половичком». «Ах, как это по-русски», — говорят сестры и подробно объясняют, как доехать от моей гостиницы до дома Ирины Владимировны.

В понедельник я открываю ключом, что под половичком, дверь. Вхожу в комнату, где лежит в постели очень худая женщина. Не знаю, как и каким образом, но я как-то

сразу поняла душой все: с ней что-то случилось, она не встает, она одиока и заброшена...

Присаживаюсь рядом и выпаливаю: «Ирина Владимировна, я никто, но я приехала в Париж только ради вас, я нашла ваш дом в Петербурге, во имя ваше, ходила вашими тропинками, я обожаю вашу книгу, она у нас не издана, но будет, будет, и сейчас у меня ее читают и читают все, все...»

Что с ней было, трудно описать. Всплеснули зазеленевшие глаза, она сразу помолодела, приподнялась, всплеснула красивыми руками с длинными, тонкими пальцами: «Боже мой, вы, наверно, ангел с неба, дайте мне до вас дотронуться, вы не представляете, что вы для меня сделали, если мне еще сколько-то дышать на этой земле, вы мне проглеваете жизнь...»

Тут мы плачем обе и говорим обо всем и обо всех сразу, как очень близкие люди. Потом, как вспоминала Ирина Владимировна, я ей сказала, что готова сделать для нее все и больше, чем все. И если она хочет вернуться, я и тут все сделаю. Почему я так говорила, не знаю. Это ведь было для меня совершенно нереально. 92 года, с переломом бедра, и как, куда? Что я могу? Готова я была на все, но ведь этого мало.

Я рассказала об Ирине Владимировне всем корреспондентам и просила помочь ей чем только возможно, познакомила с ней корреспондента «Литературной газеты» А. Д. Сабова, который, прожив в Париже восемь лет, уже должен был возвращаться. Приехав в Москву, я чуть ли не на следующий день встретилась с Е. В. Яковлевым. И появилась в «Московских новостях» моя маленькая заметка «Русская квартира на парижской улице», в которой я описала все, что случилось со мной в Париже.

После этого по «Свободе» передали с иронией: мол, разыскивает Одоевцеву, а чего разыскивать? — намекая, что меня послали не иначе как из КГБ. А дома некоторые литераторы, в свою очередь, тоже: «С чего это вдруг поехали да привезли?..»

Так вот сразу и пошла молва. Потом Сабов написал об Ирине Владимировне огромную статью в «Литературке». А «перестройка» несла вперёд, и то, что нельзя было вчера, стало вдруг сегодня возможным и модным. На этой волне Ирину Владимировну пригласили вернуться на родину, и она сразу, нисколько не сомневаясь, согласилась: «Я еду, даже если умру в дороге».

Но тут началась борьба двух сторон. Эмигранты обвиняли ее в предательстве, советские люди из посольства ее спасали, — в общем, началась склока-схватка, свидетелем которой я, к счастью, не была.

В апреле 1987 г. Ирину Владимировну встречали в Ленинграде. Сначала она прожила несколько месяцев в гостинице «Европейской», пока не была готова квартира, потом переселилась в квартиру на Невском.

Было много радостей и трудностей. Но это уже другая история, которая будет в моей книге об Ирине Владимировне. За три с половиной года ее жизни на родине было всякое: успех и неприятности, слава, выпад в нашей прессе, порой жестокие и несправедливые, приливы и отливы поклонников, почитателей, нелепые старые счеты, сплетни, наконец, наш тяжелый быт. «Неужели нельзя купить хорошей ветчины?» «У нас же революция, Ирина Владимировна». Она — в ужасе: «Как, опять?»

Была, наконец, просто старый, больной человек со своим непростым характером, со своими причудами, и, может быть, нам в нашей трудной жизни не всегда удавалось уделить ей достаточно внимания.

Но были стихи в журналах. Но были две книги — «На берегах Невы» и «На берегах Сены», вышедшие огромным тиражом: 250 тысяч первая и 500 — вторая — и тем не менее исчезнувшие с прилавков. Читатели приносили «На берегах Невы», прося автограф, уже с «черного рынка». Были кипы писем каждое утро. «Когда я только подумаю, что меня читают пятьсот тысяч человек, — вы не представляете, какое же это счастье для писателя!»

Первый рассказ Ирины Владимировны — «Пагучая звезда» — появился в конце 20-х годов и был удостоен похвалы И. А. Бунина. Первый ее роман «Ангел смерти» сначала печатался фельетонами в газете «Дни», потом вышел отдельным изданием и был переведен на несколько иностранных языков. Неумолимостью психологического анализа роман этот чем-то напоминает Замятину.

Книга «Оставь надежду навсегда», которую предлагает журнал «Октябрь», написана в Париже в 1945—1946 гг., в тяжелое для писательницы и ее мужа время. Писать книгу решено было вдвоем. Вот как описывает этот процесс Ирина Владимировна в своей книге «На берегах Сены»:

«Георгий Иванов уже придумал содержание и решил, что я буду писать только о молодой героине, а он берет на себя всю политическую часть».

С работой я справилась очень быстро, где-то за неделю...

Время шло, а Георгий Иванов каждый вечер читал мне все огни и те же написанные им первые страницы. Я терпеливо слушала. Однажды, когда я вернулась домой из английского театра, куда ходила с профессорами, он начал опять читать мне все те же главы, лишь слегка исправленные. Я не выдержала и сказала:

— Послушай, довольно. Так ты будешь писать бесконечно, а нам необходимо закончить книгу как можно скорее. Я напишу за тебя.

Он страшно изумился:

— Как, ты? Смешно.

На следующее утро я засела за работу и писала в день по шестьдесят страниц.

В шесть недель я кончила всю книгу. Когда Георгий Иванов впервые прочитал то, что я написала, он схватился за голову и воскликнул:

— Я бы никогда не поверил, что это написала ты, если бы не присутствовал при этом. Как ты могла?!

С этого момента он наконец поверил в меня как в писателя...»

Может быть, некоторые политические аргументации в романе покажутся нашему читателю несколько наивными, а бытовые реалии — не всегда точными. Но это было «их» представление о советской жизни того периода. Они как будто знали все и... ничего не знали, воображение не заходило за какой-то круг прошлого восприятия, хотя многое авторам удалось угадать и даже предвидеть.

Анна КОЛОНИЦКАЯ

Часть первая

Глава первая

Волков сидел за письменным столом. Сидел и ждал, ничем, кроме ожидания, не занятый. Ожидание тяготило его. Он не привык ждать, он привык, чтобы его ждали. Он привык действовать, распоряжаться, работать, а не сидеть так, молча, с руками, праздно сложенными на коленях. Он прислушался к шагам в коридоре.

«Нет, это еще не Андрей, не его шаги. Я волнуюсь, — подумал он, — сумею ли я? Сумею ли объяснить ему, убедить его?» Он достал бумажник и вынул из него сложенный листок. Это было письмо, написанное его собственным почерком. Он смотрел на него, и спокойствие понемногу возвращалось к нему. Не только спокойствие, но и уверенность, что он прав, что то, что он собирался сделать, правильно и необходимо.

— Да, так. Правильно, — сказал он. — Другого выхода нет. Правильно.

«Скажи Мише, если я не успею»... — начиналось письмо, и сейчас же эти слова повели за собой другие. Стоило только начать «скажи Мише», чтобы память сейчас же продолжала: «что я люблю его, будто он тоже мой сын. Любите друг друга, как я вас люблю».

В дверь постучали. Волков спрятал письмо и встал навстречу входящему.

Это был Луганов, его друг, Андрей Луганов. Волков подошел и обнял его.

— Ну, здравствуй, здравствуй, заждался тебя. Здоров? Все в порядке?

Он внимательно всмотрелся в лицо Луганова своими сине-черными глазами и, по-видимому, убедившись, что за время их разлуки никаких особенных перемен с Лугановым не произошло, продолжал, не дожидаясь ответа:

— А я сюда специально из-за тебя приехал. Надо с тобой серьезно поговорить, очень серьезно.

— Серьезно? — переспросил Луганов удивленно. — Но когда же ты говоришь несерьезно?

Волков мотнул головой.

— Ну, это будет совсем особенная серьезность. А ты все по-старому, бородачом ходишь? Пора бы, — и он провел рукой по подбородку, подражая движению бритвы.

Луганов пожал плечами.

— К чему?

— И то правда. Поклонниц твоих в этой собачьей дыре нет, некого тебе пленять. Ходи себе на здоровье таким Чернышевским в ссылке. Мне ты и так нравишься. Только почему она у тебя седеет, когда в волосах еще «соли времени» не видно? А я хоть не седею, зато лоб растет. Умнею, видно, на старости лет. Вот и прошу тебя серьезно отнестись к моим умным речам.

Он старался шутить, но это не совсем удавалось ему. Он подвел Луганова к дивану.

— Устраивайся поудобнее, разговор будет длинный. Дай я тебе подушку под плечо подложу.

Луганов сел.

— Как я рад, что ты так неожиданно... — начал он. — Когда я вдруг увидел Федорова, даже не понял сразу. Ведь я тебя только через месяц ждал и...

— Не такое теперь время, — прервал его Волков, — чтобы на месяц вперед рассчитывать. Теперь время не часами, а минутами мерить надо, если хочешь поспеть за «ходом событий». Спешить надо — не то опоздаешь. Такая кутерьма заваривается!..

Он деловито взбил подушку и подложил ее под разбитое плечо Луганова.

— Так удобно тебе? Я сейчас прикажу, чтобы нам подали чай и не беспокоили.

Он подошел к звонку, держась преувеличенно прямо, чтобы казаться выше ростом. Но он не успел позвонить. Дверь осторожно отворилась, и на пороге появился Федоров, бывший матрос, неизменный шофер и денщик Волкова еще со времен гражданской войны.

— Москва требует по прямому проводу, — доложил он, вытягиваясь по-фронтальному.

Волков поморщился.

— А, черт, и поговорить не дадут. Иди себе лучше, Андрей. Извини меня, а то после кремлевских телефонов дела всегда часа на два. Приходи вечером, тогда обо всем спокойно потолкуем. Так жду тебя. Ну, пока...

И он сделал рукой широкий приветственный жест, будто перед ним проходила целая дивизия, а не сутулящийся, бородатый, с большой рукой на перевязи бывший писатель Луганов.

Луганов шел по шаткому деревянному тротуару главной улицы, обсаженной тополями. Прежде она звалась Губернаторской, теперь улицей Великого Человека. Перед тем, как быть названной окончательно, она, как и все главные улицы всех городов и городишек Союза, переменила несколько названий. По смене табличек на перекрестках с именами то Фрунзе, то Троцкого, то Рыкова можно было наглядно проследить борьбу, шедшую в Кремле, восхождение и закат партийных звезд, борьбу, теперь закончившуюся полной победой Великого Человека.

Обязанности секретаря «Городских известий» мало обременяли Луганова. Вот и сегодня, как и почти каждый день, с двух часов уже не было никакой работы и не стоило возвращаться в редакцию.

Очередной номер «Городских известий», как номера таких же, похожих друг на друга по внешности и по содержанию, как близнецы, бесчисленных советских газет, издающихся в бесчисленных провинциальных городах необъятного Советского Союза, составлялся изо дня в день, из года в год по раз навсегда установленному партией образцу.

Главная часть материала — распоряжения правительства, сведения об успехах пятилетки, урожае, молочном хозяйстве, добыче угля или производстве чугуна — перепечатывалась из московских газет или присылалась циркулярно агентством ТАСС вместе с короткими телеграфными сообщениями из разных концов Союза и из заграницы. В этих телеграммах говорилось по большей части о тех же видах на урожай, доярках и стахановских достижениях. Из заграницы сообщалось, главным образом, о затруدنениях буржуазных и фашистских правительств и о несправедливостях и притеснениях, совершаемых ими в отношении трудящихся своих стран. Сообщалось также неизменно, изо дня в день, об успехах коммунистического движения во всем мире. С тех пор, как началась мировая война, к этому прибавились короткие, бледные, двусмысленные сводки о ходе военных дел.

Работа секретаря была несложна. Надо было на двух страницах небольшого формата расположить эти статьи и телеграммы и выправить корректуру. Корректуру, правда, надо было править очень внимательно: малейшая опечатка, искажающая официальный текст, могла стать для допустившего ее и даже для его начальства источником неприятностей, размеры которых нельзя было предвидеть. Кроме материала, доставляемого из Москвы, в газете, конечно, помещались и заметки о местной жизни. Они тоже были бледны и коротки. Отчеты о воскресниках, собраниях, какое-

нибудь происшествие, какой-нибудь завуалированный донос... Все они были заранее профильтрованы местным партийным комитетом, и разрешение опубликовать тот или другой факт давалось не спеша, с оглядкой на Москву. Самое незначительное сообщение могло оказаться ошибкой, уклоном, нарушением одной из бесчисленных и все время меняющихся, несмотря на кажущуюся неизменность, партийных директив. Малейшая ошибка или недосмотр могли оказаться апельсинной коркой, на которой поскользнется и полетит со своего места секретарь, или редактор газеты, или тот или иной городской администратор.

Поэтому нередко случалось, что о пожаре, на котором присутствовал весь город, писалось неделю спустя, а иногда и совсем не писалось, будто его и не было. Кто его знает, кого надо винить в возникновении пожара? Может быть, архитектора? Может быть, обитателей дома? Может быть, кого-нибудь совсем другого, не имеющего никакого отношения ни к дому, ни к пожару, от которого сгорел этот дом? Кроме того немногого, что, по соображениям внутренней политики, предназначалось стать известным, ни редактор газеты, ни ее сотрудники, ни читатели ее не знали ровно ничего из того, что творилось в мире и в чем так или иначе разбирается любой грамотный человек в любой другой стране.

Незнание окутывало Советский Союз, как атмосфера окутывает землю. В его непроницаемой неподвижности было нечто непререкаемое. Незнание, в котором родился, жил и умирал советский гражданин, было совсем иным, чем, например, незнание канадского фермера или нормандского рыбака, тоже мало о чем знающих, кроме урожая или рыбной ловли. Это было особенное незнание, обязательное для граждан Советского Союза, непреодолимое, как закон природы. Конечно, не все принималось читателями на веру. Конечно, возникали протесты, недоумение и вопросы, но вопросы погасали сами собой, недоумение таяло, протесты бледнели в колеблющемся и неустойчивом сознании. Поделиться или поговорить было не с кем. Самый близкий человек может донести НКВД. А единственный советник, 25-летняя рабская покорность и пролетарская дисциплина, подсказывал, что надо подчиняться, не рассуждая, что это необходимо. Раз необходимо, следовательно, и правильно и хорошо, и нечего тут рассуждать и задавать праздные вопросы.

Луганов завернул в переулочек. Что хотел сказать Волков? О чем? Чувство, похожее на скользкий страх, вдруг пробежало, как прозрачная тень, по листе тополей и по лошадиной голове с белым пятном, выхватив из общего пейзажа эту листву и эту лошадиную голову.

На что намекал Волков? Вера? Вздор, это не может касаться Веры. Должно быть, что-нибудь насчет газеты. Не надо беспокоиться. Он толкнул зеленую калитку и по усыпанной гравием хрустящей дорожке зашагал к низкому белому дому, увитому диким виноградом. В прихожей его встретила хозяйка, женщина лет пятидесяти, из «бывших», с высокой прической и с болтавшимся на черной ленточке лорнетом с давно выпавшими стеклами.

— Ах! — деланно вскрикнула она, будто появление ее жильца было для нее неожиданностью. И сейчас же, подняв пустые ободки лорнета к глазам, жеманно добавила: — Быть вам богатым, Андрей Платоныч, не узнала. Не хотите ли чайку? По такой жаре очень освежает. И я бы с вами с удовольствием... А то одной пить скучно.

— Нет, спасибо, — вежливо отклонил Луганов. — Занят. Работы много.

— Жаль! — Хозяйка недовольно уронила свой лорнет, и он закачался, как маятник, — от надежды к огорчению. От надежды — «а вдруг все-таки жилец придет», к огорчению — «этот медведь опять запретя у себя до ужина».

— Я сегодня варенье сварила. Вишневое. Отлично удалось.

Но и варенье не имело успеха. Луганов уже осторожно обходил пышную фигуру хозяйки. Она вздохнула:

— Жара какая. Тоска, тощица какая.

Он знал, что ей невыносимо скучно и что его отказ огорчил ее.

— В другой раз, — и он открыл свою дверь. В комнате был полумрак. Хозяйка, хотя он и просил ее не делать этого, наглухо затворяла

ставни и окно «для прохлады». Она, как и все южане, вела постоянную борьбу с солнцем.

«И чего скучает, чего тоскует? — осуждающе подумал он о ней. — Радоваться должна бы старая дура, что оставили ей дом и сад и даже мужа-полковника. Здесь, в провинции, еще жить можно, места достаточно, а в Москве наплакалась бы: отвели бы ей с мужем-полковником жилплощадь за ширмами в чужой комнате. А тут — вари себе варенье, разводи кур и гусей и еще нахлебника держи для дохода». И все-таки ему было немного жаль этого «обломка прошлого», с лорнеткой, старорежимностью и гостеприимством.

Луганов растворил окно, повесил шляпу на вешалку и лег на клеенчатый диван с высокой резной спинкой, уютно пристроив подушку под больное плечо. Он с благодарностью думал о том, что спешить никуда больше не надо до самого вечера, когда он снова увидит своего друга. Он, улыбаясь, смотрел в сад, сиявший сплошным сиянием радужно расцветавшей в нем жизни. Все жило, все сияло, благоухало, жужжало, и он зажмурился, подставляя лицо солнцу. «Мне придется с тобою серьезно поговорить, — вспомнил он снова. — Нет, не надо беспокоиться. Все хорошо и будет хорошо». Он протянул руку, взял со стола английскую Библию, положил ее рядом на подушку, открыл ее наудачу и прочел: «And the Lord said to Joshua: Fear not neither be thou dismayed»*. Это был ответ. Да, это был как раз тот ответ, которого он ждал. Он не стал читать дальше. Он громко повторил «Fear not». Да, бояться было нечего. Он и не боялся. Ничего дурного не могло исходить от Волкова. Волков был защитником, добрым вестником, другом. Другом, главное, другом. Другом с большой буквы.

Глава вторая

Дружба их началась 16 августа 1905 года, с первого же дня гимназической жизни. Во время перемены между уроками его сосед по парте ткнул его локтем в бок и спросил:

— Как тебя зовут?

— Андрик Луганов.

Спросить, как зовут соседа, он не решился. К тому же он не знал, говорить ли ему «вы» или «ты». Но тот сам с серьезной важностью назвал себя:

— Волков Михаил. — И, помолчав, добавил гордо: — Я круглый сирота.

Луганов не понял, что значит «круглый». Он сам был сиротой, отца своего не помнил. Но своим сиротством он не гордился, как, впрочем, и не тяготился им. Он стал распаковывать свой новый ранец, вынул из него аккуратно обернутые синей бумагой книжки и тетрадки, потом достал пенал с карандашами, ручками и новым перламутровым ножиком, накануне подаренным ему матерью.

Сосед с любопытством следил за ним.

— Сразу видно — тихоня. Первым учеником будешь. Покажи, покажи ножик. Знатный, дорогой, должно быть.

Луганов подал ему ножик. Волков быстро открыл все его четыре лезвия, и глаза его засверкали.

— Мне бы такой!..

— Возьмите, — сказал Луганов, краснея. — Я вам дарю.

Волков удивленно посмотрел на него своими черно-синими глазами и тоже густо покраснел.

— Зачем? Разве тебе не жалко?

Луганов покачал головой. Нет, ему не было жалко. Душа его вдруг раскрылась навстречу новому, еще не испытанному ею чувству дружбы и требовала жертв.

— Пожалуйста, возьмите. Пожалуйста!

И Волков, немного поколебавшись, спрятал ножик в карман. Он не успел даже поблагодарить, — в класс входил учитель.

* Сказал Господь Иисусу Навину: «Не бойся и не ужасайся» (англ.)

На большой перемене, когда они рассказали друг другу все события своих коротких жизней, Волков спросил Луганова:

— Хочешь, будем друзьями?

И Луганов сразу ответил:

— Хочу. — И добавил с уже тогда свойственным ему романтизмом: — На всю жизнь. До самой смерти.

Это «до самой смерти», по-видимому, поразило Волкова. Он дважды торжественно повторил, перед тем как они крепко пожали друг другу запачканные чернилами руки:

— До самой смерти!

Так началась их дружба, которой, действительно, было суждено длиться всю жизнь, до самой смерти.

Волков был тогда похож на цыганенка, маленький, крепкий, смуглый, с очень блестящими сине-черными глазами. Он постоянно смеялся, говорил, размахивал руками, двигался. В нем, как ветер, носились оживление и радость, прорываясь наружу смехом, криками, взмахом рук. Ему было тяжело молчать на уроках, тяжело сидеть неподвижно.

— Я ненавижу гимназию, — решил он тут же. — А ты?

Но Луганов не согласился с ним. Напротив, ему в гимназии все очень нравилось. И он был горд, что и у него теперь есть друг. Друг на всю жизнь. До того дня у него друзей не было.

Он хорошо помнил тогдашнего Волкова. Но себя самого он не мог себе представить иначе, чем окруженным овальной золоченой рамкой, в черном бархатном костюме с кружевным воротником и белокурыми локонами. Таким, как он на большом портрете, в спальне матери. Конечно, поступив в гимназию, он почти утратил сходство с этим портретом. Локоны были острижены под машинку, и бархатный костюм заменила гимназическая форма. Он помнил фуражку с гербом, черную гимназическую блузу, кушак с металлической бляхой, пахнущий, как сбруя, и ощущение всей этой сбруи, надетой на него. Но лица своего он не видел. Лицо его, по-прежнему окруженное светлыми, уже не существовавшими локонами, мечтательно и рассеянно улыбалось из овальной рамы.

Мать его, Катерина Павловна, была вдовой профессора, всю свою молодую страстность и все мечты обманувшей ее жизни воплотившая в своем сыне. Она заранее решила, что сын ее будет замечательным человеком, что он будет знаменит. Она гордилась им со дня его рождения. Он еще лежал в колыбели, а она уже записывала в толстую тетрадь «материалы для биографии Андрея Платоновича Луганова»:

«Он очень редко плачет. Он лежит молча с открытыми глазами. Он всегда старается смотреть вверх. Когда его подносят к окну, он протягивает руку, будто показывает на небо».

Она записывала все его слова и жесты. Она клеивала в тетрадь его первые рисунки. Ведь она еще не знала, в какой области он будет знаменит. В пять лет он сочинил первое стихотворение про ежика, и тогда она решила, что он будет писателем. В это лето, стоя на мостках купальни, он упал в озеро. Она сейчас же вытащила его. Вода возле берега была теплая и неглубокая. Он не испугался. Он спросил ее, когда его уже успели обсушить и переодеть:

— Мама, это я действительно упал в воду или во сне?

Ее очень взволновало это «или во сне». Значит, он не сознавал разницу между жизнью и сном. Значит, он жил, как во сне? Конечно, это было признаком поэтичности его натуры. Но как непонятны талантливые дети! Вот уже он живет в другом мире, чем она. А что будет, когда он вырастет? Пока он маленький, он принадлежит только ей. От нее зависит, чтобы его детские впечатления были радостными и праздничными, чтобы он как можно дольше не догадывался даже, что не все благополучно на земле, что не все счастливы. И, главное, что существует смерть, что все должны умереть. Он рос одиноко. Она боялась дурного влияния других детей. Они так жестоки и грубы. Они мучают животных, они разоряют гнезда, а он даже не знал еще, что существует смерть. Она водила его в церковь, но не учила Закону Божьему. Он не слышал еще об аде и о втором пришествии, о страшном суде, так отравившем страхом ее детство. Он не знал, что есть грех. Она рассказывала ему о Боге. Бог — добро и любовь, с Богом все возможно. Бог любит тебя, и ты должен любить Бога. Когда

ему исполнилось восемь лет, она вдруг забеспокоилась и засомневалась в системе своего воспитания. Хорошо ли, что он растет так одиноко, что он так молчалив? Он сидел часами перед аквариумом в гостиной, следя за золотыми рыбками, плавающими между искусственными коралловыми рифами.

— Андрик, разве тебе не скучно?

Нет, ему не было скучно. Ему, по-видимому, никогда не было скучно.

— Что ты делаешь, Андрик? — спрашивала она его.

Он поднимал голову и серьезно смотрел на нее:

— Я играю.

Она удивлялась. Он сидел у окна и смотрел на небо, на меняющиеся облака.

— Какая же это игра? Как в нее играть?

Он улыбался.

— Так.

И снова умолкал.

Она стала водить его в Таврический сад. Он катал по аллеям свой золоченый обруч, подгоняя его золоченой палочкой. Он был очень красив в бархатном костюме, с локонами, и матери остальных детей любовались им. И это ей было приятно. Но он не хотел бегать с детьми, он не хотел разговаривать с ними. Они не нравились ему. Он отворачивался от них. Он становился один под дерево и стоял тихо и неподвижно. Солнце падало сквозь молодую листву на его лицо, и он улыбался и жмурился.

— Что ты делаешь, Андрик?

— Я играю, — говорил он мечтательно.

Он был здоровым ребенком, он очень редко хворал и никогда не жаловался ни на усталость, ни на головную боль. Он не капризничал. Его не приходилось уговаривать есть, он не плакал, когда его укладывали спать. И все-таки она сознавала, что он был странный, особенный. Впрочем, это было естественно: ведь он, когда вырастет, станет знаменитым, а знаменитые люди все были необычайными детьми.

Она читала педагогические книги, она советовалась с профессорами, друзьями своего покойного мужа, о воспитании Андрика. Когда ему исполнилось десять лет, она спросила его, не хочет ли он поступить в гимназию. И он, к ее удивлению, ответил:

— Очень хочу. И поскорее!

Будто он давно обдумал и решил вопрос о своем поступлении в гимназию.

Тогда же, той же весной, он выдержал экзамен во второй класс, и она с грустью думала о том, что теперь он будет полдня проводить вдали от нее, что у него заведутся друзья и он уже не будет целиком принадлежать ей.

И, действительно, в первый же день, вернувшись из гимназии, он рассказал ей о Волкове Михаиле — «друге на всю жизнь». Ее сердце сжалось от ревности. Она не ожидала, что это произойдет так быстро. Она уже перестала быть его единственной любовью.

Распаковывая его ранец, она увидела, что нового перочинного ножа нет.

— Где твой ножик, Андрик?

И он сейчас же объяснил, радостно улыбаясь:

— Волков согласился его взять. Ему очень понравился.

Она с трудом сдержала упрек. Как легко он раздает ее подарки. Но она сдержалась. Она смолчала. Она чувствовала, что этот Волков грозит ее счастью, что это настоящая опасность. Необходимо было увидеть эту опасность, узнать ее, чтобы бороться с ней, бороться и победить ее.

— Пригласи твоего друга к нам в воскресенье, — сказала она.

В воскресенье, готовясь к встрече с «опасностью», она оделась и причесалась тщательнее, чем обыкновенно. Она выработала целый план действий. Она уже ненавидела этого отвратительного Волкова, отнимающего у нее ее Андрика.

В прихожей позвонили. Она вышла в гостиную, шурша шелковыми юбками. Она была готова к борьбе.

Но опасность, но враг оказался совсем не таким, как она воображала. По рассказам Андрика выходило, что Волков очень серьезный и го-

раздо старше Андрика, что он совсем большой. Но он, напротив, был маленький, гораздо меньше, чем Андрик, и гораздо ребячливее его. Плохо остриженные волосы торчали вихрами на затылке, гимназическая форма, явно сшитая на вырост, придавала ему вид kota в сапогах. Он шаркнул ножкой в дешевой, не по росту большом башмаке и вежливо поздоровался с ней, поцеловал ей руку. И она, забыв все свои планы, нагнулась к нему и нежно поцеловала его смуглую щеку.

— Здравствуй, Мишук, — прошептала она, еле сдерживая слезы.

Ведь и ее Андрик был бы таким жалким, таким заброшенным, если бы она умерла. Бедный сиротка. И она могла его, такого маленького и милого, ненавидеть?

Она взяла его за руку, а другую руку протянула Андрику.

— Пойдем, друзья, — сказала она им, называя их «друзьями», будто их дружба была самое характерное в них. — Сейчас позавтракаем. Будут рябчики и мороженое, а после завтрака я повезу вас в цирк.

С того дня Волков Михаил начал проводить все праздники у них в доме. Катерину Павловну он полюбил сразу сиротской, жадной любовью. Он был гораздо нежнее Андрика. Он не умел ни сдерживать, ни скрывать своих чувств. Он терся щекой о ее колени, тыкался в них носом, вдыхая запах ее духов. Он ложился на ковер у ее ног, изображая собаку и рыча на прислуг, подходивших к ней. Он звал ее — мама Катя, и Андрик из подражания ему стал звать ее так же.

Она скоро поняла, что Андрик правильно выбрал себе друга. В Мишук — это имя так и осталось за ним — была шумная веселость, предприимчивость, непоседливость и живость, недостававшие Андрику. Нет, она больше не ревновала его к сыну. Она была благодарна судьбе, пославшей ей Мишука. Она полюбила его.

На лето она увезла его с собой в свое имение. Она подарила им обоим по пони, и они втроем стали выезжать каждое утро на прогулку. В длинной амазонке с развевающимся зеленым вуалем на шляпе она казалась им королевой, они чувствовали себе ее пажами, скача галопом по обе стороны ее шедшего рысью золотистого коба.

По вечерам она при свете свечей играла на рояле и пела для них. Высокие окна гостиной были открыты, и соловьиные трели отвечали ей из парка.

Осенью ей стало совершенно ясно, что ни она, ни Андрик уже не могут расстаться с Мишуком. Мишук стал им так же необходим, как они были необходимы ему. И она, списавшись с его опекуном, раз и навсегда поселила его у себя.

Они оба учились хорошо. Она не требовала от них, чтобы они были первыми учениками. Но она объяснила им, что их плохие отметки очень огорчили бы ее. Настолько, что она могла бы заболеть, а этого они боялись больше всего. У нее было слабое здоровье, она была нервна. Они учились для нее, чтобы она была здорова.

Возвращаясь из гимназии, они останавливались возле незанавешенных окон подвальных квартир. Темнело, и там, внизу, уже горели лампы и было видно все, что происходит в убогой комнате. Рабочий строгал доску, девочка на полу играла стружками, в углу женщина стирала белье в лоханке, мыльные хлопья падали, как снег, на пол.

Мальчики смотрели в окно.

— Вот, — говорил Андрик, — они живут, по-настоящему живут. И все у них настоящее. И хлеб на столе, и вода горячая в корыте, пар от нее и мыло вот, а у нас как будто только декорация, как в театре. И все не настоящее. Я не умею тебе объяснить, но ты ведь то же чувствуешь, Мишук.

Нет, Мишук не чувствовал, не понимал, о чем говорит его друг. Его не это занимало. Он смотрел в окно и видел бедность этих людей и то, как им тяжело живется, как они трудятся. Девочка заплакала — и девочка плачет, наверно, от того, что голодна. «Несправедливость!» — возмущался он. Девочка продолжала плакать. Плача не было слышно, окна на зиму были плотно заклеены, но видно было, как она, надрываясь, открывала рот. Женщина в углу бросила белье, подошла к девочке и рукою в мыльной пене ударила ее по щеке. Девочка упала навзничь. Мужчина, строга-

ший доску, поднял злое, грубое лицо и погрозил рубанком. Кому? Девочке, или женщине, или им обоим?

— Пойдем, пойдем, — Мишук потащил друга за собой. — На это нельзя смотреть. Нельзя. Они не виноваты, что они злые, грубые. Они бедны, они не виноваты.

Андрик не понимал и возмущался.

— Она скверная, злая. Зачем она была ребенка?

— Оттого, что она устала, что она измучена, оттого, что у богатых все есть, а у бедных ничего нет, — объяснял Мишук. — Богатые виноваты. Во всем виноваты. Всегда.

Они шли домой, рассуждая о бедности и о горе. Теперь Андрей знал, что на свете есть горе и смерть. Ему было жаль людей там, в подвалах, и все-таки он не мог отделаться от легкой зависти к ним.

Ему почему-то казалось, что они, как и все остальные люди, которые идут по улице, едут в трамвае или в экипажах, независимо от их богатства или бедности, от их счастья или горя, живут настоящей жизнью, недоступной ему. А он только притворяется, что живет, и все кругом него — только театральная декорация. Он много читал, он знал много стихотворений наизусть и сам писал подражания им. Катерина Павловна переписывала их в свои «материалы для биографии А. Луганова». Теперь для нее уже было совершенно ясно: Андрик будет писателем. Она убеждала его, что это его призвание. Она накупала ему книг и вместе с ним читала их. Она взяла ему учителя английского языка, чтобы он мог читать Шелли и Китса в подлиннике. Мишук не интересовался поэзией, не любил ни театра, ни музыки. Учиться английскому языку он тоже отказался. Его очень рано начали интересовать социальные вопросы. В шестом классе он уже был революционером. Катерина Павловна не мешала ему.

Вышло как-то само собой, что мальчики, оставаясь друзьями, все-таки до конца откровенны были только с ней. Она одинаково хорошо понимала обоих. Эта близость к ней не только не расстраивала их дружбы, но еще больше скрепляла ее. Они еще сильнее любили друг друга оттого, что она любила их обоих.

— Любите друг друга, — повторяла она им часто. — Если вы любите меня, любите друг друга. Тогда вам все в жизни удастся.

Весной 1913 года они кончили гимназию и оба поступили в университет. Андрей — на филологический, Михаил — на юридический факультет.

Лето они, как всегда, проводили в имении. Это было их последнее лето втроем, и, хотя они еще не знали этого, им всем казалось, что никогда еще не было такого чудного, такого радостного лета. Сад вокруг белого дома с колоннами буйно и густо разросся. Жасминовые кусты знойно благоухали под солнцем, аллеи были полны теней и блеска, шелковисто-нежный ветер мягко шуршал листьями, заставляя деревья весело кланяться новым студентам. По ночам каждый куст звенел от соловьиного пения. Звезды, луна и небо казались первозданно-прекрасными. И каждый день начинался для Андрея, как богослужением, встречей рассвета над высоким обрывом.

Но Катерина Павловна была часто грустна и тревожна. Теперь, когда они выросли, когда они стали студентами, они скоро уйдут от нее. И она останется одна. И хотя они оба обещали ей никогда не расставаться с ней, она только качала головой, недоверчиво улыбаясь. Они влюбятся, они женятся, они захотят жить своим домом. И она потеряет их. И что тогда будет с нею?

И она, действительно, потеряла их. Но это произошло совсем не так, как она ждала.

Зимой в Петербурге зажили бестолковой, шумной студенческой жизнью. С утра до вечера в их квартире толклись студенты и курсистки. Годы молодости вдруг снова воскресли для Катерины Павловны. Она ходила на сходки, на собрания, помогала устраивать концерты. Товарищи Миши давали ей прятать революционную «литературу». Товарищи Андрея читали с ней Метерлинка и Клоделя. Она нравилась им всем, и они все тоже нравились ей.

Но эта беспечная жизнь продолжалась недолго. В одно декабрьское утро, когда за окнами было еще черно зимней морозной чернотой, к ним

позвонили. Она спала. Она не слыхала звонка. Она, такая нервная, такая чуткая, не услышала, как в дом, звеня шпорами, вошла беда.

Горничная, растрепанная, без передника и наколки, вбежала в ее спальню с криком:

— Барыня, там полиция!

Катерина Павловна накинула халатик и вышла в гостиную. Вся квартира была ярко освещена. На пороге комнаты Миши ее встретил жандармский ротмистр. Он вежливо поклонился ей, щелкнув шпорами:

— За вашим пансионером приехали. Не волнуйтесь, сударыня. Рад за вас, сударыня, что это не ваш сын.

Миша стоял у окна в студенческой тужурке поверх расстегнутой ночной рубашки. Лицо у него было совсем как у молодого рабочего на картине «Арест». Мальчишеское, злое, упрямое лицо с выражением решимости принести себя в жертву.

Увидев ее, он смутился. Его сине-черные глаза потускнели. Он откашлялся, прочищая голос:

— Это пустяки, мама Катя. Главное, ты не волнуйся.

«Не волнуйся». Как будто дело было в ней и в ее волнении...

Он ушел из их дома, или, вернее, его увезли. И это случилось не оттого, что он стал тяготиться их общей жизнью. Нет, он ничем не был виноват перед нею. Скорей она была виновата перед ним — тем, что поддерживала его революционные стремления, тем, что разделяла его взгляды и всей душой возмущалась многим творившимся тогда в России.

Хлопоты об освобождении не привели ни к чему. Она напрасно просила, писала, обивала пороги.

Из Сибири приходили длинные, почти веселые письма. Он совсем не отчаивался. «Я учусь, — писал он ей, — тюрьма — тот же университет». Его письма обыкновенно приходили с утренней почтой.

В то утро она проснулась с дурным предчувствием и лежала в постели, жалея, что ночь уже прошла. Она не ждала ничего хорошего от этого апрельского дня. Письма от Миши, наверное, опять не будет. Уже больше недели от него нет писем, и сегодня — она чувствовала — тоже не будет. А Андрик хмурится и молчит. И, наверное, опять будет нервничать, хмуриться и молчать.

Он месяц тому назад издал свою первую книгу. Она лежала тут, на ночном столике. Катерина Павловна читала ее столько раз, что знала наизусть. В университете все были в восторге от нее. Но газетных отзывов еще не было. Она старалась объяснить ему, что еще рано, что о первой книге вообще редко пишут, но Андрик становился все сумрачнее и угрюмей.

— Не утешай меня, — говорил он только. — Я понимаю. Это — провал.

Прислуга вошла, не постучав, и раздвинула шторы на солнечном окне.

— Письмецо из Сибири, — радостно сообщила она, кладя конверт и газету на постель.

И опять, как всегда, было трудно разорвать твердый конверт дрожащими пальцами, и буквы расплылись перед глазами, полными слез.

Письмо было не от Миши. Незнакомый почерк. Сердце остановилось. Что-то случилось. Раз не Миша пишет, значит он... она не успела додумать — болен, умер. Она уже читала, что он жив, только ранен и оттого не сам пишет. В тюрьме был бунт. Многих ранили. И Мишу. Тяжело. Штыком в живот. Но он уже поправляется. В больнице, где он лежал, он всех поддерживал, ухаживал за всеми. Чтобы ночью дать пить товарищу, он дополз до его кровати. Дополз. Идти от боли он не мог. И, несмотря на боль, он всех веселил и смешил, не позволяя приходиться в отчаяние. «Он герой, — писал неизвестный корреспондент. — Вы должны гордиться им».

Она перечла письмо еще раз, перекрестилась и вытерла глаза. «Слава Богу, он жив! Слава Богу! Но как тяжело, как грустно. В тюремной больнице. И некому ухаживать за ним».

Конечно, Миша был только другом Андрика, чем-то вроде его тени.

Ведь ее сын — Андрик, а Миша для нее чужой. Но ее сердце все-таки болело, будто и он тоже был ее сыном, не рожденным сыном. Она вздохнула и раскрыла газету. Она всегда читала всю газету, начиная с передовой статьи. Напрасная трата времени. Ничего интересного все равно не узнаешь. Она сейчас интересовалась только Мишей и Андриком. О них ничего не прочтешь здесь. И вторично за это утро ее хваленое предчувствие обмануло ее. Газета зашелестела и задрожала в ее пальцах.

«Андрей Луганов», — прочла она. Это была большая статья, подписанная именем знаменитого критика. В ней Андрей Луганов был назван наследником Гоголя и Достоевского и ему сулилась огромная будущность.

И совсем как в то утро, когда пришли арестовать Мишу, она вскочила с постели, накинула халат, сунула босые ноги в туфли и выбежала из спальни.

Андрей никогда не задергивал штор на окне на ночь. Он больше всего любил рассвет. «Если я даже сплю, то я и во сне чувствую, что золотой рассветный час тут, в моей комнате», — говорил он. Но теперь рассвет уже был позади. Пыльный солнечный луч слегка задевал край подушки и вьющиеся волосы Андрея, образуя что-то похожее на сияние над его молодым усталым, сумрачным лицом. Он лежал так спокойно и безжизненно. Он дышал так тихо, что его дыхания не было слышно.

Такой он будет мертвый в гробу, почему-то подумала она. Она вбежала сюда, победно размахивая газетой, как знаменем. И вот она стояла на пороге, прижимая газету к груди от острой жалости к Андрею. Пусть спит. Пусть продолжает спать. Не надо его будить. Не надо. Она не решалась разбудить его, будто она должна была сообщить ему что-то, что омрачит его жизнь, будто лучшее, что могло случиться с ним, был этот сон, долгий сон. Вечный сон.

— Бедный, бедный Андрик!

Она потрянула головой. Что с ней? Она сошла с ума. Это Миша бедный, она спутала Мишу с Андриком.

— Андрик, Андрик! — крикнула она, не давая себе времени разобраться в своих мыслях. — Вот тут! Смотри! смотри! О тебе!

Глава третья

Луганов проснулся знаменитостью. Знаменитость нисколько не удивила его: он ждал ее. Он был подготовлен, она пришла к нему как раз вовремя, не слишком рано, не слишком поздно, как обыкновенно приходят события, а в нужный день и час.

Необычайность случившегося с ним была не в том, что он буквально за одну ночь стал знаменитым. Такие вещи случались и с другими. Последние годы, перед Первой мировой войной, в России были полны небывалого стихийного роста материальных и духовных сил. Возникали банки, строились железные дороги, появлялись изобретатели, ученые, артисты. Начались лихорадочные поиски талантов во всех областях. Их открывали наперебой, под гром рекламной шумихи, в угоду жаждавшей новизны публике.

Для вновь открытого таланта наступала феерическая полоса жизни. Банкеты, поклонники, поклонницы. Никак нельзя было понять, откуда бралось такое количество богатых и праздных людей, ничем не занятых, кроме желания угождать и поклоняться новой знаменитости. Шампанское, загородные поездки к цыганам, публичные выступления. Предложения подписать выгодный контракт на еще не существующие произведения. Фотографы, охотящиеся за портретом «нашего знаменитого в тиши рабочего кабинета», в халате, с любимой кошкой или собакой. Или, за неимением пока ни кабинета, ни халата, ни даже кошки-собаки, просто с книгой, принесшей новой знаменитости его еще цветущую первым нежным цветом славу. Еще цветущую, но уже готовую от слишком бурного и горячего вихря восторгов поблекнуть, засохнуть, осыпаться. Осыпаться, навсегда похоронив под легким снегом своих лепестков неудачника-знаменитость, не сумевшего удержать удачу. Не сумевшего удержать? Но разве легко удержать эту скользкую, вьющуюся, как угорь, рвущуюся из рук удачу среди шампанского, влюбленных женщин и упоительной лести, когда качели жизни, вдруг размахнувшись, заносят счастливица так высоко над землей,

что небо кажется совсем близким, голова кружится и сердце почти перестает биться?

Но Луганов сумел удержать удачу. И он, конечно, прошел через пьяный восторг первых дней. И у него кружилась голова, и ему хотелось расстегнуть воротник студенческой тужурки, чтобы не захлебнуться от восторга, чтобы передохнуть, перевести дыхание, почувствовать твердую землю под ногами.

Но он не подписывал контрактов, не прокучивал гонораров за еще не написанные книги, не ездил в триумфальное турне по провинциальным городам.

Он отрезвел быстро. Отрезвел настолько, что мог подготовиться, сдать весной экзамены и уехать с матерью в усадьбу на лето.

В деревне он жил, как обычно. Слава нисколько не изменила его. Он был по-прежнему молчалив и мечтателен, и Катерина Павловна по-прежнему спрашивала его, о чем он думает. Теперь она по праву могла гордиться им. Случилось именно то, что она предсказывала. Но, хотя это и было странно, она должна была сознаться, что она не совсем счастлива, она не была спокойна, ее мучил вопрос: что будет дальше? Что будет дальше с Андриком и Мишуком?

Луганов теперь ездил верхом один. Проезжая по бедной деревне, мимо осевших под тяжестью времени изб, он испытывал стыд и смущение. Он сознавал, как он красив на своем прекрасном арабском коне. Он сознавал, что его белая куртка, его светлые вьющиеся волосы и в особенности улыбка, с которой он отвечал на низкие поклоны крестьян, корявых, грязных, похожих на высовывавшиеся из земли корни деревьев, — больше летнего солнца украшали этот нищий пейзаж. Бедность этих полей и крестьян, работавших на них, заставляла его болезненно морщиться. Он не мог не чувствовать, что для этих людей он существо из другого, чуждого, недоступно-счастливого мира. Они глядели ему вслед, они завидовали ему, и он до боли стыдился. Стыдился того, что он барин, что ему не надо пахать, обливаясь потом, стыдился своих чистых рук, даже своей улыбки и своего беспомощного желания заглядеть свою вину перед ними папиросами, которые он раздавал встречным крестьянам, и леденцами, которые он дарил крестьянкам и их грязным детям.

Чувство вины и ответственности за несправедливость и зло мира омрачали прелестный поэтический уклад помещичьей жизни. Теперь в угоду Андрику, Катерина Павловна возилась с крестьянками, лечила их, устроила у себя школу для взрослых.

— Миша бы одобрил твои затеи, — сказала ей как-то сын, и она вся вспыхнула от удовольствия. Но ни школа, ни лечебница не занимали его. Это ведь была только забава. Серьезной помощи от них крестьянам быть не могло.

Это же чувство вины и ответственности заставило его пойти добровольцем на войну. Нет, он совсем не хотел воевать, но сцены гульбы рекрутов и плача их жен, все это отчаяние, выражавшееся пьяными песнями, игрой на гармонике с плясками всю ночь напролет, женскими слезами, воплями и причитаниями, как над покойником, — обнажили перед ним слишком много горя. Ему как единственному сыну не надо было идти на войну. Он и в этом был привилегирован. Но ему была отвратительна его привилегированность. Когда он сказал матери о своем решении, она только вздрогнула. Она сидела на низенной стуле и вышивала. Свет лампы падал на ее работу и освещал ее склоненную, изящно причесанную голову. Лицо ее было в тени, и он не видел, изменилось ли оно. Он видел только, как она вздрогнула. Ножницы упали на ковер к ее ногам. Она еще ниже нагнулась и подняла их.

— Что же? — сказала она, помолчав немного. — Наверно, ты прав. — И добавила, будто говорила сама с собой: — Вот я и осталась одна. На старости лет...

— Но ведь война скоро кончится. И ведь тебе, мама, только сорок лет. Мы еще успеем отлично пожить с тобой.

— Успеем? Разве успеем? — Она недоверчиво улыбнулась и покачала головой. — Ты, конечно, прав, Андрик. Я не стану тебя отговаривать...

Он уезжал из дома осенним вечером. Деревья в саду уже облетели и стояли голые и черные, с тем особым бедным и голодным видом, кото-

рый бывает у деревьев осенью в России. Влажные рыжие листья шуршали на аллеях. Их некому было сгребать, садовника уже взяли на войну.

Катерина Павловна проводила сына только до въезда в парк.

— Тут мы простимся, — сказала она. — Тут, в нашем парке, одни. На вокзале, на людях, мне было бы еще тяжелее. Ты уж прости. Поцелуй меня еще раз, Андрик. — Она перекрестила его и поцеловала несколько раз. — Не беспокойся обо мне. Мне будет хорошо. Я буду здесь ждать тебя. Конечно, ты прав...

Коляска остановилась, но она не сразу вышла из нее. Она как будто не решалась расстаться с ним. Она сидела рядом с ним, держа его руку в своей руке, жадно глядя на него.

— Ну, поезжай, а то ты так и к поезду опоздаешь.

Она встала и с легкостью, которой он всегда удивлялся, сошла с коляски.

— С Богом, — сказала она и махнула рукой. Кучер дернул вожжами.

Она стояла возле белой, печально облетевшей березы и смотрела не на Луганова, а на лакированный кузов коляски, на высокие колеса.

Осенний вечер был мрачен и величествен. С неба плыл медленный, заглушенный вечерний звон.

Он, обернувшись, долго смотрел на нее. Она стояла неподвижно. Она не махала платком. Не кивала. Не улыбалась. Она стояла, опустив руки, в позе совершенного отчаяния.

Он не мог вынести вида ее отчаяния. Он крикнул, не найдя других слов:

— Иди домой, мама, простудишься!..

Она подняла голову и вдруг, будто только сейчас поняв, что это он, ее сын, ее Андрик, уезжает на войну, бросилась за ним. Он на ходу выскочил из коляски и побежал к ней навстречу. Она упала на него, почти повисла на нем. Теперь она плакала. Слезы бежали струйками по ее бледному, неподвижному лицу. Она сквозь слезы молча целовала его. Еще и еще.

— Ну вот, ну вот, — проговорила она неожиданно задумчиво. — Теперь все, теперь поезжай...

Он снова сел в коляску.

Она осталась стоять на дороге, беспомощно клоня голову под ветром. Он подумал, что его могут убить, что он видит ее в последний раз. И он удивился, что она еще так молода, совсем молода, будто сестра, провожающая брата на войну. «Нет, не сестра, будто невеста, — подумал он. — И она, наверное, знает, что меня убьют, что она видит меня в последний раз»...

Он вдруг засомневался — прав ли он? Разве можно причинять такое горе матери? И что будет с ней, если его действительно убьют и она останется одна?..

Но его не убили на войне. И он еще несколько раз видел ее, когда приезжал на побывки с фронта. Но почему-то, когда он вспоминал теперь о ней, он всегда видел ее стоящей на осенней мокрой дороге — такой молодой, несчастной, жалкой, такой обреченной на вечную разлуку с ним.

На вечную разлуку. Предчувствие, так мучившее ее и не дававшее ей пользоваться всеми счастливыми годами их прошлого, снова обмануло ее. Смерть. Но не его, а ее смерть разлучила их.

Осенью 17-го года, за два дня до того, как спалили их имение, она писала ему на фронт:

«Если со мною случится что-нибудь плохое, Андрик, не сердись на крестьян. Прости их. У них сейчас мозги набекрень от свободы. Они пьяны ею, а когда пьяны, всегда звереют. Надо их понять. Я твердо уверена, что они меня любят и потом пожалеют. Но из города приехали большевики и ведут пропаганду... Скажи Мишуку, если бы я не успела ему написать, что я его очень люблю. Как будто он тоже мой сын. И что я прошу вас обоих — любите друг друга. В память обо мне всегда любите и помогайте друг другу, любите друг друга, как я люблю вас обоих»...

Это письмо Луганов получил уже после ее смерти. Ему так и не удалось выяснить, сгорела ли она во сне или крестьяне заперли дверь ее спальни до того, как подпалили дом. Она сгорела заживо. Это было все, что он знал. Крестьяне хмуро отворачивались, когда он расспрашивал их.

— Не мы это сделали. А мешать не могли.

Луганов простил, хотя это прощение нелегко далось ему. Впрочем, если бы даже он не простил, это ничего бы не изменило.

Теперь к чувству вины перед народом прибавилось чувство вины перед матерью. За то, что он оставил ее одну, за то, что он не сумел ее защитить, как не сумел защитить и Россию. Смерть матери и поражение России таинственно и непонятно сливались в одно общее горе.

В Петербурге, в их квартире на Бассейной, его ждал Волков, успешный вернуться из ссылки. Теперь он был революционером с серьезным стажем, член партии большевиков. Он был теперь хозяином жизни и положения. Самоуверенный, авторитетный, все понявший, ни в чем не сомневающийся. Он не говорил, а произносил митинговые речи, будто перед ним был не один Луганов, а целая аудитория матросов и солдат.

— Ты с нами, Андрей? — спросил он Луганова в первый же день. «Мы» — это были большевики.

Луганов покачал головой. Он, как всегда, был честен и серьезен.

— Нет, не с вами. И вообще ни с кем. Я, как киплинговская кошка, хожу один, сам по себе.

Волков нервно дернул плечами.

— Напрасно, напрасно. Кому же, как не писателю, принимать участие в великом деле строительства свободы?

— Свободы? — переспросил Луганов. — Видишь ли, мне кажется, что пока зло не будет окончательно истреблено, человек не может мечтать о свободе. Пока зло существует, никакой свободы нет. Свобода не выбирает между добром и злом, она начисто уничтожает зло.

Волков рассмеялся.

— Здорово, начисто уничтожает? А кто тебе сказал, что мы не хотим начисто уничтожить зло?

Луганов покачал головой.

— Может быть, и хотите. Только зло вы уничтожаете еще большим злом. Из зла не получится добра. Во имя любви к дальним вы уничтожаете ближних.

— Ну, брось. Это уже философия. — Волков отмахнулся от него. — Мы хотим жить, мы создаем новую жизнь на земле.

Луганов посмотрел на него тяжелым, сумрачным взглядом.

— Новую жизнь? Да... Вот маму Катю сожгли живую.

Волков весь дернулся.

— Перестань, перестань! — крикнул он и отошел к окну.

По улице проезжал грузовик, оцетинившийся штыками солдат, державших ружья наперевес.

— Ты знаешь подробности? — спросил Волков, не оборачиваясь.

— Нет, только то, что я написал тебе. — Луганов достал из бумажника последнее письмо матери. — И вот еще, прочти.

Волков взял письмо и спрятал в карман.

— Потом прочту. Сейчас в Смольный надо. Верну. Не беспокойся. И он пошел к выходу.

Луганов еще долго сидел в том же кресле, глядя на портрет матери, висевший на стене. Портрет этот был написан еще до его рождения, когда мать только что кончила институт. И хотя он с детства привык к нему, он никак не мог соединить образ этой смеющейся девушки в белом платье с образом матери. Она казалась такой неправдоподобно-прелестной, будто это была не она, а мечта о вечной женственности, вечной весне. Напрасно он дал письмо. А как было не дать, раз это было ее желание? Но мамы Кати уже не существовало для Волкова. Как небрежно, даже не взглянув на письмо, он сунул его в карман.

В ту ночь Луганов поздно вернулся домой. Он открыл входную дверь своим ключом и, не зажигая света, чтобы не разбудить Волкова, не быть снова вынужденным увидеть его самодовольное лицо, говорить с ним.

В гостиной горело электричество. Сквозь неплотно закрытые портьеры он увидел Волкова, стоявшего перед портретом Екатерины Павловны. В его позе было что-то, что поразило Луганова и заставило его остановиться. Должно быть, Волков очень задумался, если не слышал, как щелкнул ключ и захлопнулась дверь. Он долго смотрел на портрет, вдруг поднял руки, закрыл ими лицо и весь затрясся.

Луганов отшатнулся и на носках пробрался в свою комнату. Ему было стыдно. Он ни за что не признался бы Волкову, что видел, как тот плакал.

На следующее утро Волков небрежно вернул ему письмо.

— Ах, да, вот, чтобы не забыть. Возьми! — И он заговорил о другом.

Нет, общее горе по Катерине Павловне не сблизило их. Им теперь было неловко друг с другом.

Впрочем, Луганову было теперь неловко со всеми, даже с самим собой. Он чувствовал, что он запутался в своих мыслях. Иногда ему казалось, что все зверства и расстрелы — только возмездие за бесчисленные ошибки и преступления прошлого. Тогда он не только принимал революцию, но и оправдывал ее.

Ему стало казаться, что он постоянно слышит шум, громоподобный шум крушения старого мира. Его озлобленность и одичалость смешивались с каким-то почти религиозным восторгом.

Голод, нищета, расстрелы, черные пустые ночные улицы, одинокие шаги прохожих, ледяной ветер... Не это ли снилось ему в годы его счастливой молодости? Не этого ли он тайно и мучительно желал тогда?

«Если на свете не может быть ни добра, ни справедливости, — писал он в дневнике, — пусть будет зло, как можно больше зла. Щедрость в зле, нерасчетливость затопляющего мир зла». Презренная умеренность, экономия страданий и лишений возмущали его. Пусть лучше мир захлебнется в страданиях, в океане крови.

В этом темном, диком, замерзающем, голодном Петербурге было что-то, удовлетворяющее скрытой потребности его души. Его тоска по Катерине Павловне смешивалась с тоской по умирающему, одичавшему городу, такому прекрасному в своей нищете и позоре.

Глава четвертая

Эта аскетическая, жестокая полоса его жизни продолжалась до 1921 года, до нэпа, когда мягко, на тормозах, Советская республика вдруг стала превращаться в почти обыкновенную, почти не голодную, почти благополучную страну.

Луганову переход от мести, голода и ненависти дался трудно. Нервы его настолько распались, что ему пришлось уехать в Финляндию отдохнуть. Но отдых произвел на него обратное действие. Он заболел.

Из Финляндии он уехал за границу в состоянии болезненного волнения, которое гнало его все дальше, не давая возможности ни работать, ни спать.

Он очнулся зимним утром в Берлине. Он с недоумением глядел из комнаты своего отеля на бесконечно унылые чистые улицы, на бесконечно унылые немецкие окна, завешенные аккуратно занавесочками. Он чувствовал, что выпал из общей всем русским жизни. Он уже не имел родины, надежного убежища, где его могли принять и понять. Впрочем, и на родине он был зверино, пещерно одинок, и там никто не понимал его. Принять? Да, конечно, прием ему всюду был обеспечен. Ведь когда-то его имя появлялось во всех журналах, его книги распродавались. С революции он замолчал, за все это время он не написал ничего. «Бывший писатель Луганов», — насмешливо называл он самого себя.

Тогда, в 1921 году, в Берлине русские еще не знали, что с ними будет дальше, что их ждет. Они еще не были эмигрантами, а только беженцами, бежавшими из России, не знающими, куда дальше бежать, где осесть.

Все было смутно и спутанно...

Луганов прожил две недели в Берлине, почти ни с кем не встречаясь. Он отказался устроить вечер в Доме искусства, он не дал ни одной строчки ни для газеты «Накануне», ни для альманаха «Окно». Он не желал даже присутствовать на обеде писателей и артистов, желавших честовать его.

Не ходил он ни в кафе «Prager Diele», ни в рестораны «Ферстер» и «Медведь», где собирались русские.

Он жил одиноко и замкнуто и тосковал днем и ночью. О чем? О Рос-

сии, об уходящей молодости, о погубленной жизни и о том, что он уже не мог больше писать, что он бывший писатель Луганов?

Он стал кашлять сильнее. Берлинский доктор посоветовал ему поехать в санаторий в Гарц. Он сразу согласился. Он покинул Берлин в состоянии сонного оцепенения. Он как-то плохо сознавал, что делает и куда едет. Театральная суета вокзала, носильщики, путешественники и провожающие, в особенности какая-то барышня в меховой курточке, бежавшая за уходящим поездом, размахивая белым платочком, — все это подействовало на него удручающе. Он как-то потерялся, вернее, потерял себя. Ему стало казаться, что ему мешает его собственное тело, что ему неудобно, тесно в нем, что он хочет избавиться от него.

Но в санатории, среди полной отрезанности от обыденной жизни, где часы были разделены массажем, теплым душем, лежанием на балконе, где все заботились и говорили только о здоровье, он стал быстро поправляться. В первую же ночь ему удалось уснуть. Утром со своего балкона он увидел сосны, покрытые таким легким розоватым снегом, что ему показалось, что уже весна и это не сосны, а яблони в цвету. За санаторием начиналась отлогая дорога, ведущая на гору. С горы съезжали санки, и это напоминало детство.

Луганов поправлялся. Он жил, не задумываясь, что будет дальше. Сейчас он был занят здоровьем и чтением Гете. Он плохо знал немецкий язык, ему приходилось рыться в словаре. За завтраком и обедом он для практики разговаривал с соседями, вечером играл в шахматы или бридж. То, что говорили немцы, не интересовало его. Он как-то не верил, что они действительно могут сказать что-нибудь интересное, как не верил в реальность их чувств. Они для него были какие-то ненастоящие люди. Настоящие были только русские. Но с русскими ему здесь, слава Богу, не приходилось встречаться. Он был единственный иностранец в санатории.

Немцы рассказывали ему о своей революции — ведь у них тоже была революция, они тоже страдали, но все это казалось Луганову игрушечным. Слушая их рассказы, он, главным образом, следил за построением фразы, за изменением времени глагола, за тем, в каком падеже ставится слово... Время шло. Одни больные уезжали, другие приезжали. Практиковаться в немецком языке, играть в шахматы всегда было с кем.

— Вот вы совсем и поправились, Herr Луганов, — говорил доктор, заходивший каждое утро навещать Луганова. — Рекламой для санатория могли бы служить. Здоровый у вас организм.

Теперь причины оставаться в санатории уже не было. Наступила оттепель. Снег лежал пестрыми пятнами на мокрой земле, шел дождь, с горы бежали ручейки, но Луганов не уезжал. Здесь ему было спокойно, читать Гете было утешительно. Ничего не напоминало о прошлом, о России. Однажды, после прогулки, швейцар сообщил ему, что его в гостиную ждет «русский господин». Луганов поморщился. Наверно, какой-нибудь русский пришел его навестить, как «соотечественник соотечественника». Хорошо бы просто велеть передать этому непрошенному посетителю, что он нездоров и не может его принять. Но ведь швейцар уже сказал ему, что Луганов ушел гулять. Неловко.

Он спустился в гостиную. Он успел только открыть дверь, он еще не успел войти, как Волков, стоявший у окна, повернулся, бросился к нему и обнял его.

— Андрей! Наконец-то я нашел тебя!

Они встретились теперь так, как должны были встретиться в 1917 году, когда встреча их была такой неловкой и натянутой, что, казалось, дружба их навсегда была кончена. Волков был тут с ним, и они говорили на одном языке не только оттого, что говорили по-русски, но оттого, что они любили друг друга. И совсем свободно, без обычной сдержанности и застенчивости, Луганов крепко держал друга за плечо, будто боясь, что, если он выпустит его из рук, он растает и все превратится в воспоминание, в воспоминание о небывшем посещении друга.

— Я приехал за тобой, — быстро говорил Волков. — Как ты мог здесь так долго выдержать?..

— Выдержал и, знаешь, даже не очень мучился.

Но Волков этому не поверил.

— Только не замечал, как мучился, а мучился ты, конечно, сильно.

Волков рассказывал, что он, чтобы приехать за Лугановым, нарочно напросился на командировку в Берлин и как трудно ему было разыскать его.

— Ты что же в Берлине, как сыч, все один сидел? Никто из наших тебя даже не видел.

— Теперь мне кажется все это странным. Будто не я жил в Берлине и здесь. Не понимаю как-то.

— Конечно, — перебил Волков, — и понять нельзя. Скорее едем домой.

Отъезд домой, в Россию, был решен тут же, Луганов был согласен со всем. На следующее же утро, проведя ночь в разговорах до рассвета, они уехали из санатория.

В Гальберстате, за кружкой пива на вокзале, Луганов вдруг вспомнил рассказы об этом сказочно-рождественском старинном городке.

— Пойдем, Миша, посмотрим. Такого не увидишь нигде. Говорят, прелестно.

Но Волков только отмахнулся.

— А ну его! Я не турист-любитель старины. Не наше ведь, немецкое, нам-то что?

И они остались ждать поезда на вокзале.

В Берлине Волков свел его в полпредство.

Секретарь полпредства Штром встретил Луганова приподнято-вежливо, сияя ровными белыми зубами и блестящими глазами. Сверкающая лысина придавала его молодому лицу какое-то особенное выражение ума и блеска. Он был «похож разом на араба и на его коня» и гордился этим сходством.

— Я рад, товарищ Луганов, приветствовать вас на пути домой, — сказал он, подвигая ему кресло.

— Я лечился в санатории.

— Конечно, — согласился Штром. — Немецкие санатории — первый сорт, недаром говорят: немец обезьяну выдумал.

Луганов рассмеялся.

— Вы хотите сказать, что меня в санатории превратили в обезьяну? В сущности, правильно. Почти успели превратить. Если бы он не приехал за мной.

Волков кивнул, тоже смеясь.

— Будь спокоен. Теперь уже тебя не выпущу. Не удерешь больше за границу. Никаких обезьян.

Штром вдруг стал серьезен.

— Нет, — сказал он, и брови его зашевелились. — Вам, товарищ Волков, не придется беспокоиться. Я людей знаю. Такие, как товарищ Луганов, не становятся эмигрантами, не покидают своей страны. Такие люди нужны России.

И, действительно, Луганову по возвращении домой стало казаться, что он нужен России: таким триумфом обернулось для него возвращение домой. Он стал еще знаменитее, еще любимее и критиками, и читателями. Это была всеобщая любовь — любовь России к нему, и он не мог не отвечать на нее всем сердцем.

Он жил в Москве, ему отвели прекрасную квартиру, у него был собственный автомобиль. Жизнь текла празднично и широко. Он много писал, его портреты появлялись в журналах, он выступал на вечерах. Вечера, где он выступал, всегда делали полные сборы. Его пьеса, поставленная в Художественном театре, была театральным событием.

Ему приходилось заседать в каких-то комиссиях и нести «литературную нагрузку», как всем советским писателям, но к этому он относился добродушно: что же, раз полагается... Он почти каждый день виделся с Волковым, когда тот бывал в Москве. Дружба их опять была дружбой «на всю жизнь». Луганов чувствовал благодарность за «спасение погибающего», как он называл приезд Волкова за ним.

Политикой Луганов перестал совсем интересоваться. Он жил теперь исключительно интересами искусства. Он раз навсегда решил, что политика не касается его.

Глава пятая

В 30-м году Луганов женился.

Он увидел впервые свою будущую жену на показательном спектакле балетной школы, где она вместе с другими ученицами танцевала в «Лебедином озере».

Когда она выбежала на сцену, его поразило ее отличие от других. Она казалась гораздо легче, воздушнее, будто сделанная из иного материала, чем остальные. Она скорее походила на клочок тумана, пляшущего в сырую ночь около озера, чем на живое существо. Такая призрачная. И это не только не шло ей на пользу, но скорее вредило ей. Будто она танцевала одна, не связанная с остальными. Она не понравилась ему. Он вообще не любил балета и только в угоду приятелю, балетному критику, приехал на этот спектакль. Но теперь, когда призрачная балерина выбежала на сцену и так воздушно летала по ней, он уже не мог не смотреть на нее, не следить за ее будто оторванным от земли и жизни полетом. Он навел на нее бинокль. Лицо ее под тяжелым, грубым гримом было так похоже на лицо куклы с широко расставленными, увеличенными глазами и неподвижной улыбкой, что он сейчас же снова опустил бинокль.

Но он все-таки, хотя она ему и не нравилась, продолжал смотреть на нее одну, не замечая остальных. Ему казалось удивительным, откуда в таком хрупком существе столько энергии и силы. «Кажется, ветер подует — сломается, — подумал он насмешливо, — а вот поди-ка, какие прыжки откальывает».

В антракте он с приятелем отправился за кулисы. Танцовщицы в пышных пачках сбежались к ним, как цыплята. Вблизи они казались почти неуклюжими на розовых, слишком мускулистых ногах, вывернутых носками наружу. Они сразу стали просить у него автограф, протягивая к нему детские-худые руки, обнаженные до плеч. Они все улыбались ему заученной улыбкой, будто еще были на сцене. Они ссорились, смеялись и перепробовали друг друга. Но ее, той туманной, призрачной, которая не понравилась ему, не было среди них. Она сидела перед зеркалом с лицом, намазанным вазелином, и куском ваты стирала грим. Тут же перед ней, среди банок и флаконов, лежал ее белокурый парик. Ее собственные каштановые волосы падали ей на плечи. Он подошел к ней.

— А мы, — спросил он, — слишком горды, должно быть, чтобы просить автограф? Не интересуемся?

Она покраснела так густо, что остатки грима на ее лице заиграли радужными оттенками.

— О нет, — сказала она очень быстро. — Но, пожалуйста, не смотри на меня. Это так безобразно. Я готова провалиться сквозь землю.

У нее был картавый, скорее низкий голос, а ему казалось, что такая худенькая девочка должна говорить высоко, почти пискливо. Он улыбнулся.

— Значит, все-таки хотите автограф?

— Хочу. — Она прижала руки к груди. — Ужасно хочу. Ведь вы мой любимый писатель. Правда. Самый любимый.

Он поверил, хотя было совсем непонятно, что такая картавая танцующая девочка могла любить в его книгах.

После спектакля был ужин. Обыкновенно Луганов брезгал такими развлечениями, но тут он согласился остаться.

Она сидела довольно далеко от него, на «детском» конце стола, но он все-таки мог хорошо разглядеть ее. Она была теперь совсем не похожа на ту, что танцевала на сцене. В ней не было больше ничего призрачного и туманного. И все-таки и сейчас она резко выделялась среди подруг. Она сидела на стуле не так, как остальные. Ее лицо теперь совсем не было кукольным. Напротив, ее почти детское лицо было скорее чересчур серьезным и выразительным. Ее светлые глаза смотрели так, будто ее душа подошла к самому их краю и оттуда выглядывает на мир со страстным любопытством и волнением. Он почувствовал какую-то тревогу, когда ее взгляд остановился на нем, найдя его. Она внимательно и серьезно рассматривала его, немного подавшись вперед, не отдавая себе, по-видимому, отчета в неприличии такого упорного рассматривания. Ему хотелось узнать, что она думает о нем и таким ли она представляла его себе по его книгам. Ему хотелось узнать, как она жила все эти годы со дня своего рож-

дения до сегодняшнего вечера. Без него, не зная его. Ему стало неприятно, что он не играл никакой роли в ее молодой жизни. Он спросил у своей соседки, заслуженной балерины, как зовут вон ту, рыжеватую с веснушками. И заслуженная балерина, старавшаяся втянуть его в разговор, недовольно ответила:

— Вера Назимова.

И сразу перешла на воспоминания о начале своей балетной карьеры: «Когда я была такая, как эти дурочки»... Но Луганову до балетных воспоминаний не было никакого дела. Он написал на программе: «Если вы придете ко мне с подругой в субботу в пять, я подарю вам книгу с надписью».

Он послал сложенную программу Вере Назимовой. И видел, как она переходила из рук в руки, пока дошла до нее.

Она протянула руку и взяла ее. Она не сразу развернула ее, а недоверчиво и испуганно смотрела на нее, будто не решаясь прочесть, что там написано. Подруги смеялись, толкая друг друга локтями, о чем-то шептались.

Она сидела такая незащитная, полная душевного переполоха, держа записку в детской руке. Рыжеватая прядь волос упала на ее детски-выпуклый лоб, веснушки вокруг глаз выступили яснее на белой до голубоватости коже. Было совершенно ясно, что это — трагически-важная минута ее существования, минута, отделяющая детское «вчера» от женского «завтра», и что она старалась продлить эту минуту, помедлить на пороге женского будущего.

Наконец, она развернула программу и прочла то, что он написал. И тогда она улыбнулась. Он не видел еще, чтобы так улыбались, с такой полной счастья, с такой безмерной благодарностью. Она улыбнулась, будто установив этой улыбкой связь со всей земной радостью, со всем небесным блаженством.

— Да, да, да.

Она трижды кивнула ему через стол и, сложив записку, спрятала ее за вырез лифа.

Луганов наклонил голову в знак того, что он слышал ее ответ. «Как, должно быть, приятно делать подарки этой девочке, которая так умеет радоваться», — подумал он, вставая из-за стола и стараясь как можно незаметнее пробраться к выходу. В дверях он обернулся. У нее было все то же безмерно-счастливое лицо, и она продолжала все так же улыбаться.

Но в субботу, вспомнив о своем опрометчивом поступке, он пожалел о нем. Зачем он пригласил эту девочку и ее подружку к себе? Будет тягостно и неловко, и к тому же всему балетному классу станет известно, что Луганов дарит свои книги, и остальные ученицы начнут обрывать звонки его дверей.

И ведь она даже не нравилась ему. Эта картавая, веснушчатая, худая девочка. Глупо, как глупо вышло.

Все-таки он накопил конфет и пирожных и велел прислуге сварить шоколад к пяти часам. Лучше всего будет, если прислуга сама напоит их шоколадом и передаст Вере Назимовой книгу. Ведь он не обещал лично принять ее. Не обязан же он тратить свое время на разговоры с девочками и на питье шоколада с ними!

Он хотел уйти из дома, но когда в пять позвонили, он еще сидел в своем кабинете, и сам, не дожидаясь прислуги, пошел отворять дверь. Звонил посыльный из журнала, принесший ему корректуру. «Не очень-то спешит, — раздраженно подумал он. — Еще совсем ребенок, а уже заставляет себя ждать».

Да, он, действительно, стал теперь ждать. Пробежала половина шестого, а ее все не было. Ему вдруг показалось, что он неясно написал номер своего дома. Может быть, они ходят по улице, разыскивая его. Он надел пальто и спустился вниз.

Улица была пуста. Бледное солнце уже соскользнуло за крыши домов и оттуда, из ледяной, прозрачной бесконечности, озаряло весь город тихим, прощальным светом, тревогой и сожалением о прожитом, еще одном напрасно прожитом, неповторимом дне.

Чуть ли не впервые женщина не пришла к нему на свидание, и он ощущал это, как обиду. Но ведь не женщина, а глупая веснушчатая девочка.

Луганов вернулся к себе. Теперь уж она не придет. И она, действительно, не пришла, хотя он продолжал ее ждать, стоя у окна.

Он уехал из дому только в восемь часов. Проходя через столовую, он поморщился на разложенные по вазочкам и тарелкам пирожные и конфеты, так и оставшиеся нетронутыми.

Луганов вскоре забыл о Вере Назимовой. Но чувство обиды на всех «малолетних» осталось.

Когда его через месяц пригласили участвовать на вечере консерватории, он отказался.

— Я человек пожилой. Пусть молодые стараются для молодых. Ну их в болото с их молодостью!

Весной Луганов собрался в Крым. Надо было отдохнуть от Москвы, от работы, от развлечений, пожить одному с морем и небом, чтобы снова быть в состоянии работать и развлекаться.

Чемоданы были уже уложены, и в доме уже чувствовалась пустая, гулкая тишина, наступающая с отъездом хозяев.

Луганов еще сидел в своем кабинете, в своем кресле и читал газету при свете своей лампы. Но он уже чувствовал, что не здесь его место, что и кресло, и кабинет, и лампа знают это и ждут, чтобы он дал им отдохнуть от себя. Его место было в поезде, у ночного окна купе. Он уже слышал лязг, стук и грохот колес в своей крови. Он уже видел белую полосу дыма, тянущуюся за окном, и горячий рой красных адских искр, вырывающихся из дышащего огнем и пространством паровоза. Движение уже захватило его всего. Он сидел неподвижно, весь во власти движения, уносящего и укачивающего его мысли по сверкающей узкой полосе рельсов, туда, к морю, к солнцу, в будущее. «Reisefieber — вот как это называется», — вспомнил он. Лихорадка путешествий или какая-нибудь иная лихорадка. Но он, действительно, чувствовал, что его лихорадит. В прихожей позвонили. В сущности, это его уже не касалось. Его уже переставало интересовать, что происходило здесь, в его московской квартире. Но он все-таки пошел отворять.

В дверях стояла Вера Назимова. Она очень изменилась с того единственного раза, когда он ее видел, но он сразу узнал ее. Лицо ее было бело до прозрачности. Она еще похудела и казалась теперь совсем некрасивой. Ему особенно не понравились ее слишком большие глаза и бледные губы.

— Здравствуйте. — Он насмешливо улыбнулся, не скрывая удивления. — Лучше поздно, чем никогда? Я, собственно, ждал вас в одну из суббот два месяца тому назад.

Она быстро переступила порог и, не глядя ни на него, ни в зеркало, стала развязывать ленты своего черного капора. Она взволнованно переводила дыхание. Он ждал, что она объяснит, отчего она не пришла тогда и причину своего сегодняшнего посещения. Но она молчала, стараясь справиться с завязанными под подбородком лентами. Наконец, ей это удалось, и она нетерпеливо с какой-то отчаянной решимостью сдернула капор с коротко стриженной мальчишеской головы. Лицо ее было таким решительным и жалким, что он рассмеялся. Он сейчас же спохватился, но она, по видимому, не слышала его смеха. В том состоянии душевного напряжения, в котором она находилась, смех просто не дошел до ее сознания, она просто не заметила его.

— Вот, — сказала она, будто это «вот» объясняло все. Капор выскользнул из ее руки и упал на ковер. Она стояла посреди прихожей с опущенной головой, такая беспомощная, трогательная и взволнованная.

— Вы были больны? — догадался он.

— Да. Тиф, — коротко ответила она и, переведя дыхание, добавила: — Чуть не умерла. В ночь на ту субботу началось. Я сегодня впервые вышла одна...

Она говорила отрывисто и быстро и сильно картавила. «Должно быть, от волнения», — подумал он.

Он взял ее под руку.

— Пойдемте. Вам надо спать. Неразумно...

Он не договорил, что было неразумно, он и сам не знал. Ее волнение передалось ему, как только он дотронулся до шершавого коричневого рукава ее пальто.

Он удивился, как легко и послушно, без малейшего сопротивления и заминки, без хотя бы мгновенной физической неловкости она дала ему себя вести. Будто в этом не было ничего нового, будто она давно привыкла идти с ним под руку и в ногу, будто она стала частью его самого.

Он усадил ее в кресло. Она вся собралась комком, запахнув полы своего пальто. Он видел, что она дрожала.

— Вам холодно?

Она взглянула на него непонимающим взглядом.

— Холодно? Нет, почему? Мне совсем не холодно.

И замолчала снова.

— Если бы вы пришли завтра, — сказал он, чтобы прервать тишину, тяготившую его, — вы бы меня уже не застали. Через час я уезжаю в Крым.

— В Крым? — испуганно переспросила она. — Через час?

Он рассмеялся.

— Ну да. Что же тут необычайного? Не навсегда. На шесть недель.

Отдохнуть.

Она стала еще сильнее дрожать.

— Вы уезжаете? Я лучше пойду, я мешаю вам...

Она встала. Он взял ее за плечи и снова усадил в кресло.

— Нет, совсем нет. У меня еще бездна времени, просто девать некуда. Целых полчаса. За полчаса можно...

Он опять не докончил, не зная, что можно сделать за полчаса.

— Мы сейчас выпьем портвейну.

Он позвонил. На звонок никто не явился. Прислуги, наверно, побежали за какими-то последними покупками ему на дорогу. Но он чувствовал, что ему сейчас совершенно необходимо увидеть спокойное, будничное лицо горничной, чтобы восстановить реальность взбаламутившейся вокруг него жизни.

Он открыл буфет, достал бутылку и стаканы.

— Вот, выпейте, сразу почувствуете себя лучше.

Она отпила глоток и облизала бледные губы.

— Я не умерла оттого, что непременно должна была придти к вам.

Я не могла умереть, не придя к вам. Я должна была придти.

Фантастика продолжалась. Надо было скорей покончить с ней.

— Пустяки. Зачем вспоминать о болезни?

Он говорил намеренно развязно, стараясь подражать какому-то воображаемому, самоуверенному пошляку.

— Мы еще на вашей свадьбе попируем. Ну, давайте чокнемся.

Она подняла стакан. Они чокнулись. Рука ее так дрожала, что она пролила портвейн на свое пальто. Она на мгновение опустила глаза, посмотрела на темное пятно, расплывающееся на ее коленях, но не вытерла его и, может быть, даже не увидела.

Как она нервна. Он почувствовал неприятный укол жалости. Теперь, с коротко стриженной головой, она казалась совсем ребенком, жалким и некрасивым. Сколько ей лет? Вряд ли больше пятнадцати.

— Сколько вам лет?

— Восемнадцать, девятнадцатый, — ответила она быстро.

— Так много? Ой ли? — Это казалось просто невероятным. — Вы не сочиняете ли, юная балерина?

— Нет, честное слово! Я родилась 23-го февраля 12-го года. Ей-Богу!

И она перекрестилась, чтобы вполне уверить его в правде своих слов.

— Но тогда, — сказал он вдруг, совершенно не думая о том, что говорит, — свадьба ваша действительно не за горами. Раз вы такая старая, вы уже можете выйти замуж, хотя бы за меня? Хотите?

— Вы это серьезно? — Она почти задохнулась.

— Я всегда серьезен, когда шучу, — ответил он, все еще стараясь подражать тому же воображаемому пошляку.

Она не поняла, что он шутит. Она не расслышала конца его ответа: «Когда я шучу». Она слышала только: «Я всегда серьезен». Она встала и быстро подошла к нему.

— Только зачем вам жениться на мне? Зачем? Не надо. И без свадьбы. Ведь я люблю вас. Ах, до чего люблю!..

И она вдруг заплакала, уткнувшись лицом в его плечо...

В этот вечер в спальном вагоне поезда, идущего в Севастополь, осталось одно незанятое место.

Глава шестая

За все годы их совместной жизни Луганов ни разу не пожалел о своей опрометчивой, безрассудной женитьбе. Он был счастлив. Вдруг обнаружилось, что он очень расположен быть счастливым. До своей женитьбы он не догадывался об этом. Присутствие Веры в его жизни совершенно преобразило его.

Любовь Веры, наивная простота ее мироощущения, ясность и определенность ее молодых стремлений, ее веселость, ее легкомыслие очаровали его. «Так и надо жить, — постоянно повторял он себе. — Так просто, так легкомысленно и надо жить». Ему казалось, что она научила его многому, что она научила его счастью. Но теперь, когда он стал счастливым, он начал бояться за длительность своего счастья. Страх примешивался к ощущению счастья все сильнее, пока, наконец, стал почти неотделим от него. Страх за будущее. Страх перед текучестью времени, неизбежными изменениями и несносным непостоянством всего земного. Непрерывно вспыхивающее и погасающее в сознании «а вдруг», всегда враждебного «а вдруг», готового посягнуть на его счастье и покой, понемногу превратилось в ожидание, в необходимость, в неизбежность беды. Бреясь по утрам перед зеркалом, он стал замечать в своем лице что-то новое, какое-то незнакомое выражение. Понемногу он понял, что это выражение страха, глубоко запрятанного, еще не до конца проявившегося, еще не осознанного страха. Страх, довольствующегося пока подергиванием век, изменчивостью взгляда и манерой постоянно оглядываться: признаками нервности и усталости. Но он знал, что это — не нервность и не усталость. Или, вернее, это были нервность и усталость, вызванные страхом.

Страх чего? Неужели страх бритвой, скользкой по намыленной щеке? Но ведь у него была верная рука. Возможность соскользнуть с намыленной щеки и полоснуть себе по горлу бритвой никогда не приходила ему в голову. Об этом своем страхе он думал только по утрам, когда брился, когда видел свое «бритвенное» выражение лица, как он называл его. Но однажды он увидел его совершенно неожиданно. Они с Верой были приглашены на обед. Вера, скинув шубку, охорашивалась в прихожей перед зеркалом. Он взглянул через ее плечо в то же зеркало и увидел на своем лице знакомое выражение. Это было то самое выражение, тот самый взгляд. Но оттого, что его подбородок не был покрыт мыльной пеной и в руке не было бритвы, оттого, что это выражение было так неуместно сейчас, оно поразило его.

Вера кончила охорашиваться, и они пошли в гостиную. Проходя мимо зеркал в гостиной, Луганов увидел все то же выражение страха на своем лице. Он думал, что и другие заметят его, но никто не обращал на него внимания. И тогда он понял: это было его обычное, постоянное выражение лица. Он замечал его только во время бритья оттого, что только по утрам, бреясь, внимательно смотрел на себя в зеркало.

Но ведь прежде этого выражения не было. Он помнил себя молодым. Нет, он был уверен, тогда у него не было этого ускользающего взгляда. Он отыскал свои фотографии. Вот он студентом, вот вольноопределяющимся, вот в Гарце, в снегу, в белой фуфайке. Нет, тогда его молодое, мечтательное, угрюмое лицо выражало скорее решимость, чем страх.

Откуда же взялось теперешнее выражение страха? С каких пор? С женитьбы, ответил он себе. Это страх за счастье. Но только ли за счастье? Он не знал, и это незнание было очень тягостным. Конечно, страх был ни на чем не основан, но он не умел бороться с ним. Он поддался ему. Он стал мнительным. Ему начало казаться, что основания для страха увеличиваются с каждым днем, что не только он, но и другие вокруг него испытывают тот же страх, только скрывают его. Он стал пугаться неожиданных звонков вечером, следить, чтобы в его писаниях не проскользнула фраза, которую можно было бы истолковать двусмысленно, он стал еще сдержаннее в разговорах.

Это было время показательных процессов. И хотя ему была ясна

вздорность обвинений подсудимых, он вместе с другими писателями подпisałся под требованием казни «врагам родины». Не мог не подписаться, но чувство страха еще увеличилось от чувства ответственности. Теперь, когда его неожиданно пригласили на Лубянку или в Кремль, он ехал туда с неприятным ощущением пустоты в голове и холода в костях. Ехал и думал — вернусь ли? Никогда не было известно, зачем приглашают: поздравить с успехом новой пьесы или упрекнуть за недостаточную выдержанность ее идейного содержания. Упрек, после которого репутация писателя может кубарем полететь с горы.

Он стал суеверен. «Слава Богу, — думал он по вечерам, — день прошел, и ничего не случилось. Только бы ничего не менялось, только бы все осталось по-прежнему».

— Знаешь, — говорил он жене, — быть счастливым очень тяжело. Мне жилось легче раньше. Я не боялся за тебя, за будущее, за наше счастье.

Она не понимала. Она поднимала свои узкие брови.

— Нет, счастье, — прежде всего отсутствие всякого страха, полная уверенность, что все всегда будет хорошо. Иначе какое же это счастье? Мы с тобой будем всегда счастливы. И здесь, и после — на том свете. Вечно. Я знаю. — Она смотрела на него с нежной серьезностью, стараясь его убедить в очевидной неизменности их счастья. — Иначе и быть не может.

Он не спорил с ней. Ему была приятна эта ее непоколебимая уверенность в прочности и неизменности раз установившегося. «В неизбежности счастья», как она забавно говорила.

В тот вечер она по дороге в театр завезла его в ресторан на холстой обед. Это был его последний счастливый вечер, а он и не знал.

Как всегда, перед выступлением Вера была тревожна и весела. Она наклоняла голову, и поля ее большой соломенной шляпы покрывали ее лицо тенью, и от этого она казалась грустной, состарившейся и разочарованной. Но она снова выпрямлялась, тень сбегала с ее лица, и он уже не мог не видеть ее молодой восхищенной улыбки.

— А вдруг сегодня мне не будут аплодировать? Меня освищут?

Она смеялась, она ежилась. Беспокойство сверкало в ее глазах.

— Подумай — освищут. Купи сирени! — перебила она себя. — Вон у той девочки.

Она протянула руку в белой перчатке. Девочка поняла и подбежала. Шофер остановил машину. Луганов взял у девочки всю большую охалку розово-лиловой сирени, положил ее на колени Веры и протянул девочке бумажку. Они поехали дальше. Солнце уже успело зайти за крыши, но было еще празднично светло, будто день, хотя срок его явно истек, решил самовольно не уходить, не превращаться в вечер, поспраздновать незаконно.

— Я нашла счастье! — крикнула Вера. — Целых двенадцать лепестков.

Она осторожно оторвала неуклюжую, разбухшую двенадцатиконечную звездочку и положила ее в рот.

— Вот он какой, вкус счастья, горьковатый.

— Разве не надо пожелать? — спросил Луганов.

— Нет. — Она покачала головой, и тень шляпы, скользящая взад и вперед по ее лицу, снова провела ее через целую гамму выражений от грусти до радости, через целый ряд лет — от теперешней ее молодости до старости и обратно.

— Нет, желать не надо. — Она взглянула ему в глаза. — Знаешь, Андрей, у меня нет ни одного большого желания. Только маленькое: хорошо танцевать сегодня и чтобы был успех. И еще — уехать в Венецию.

— А я желаю только, чтобы ничего не менялось, — сказал он серьезно. — Чтобы все оставалось так, не меняясь. Навсегда.

— Нет, нет, я не согласна. — Она снова покачала головой, и по лицу ее снова, как вода, заструилось выражение радости и печали. — Если время остановится и ничего не изменится, мы будем так вечно кататься по Москве и не доберемся до твоего ресторана, и я никогда не попаду в театр, и мы не поедem в Венецию. Подумай, как чудно будет в Венеции! Как хорошо, что желания не исполняются, что желать не надо. Мы ведь никак

не можем избежать счастья. Что бы мы ни делали и как бы ни сложилась наша жизнь, мы будем счастливы. Всегда.

Он взял ее руку. «Какая слабая, хрупкая лапка», — подумал он с привычной нежной жалостью.

— Нет, я не о том. Не о Венеции. Я хотел бы, чтобы наша жизнь не менялась в главном, в основном, — объяснил он.

— А разве она может измениться? Вздор. Знаешь пословицу: «Деньги к деньгам». А вот я уверена, что и удача к удаче, счастье к счастью. Это я по опыту говорю.

Ему хотелось еще немного остаться с ней, но она торопилась.

Это был его последний счастливый вечер, последний вечер с Верой, а он и не знал. Он думал, что их еще много впереди.

Автомобиль остановился. Луганов поцеловал ее руку, которую он все еще держал в своей.

— Ты, конечно, будешь прелестно танцевать.

Она сделала испуганные глаза.

— Нельзя, нельзя, перестань, сглазишь, — зашептала она и, не выдержав, рассмеялась. — Ну, прощай, Андрей! Прощай!..

Он стоял на тротуаре, смотря вслед автомобилю. Она махала ему веткой сирени, как платком из окна уходящего поезда, будто была действительно разлука, будто они расставались надолго, на недели, на месяцы, а не на несколько часов. И хотя это была ее обычная, шутливая манера, ему стало не по себе.

Глава седьмая

В ресторане его друзья уже поджидали его. Они сидели за «лугановским столиком», тем столиком, который он раз навсегда избрал себе и за который никому, кроме Луганова и тех, кто был с ним, садиться не позволялось.

Его друзья, их было трое: Багиров, Серебряков и Рябинин.

Должно быть, оттого, что была весна, все казались помолодевшими и возбужденными. Луганов почувствовал себя приятно. Водка в запотевшем хрустальном графине, рядом с зеленовато-серой икрой, окруженной кусками льда, вдруг разбудила в нем чувство голода и вернула его к простой радости существования. После третьей рюмки он почувствовал, что будущее — его союзник, что Вера права: ничего, кроме хорошего, с ними обоими случиться не может. Все было удивительно приятно: накрахмаленные скатерти, высокие окна, затянутые высокими шелковыми портьерами, мягкие кресла, зеркала в резных золоченых рамах, отражавшиеся в них хрустальные бра с красными колпачками, и метродотель, такой неестественно услужливый и ловкий, придвигавший ему то одну, то другую закуску, будто он читал в мыслях Луганова. Да, все было приятно здесь сегодня. Но приятнее всего были его друзья и та теплая, живая связь, которая неразрывно связывала их. Они все были писателями, как и он. И хотя он был знаменитее их, они не только не завидовали ему, но бескорыстно гордились им и радовались его успехам. Это, конечно, не была та единственная дружба «на всю жизнь», как с Волковым. У нее не было ни магического фона общего детства, ни грустных и жестоких воспоминаний общей юности. Она была практична и немного суха, построена на профессиональных интересах и на взаимном уважении. И главное — на доверии. Это был союз из четырех. «Мы, четверо. Четверо — лучшее, что есть в русской литературе».

Они не виделись больше недели и теперь, спеша и перебивая друг друга, обменивались новостями.

Прежде, в те баснословные дореволюционные года, так памятные Луганову, русские писатели сейчас же, при встрече, начинали бесконечные споры об общественных вопросах. Они всегда были готовы откликнуться на события, их возмущала несправедливость, они мучились и страдали вместе с угнетенными. Они всегда были готовы протестовать против зла. Они были вечно вибрирующей, чуткой общественной совестью. Но теперь в разговорах, даже самых интимных, касаться общественных вопросов было не принято, и писатели старались забыть о них. Ведь литературные темы были неисчерпаемы и одинаково интересовали их всех. И сейчас, погово-

рив о Дос Пассосе и похвалив его новую книгу, перешли к Сартру и Гексли. Сартра осудили, Гексли одобрили.

— Только слишком он уж умен, — заметил Рябинин. — Чрезмерный ум и образованность вредят писателю, пожалуй, даже больше, чем глупость и невежество. Стендаль это хорошо понимал и старался вымарывать из своих романов умные мысли.

— Ну, я бы все-таки не сказал.

Серебряков засмеялся и снял очки. Он всегда снимал очки, смеясь, будто они мешали ему выражать веселость, заставляя его против воли быть серьезным.

— Нет, бывал бы ты редактором, как я, самого передового советского журнала, быстро бы убедился, что ни умом, ни образованием писателю брезговать не приходится. Такое мне приходится читать... — Он махнул рукой и снова рассмеялся. — Такие дубины, неучи наши самородки...

— Ну, а твой роман как? — спросил Багиров, щуря свои осетинские глаза.

Луганов ответил, что сегодня только закончил его.

— Удивительно приятно написать на последней странице «конец» и поставить точку. Такое чувство, что действительно конец и больше никогда ни одной книги не напишешь, и в голове опустошенность и покой.

Рябинин прищурился и подмигнул.

— Конец? Твоей продукции еще конца-краю не видно. Кокетничаешь. Штук тридцать еще нафабрикуешь, и все знаменитых. Был у моего отца приятель, князь-рюрикович. Бедняк, служил акцизником, а детей у него: что ни год — все новые. Вот и решился мой отец урезонить его. «Послушай, хватит детей, ведь и этим есть нечего. Воздержись». «Трудно, — ответил тот, — ведь я все князей делаю. А это как-никак лестно». Вот и тебе лестно. Пишешь все знаменитые книги. Как тут воздержаться?..

Все засмеялись. Теперь вообще по сравнению с теми баснословными дореволюционными годами писатели стали смеяться больше и чаще, будто пряча за смехом то, о чем говорить не полагалось.

— Какое сегодня число? — спросил Багиров и сам ответил себе: — 16 мая 1939 года. Историческая дата. Запомнить. Записать.

Серебряков перебил его:

— Это уже дело биографа Луганова. Не бойся, запишут. Спрыснуть шампанским — вот это, действительно, необходимо.

Багиров постучал вилкой о стакан.

— Проголосуем. Товарищи, кто против? Поднимите руки. Так. Значит, единогласно принято. — И шампанское в своем никелированном ведре сразу будто само собой возникло на столе, придавая обеду пышную торжественность праздника. Чокнулись, поздравили Луганова.

— С новорожденным! — Рябинин подмигнул, и, как всегда, нельзя было разобрать, шутит он или говорит серьезно. Рябинин был бытовиком и реалистом, в многотомном романе поэтически описывающим привольную жизнь колхозников. Произведения его очень ценили «на верхах». Он говорил ласково и певуче, явно стараясь подражать говорку своих героев, мужичков, — произносил слова так сладко и кругло, что слушателям начинало казаться, что он, действительно, настоящий самородок, вряд ли лет до двадцати знавший грамоту. Впрочем, у него хватало такта не слишком настаивать на своей серости. Он был неблагополучен по происхождению: отец его был сенатором. И везет же человеку.

Рябинин снова подмигнул. И нельзя было, как всегда, разобрать, шутит он или говорит серьезно.

— Знаменитость, жена-красавица, и еще в Италию едет. Даром. В командировку. Завидно, право.

— А по дороге в Париж заглянут. Фоли Бержеры, канканы, негритянские оркестры всякие. С ума сойти. Вот бы мне, — поддержал Багиров.

Пошутили насчет этих литературных командировок, заключавшихся только в том, что все расходы оплачивались правительством. Луганов добродушно-весело огрызался.

— Кажется, и вам жаловаться не приходится.

— Не приходится, а все-таки завидно. — Рябинин опять подмигнул и загнул один палец. — Раз — ты знаменитее нас всех, два — в Венецию

едешь, три — жена-красавица, балерина, а моя — поперек себя шире и даже польку танцевать не умеет.

— Знаешь, японцы говорят, что у каждого народа то правительство, которого он заслуживает, — перебил его Багиров. — И у каждого мужа та жена, которая ему полагается. Так что, брат, нам с тобой на жен жаловаться не приходится. Если бы моя Лизавета не была только так ревнива...

Ревность жены Багирова и его вечные измены ей служили неисчерпаемой темой для шуток.

— Да, — снова начал Багиров, — нет слов, живется писателям в Советском Союзе хорошо. Как вспомню, что когда-то чуть эмигрантом не стал, мороз по коже. Вот бы сваял дурака! Там, в эмиграции, сам Бунин не то шофером, не то швейцаром служит.

— Неточные сведения у тебя, — перебил его Рябинин. — Бунин Нобелевскую премию получил — вот что, а ты шофером его сделал.

Багиров махнул рукой, смеясь.

— Ну, значит, другой какой-то кит «из бывших». Мережковский, что ли? О тех, кто поменьше, и вспоминать жаль: побираются — жрать нечего. А у меня особняк, машина. А написал я всего-навсего три книги стихов.

— Зато каких стихов! — восторженно подхватил Серебряков. Лицо его расплылось блаженно. Опыянение вызвало в нем только добрые чувства, и сейчас он уже плыл в стихии добра, любовно улыбаясь своим друзьям и всему миру.

Луганов слушал и пил шампанское. Он тоже улыбался. Все было отлично. Обед удался. Вера, наверное, уже будет дома, когда он вернется. Как Рябинин сказал: жена-красавица? Нет, она вовсе не красавица. Она лучше. Красавица — это что-то классически-правильное, застывшее в своем совершенстве, а Вера — это ветер, это свет зари. Он прищурился и вдруг ясно увидел ее перед собой. Она кружилась в спальне его прежней холостой квартиры, в вышитой дырочками детской нижней юбке и детском лифчике на пуговицах. Комната была полна розовым рассветом, и ветер влетал в открытое окно. Она кружилась, отражаясь в зеркалах, долго и молча. Ему казалось, что это ветер, что это заря кружится, отражаясь в зеркалах. Наконец, она остановилась, бледная стриженная девочка, вдруг потерявшая сходство с зарей и ветром.

— Ах, я счастлива, счастлива, счастлива!.. Ах, я устала, устала, устала!.. — почти пропела она, падая на постель, и сейчас же затихла. Даже дыхания ее не было слышно.

Это было на рассвете после того, как она пришла к нему. Он не отпустил ее. Они должны были завтра венчаться. Они проговорили всю ночь, сидя рядом на диване. Когда совсем рассвело, он повел ее в свою спальню.

— Ложитесь тут. А я буду спать в кабинете.

Он уже снял пиджак, когда услышал шорох в спальне и приоткрыл дверь. Она не заметила его, и он снова закрыл дверь, не окликнув ее. Он никогда не сознался ей, что видел, как она тогда кружилась по комнате. Ему было неловко, что он нечаянно подглядел за ней, как когда-то подглядел за Волковым. Но в памяти навсегда осталась весенняя заря, чудесным образом превратившаяся в танцующую стриженую девочку.

Он вообще был сдержан и скрытен. Никому, даже Волкову, он не рассказал подробностей своей встречи с Верой.

Но сейчас, чуть ли не впервые, он чувствовал жажду откровенности. Ему хотелось рассказать о чуде этой встречи. Он боролся с желанием показать все, что так долго и ревниво прятала его память, душа просилась распахнуться нараспашку, сердце, как уголек, залетевший из ада, жгло желание последней откровенности. Желание откровенности захлестывало его все сильнее. Рассказать все: как Вера засыпает и о том милом, прелестном и трогательном, что называлось — она спит. И еще о многом. О ней, о Vere.

Багиров упрямо продолжал спорить.

— Что же, что мои стихи хороши? На что они, спрашивается, пролетариату, раз ни пролетариат, ни даже сам Великий Человек в них ни черта не поймет? А вот особняк и машина...

Серебряков все так же улыбался.

— Великий Человек... — Наверно, он в своем умилении готов был похвалить и Великого Человека, но язык его не послушался, и фраза осталась незаконченной.

— Кстати, о Великом Человеке, — неожиданно начал Луганов. — Вот я вчера сочинил. — Луганов совсем не собирался читать эту эпиграмму. Сочинив ее случайно, он даже разорвал листок, на котором написал ее. Осторожность, никогда нельзя быть слишком осторожным. Но сейчас, в состоянии расслабляющей нежности и легкомыслия, ему показалось, что переход со скользкой темы воспоминаний о Вере на эпиграмму очень разумен и удачен. Это доказательство, что он не пьян, что он все понимает не хуже, чем кто-либо другой, что он ведет себя сдержанно и прилично.

Он прочел эпиграмму на Великого Человека отчетливо, не давая языку заплетаться. Он был так занят чтением, старался как можно правильнее произнести каждое слово, что не сразу обратил внимание на то, как его слушали. Он не заметил, что у Рябины побагровело лицо, так что только трусливо-косящие глаза остались по-прежнему серыми. Но палец Багирова, прижатый к его толстым губам, Луганов все-таки увидел. Палец у губ всегда значит — молчи. И Луганов замолчал. Впрочем, он замолчал бы и без этого знака. Восемь строк эпиграммы были прочитаны. До конца. И теперь совершенно естественно должны были послышаться смех и похвалы. Ведь эпиграмма была очень остроумна, очень ловко сделана. Это Луганов помнил. Но вместо смеха возникла тишина. Совсем особенная тишина страха. Тишина страха среди звенящего, шумного, полного звуков ресторана. Тишина их столика, возникшая, как оазис в пустыне. Кругом говорили, смеялись, чокались, ножи с легким звоном ударялись о тарелки, человек во фраке с белой грудью, высоко изогнув руку, играл на скрипке, и это прибавляло к шуму ресторана еще и музыку. Музыку, то сливавшуюся с шумом, то гордо расходившуюся с ним, то взволнованно отвечавшую ему нежными упреками, жалобами, радостной печалью.

Но шум и музыка остановились у невидимой границы, окружавшей их столик стеклянными стенами страха. Звуки ударялись о них и, как дождь, стекали по ним, не нарушая тишины страха.

Сколько времени длилась эта тишина? Может быть, час, вернее — минуту, но это была минута, после которой уже нет возврата к прежнему. Еще минуту тому назад все было возможно, все надежды могли исполниться, а теперь — конец. Страх зачеркнул будущее. Луганов вспомнил, с каким удовольствием он написал утром «конец», с каким чувством опустошения и покоя. Конец. «Да, исторический день, 16 мая 1939 года. День моей гибели. Конец».

Прямо перед Лугановым было зеркало и хрустальные бра под красными колпачками, отражавшие в своих глубоких зеркальных переходах, бесчисленно умножая их, другое такое же зеркало и такие же красные колпачки. Луганова вдруг до тошноты потянуло занять место там, в зеркале, уйти в него, стать одной из этих красных точек, отражением красного колпачка. Багиров щелкнул зажигалкой, и тонкий, резкий звук вдруг разбил тишину. Звук превратился в язычок пламени, и пламя дотла сожгло остатки тишины.

— Хорошая у тебя зажигалка. А моя всегда капризничает. — Рябинин нагнулся над зажигалкой и закурил. — Хотя английская, а вот капризничает. — Он вынул из кармана зажигалку и в доказательство щелкнул ею. Но теперь это уже не имело значения. Тишина все равно была разрушена. Стены молчания больше не существовало. Страх еще оставался здесь, но и он уже успел спрятаться в складках салфеток, на дне стаканов, в глубине глаз.

Метрдотель быстро и легко убрал одни тарелки и заменил их другими Серебряков сидел, отвернув голову в сторону, напрасно стараясь придать себе выражение «моя хата с краю, меня это не касается». Багиров уже не держал пальцы у рта, и краснота лица Рябины успела собраться на щеках в его обычный, немного апоплексический румянец.

Багиров взял стакан Луганова и налил ему еще шампанского.

— За Венецию! — Рябинин протянул Луганову стакан и чокнулся с ним.

— Хотелось бы и мне в гондоле по венецианскому каналу... В Риме был, в Генуе, в Милане, а в Венеции не удалось. Главное для меня —

музеи. Люблю музеи и на голубей на площади святого Марка поглядел бы охотно.

— Только бы война у них там не завелась, а то еще застрянете, — сказал Багиров.

— Ну, вряд ли они смогут воевать без нас. И те, и другие хотят нас на свою сторону перетянуть. Только дудки! Зачем нам воевать?

Серебряков, будто вдруг вспомнив, что он сидит именно за этим столиком, страстно вмешался в разговор:

— Война? Никакой войны не будет! Все дело в нас. А мы—все знают—желаем мира.

Заговорили о шансах на англо-германскую войну. Как будто ничего не произошло, как будто не было такой минуты страха.

Луганов молчал. Ничего непоправимого не случилось. Конечно, было непростительно читать эпиграмму в ресторане. Ведь и у стен уши, а соседи, а лакеи? Непростительно. Но на этот раз все обойдется. Никто не слышал. Никто, кроме его друзей.

За кофе и ликерами он опять почувствовал себя почти спокойно.

— Вера просила напомнить вам, что завтра...

— И напоминать незачем, не забудем! — Рябинин поднял стакан. — Событие московского сезона—весенний прием у Луганова. Слов нет, принимать умеете.

— Жена моя даже новое платье себе специально сшила, — поддержал Багиров. — Как всегда, ей надеть нечего, хотя все шкафы от ее нарядов трещат.

Упоминание о завтрашнем приеме еще более успокоило Луганова. Вздор, вздор. Это только его вечная мнительность. Все хорошо. Ничего не случилось.

Но обед все-таки кончился раньше обыкновенного. Оказалось, что им всем троиm надо было куда-то торопиться: Багирову заехать за женой, которая в гостях, Серебрякову закончить к утру рассказ.

— Хочешь, пойдем пешком, поболтаем немного. Ночь такая чудесная, — предложил Луганов Рябинину. Но Рябинин тоже спешил — неизвестно, куда и зачем.

Все уселись в автомобиль Рябинина.

Луганову хотелось спросить Багирова, отчего он прижал палец к губам, слышал ли кто-нибудь: лакеи или соседи по столику? Он, действительно, кажется, спяну не рассчитал голоса. Надо спросить, но он не спрашивал. Он чувствовал, что никак не мог спросить, никак. Но отчего они сами не заговорят об эпиграмме? Значит, они тоже боятся. Не одного его, а их тоже мучает страх. Он пристально взглянул в лицо Рябинина, стараясь понять, отчего он не заговорит об эпиграмме. Рябинин не ответил своим обычным, дружелюбным, открытым взглядом на его взгляд. Взгляд Рябинина испуганно шмыгнул поверх лица Луганова куда-то в темноту ночи.

— Какие яркие звезды, — сказал он мечтательно. — «Ничто меня так не поражает, как звездное небо надо мной и нравственный закон во мне». Насчет нравственного закона — это еще бабушка надвое сказала, а насчет звезд — старичок Кант правильно заметил. Сколько лет живу и все удивляюсь, не перестаю удивляться.

— Говорят, звезды особенно ярки перед войной. В четырнадцатом году тоже... — подхватил Серебряков, будто обрадовавшись новой теме для разговора.

Да, теперь Луганову стало безусловно ясно, что они боялись, что они тяготились его присутствием. Рябинин говорил, будто боясь замолчать.

— Вечная тоска по звездам, как это у Лафарга: «Que nous n'igns pas dans les douces etoiles...». Или: «И звезда с звездой говорит». Одним словом, «мы еще увидим небо в алмазах». Без звезд никакой поэзии не было бы.

— Необходимы, — подхватил Багиров. Он тоже не желал молчать. Ему тоже, должно быть, казалось, что надо во что бы то ни стало говорить, все равно что, но говорить.

Автомобиль остановился у подъезда Луганова.

— Итак, до завтра! — Рябинин пожал крепко руку Луганову. — Вооб-

ражаю, что у вас завтра с утра твориться будет. Вера Николаевна, наверное, с ног собьется.

— Ну, с таких ног не собьешься. У нее, известно, стальной носок, — сострил Багиров. — Спокойной ночи.

— Спокойной ночи. Кланяйся жене! — крикнул еще раз Рябинин вслед уходившему Луганову.

Как настойчиво они желали ему спокойной ночи! Но для него ночь не будет спокойной. Это он знал наперед.

Вера уже была дома. Она сидела в спальне перед трехстворчатым туалетом и расчесывала волосы щеткой с зеркальным верхом. Он очень любил следить за тем, как она это делает по утрам. Свет, отражаясь в зеркале щетки, наполнял комнату солнечными зайчиками, и ему казалось, что эти солнечные зайчики были отражением Веры, ее молодости и радости, разбегавшимися солнечными пятнами вокруг нее.

Она увидела его в зеркале и, перегнувшись назад, взглянула в его лицо снизу вверх, как смотрят в небо.

— Еще никогда мне так много не хлопали! Еще никогда я так не танцевала! — радостно крикнула она.

«Еще никогда...» — так она часто начинала описание радостных событий. Для нее все было всегда, как в первый раз.

— Я страшно жалела, что ты не был в театре, не видел...

Она взмахнула волосами и подбежала к нему. Она взяла его за руку и, прыгая на одной ноге, стала быстро передавать ему все подробности этого удачного выступления.

— Ах, жаль, жаль, что тебя не было! — И вдруг отступила на шаг и спросила совсем другим тоном: — Андрей, что с тобой? Что случилось. Андрей?

Он пожал плечами.

— Случилось? Ровно ничего. Пообедали. С шампанским. Должно быть, шампанское во мне заметно.

— Нет, нет, не шампанское. — Она нетерпеливо дернула его за руку. — Не притворяйся. Что случилось? Что случилось? Отвечай, Андрей.

Теперь она смотрела на него так серьезно и испуганно, что ему снова стало страшно и он уже не мог не рассказать ей всего. Она слушала сосредоточенно, сдвинув брови и по-детски приоткрыв рот.

— Повтори стихи, повтори.

Он повторил. Складка на ее лбу разошлась.

— Стихи совсем невинные. Конечно, не следовало их читать в ресторане, но ничего не будет. Верь мне, это пустяки.

«Верь мне». Ему хотелось верить. Ему показалось, что он, действительно, поверил ей.

— Конечно, вздор. Просто смешно беспокоиться. Давай ляжем скорее спать.

— И все-таки... — Лицо ее стало спокойнее, но это не было ее обычное безмятежное выражение. И все же она немного поколебалась. — Знаешь, лучше сжечь кое-какие письма. Мало ли что бывает... А вдруг обыск? Конечно, никакого обыска не будет, но на всякий случай пойдем в кабинет.

Она взяла его под руку, и он, несмотря на беспокойство, ощутил удовольствие, которое всегда испытывал от ходьбы с ней в ногу.

В кабинете она стала на колени и принялась неумело разжигать дрова, приготовленные в камине. Так, на коленях, в белом халатике с широкими рукавами, откинутыми за спину, она напоминала ему мраморного ангела с какого-то надгробного итальянского памятника.

— Запачкаешься, Вера.

— Оставь. Все равно. Давай скорее письма.

Он отпер шкаф. Он хранил только письма близких и знаменитых людей. Но почти все его корреспонденты были так или иначе знамениты, и синие папки, набитые письмами, были очень толсты.

— Неужели все надо просмотреть?

— Конечно. Хочешь, я тебе помогу?

Она села рядом с ним. Она уже успела перепачкаться сажей.

— Письма Троцкого? Сюда, налево, в огонь. И его статьи о тебе. Туда же. Каменев. И его письма тоже.

Камин ярко горел.

— Жжет, как ад грешников, — пошутила Вера.

Ничего подозрительного в письмах не было. И все-таки пачка отложенных налево писем все росла.

— Береженого Бог бережет. В письмах ничего нет, но подписаны они опасными именами. Хранить их незачем.

Все. Последнее письмо было прочтено. Больше ничего не оставалось.

Теперь Вера жгла письма.

— Из меня вышел бы отличный кочегар или ведьма. Приятно возиться с огнем. — Она смеялась, но по ее глазам, по особой точности ее движений и по тому, что она стала картавить еще сильнее, чем обыкновенно, он понял, что она взволнована и только притворяется веселой и ребячливой, чтобы успокоить его.

Сколько в ней доблести, подумал он. Доблести, да, именно доблести. Такими, наверно, были жены декабристов. Жены декабристов, следовавшие за своими мужьями в Сибирь.

В Сибирь? Неужели и ему грозят тюрьма, ссылка, Сибирь?

Но ведь декабристы были заговорщики. Они подготовляли государственный переворот. А он? Что, кроме этих глупых восьми строк, можно поставить ему в вину?

Вера встала с колен, отряхнула длинные полы своего испачканного халатика.

— Так. Теперь все. Идем спать. Туши здесь.

Она открыла дверь в зал. Она не зажгла света в зале. Большая голубая луна выглянула из зеркала и поплыла им навстречу.

— Это Венеция, Андрей. Разве ты не узнаешь? И луна отражается в венецианском канале. Мы одни. Как тихо под луной... Разве можно бояться?

Он смотрел в ее бледное молодое лицо.

— А ты разве не боишься, Вера?

Она покачала головой.

— Нет, — сказала она уверенно. — Я не боюсь. Пока мы вместе, я ничего не боюсь. А мы ведь никогда не расстанемся. Куда ты, туда и я. Вечно вместе. До самой смерти. И после смерти тоже...

На следующий вечер, когда все уже было готово и Вера в шумном широком платье с перетянутой трогательно тонкой талией, сияя снежной белизной плеч и влажным блеском малиновой улыбки, говорила, поправляя перед зеркалом залы ландыши в своих высоко зачесанных бронзовых локонах: «Ах, Андрей, мне так весело, и все так чудно, будто мы только сегодня повенчались и это наш первый бал...» — неожиданно прозвучал звонок, и двое явно конфузющихся штатских очень вежливо попросили товарища Луганова следовать за ними в Кремль. «По личному приглашению Великого Человека. Для беседы. Совсем ненадолго. На полчаса, самое большое — час».

Глава восьмая

Вера осталась стоять на пороге входной открытой двери, когда Луганова увезли. Она все еще стояла так на пороге, когда по лестнице стали подниматься первые гости.

Она смотрела, как они подходили к ней, празднично улыбаясь. Но, должно быть, в ней было что-то такое, чего нельзя было не заметить, что-то, что погасило их праздничность и улыбки.

— Что случилось, Вера Николаевна?

Она кроваво ответила:

— За Андреем приехали, увезли его в Кремль. Он сказал, что сейчас вернется.

— В Кремль? — растерянно повторяли гости. — Наверно, сейчас вернется. Но все-таки, может быть, лучше отменить прием?..

— Нет, нет, пожалуйста, оставайтесь. — Она уже владела собой. — Я напрасно сказала вам. Пожалуйста, никому не говорите. Андрей скоро вернется. Никто не заметит его отсутствия. Так не говорите никому... А я пойду покурить. — Она развела руками, стараясь улыбнуться, и прошла к себе в спальню.

У себя она остановилась у туалета. Неужели это она только четверть часа тому назад кричала мужу через дверь: «Все так чудесно удалось! Знаешь, это как будто наш первый бал, будто мы только что поженились. Ах, мне так весело, так весело!»?

Весело? Неужели ей еще когда-нибудь будет весело? «Вздор, — сказала она себе строго. — Андрей сейчас вернется. Это все недоразумение. Мне еще сегодня будет весело и еще как весело!..»

Она взяла большую пуховку и, как всегда, сдула с нее пудру перед тем, как опустить ее снова в хрустальную пудреницу и провести ею по лицу. Она была суеверна, как все балерины и актрисы. Одеваясь, она исполняла целый ритуал ненужных подробностей, раз навсегда установленный, нарушить который было совершенно невозможно. Пудра поднялась маленьким розовым душистым облаком, и ей показалось, что все еще будет хорошо, что все случившееся, действительно, вздор. Музыка уже играла, из столовой доносились голоса, смех и звон стаканов.

«Все в порядке, — подумала она, — все так, как и должно быть. Андрей сейчас вернется, не может не вернуться. Все в порядке».

Но, как только она вошла в зал, она почувствовала, что порядок нарушен, что все совсем не так, как должно быть. Гости уже знали о случившемся, и одни со страхом, другие с любопытством и злорадством ждали, что будет дальше. Дом горел, дом был зачумлен, из него надо было спасаться, бежать. Но перед бегством, на дорогу, не мешало подкрепиться. Никто не танцевал. Паркет сверкал пустым великолепием, музыка напрасно звенела и звала, гости толпились в столовой, стараясь как можно скорее и больше выпить и съесть, как в вокзальном буфете перед свистком уходящего поезда.

Вера, улыбаясь, встречала вновь прибывающих гостей, еще ничего не знавших, еще до первого контакта с теми в столовой, расположенных танцевать, флиртовать, веселиться. В сущности, ей было совершенно безразлично, знают ли гости или нет, но выдержка действовала в ней самостоятельно, без всякого практического расчета. Практического расчета быть не могло. Она знала, что все эти гости, из которых многие считались их друзьями, ничем ей помочь не могли, если бы даже хотели. Но ведь они и не хотели.

Вера мужественно прошла через процедуру пожимания рук, благодарностей и уверений, что вечер удался на славу, впрочем, многие гости исчезли, не прощаясь.

Пробило двенадцать. В кабинете, превращенном в эту ночь в курительную комнату, стояли пустые коробки из-под папирос.

«Шакалы», — подумала она злобно. Ей стало жаль, что она была с ними так любезна, а она, вместо того чтобы показать ей хоть немного человечности, выпили, съели все, что могли, и даже унесли с собой все папиросы. «Никогда больше ноги их не будет в моем доме. Я расскажу Андрею, когда он вернется».

В моем доме... Когда вернется Андрей... Да, она еще думала, что это — ее дом, она еще ждала, что ее муж вернется в ее дом, к ней. Она ждала его. Она бродила в белом платье по освещенной пустой квартире, останавливалась у окон, поджидая автомобиль, который привезет Андрея. Надо было ждать, непременно ждать. Нельзя было лечь, нельзя было уснуть. Надо было ждать, он придет. Вот сейчас, сейчас позвонят в прихожей. Вот сейчас, сейчас...

Время шло. Небо бледнело, и вместе с ним бледнели фонари, звезды и люстры, изнемогая от тщетного желания сиять и светить. Теперь уже скоро. Сейчас, сейчас позвонят...

И в прихожей, действительно, раздался звонок. Она побежала открывать.

— Андрей! — крикнула она, отпирая дверь.

Но это был не Андрей. Вошли трое и объявили:

— С обыском!

Она стояла, прислонясь к стене, белая в своем белом платье, и растерянно смотрела на них.

— Где кабинет? Идите с нами.

Она повела их.

— Ключи!

Ключей от шкафа и письменного стола у нее не было.

— Не знаю, куда муж положил их. Может быть, взял с собой.

— Взломать!

Замок сразу поддался. Дерево вокруг замков треснуло. Трещина. Первая трещина. «Теперь все здание рухнет, — подумала она. — О чем это я? Вздор, вздор. Обыск ничего не значит. Ведь ничего найти нельзя. Ведь ничего нет».

Они долго складывали бумаги. Один из них, высокий, сутулый, с почти остроконечным черепом и лисьим лицом, подошел к камину.

— Бумажный пепел. — Он нагнулся, рассматривая пепел. — Так-с. Бумаги жгли?

Вера не отвечала. Ведь он не спрашивал. Он утверждал. Но он повернул к ней свое лисье, бесстрастно-вежливое лицо.

— Когда? — спросил он.

И она, хотя она могла еще отрицать: «Никаких бумаг не жгли» или «Может быть, зимой, не помню. Камин уже давно не топился», — ответила:

— Вчера ночью.

Папки с бумагами были перевязаны веревками и сложены на полу.

— Теперь покажите ваши бумаги.

Она подняла голову.

— Мои бумаги? Но ведь у меня нет ничего, кроме писем. Писем подруг по балету. Я ведь танцовщица, — объяснила она.

— Отлично нам известно, — подтвердил сутулый, — даже любовался вами и хлопал вам. Так сказать, поклонник вашего таланта. Только потрудитесь уж показать.

Она повела их в маленькую гостиную.

— Тут, в секретере.

— Ключи!

— Не заперто. — Она отбросила доску и вытянула ящики.

Писем было немного, она не любила переписываться, у нее не было закадычных подруг.

— Все? — спросил он подозрительно.

— Все, — ответила она.

Он пожал плечами.

— Лучше скажите, если где что прячете.

— Ничего не прячу.

Она следила за тем, как они связывали письма и открытки в пакет и, покончив с этим, принялись выстукивать стены, ощупывать кресла.

— Где ваша спальня?

Она повела их. Они для начала перерыли постели.

— Здесь, в комодке, что?

Она выдвинула ящики и выбросила на пол их содержимое. Флакон духов упал и разлился, и воздух заколыхался от дурманящего сладкого запаха. Это уже было слишком. Этого запаха она сейчас не могла вынести. Она почувствовала, что ее мутит. Неужели ее начнет рвать при них? Только бы они ушли. Только бы они скорее ушли и она осталась одна.

— А это что? — вдруг спросил сутулый, тряся тетрадкой. — Это что?

Она, не глядя, ответила:

— Мой детский дневник.

— Детский? Посмотрим, такой ли детский.

Он раскрыв тетрадь и прочел вслух:

— «Ученицы балетной школы III-го класса Веры Назимовой, 5-го марта 1923 года. Тебе одному я буду верить свои радости и огорчения». Ну, а продолжение где? Раз вы вели дневник...

— Продолжения нет. Даже эта тетрадь не до конца исписана. Я бросила. Не помню почему. Ведь это было так давно...

Она дрожала. Она думала только о том, чтобы ее не стало рвать от страха и запаха духов.

Второй чекист появился в спальне.

— Идем, гражданка. Пожалуйте.

Она заметалась.

— Куда? Зачем? У меня нет никаких бумаг. Клянусь вам, нет!

— Не волнуйтесь, гражданка. Не съедят вас там. Побеседуют только. Объяснение дадите — вот и все, — успокоительно заметил второй. — Если переодеться хотите, мы подождем. Время терпит.

— Нет, нет.

Она накинула на плечи пальто.

— И то, — сутулый поправил пальто, спускавшееся с плеч, — не простудитесь. Совсем тепло на дворе. Весна.

На воздухе тошнота улеглась, но она все еще дрожала, страх путал мысли. Неужели ее везут в тюрьму? Неужели в тюрьму? От страха ноги не слушались. Она едва не упала, выходя из автомобиля. Она старалась идти, не спотыкаясь. Только бы не упасть. Если упасть — потащат, как куль белья, по коридорам. Куда? В камеру. Бросят на пол. И запрут на ключ. Она шла по совершенно пустому коридору, по совершенно пустой лестнице, устланной дорожкой. Никто не попался ей навстречу. Все было тихо. Ни голосов, ни шума шагов. Она слышала, как постучали. Зачем, кому? Теперь она была в комнате с письменным столом и креслами. Электричество ярко светило, хотя там, за опущенными шторами, было солнечное утро. Ее посадили в кресло и оставили одну. Она опустила голову и закрыла глаза.

— Вера Николаевна! — раздался ласковый окрик.

Вера подняла глаза и заморгала. Перед ней стоял Штром, тот самый Штром, похожий сразу на араба и его коня, который был у нее этой ночью в гостях и, весело улыбаясь, сказал, пожимая ей руку на прощанье: «Пока, до скорого!..»

Тот самый всегда веселый Штром. Она даже не знала, где он служит, для нее он был просто знакомый.

Да, оказалось, действительно, «до скорого», до скорейшего.

— Даже переодеться не дали. И чего так спешили, можно было и подождать.

Он улыбнулся своей веселой улыбкой.

— Кофе хотите? Тут кофе хороший и со сдобными булками. Вера покачала головой.

— Напрасно. Поддержало бы вас. Ну, да и так побеседуем. Испугали вас эти грубияны? Беда с ними — никак не обучить их настоящей вежливости. — Он рассмеялся, блестя глазами, зубами и лысиной. Брови на его лбу зашевелились. — Разве можно так с прелестной женщиной обращаться? Вежливость, главное — вежливость! Сядьте поудобнее. — Он протянул ей портсигар. — Папироску? Не хотите? Как знаете. — Он вдруг повернул лампу. Невыносимо яркий свет обжег лицо Веры. Она подняла руки, защищая ими глаза. Штром опустил рефлектор. — Извиняюсь. Это я нечаянно. Ну, я вас слушаю...

«Я вас слушаю», конечно, относилось к Вере. Но она молчала. Страх немного отпустил горло, она могла бы заговорить, если бы знала о чем.

Он ждал. Он смотрел на нее.

— Ну, красавица моя, долго мы так будем играть в молчанку? А? Мне уже надоело, а вам еще нет? Я не только ваш поклонник, но и друг. Расскажите мне откровенно все.

— Все? Что все? — переспросила она. — Андрей прочитал глупую эпиграмму в ресторане. Больше ничего не было.

— Только прочитал? — Штром прищурился, глаза его стали узкими и острыми. — Вот эту эмиграмму? — Он продекламировал эпиграмму. — И больше ничего не было?

— Ничего, — сказала она. — Ровно ничего.

— И вы больше ничего не знаете? — как-то особенно ласково спросил он.

— Ровно ничего.

— Вы уверены? Вы не ошибаетесь? — еще ласковее, еще вкрадчивее настаивал Штром. — Подумайте, дорогуша, может быть, какой-нибудь пустяк, на который вы и внимания тогда не обратили? А?

Вера покачала головой.

— Нет. Я ничего не знаю. Я даже не слыхала об этой эпиграмме раньше.

— Так, значит, вы ничего не знали и ничего не было.

Он нагнулся вперед, подбородок его почти касался стола, лицо его медленно менялось, глаза постепенно теряли блеск, и зубы уже больше не сверкали в улыбке. Рот был сжат устало и горько. Он ждал, он молчал. Но она тоже молчала, и он наконец вздохнул.

— Жаль мне вас, ах, до чего жаль! Такая вы прелестная, нежная, а спасти вас мне не удастся. Жаль!

— Спасти? Но раз я вам клянусь, что ничего не было...

Он нагнулся еще ниже.

— Ничего? — повторил он, будто взвешивая тяжесть этого слова на языке. — Ни-че-го. — Он выпрямился. — Вот это-то и плохо, что ничего не было.

— Как плохо? Почему?

— Разве вы не понимаете? Вы, значит, еще совсем неопытны, совсем наивны. Хуже всего, если вы ничего не знаете и отрицаете всякую вину за собой. Разве вы не знаете, что, утверждая, устанавливая какую-нибудь мысль, вы вместе с тем устанавливаете, утверждаете все, что ей противоположно? А что противоположно «ничему»? «Все» противоположно «ничему». «Все»! И утверждая, что вы ни в чем не виноваты, вы в то же время тем самым утверждаете, что вы виноваты во всем! А раз во всем, то мне, даже и мне, не удастся вас спасти. «Все» слишком всеобъемлюще, его власть безмерна. С ним нельзя бороться интеллектуальным оружием. Раз вы виноваты во всем — вы погибли.

— Вы бредите! Вы издеваетесь надо мной! — Вера вскочила с кресла, дрожа.

— Ах, какая вы красивая! — Штром поднял руку, державшую карандаш, и провел им по воздуху. — Вот так, в белом платье, на фоне этой синей шторы, я бы нарисовал вас. — Он, улыбаясь, прищурился. — В манере Винтерхальтера. Да. И подумать, что вся эта красота и прелесть пропадут совершенно даром, без смысла, без пользы. Зря пропадут. Зря...

— Не мучьте меня! — крикнула Вера. — Я ничего не понимаю. Что вы хотите? Объясните!

— Я хотел спасти вас, — проговорил он медленно и веско. — Мне вас жаль. Но я отказываюсь и предоставляю вас вашей судьбе.

Она схватила его за рукав.

— Ради Бога объясните.

— Ради Бога? Ну, это вы, гражданочка, оставьте. Вы же знаете: «Не молись, малютка, Богу — Бога больше нет»... И вы все равно не поймете, по-видимому. Но, если хотите, я еще раз постараюсь объяснить вам. Сядьте. Закурите. Меня раздражает, что вы даже курить не хотите. — Он протянул ей папиросу и зажег ее. — Слушайте теперь. Мне очень хочется вам помочь. Вы красивы и милы и мне нравитесь. Красоты на свете не так уж много, и жаль, когда приходится ее уничтожать. Так вот, вы сами бежите к своей гибели. Прямо и без оглядки в пасть льва. Вы ничего не делали? Вы ничего не знаете? А это как раз самое убийственное, что вы могли сказать. Это вас режет без ножа. «Ничего» отворяет широко двери всем подозрениям, всем обвинениям. Если «ничего», то тем самым — «все». Вы сами требуете для себя высшей меры наказания.

— Высшей меры? — Голос Веры сорвался.

Штром кивнул.

— Да. Расстрела. Курите, курите...

Она глубоко затянулась и закашлялась. Слезы потекли из ее глаз.

— Даже курить еще не научились. Эх вы, государственная преступница. — Он вдруг улыбнулся добродушно и весело. — Ну, давайте, пораскинем умом, как вас спасти, бедный цыпленок. Вот вам платок, свой забыли, небось?

Вера вытерла глаза рукой.

— Не надо.

— Посмотрим, — весело сказал Штром, пряча платок в кармане, — что для вас можно сделать. Я азартен, я спортивен. Люблю борьбу. Авось сумею вытащить вас из пасти льва. Если вы будете меня слушаться, конечно.

Он встал, прошелся по ковру и остановился перед ней. Он смотрел на нее сверху вниз.

— Душка моя, слушайте внимательно. Ваш муж прочел эпиграмму

на Великого Человека в ресторане. Вернувшись, он всю ночь жег бумаги, и вы помогали ему в этом. Почему? Помолчите немного. Дайте мне кончить. Почему, спрашивается? Ведь эпитафия была совершенно безобидная. Никто серьезно не может обратить внимания на такой пустяк. Посмеяться и забыть. Но он, вернувшись, всю ночь жег бумаги. Почему? Ждал обыска? Какого обыска? За что? Почему обыск? Разве за невинные, пусть не совсем почтительные стишки могут приехать с обыском? Но ваш муж ждал обыска. Иначе бы он не жег бумаг, компрометирующих его, иначе вы бы не помогали их жечь. Первый вопрос: что его заставило бояться обыска и жечь бумаги? Второй вопрос: что это были за бумаги? Два вопроса, которые должны быть выяснены. Я совсем не утверждаю, что вам известна вся преступная, антигосударственная деятельность вашего мужа. Я вполне допускаю, что он вам представил дело именно так: сослался на эпитафию, чтобы сжечь компрометирующие документы. Я допускаю даже, что вы не знали, какие бумаги жгли. Ведь вы не читали их.

— Нет, читала. Это были только письма и газетные статьи. Письма Троцкого, Каменева и...

— Не перебивайте! — Голос Штрома вдруг зазвучал холодно и властно. — Дайте мне кончить, тогда я попрошу у вас объяснения. Так я говорю, я отлично допускаю, что вы не знали, что было в письмах. Вы помогали жечь бумаги и не отрицаете этого. Вы не знали, что в них. Вам предъявляют очень маленькое, ничтожное и вполне определенное обвинение. Вы способствовали уничтожению документов. Но вина ваша в таком случае невелика. Если вы сознаетесь в своем проступке, на вас уже не лежит давящее обвинение во «всем». Вы сознаетесь, и вместо «всего» вас обвинят только в одной миллиардной части «всего» — в сожжении, даже не в доносительстве, — жена не обязана доносить на мужа. Только в сожжении документов. Но тут появляются смягчающие вину обстоятельства. Раз ваш муж требовал, чтобы вы жгли документы, вам, конечно, было трудно не согласиться, не исполнить его требования. Вы были одни, ночью. Он мог вас заставить силой. Вам было невозможно послушаться его. Совершенно невозможно. Это понятно. Ваша вина была бы в таком случае так ничтожна, что ее просто можно было бы простить. Если вы, действительно, сознаетесь, что по требованию мужа жгли бумаги, содержание которых вам было неизвестно.

— Но ведь это ложь! — крикнула она. — Я читала все, что жгла. И это я, а не он, придумала жечь их на всякий случай.

— Так, так, так. Понимаю... Значит, вы во что бы то ни стало желаете мне помешать спасти вас. Что же, Вера Николаевна, раз вы так упрямо стремитесь к гибели — скатертью дорога! Не настаиваю.

Он вернулся на свое место за письменным столом, сел и устало зевнул.

— Давайте кончать. Так вы, значит, сознательно хотите разделить с мужем его вину и признаетесь, что участвовали в его преступлении? Кстати, в своем преступлении он уже сознался. И вы тоже хотите сознаться? В добрый час.

— Я ни в чем не участвовала оттого, что ничего не было. Ничего, кроме эпитафии. Ничего! Как он мог сознаться, раз ничего не было?

— Оставим вашего мужа. Нас сейчас интересуют вы, а не он. Он отвечает сам за себя. Вы, надеюсь, теперь сообразили, что ваше «ничего» равносильно для вас «всему», то есть признанию себя «во всем» виновной? Подумайте еще минутку. Закройте глаза и представьте себе, что вас ждет, если вы будете продолжать настаивать на вашем «ничего». Отсюда вас отправят в тюрьму. У вас хватает фантазии, чтобы представить себе ваше существование в тюрьме — голод, вонь, тяжесть одиночки?.. Вы — такая нежная, избалованная, принцесса на горошине. А знаете ли вы, как там допрашивают? Слышали ли вы о паровой камере, например? О лампочке в тысячу свечей? Нет? Не знали, что это существует? Балетом, небесным чистописанием занимались — «и легкой ножкой ножку бьет»... Не знали, что есть другие побои. Трах — и зубы вон. А? Не знали?

Глаза его совсем сузились. Она на минуту подняла веки и снова опустила под режущим взглядом Штрома.

— Такую нежненькую, впрочем, приятно, должно быть, деликатно мучить. Зубы вон—это для мужиков. Для вас найдется что-нибудь поу-тонченнее. У нас много садистов. Какой для них подарок, такая хоро-шенькая, хрупкая балерина! В очередь будут становиться, чтобы допра-шивать вас. Во всем сознаетесь. Во «Всем» с большой буквы. Не только себя, но и мужа под расстрел подведете. Из такого уж хрупкого матери-ала сделаны, не огнеупорны. Куда там!.. А жаль. — Бровки его снова заше-велились. — Ну вот, предоставляю вас вашей судьбе. Сейчас я позвоню, и вас увезут в тюрьму.

— А если?.. если?..—вдруг заторопилась Вера. — Нет, не звоните еще. Не звоните. Вы хотите, чтобы я солгала?

Он вздохнул устало.

— Нет. Нам лжи не надо. Вы должны сказать правду. Ведь это чи-стая правда, что вы ничего не знали о преступной деятельности вашего мужа? Мы-то о ней хорошо осведомлены, а вам она совершенно неизве-стна. Вы даже не подозревали о ней. Так где же ложь? Ложь только с его стороны. Он налгал вам всю эту историю с эпиграммой. А с вас требуется только правда.

— Если я признаюсь, что не знала, что жгла...

— Тогда можете идти на все четыре стороны отсюда. Тогда вы со-вершенно свободны и никакого наказания вам не будет. Простим!

— Но ведь я предаю мужа.

— Предадите? — Он откинулся на спинку стула и рассмеялся. — Какие пышные, театральные, высокие слова! «Предам»? И никого вы не преда-дите вовсе. Это не предательство, а исполнение гражданского долга. Тем лучше для вас, что исполнение вашего долга совпадает с вашими интере-сами. Впрочем, ведь он уже сознался. Мужу вашему все равно крышка, что бы вы ни сказали. Я не о нем, я о вас хлопочу. Было бы жаль, чтобы такая прелестная, молодая, талантливая жизнь зря сгнула в тюрьме. А мужу вы уже ничем помочь не можете — его песенка спета. Если вы о нем думаете, то бросьте. Мужа у вас больше нет. А жить вам, душень-ка, все-таки надо. И на свободе лучше, чем в тюрьме. Так решайтесь — звонить мне?

— Нет. — Она покачала головой и закрыла лицо руками. — Я созна-юсь. Да, я жгла бумаги и не знала, что в них.

— Минуточку, минуточку. — Он весь подобрался и натянулся, как струна. Ей показалось, что он даже весь как-то заострился. — Сейчас, все по порядку. Сейчас! Все по форме! Занесем в протокол!

Он снял телефонную трубку:

— Пришлите мне стенографистку. Умница! — Он через плечо кивнул Вере. — Я ведь знал, что такая красивая не может быть душой. Только притворяется. Но теперь помните: каждое ваше слово будет записано. Отвечайте покороче. Мой вам совет как другу. Ясно и коротко отвечайте. Да, нет. И все. Осторожненько, чтобы не засыпаться.

Через полчаса Вера подписала протокол, и стенографистка вышла, унося бумаги.

Вера встала. Он тоже встал.

— Вот и все. Но подождите еще минуточку.

— Значит, я несвободна?

Она почувствовала себя такой усталой, разбитой, ей хотелось лечь, поскорее лечь. Ее комната, ее постель казались ей раем. Лечь, только лечь.

— Вы совершенно свободны, Вера Николаевна.

— Тогда отпустите меня скорее. Я хочу домой.

— Видите ли, в этом-то и дело. — Штром улынулся несвойственной ему растерянной улыбкой. — Вы хотите домой? А дома-то у вас больше нет. Дом этот принадлежал Луганову и теперь будет опечатан. Про-стите, что так резко сообщаю вам. Но узнать на месте вам было бы еще тяжелее.

— Значит, меня выгоняют на улицу?

— Ну, зачем же так грубо — на улицу? И ведь я ваш друг и всегда готов помочь вам. Вам предоставят комнату, вам разрешат взять ваши личные вещи. Платья, обувь, белье и прочее. Драгоценности придется

оставить. Они теперь принадлежат государству, как и обстановка. У вас много драгоценностей?

Вера покачала головой.

— Нет, только то, что на мне. Дома еще кольцо и браслет. Я не очень любила, и Андрей тоже.

Она вдруг всхлипнула совершенно неожиданно для себя.

Штром подошел и ласково коснулся ее волос.

— Ну, ну. Такая умная, такая милая и станет портить красивые глаза слезами. — Он поморщился. — Терпеть не могу женских слез, действуют мне на печень.

— Я не плачу. — Глаза ее, действительно, были сухи. — Совсем не плачу.

Он снова улыбнулся.

— Вижу и одобряю. Молодец! Так вот, снимайте-ка все ваши украшения и давайте мне их сюда. — Он отодвинул ящик письменного стола. — Они тут у меня полежат дня три. А то, что осталось на квартире, придется, к сожалению, отдать. Ну, снимайте. Пригодится потом. Мне спасибо скажете, что сберег. Главное — сберечь, чтобы не отняли.

Вера послушно отстегнула брошку, сняла с рук кольца, браслет и часы. «Украдет, непременно украдет, — подумала она. — Пусть. Все равно».

Он взял вещи, рассмотрел их.

— Недурные камешки. И даже часы тут. Удачно. Обыкновенно женщины не надевают часов на бал. Видите, какие я тонкости знаю. Такие, золотые с бриллиантиками, конечно, отобрали бы. Рад за вас, что сбережете.

«Еще издевается», — устало подумала она.

Он задвинул ящик.

— Вам дадут провожатого. Он поможет вам сложить ваши вещи и перевезет вас. Берите все, что можете. Не оставляйте ничего. Каждая тряпка денег стоит и пригодится потом. И чемоданы самые лучшие заберите. Смотрите, чтобы прислуга вас не обворовала. А послезавтра приходите сюда опять. В десять утра. Вот пропуск. Спрячьте. Буду ждать. И в театр не показывайтесь. Ну, пока.

Он встал и протянул ей руку. Она еле заметно поколебалась и подала ему руку. Не все ли равно теперь? Зачем его раздражать? Он может ей еще большего зла наделать. Еще большего? Разве бывает еще большее зло? Ах, все равно. Ей было трудно разобраться в том, что происходило сейчас.

— До свидания, — сказала она устало.

— Вы поедете в автомобиле. Можете дома полежать перед тем, как укладываться. Я сейчас распоряджусь.

Он позвонил. Она стояла и бессмысленно смотрела на него. Надо бы его поблагодарить. Но на это не хватало сил. И разрешение лечь отдохнуть в своей спальне, в своей постели, уже не казалось ей раем.

Глава девятая

Но на третий день, как было приказано, ровно в десять часов, она входила в кабинет Штрама, пройдя снова по совершенно пустой лестнице и коридорам. У входа пришлось предъявлять пропуск. Удивительно, что она не потеряла его. Когда она в то утро, наконец, пришла к себе, то увидела, что пропуск все еще зажат в ее левой руке.

Она вошла. Лампа по-прежнему горела на письменном столе, и шторы на окне были опущены. Штром, улыбаясь и не двигаясь с места, протянул ей руку.

— Аккуратность — вежливость королей, но редко присуща красивым женщинам. Поздравляю. Я обнаруживаю в вас все больше и больше качеств. Садитесь. Ну, как устроились?

Устроилась? Если это можно назвать «устроиться». Она кивнула. Не объяснять же ему, как ей отвратительно, как тяжело. Впрочем, он, наверно, и сам догадывается. Он выдвинул ящик стола.

— Получайте ваши вещички. Только не вздумайте продавать сейчас же. Не раньше, чем через полгода.

Значит, не украл. Это поразило ее.

— Думали—тю-тю,— сказал он весело. — Не ожидали? Ах, красавица моя, вы еще молоды и не знаете, что в жизни все всегда происходит не так, как ждешь. Я совсем не обижаюсь! — Он весело рассмеялся. — Собственность для меня отнюдь не священна. Я без предрассудков.

Он взял из ее рук сумку и, открыв ее, спрятал в нее часы, кольца и брошку.

— Не потеряйте. Смотрите, чтобы соседи по комнате не украли.

— Спасибо,— сказала она коротко.

— Не стоит благодарности. Поговорим теперь о вас. В театре еще не были?

Она покачала головой. Ведь он сказал— не ходить.

— И отлично. Хорошо, что вы послушны. Все новые качества открываются в вас. Теперь вам надо прошение о разводе подать.

— О разводе?

— Необходимо. Иначе вам нельзя оставаться в балете. И ведь это пустая формальность. Вряд ли вы когда-нибудь снова увидите вашего бывшего мужа.

— Но если он узнает?

Шторм махнул рукой.

— Куда там узнает! В тюрьме-то. И еще... Вы, надеюсь, не хлопотали о нем, ни к кому не обращались?

Она покачала головой. Нет, она не хлопотала, она еще ни к кому не обращалась...

— Отлично. Только себе повредили бы. А ему уже никто не может помочь. Я вас сухой из воды вытащил. Так сидите спокойненько и никому глаз не мозольте. Поняли? Вот и все на сегодня.

Она встала.

— Минуточку. — Он протянул руку, показывая жестом, чтобы она снова села. — Совсем короткий, неофициальный разговор. Я уезжаю в Кисловодск на месяц. Вы ведь теперь одинокая, свободная женщина. И устали, конечно, здорово. Так не хотите ли разделить мой отдых? А?

Она вздрогнула. Колени ее стали пустыми, она тяжело опустилась в кресло. Он вдруг повернул лампу, и она почувствовала ожог света на своем лице. Он коротко рассмеялся и щелкнул выключателем. Стало почти темно. Она не могла разглядеть выражение его лица.

— Не отвечайте. Уже и так понятно. Считайте предложение зачеркнутым. — Он открыл портсигар. — Нет, даже если бы вы согласились, я бы не взял вас с собой в Кисловодск. Мимика у вас больно богатая, чисто пантомимная! — Он опять рассмеялся. — Не думайте, что я обижен. В этих вопросах принуждения быть не должно. Свободный выбор. Да... Теперь все. Когда вернусь, дам вам знать.

Он встал. Она тоже встала.

— Ну, всего. — Он протянул ей руку.

— Спасибо,— сказала она.

Он насмешливо поклонился.

— За что вам меня благодарить, а? Ведь ненавидите, задушить готовы? Зубами горло перегрызть? Зубы у вас хорошие. Кстати, не нужны ли вам деньги? На первое время. Потом, когда продадите свои золотые вещишки, могли бы отдать. Возьмите.

Он достал бумажник.

— Нет,— сказала она решительно. — Нет, ни за что.

И опять прибавила:

— Спасибо.

Он отмахнулся, смеясь.

— Вы меня благодарностью, как паук паутиной муху, окутываете. Только нет. Паук-то скорее я. Ну, летите себе, маленькая муха, на свободу. Видите, не все пауки страшные.

И он с поклоном широко открыл перед ней двери.

Вера вышла. «Не все пауки страшные», — повторила она. Но этот паук был очень страшен, так страшен, что она на улице долго стояла у фонаря, крепко держась за него и переводя дыхание.

Часть вторая

Глава первая

«Как в одиночной камере», — сравнение, уже много десятилетий служащее беллетристам для описания одиночества. Сравнение такое избитое, что смысл давно выпал из этого сочетания слов: как в одиночной камере.

Если бы Луганова спросили прежде: «Что вы думаете о заключении в одиночной камере?» — он, наверно, ответил бы: «Это — ужас».

Но как раз никакого ужаса не было. Все было очень просто и очень буднично. Все было мелко и скучно.

О таких случаях ему смутно приходилось слышать — о них не говорили громко. Какой-нибудь человек вдруг исчезал, и было спокойнее не слишком интересоваться причиной его исчезновения. Но Луганову никогда не приходило в голову, что это может произойти с ним, писателем, которого так любят, так ценят на верхах и которого даже сам Великий Человек...

Он не понимал, не мог понять: неужели только из-за этой ничтожной эпиграммы, из-за пустого острословия? Ведь за ним, действительно, не было никакой вины. Решительно никакой. Ни словом, ни помышлением он никогда... Он был не тем занят. Ему было не до того. Его личная жизнь, его литература занимали все его мысли.

Он всегда думал, что о свободе нельзя мечтать, пока зло не будет окончательно истреблено. Раз зло нельзя истребить, мир и жизнь все равно должны быть несовершенны. Против этого бороться нельзя. И он не желал бороться. Он, вернувшись тогда из Германии, раз и навсегда, окончательно принял советский порядок вещей. Раз зло все равно не может быть истреблено (а в этом он вполне убедился за годы своей романтической молодости), ему было безразлично, какие формы оно примет. Ему казалось, что дело не в количестве, а в качестве зла. Его не возмущало, что в России зла было несравненно больше, чем в других странах. Ведь и в других странах зло присутствовало повсюду, только закамouflированное, разукрашенное, не так резко и откровенно выступающее.

Первый месяц в тюрьме Луганов еще надеялся. Надежда еще не была изжита до конца. Великий Человек мог одуматься, понять, что погорячился. Луганов знал свою цену, сознавал, что он лучший русский писатель, что и во всем остальном мире таких писателей раз-два — и обчелся. И если не его самого, то его талант пощадят. Его подержат в тюрьме и выпустят.

Его жена, его друзья, наверно, хлопочут за него, перерывают землю и небо, чтобы вызвать его из беды. Его друзья — Рябинин, Багиров, Серебряков. Если они на свободе. Если их не посадили, как и его. Но ведь у него были и другие друзья. И главный друг — Волков. Его не было в Москве, когда это случилось, но Вера, конечно, сейчас же сообщила ему. И теперь Волков хлопочет, Великий Человек любит Волкова и послушается его.

Надежда поддерживалась логикой. Никакого обвинения против него нет, иначе его вызвали бы к следователю, но его только раз допрашивали. Только раз. В ту ночь. В Кремле. Сам Великий Человек.

Нет, существование в тюрьме было совсем не такое, как он представлял себе.

Первое, что особенно поразило его, было отсутствие страха. Впервые за столько лет он не боялся. Он даже не мог ясно представить себе теперь присутствие страха во всех своих мыслях и чувствах, так отравлявшее его ежеминутно. Страх, будто доведя его до того, что по его прежним, дотюремным представлениям, было самым страшным, вдруг растаял, отступил, остался там, за стенами тюрьмы.

«Нет ничего страшнее страха», — повторял он еще гимназистом. Но только теперь, в тюрьме, он до конца понял значение этих слов.

Теперь он чувствовал успокоение, будто он, наконец, достиг цели, достиг того, чего так страшился, и больше бояться было нечего. Он не знал тогда, что «это» будет тюрьма. Но в «этом», чего он так страшился, непременно присутствовала разлука с Верой, разлука, потеря Веры, казавшаяся ему величайшим несчастьем, большим, чем смерть.

И вот он сидел в тюрьме уже больше месяца и не чувствовал той боли, того «жала в плоть», которым, по его прежним понятиям, должна была ранить его разлука с Верой.

Они прожили почти десять лет вместе и за все время не разлучались ни на один день, ни на одну ночь. Ему казалось, что разлука с ней непереносима для него.

В тюрьме он понял, что и это было ошибкой, как все его мысли, из которых рождался страх.

Он жил без Веры. Конечно, он постоянно думал о ней, но теперь ему часто казалось, что их общей жизни вообще никогда не было, что они никогда не жили вместе. Жили вместе? Разве жили? Он напрягал память, он помнил, что они спали в одной комнате, что они обедали за одним столом, что они ездили кататься за город и летом вместе купались в Черном море. Он помнил, но это была какая-то абстрактная память о жизни с Верой. Сколько он ни напрягался, он не мог себе представить живую Веру. Она как-то сразу, с той самой минуты, когда он в последний раз увидел ее застывшее, белое, удивительно похорошевшее от ужаса лицо, выпала из его сознания.

Вереница незнакомых, неизвестно откуда появившихся женщин проходила перед ним. И каждая из них какой-нибудь чертой напоминала Веру. Вот у этой ее выпуклый лоб и слабо очерченные ломающиеся брови, у этой — ее прелестная улыбка и манера, слушая, по-птичьему наклонять голову. У этой — ее походка, ее рыжеватые легкие волосы. Вереница женщин проходила в его сознании. Это были части, составляющие Веру, но они распадались, и он не мог их соединить, из них не получался живой образ.

И воспоминания об общей их жизни тоже распадались, ускользали, расплывались, исчезали, как только он осмысленно сосредоточивался на них.

Это было похоже на то самое ощущение, о котором ему так часто рассказывала Катерина Павловна: «Мама, я действительно упал в воду или во сне?»

Или во сне? Действительно ли он жил с Верой или только во сне? Действительно ли он был знаменитым писателем или только во сне? Ненастоящесть его жизни, так тревожившая его в юности, когда он с Волковым смотрел в окна подвальных этажей, завидуя беднякам, стала мало-помалу снова овладевать им.

Он слышал стук в стены справа и слева, соседи по камерам стучали ему, но он не мог им ответить. Ему была неизвестна азбука перестукивания. Он не стучал в ответ. Он никогда не спрашивал Волкова об этой тюремной манере общения и теперь очень жалел, что не спрашивал. Стуки раздражали его, как звонки испорченного телефона. Стуки мешали ему думать. Кто-то желал вступить с ним в контакт, кто-то желал приковать его внимание к себе, обменяться с ним биографическими сведениями. Он чувствовал там, за стеной, напряженную волю, рвущуюся объяснить себя, найти сочувствие и самой посочувствовать. И это отравляло его покой. Но стуки прекратились, и в его камере установились тишина и покой, нарушаемые только раздачей пищи, когда в открытую дверь ему подавали то кипятку с куском хлеба, то тарелку похлебки. Голода он не испытывал. Спал он тоже хорошо. Он ждал. Ожидание освобождения занимало его. Он думал о будущем. Теперь, когда его наконец выпустят, он заживет совсем по-иному. Разве он жил до сих пор? Нет, настоящая жизнь наступит, когда его выпустят отсюда. Но дни шли, и надежда понемногу блекла и чахла в мертвящем тюремном воздухе.

И вот настал день, когда он проснулся с ощущением полного безразличия к себе и к своей судьбе: он проснулся, взглянул на белые стены своей камеры, на маленький квадрат окошка, серевший под потолком, сел на койку и потянулся до хруста в костях, как делал это каждое утро. Но чувства пробуждения не было. Сон как будто продолжался. Вернее, это — ощущение сна во сне, когда снится, что проснулся, и все же сознаешь, что и это пробуждение — сон. Он проснулся, но он, хотя это и удивляло его, не чувствовал самого себя. Он как будто видел все со стороны, был только зрителем и вместе с тем сознавал, что человек, потягивавшийся здесь, на тюремной койке, был он сам, писатель Андрей Луганов. Но ему не было

никакого дела до себя, до писателя Луганова. Он с брезгливостью осмотрел себя, свои небритые щеки, свои острые лиловые колени, свои большие ступни. Он старался не замечать себя. Держаться мысленно как можно дальше от самого себя. Но это ему плохо удавалось. Он стал думать о перемене, происшедшей в нем. Откуда она взялась? «Из страдания», — ответил он себе. Ничего, что страдание мое скучно, что причина его ничтожна, что оно может быть просто объяснено и, как объясненное, сброшено со счетов, что беда моя в общей экономии бытия не имеет ровно никакого знания. Оно все-таки довело меня до отчаяния, до тихого отчаяния, родившегося из бессилия перед неизбежным.

«Теперь, — подумал он, насмешливо обращаясь к себе, как к построннему, — тебе самому пора заняться философией. Ведь, по Платону, как тебе известно, философия — упражнение в смерти. А тебе вряд ли удастся выбраться отсюда живым. Раз существующее необходимо должно существовать так, как оно в действительности существует, а не иначе, то можно только покориться. Покорись!»

И второй голос, вдруг вступивший в его мысли, отчетливо ответил: «Да, я покоряюсь. Я обречен на абсолютное одиночество и безнадежную оставленность. Ты прав. Пора пофилософствовать: начало философии — не удивление, а отчаяние. Пока я, как всякий человек, с которым случилась катастрофа, удивлялся и возмущался, я не мог коснуться тайн жизни. Только отчаяние приводит к границам и пределам существования».

«Как пышно ты выражаешься», — насмешливо сказал первый голос. Луганов слушал. Никогда еще он не испытывал ничего подобного. Два голоса вели разговор в его сознании, в его голове. Он слушал.

«Тот, кто ищет начал, источников и корней всего, хочет ли он или не хочет, должен пройти через отчаяние. Я, должно быть, искал эти источники, корни и начала, только не знал, что ищущу».

«Иначе, если бы ты понял, что ищешь их, ты бы, конечно, сразу отложил всякие поиски». «Из страха перед отчаянием?» — спросил первый голос. «Не знаю, — ответил второй. — Отчаяние успокоительно, отчаяние разгоняет даже страх, люди повторяют: «Страх и отчаяние», как будто отчаяние — высшее развитие страха. Но эти слова несоединимы. Когда наступает отчаяние, страха уже не существует».

«Может быть, ты и прав. Оттого я и перестал бояться здесь, в тюрьме. Я впал в отчаяние, как только перешагнул порог тюрьмы. Мне стало здесь, в тюрьме, легче, чем на воле. Отчаяние означает конец всех возможностей. Оттого трагедию так приятно, так успокоительно смотреть, что волноваться не надо, что гибель героя заранее предрешена и места для страха и надежды нет. Где нет возможности спасения, там не может быть ни волнения, ни страха».

«А как тебя мучил страх! Ты не мог вырваться, освободиться от него, тебя от страха освободила только тюрьма. Не забавно ли? Свободу тебе дала тюрьма. Ведь того, чего мы боимся, мы и желаем вместе с тем. Сильнее всего желаем. Вот твоё тайное желание и исполнилось». «Не смейся над мной». «Над нами, — поправил первый голос. — Смеясь над тобой, я смеюсь и над собой. Напрасно воображают, что, если два человека находятся в одинаковом положении, они непременно поймут друг друга. Это неправда. Даже мы с тобой не понимаем друг друга. И тебе не хочется меня понимать, тебе хочется жить, хотя ты и скрываешь это от себя. Тебе все еще и наперекор всему хочется жить. Ты мог бы воспользоваться своим новым состоянием духа. Ты ведь знаешь, что «отчаяние развивает в душе ее высшие силы». «Нет, — ответил второй голос, — я оупел и стал ко всему безразличен. Я ничего не могу понять. Я нуждаюсь не в понимании, а в жалости. Будь милосерден, пожалей меня». «Пожалеть? Но разве ты не знаешь еще, что милосердие бессильно и беспомощно? Есть только одно средство помочь тебе, как и всякому страдающему человеку, — это прибавить тебе еще страдания». «Я не понимаю. Как ты можешь быть так жесток?». «Не от меня моя жестокость», — помнишь? И это совсем не жестокость, а милосердие и любовь. Но любовь может привести только к еще большему несчастью, сделать человека таким несчастным, каким он никогда без любви не был. Это единственная помощь, на которую способна любовь».

Луганов шагал взад и вперед по камере и останавливался только,

когда голова начинала кружиться слишком сильно. Головокружение было похоже на опьянение и нравилось ему.

«Ты был писателем. Ты старомодно верил в свою миссию, в свою избранность. Но ты не видел того, что показывает людям смерть, и не хотел знать, какие ужасы прячет в себе жизнь. Пока не поздно, открой глаза и смотри. Взгляни через плечо, туда — назад».

— Нет, нет, — крикнул Луганов, — нет! — Он стоял посреди камеры. Он дрожал. — Я сошел с ума, — громко сказал он.

«Ну да, — спокойно прозвучал первый голос в его сознании. — Говоря по-человечески: ты сошел с ума. Ты выпал из общего. Ты уже ни с кем, кроме меня, объясниться не можешь. Откажись от своего разума, раз ты выпал из общего. Пока ты шел в ногу со всеми людьми и временем, ты чувствовал твердую почву под ногами. А теперь... видишь, как пол колеблется? Сядь на табурет, если не хочешь упасть».

Луганов сел и вытер рукой лоб.

Первый голос продолжал:

«Заметил ли ты сегодня, что ты ни разу не вспомнил о Вере? Это тоже подарок, сделанный тебе отчаянием. Отчаяние освободило твою душу от привязанностей. Разве тебе не стало легче и спокойнее, когда ты понял, что это — конец? Но ты еще топорщишься, ты еще борешься, ты, как плохой пловец, не решаешься просто и мягко лечь на волну отчаяния, отдаться ей — пусть несет, куда хочет. Ты еще полон своей гордости, этой *superbe diabolique* *. Ты очень горд, ты всегда был очень горд. Ты забыл, что начало всякого греха — в гордости. И ты даже не догадываешься, что гордость — только загнанное вглубь сознание своего бессилия, только замаскированное, разукрашенное бессилие. Ты любил это бессилие в себе, ты холил, ты растил его. Ты и сейчас гордишься не только собой, но и всем необычайным, происшедшим с тобой. Тебе даже кажется, что твоя смерть — добровольная жертва. И это очень забавно. И еще тебе кажется, что твоя смерть — великое мировое событие, которое оставит след в веках. Как ты смешон, как ты жалок! Бедный, бедный! Как мне жаль тебя. Твоя тупая, равнодушная покорность, твоя, вдруг вспыхивающая и сразу же гаснущая гордость смешна и жалка. Я хотел поговорить с тобой о Боге, но ты еще не созрел. Ты все еще стремишься к личному бессмертию, к славе в будущих поколениях. Ты мечтаешь о памятниках Луганову, о Лугановских площадях и улицах. О бедный, жалкий! И я ничем не могу тебе помочь. Давай будем лучше опять молчать. Любовь, бессильная любовь, может превратиться в ненависть, а я не хочу тебя ненавидеть. Будем лучше молчать...»

Стало совсем тихо, совсем темно. В голове была какая-то особенная пустота и легкость, будто голова вообще отсутствовала.

«Если бы я сейчас мог посмотреть на себя в зеркало... Может, у меня действительно нет головы. Но ведь мне не отрубят голову, меня расстреляют. Стреляют, кажется, сзади, в затылок». Он почувствовал боль в затылке и дотронулся до него. «Вот сюда. Рано, рано, — сказал он, — и вообще это, наверно, совсем не больно». И боль сейчас же исчезла. Он ощупал рукой голову, но и без того он уже опять чувствовал ее, и это тяготило его, теперь уже нельзя было сомневаться, что она тут, на плечах, тяжелая, переполненная тоской. И он снова мысленно брезгливо отодвинулся от себя. Он сам себе мешал и был сам себе противен.

Он открыл глаза. По стене пробежал паук, и внимание его поглотилось движением его лапок, быстро передвигавшихся по белой известке. Паук на минуту заменил ему его собственное, такое надоевшее «я». Но только на минуту. Вот уже паук, покачиваясь на неизвестно откуда взявшейся тонкой, все удлиняющейся нити, исчез в трещине пола. Но здесь, в бетонной камере, не было и не могло быть никаких пауков. И щелей в полу тоже не было. Щели в полу, пауки — все это было взято памятью из старого реквизита воспоминаний.

И паук был, может быть, тем самым знаменитым ручным пауком, о котором он читал в детской хрестоматии.

Но, как бы там ни было, внимание его подобно вымышленному пауку, вдруг покачавшись на тонкой нити этих мыслей, растворилось, растаяло в неподвижности и тишине тюремного утра.

* Великолепный, дьявольский (франц.)

Глава вторая

Теперь Луганов перестал даже прислушиваться к бою часов, перестал считать дни. Ему стала совершенно безразлична дата сегодняшнего дня. Не все ли равно, четверг сегодня или воскресенье, 3 июля или 10 августа? Ему стало казаться, что он научился ни о чем не думать. Он не интересовался ничем. Его водили на прогулку, и он шел, механически переставляя ноги, вниз по лестнице, потом занимал свое место в паре, рядом с одним из заключенных. Он не смотрел на своего соседа, не старался расслушать, что тот шептал, еле шевеля губами. Он двигался, опустив голову, глядя себе под ноги, занятый только тем, чтобы не споткнуться, не потерять равновесие, не упасть. И с облегчением возвращался в свою камеру. Он теперь проводил большую часть времени стоя, прислонившись к стене, слегка закинув голову назад. Так ему было спокойнее. Смотреть на потолок было безопасно. Он был белый и пустой. Он всегда оставался только потолком.

И однажды, когда Луганов уже лежал и квадрат окна стал черным оттого, что за стенами наступило то, что называется ночью (последние недели время для Луганова проходило в первозданном хаосе света и тьмы и перестало делиться на дни и ночи), дверь его камеры вдруг раскрылась широко, гораздо шире, чем при появлении тюремного сторожа, без лязга ключей, без щелканья замка — широко и бесшумно, как дверь его московского кабинета. Дверь открылась, и в камеру вошла Вера. Она была одета, как жена бретонского рыбака на картинке его детской французской книжки (той самой, в которой рассказывалось о пауке, жившем в камере заключенного), в широкую сборчатую юбку, с платком, скрещивающимся на груди. Ее деревянные сабо звонко стучали о тюремный пол. Она держала в руках большой яркий фонарь. Вместе с ней в камеру влетел океанский ветер, пахнувший дождем и морскими водорослями.

Она вошла, оглянувшись, подняла фонарь над головой и стала с недоумением всматриваться в Луганова, будто не узнавая его, будто сомневаясь, тот ли он, кого она ищет. Потом отвернулась, вздохнула, поставила фонарь на табурет и устало села на койку. Она сидела рядом с ним, но не касаясь его, не замечая его, — точно он был не тот, кого она искала. Вдруг она опустила голову и заплакала. Он почти никогда не видал, как она плакала. Он запомнил только, как она плакала в тот вечер, когда он спросил ее, хочет ли она стать его женой, но тогда она плакала совсем иначе, тогда она плакала от радости. Он с удивлением смотрел на слезы, текущие по ее молодому измученному лицу. Она еще ниже опустила голову, и ее мокрые выходящие волосы упали на ее глаза. Теперь он видел ее плачущее лицо, как через сеть морских водорослей. Он почему-то вспомнил об утопленницах, образ Офелии неясно шевельнулся где-то в тесноте и темноте его сознания. «Rosemary... That's for remembrance...» * — пропело в его памяти.

— Вера, не плачь, Вера, — попросил он жалобно.

Но она, должно быть, не слышала. Она долго плакала, потом подняла голову, отбросила назад мокрые волосы и встала, вздохнув. Он потянулся к ней, но она уже взяла фонарь с табурета и, сутулясь, как от старости или от болезни, пошла к выходу, стуча своими сабо.

Дверь все еще была открыта. И опять, как когда она вошла, она подняла фонарь и оглядела камеру с тем же недоумением. Пламя в фонаре качнулось и вспыхнуло ярче.

— Вера! — крикнул он. — Вера, не уходи! Вера! — Он только сейчас понял, что она — его спасение и, если он даст ей уйти так, молча, — он погиб навсегда. Но она, не слушая его, уже уходила, унося фонарь.

Она шла, не оборачиваясь. Она уходила все дальше и дальше. Он уже не мог различить ее. Он видел только все удаляющийся, все уменьшающийся свет ее фонаря. И вот свет ее фонаря стал не больше звезды. Вот он, как звезда, светит из черноты и пустоты коридора. Звезда... Свет звезды... «Свет звезды доходит до Земли за двести лет», — вспомнил он. Неужели прошло двести лет, как Вера ушла от него?..

И тогда он понял, и ему стало страшно. Он почувствовал, что он не

* Розмарин... Это для памяти... (англ.)

может сделать ни одного движения, что если бы ему надо было бежать, спастись бегством, это было бы невозможно.

«Что же ты удивляешься? — вдруг снова раздался первый голос в его сознании. — Ведь я, кажется, уже говорил тебе, что страх — обморок свободы. Свободы не только отличать добро от зла, но свободы распоряжаться своими мыслями, чувствами и даже своим телом. Лежи себе. Холодей. Цепеней. Банально холодей от ужаса. Ты всегда боялся банальности. Ты никогда не позволял себе писать: «Его зубы стучали от ужаса», — и напрасно: слышишь, как твои зубы стучат и руки и ноги холодеют? Это было слишком избито и банально. Да, это банально. И все-таки это правда. Перед тобой уже стоит вечность. Вечность пожирает все и ничего не отдает назад. Нет силы, которая может бороться с вечностью. Ты будешь вечно, в бесконечности переживать минуту потери разума, входить во мрак, где тебе не ответит даже отчаяние. Ведь даже отчаяние не спасло тебя. Ты совершил межпланетное путешествие. Поздравляю тебя. Тебе удалось то, что редко кому удается. Разум твой, безотчетно стремившийся туда, где тебе уготована гибель, наконец достиг своего».

Он лежал, чувствуя, как кровь леденеет в его теле, как его зубы стучат. И страх не проходил оттого, что он сознавал его.

«Знаю, знаю — «нет ничего страшнее страха», — сказал насмешливо первый голос. — Как мне смешны и противны те, кто хочет избавить человека от страха перед страшным». «А дальше? Что будет с ним дальше, потом?» — спросил второй голос, и Луганов услышал ответ, громко прозвучавший в его сознании: «Остановимся на этой черте. Вернее всего, что дальше для него ничего не будет». «Но ведь ты хотел поговорить с ним о Боге». «Поздно, теперь уже некогда. И он не поймет — страх помешает ему понять. Пусть уходит из жизни. Предоставим его самому себе, вернее, его гибели...»

Луганов долго ждал, пока наконец рассвело. Он удивился, что еще узнал рассвет. Как я любил рассвет при жизни, подумал он. При жизни? Но разве я уже вне жизни? Разве я уже мертв? Или это мое безумие заставляет меня уже чувствовать себя трупом? А что если потом будет наоборот? Я уже буду мертв, я уже буду трупом, и меня будут есть черви, а я все еще буду чувствовать себя живым и страдать, как при жизни, как живой?

...В тот же день, когда его повели на прогулку, он оттолкнул человека и выбросился из открытого окна тюремного коридора.

Уже вспрыгнув на подоконник, он вдруг вспомнил свое всегдашнее детское ощущение: вот выпрыгну из окна и не упаду, а полечу в небо.

«А вдруг?...» — подумал он. Он не успел додумать «полечу», как почувствовал, что уже падает.

Глава третья

Луганова подняли и отнесли в тюремную больницу. Он был без сознания. Доктор качал головой.

— Вряд ли оправится. Во всяком случае, калекой останется — двойной перелом плеча и... — Он тронул длинным пальцем седой висок, — ...и, возможно, не все дома будут. После такого падения: головой об камни.

Доктор ошибся. Луганов оправился и даже удивительно быстро. Сломанное плечо срасталось, руку не пришлось ампутировать, но служить она тоже больше не могла. Ей предстояло всю жизнь покоиться на груди, на перевязи.

Доктор ошибся и насчет головы Луганова: падение, по-видимому, мало или даже совсем не отразилось на ее работе.

Луганов, когда он пришел в себя, стал на все давать разумные ответы и не проявлял признаков умственного расстройства.

Когда Луганов пришел в себя... Но дело в том, что он не мог назвать своего пробуждения в тюремной больнице «пришел в себя». Он очнулся. Но тот, кто очнулся, был не тот, кто выбросился из окна или, вернее, это был он и не он. Он по-прежнему назывался Андреем Платоновичем Лугановым, нового имени у него не было, и тело его было прежнее, хотя и разбитое. Он присматривался, прислушивался к себе, изучая себя. Как это могло случиться? Об этом он не думал. Как? Почему? — было неважно.

Важна была перемена, происшедшая в нем. Он чувствовал себя очень слабым. Сил хватало ровно на то, чтобы измерить, определить перемену. В чем она состояла? Прежде всего, хотя это и казалось невероятным, в ощущении удовольствия. Да, несмотря на боль в плече и в руке, несмотря на слабость, он, лежа на спине, с удовольствием чувствовал мягкую подушку под головой, с удовольствием ждал посещения доктора. К этому, непонятно откуда взявшемуся ощущению удовольствия, примешивалось чувство покоя, сохранности, какой-то защищенности и неуязвимости, никогда прежде, даже в самые молодые годы, не испытанное им.

Луганов с детства был серьезным, сумрачным и требовательным. Его отношения не только с окружающими, но даже с матерью, с самим собой были сложны и трудны. Но сейчас он впервые почувствовал, что никакой сложности, ничего трудного не было в его отношении к миру, к людям и к самому себе. Все, напротив, было просто, легко и как-то наивно. Все в нем и вокруг него казалось чистым и светлым. Должно быть, от больницы белизны, подумал он и сейчас же отказался от этого объяснения. Нет, больничная белизна здесь была ни при чем. Нет, это в нем самом исчезли хмурость и тень, которую он набрасывал на все вокруг себя, и оттого ему кажется, что он яснее, что он по-новому видит окружающее. По-новому видит, слышит и понимает окружающее с тех пор, как очнулся после падения.

Может быть, подумал он неуверенно, я, падая сквозь скважину длившегося тогда мгновения, проник в вечность живой. Может быть, время остановилось для меня, я остановил его своим падением и теперь я нахожусь в вечности, живой в вечности? И оттого мне так легко и спокойно. И оттого ни прошлого, ни будущего для меня больше нет. Прошрое и будущее перестали меня мучить и страшить, раз я в вечности.

Он не мог понять, он не понимал, но это не огорчало его. Он чувствовал, что улыбается, и давно позабытое ощущение улыбки тоже доставляло ему удовольствие. Как будто теплый свет на губах и лице. Свет, который шел из него самого.

Доктора и сиделки входили и выходили. Но, даже когда он оставался один, он не испытывал одиночества. Он чувствовал незримое присутствие добра и покоя. Ему казалось, что он спит. Во сне он слышал, что кто-то читает «Отче наш». Он открыл глаза и прислушался. «Да будет воля Твоя. Да придет Царствие Твое», — услышал он, и это уже не был сон. Это не был сон, и он был один в комнате. Кто же читал молитву? И вдруг он понял, что это он сам читает молитву и уже много раз повторяет все те же слова. Тогда он закрыл глаза и заплакал от радости.

Луганов никогда не был религиозным. Он любил заутреню в Казанском соборе, крестный ход в еще холодной весенней ночи, заканчивающийся ликующим Христос Воскресе. Он любил вечерние службы в их темной деревенской церкви, свечи, целым пучком жарко освещающие сумрачный склоненный лик Богородицы, волнение молящихся, ту страсть, с которой они прижимали сложенные пальцы ко лбу, прося Бога о даровании им чего-то, на что они, конечно, имели право, цепь веры, связывающая всех этих молящихся, этих паломников с высокими кипарисовыми посохами и стройных молодых вдовушек-паломниц, обходящих святыне места в надежде заслужить себе там, в раю, ту радость, в которой им здесь, на земле, отказано. Он любил обрядовую театральность православного богослужения, с его певчими и басом диакона. Он любил их деревенское бедное и декоративное кладбище с холмиками и полуразвалившимися деревянными крестами, густо заросшее плакучими ивами, на которых вороны так тревожно и зловеще каркали ветренными вечерами на закате.

Но был ли он религиозным? Нет, конечно, нет.

Уже гораздо позже, в годы своей женитьбы, он как-то нашел среди книг Веры ее зеленую Библию, которую она постоянно возила с собой. Он раскрыл ее. Его поразили глубокая поэзия, точность и мастерство английского перевода. Он тогда же прочел ее всю. Он был так очарован ею, что выучил много мест наизусть. Тогда же у него явилась мысль написать статью о влиянии Библии на стиль английских писателей. Но он бросил ее, узнав, что мысль эта уже давно была приведена в исполнение и что она не представляла собой открытия.

Вскоре он перестал интересоваться Библией. Ведь интерес его к ней был чисто художественный, а не религиозный.

И все-таки он не мог утверждать, что он не верит в Бога. С Богом у него были совсем особые, свои собственные отношения. Ему казалось, что Бог любит его, вернее, то, что он пишет, что Бог присутствует во всем когда-либо написанном им. Он не думал об этом ясно, но смутное сознание своей миссии и участия в ней Бога у него, безусловно, было. Это составляло часть его романтического мироощущения. Он чувствовал, что Бог — или абсолют, или причина причин, он не старался точно определить Его имя, — интересуется им сильнее, чем большинством смертных. Он чувствовал свою избранность. И связанное с избранностью благословение того, которого он привык называть Богом. Благословение Бога, но и вытекающее из него проклятие того же самого Бога: тяжесть, которую эта избранность и связанный с ней труд навалили на Луганова. Жестокая, требовательная любовь Бога, отравляющая его жизнь, наполняющая ее горечью, недовольством собой и тем, что он писал, вплоть до соблазна отречься от своих книг, уничтожить их, сменяющаяся гордостью, почти восторгом перед величием того, что ему удалось создать. Всегдашнее ощущение — раскачивание, как маятник, от гордости к презрению к себе, от отчаяния — к восторгу. И этим раскачиванием маятника тоже управлял Бог.

Конечно, Луганов не думал ясно о своих отношениях к Богу. Это были только очень туманные, очень расплывчатые ощущения, не проявленные до конца, тающие, прежде чем он мог оформить их и уточнить.

Если бы его до тюрьмы спросили, верит ли он в Бога, он подумал бы, прежде чем серьезно и честно ответить: не знаю. И это был бы самый правильный ответ. То смутное, что составляло его отношение к Богу, нельзя было назвать верой.

Но сейчас, здесь, на больничной койке, на тот же вопрос он, не задумываясь, ответил бы: верю! Всем сердцем! Как в детстве. Да, именно как в детстве, когда он не подозревал еще, что не все благополучно в мире, когда он даже не догадывался еще, что на свете существуют зло и смерть, когда Бог был только добро, только любовь.

Как могло случиться, что он, доведенный отчаянием до самоубийства, очнулся с чувством радости и покоя, которое должны испытывать праведники в раю? Может быть, его душа за то время, когда он вплотную подошел к смерти, успела узнать многое, еще неизвестное его сознанию? Он не знал. Он не хотел об этом думать. Он был еще слишком слаб. Он только тихо радовался, жмурясь от теплого света улыбки, освещавшей его лицо.

Но к вечеру ему стало душно. Глаза горели, и сердце билось томительно. Объяснение нашлось само собой — это жар.

Луганов лежал один в сумерках и смотрел на темнеющее окно. Там, в этом окне, где только что был больничный сад, теперь на фоне звездного весеннего неба вырисовывались зубчатые стены Кремля. Но ведь их тут не было только что, вспомнил Луганов. Значит, это не только жар, значит, это бред.

Да, это был бред. Луганов сидел в кресле низкой комнаты в Кремле. Перед ним колыхающейся походкой ходил взад и вперед по пестрому кавказскому ковру узкоплечий коротконогий человек. Луганову было трудно следить за его движением. Оно укачивало его, отвлекало его внимание от слов, которые он слышал, от слов, которые он произносил. Что напоминало ему это движение ног в мягких сапогах без каблуков по ковру? Из памяти вдруг выплыла библейская фраза: *From walking up and down, to and fro in the world* *.

Да, именно так гулял сатана по земле перед спором с Богом о душе праведного Иова. Сатана? Но ведь Луганов не верит в сатану, как не верит в зло. Сатана не может гулять по ковру кремлевской комнаты оттого, что ни сатаны, ни зла вовсе не существует. Это только бред, успокоил себя Луганов и стал прислушиваться. Человек в мягких сапогах продолжал шагать *up and down, to and fro*, задавая вопросы гортанным повели-

* От хождения вверх и вниз и в разных направлениях по миру (англ.).

тельным голосом. И Луганов отвечал. Ответы были односложны: «нет». И еще: «нет», и опять: «нет». Нет — на все вопросы. «Не хочешь признаться? — вдруг спросил человек, останавливаясь. — Запираешься? — Глаза его из-под нависших лохматых бровей взглянули в лицо Луганова удивленно, почти дружески. — Мне не хочешь сознаться? — Он помолчал немного и другим, усталым, разочарованным, тоном добавил: — Впрочем, дело твое... Тебе же хуже будет». И тогда, вспомнил Луганов, тогда я встал и подошел к окну. Он видел, как он встает с кресла, как подходит к раскрытому окну. Он чувствовал ветер на своем лице, он чувствовал напряжение мускулов, понадобившееся ему для того, чтобы встать на подоконник. Он вспомнил свою последнюю сознательную мысль: «А вдруг не упаду, вдруг полечу?..».

И он, действительно, полетел. Он летел со страшной быстротой. С быстротой света — точно определил он и сейчас же вспомнил, что читал где-то, что для удаляющегося от Земли со скоростью света то, что он видел в последнее мгновение, когда он покидал Землю, уже никогда не изменится, будет длиться вечно.

И, значит, он обречен вечно видеть это движение мягких сапог без каблук по ковру? Но разве это можно перенести?

«Нет, — сказал он себе сознательно, — всего этого нет и не может быть. И даже никогда не было. Это бред».

Дверь его палаты открылась, и к нему вошел фельдшер.

— Вот сейчас сделаем вам впрыскивание. Что, очень больно, гражданин Луганов? — участливо спросил он.

— Нет, не очень больно, — ответил Луганов, стараясь высвободиться из кресла там, в Кремле, — нет, не очень больно. Только вот бред.

Фельдшер кивнул.

— Ну, как же без бреда после такого? Вполне нормально, что бред. Сейчас впрысну морфий и вы уснете.

— Разве усну?

Луганову казалось, что ему уже никогда не удастся уйти из бреда, ставшего его действительностью. Он почувствовал легкий укол шприца, увидел рыжеватую голову фельдшера совсем близко, он хотел еще что-то спросить, но у него уже не хватило ни сил, ни слов.

Глава четвертая

Он проснулся утром все в той же палате, с тем же чувством радости. От бреда не осталось воспоминаний. Все было хорошо. Он взглянул на окно. Там, в больничном саду, шел дождь. Рыжие намокшие листья копошились на мокрой траве. «Как живые, — прошептал он, чувствуя нежность к этим листьям, и к этой траве, и к земле, на которой росла трава. «Как это было сказано у Франциска Ассизского? «Сестра моя земля?» «Сестра моя жизнь?» Нет, «Сестра моя жизнь» — название сборника стихов. Но как это прелестно. Сестра моя жизнь, именно сестра. Сестра, роднившая меня и с этой мокрой землей, и с этим дождливым небом, и со всем, что живет. Луганов смотрел в окно. Косой дождь вдруг осветился солнцем. Порыв ветра, прогнавший тучу, налетел на дождь, ломая его пунктирные линии. На небе робко показалась радуга. Луганов благодарно следил за тем, как она становилась все отчетливее, все ярче, пока не образовала широкой арки, одной стороной упиравшейся в сад. «Радуга, — прошептал он, — обещание...» Он не закончил, он не додумал — обещание чего? Просто — обещание.

И обещание исполнилось в тот же день. К нему пришел Волков.

Луганов совсем не удивился его приходу. Ведь он был обещан ему радугой. Он, молча улыбаясь, протянул подходящему Волкову здоровую руку, и тот осторожно взял ее в обе свои, подержал немного и осторожно, будто и она была сломана, положил обратно на одеяло. И только тогда заговорил, заволновался, завозмущался.

К концу его посещения, когда Волков уже решил, что он добьется для Луганова ссылки вместо тюрьмы — ссылки и работы в газете, Луганов, невнимательно, как всегда, слушавший его, встрепенулся.

— А Вера? Почему ты ничего не расскажешь о Vere? Как она живет?

Волков отвел глаза.

— Ну, по всей вероятности, хорошо. Хотя я не успел ее еще повидать. Ведь я только утром из Берлина приехал и сразу узнал о тебе.

Луганов поморщился. Плечо вдруг сильно заныло, и боль отдалась в груди.

— Сходи к ней, пожалуйста. Узнай все, как она там одна. И, — он опять поморщился, — я бы очень хотел ее повидать, только боюсь, что ей будет слишком тяжело. И не говори ей, пожалуйста, что я... — Он показал на окно и улыбнулся, несмотря на боль. — Она не должна знать. Она такая впечатлительная, нервная, хрупкая.

— Чепуха! — перебил Волков. — Женщины гораздо выносливее нас с тобой. А балерины, те просто двужилые, с грузчиком могут силой потягаться.

— Нет, ты все-таки не говори. Выдумай что-нибудь, ну ревматизм или еще что. Я ведь в медицине профан. Только чтобы она не знала, что я хотел...

— Хорошо, хорошо. Скажу, что у тебя припадок детского паралича.

Но Луганов не слушал.

— Главное, не испугай ее. И еще у меня к тебе просьба. Принеси мне Верину английскую Библию.

Волков нагнулся над ним и удивленно заглянул ему в лицо.

— Библию? Это еще зачем?

— Принеси. Там есть одно место в книге Иова. Мне перечесть хочется.

— Я бы тебе лучше «Библию для верующих и неверующих» Емельяна Ярославского принес. А? И полезнее и забавнее. Хочешь?

Луганов покачал головой. По лицу его было видно, что он страдает, и Волков перестал шутить.

— Сейчас же съезжу к Вере Николаевне и завтра полный рапорт тебе представлю. И Библию привезу. Может быть, и Веру Николаевну захвачу к тебе.

— Нет, нет! — Луганов задвигался на подушках. — Нет, не завтра еще. Когда я поправлюсь. И побриться мне надо. А то она испугается меня. Только поводи ей...

На следующий день Волков привез Луганову Библию и известие, что Вера уехала со всей труппой в командировку в провинцию.

— Ну, конечно, — рассказывал он, — вначале она много плакала. А теперь ничего, работает, танцует. У нее столько друзей, ни минуты не бывает одна. Она ждет, что тебя скоро освободят.

— Да, — сказал Луганов задумчиво, кладя Библию возле себя. — Я так и думал. Ты не знаешь, сколько в ней мужества, сколько доблести.

— Если хочешь, можно ее телеграммой вызвать. Она, конечно, прискочет.

— Что ты, что ты? — Луганов поднял протестующе руку. — Зачем? Я так рад, что ей хорошо, что она на гастролях...

Через две недели, так и не повидавшись с Верой, которая все еще танцевала где-то в провинции, Луганов уезжал на место своей ссылки.

Все случилось так, как предсказывал Волков. Тюрьма Луганову была заменена ссылкой в один из захолустных украинских городков.

Луганов совсем поправился. Только рука осталась на перевязи, но к этому он легко привык.

Сейчас, сидя с Волковым в купе, он с нежностью смотрел на осенние поля и леса, пролетающие мимо окна.

— А я и забыл, как все это прелестно и трогательно. Я думал, что уже никогда не увижу, что это уже не для меня... А вот благодаря тебе...

— Ну, ну! — Волков нетерпеливо дернул головой. — Не вздумай только благодарить... И ведь мне ничего не удалось для тебя сделать. Великий Человек уперся. Упрям он. До чего упрям.

Луганов помолчал немного.

— А знаешь, — сказал он задумчиво, — так гораздо лучше, что я не видел Веру. Скорее она от меня отвыкнет.

— Это еще что? Разве ты ее разлюбил?

— Нет, напротив. Я ее люблю еще больше, гораздо больше, но... — Луганов бросил в открытое окно недокуренную папиросу и глубоко вдохнул воздух, полный паровозного дыма. — Как бы тебе объяснить? Я теперь ее для нее самой люблю, а прежде я ее для себя любил. Теперь мне хочется, чтобы ей хорошо было, даже без меня, — он запнулся, — даже с другим. И вот я хотел тебя попросить. Устрой наш развод. Чтобы она была свободной. И могла бы жизнь сначала устроить. Ведь она еще так молода...

Волков свистнул.

— Ну, ну, смотри у меня! — Он погрозил Луганову пальцем. — Не будь ты таким добрым, а то, того и гляди, растаешь от доброты, как масло на солнце. Ты что это собрался, как тот старичок с медведем, живым на небо быть взятым?

— Какой старичок с медведем? — не понял Луганов.

Волков рассмеялся.

— Иона, из твоей же Библии. Впрочем, нет, не Иона. Иона — тот первое подводное плавание совершил... Не помню я всех этих басен, забыл. Я ведь даже басен Крылова никогда толком запомнить не мог, а уж эти и подавно.

И он, продолжая смеяться, махнул рукой.

— Не понимаю я тебя, — заговорил он снова. — Как ты можешь эту ерунду читать? — Он показал на Библию, лежавшую в открытом портфеле Луганова. — Ведь ты, кажется, разумный человек. Одно только объяснение нахожу: перетрусил ты очень в тюрьме и уже решил, что твоей жизни конец. А известно, что суд Божий еще несправедливее, чем земной: идите от меня во тьму и скрежет зубовой — лизать сковороды раскаленные. Вот ты и «убоялся». Конечно, «страх — основа религии». Но сейчас, хоть и не особенно пышно, все-таки жизнь твоя устроилась, ничто тебе не грозит и, право, нет основания бояться и в Бога верить.

— Оставь, — перебил Луганов. — Ты мой друг, ты милый... но не будем об этом спорить. Расскажи лучше, что ты видел в Берлине.

И Волков, одернув гимнастерку, стал пространно и обстоятельно излагать все свои соображения о немецком народе, о социал-национализме и Гитлере. Их у него накопилось много.

Луганов улыбался и не слушал. Да, радуга не обманула, вспомнил он. Да, обещание исполнилось. Еще лучше, чем он надеялся.

(Продолжение следует.)



Пять стихотворений

* * *

Петру Старчику

В одиночку душа голодует.
Непогоду Борей наколдует.

Наколдует и на́ полдень двинет,
и — за мусорной пылью — Москвы нет!

С Белых Веж, из-за Камня-Урала,
из-за горького моря Арала...

Как четыре да схватятся брата —
дрогнут лопасти Новоарбата!

Жди и стой. Жди, прямея и стоя,
как сожмется пространство витое

дланью Господа Бога Живаго:
узнаю Твою Волю и Благо.

И пора. И не лепо ли бяшеть:
брызжут стекла, кирпичики пляшут.

И помрем — поделом — да не скушно!
Но Твоя Тишина безвоздушна —

узнаю... И небесная тяга
рвет мне грешное сердце — во Благо...

В семи церквах

Наежде Ивановне Катаевой

Через дорогу дерево росло
и делало проезд негабаритным.
Когда-то был еще прямой ствол
защитной взят оградкой обручальной,
потом железо облегло кору
и потонуло в деревянном теле,
но выходило ржавчиной листы
по осени лет сто. Потом поклоном
земным оно прощалось год за годом...
Срубили дерево, и я с трудом
то место нахожу. Стою, смотрю,
и призрак дерева передо мной
стоит и клонится, и сквозь него

машины мчатся.
 А наискосок
 с чугунными решетками на окнах
 в броне гранита виден зиккурат*:
 он тоже призрак, ибо, как свеча,
 в нем церковка снесенная белеет.
 И Поварская о семи церквях
 лежит, одетая, еще в булыжник,
 вся еще дышит. От Бориса-Глеба
 свернем к Николушке-на-Курьей Ношке**
 в Борисоглебский. Вот Маринин дом,
 где вечно новоселье, шум и гомон.
 — Как, девочка, тебя зовут? — Ирина
 Сергеевна. Теперь я не умру
 и призрачные годы не наступят...

Отрывок

Приход и служба захирели,
 пообветшали муляжи,
 но две свечи для них горели
 и золотили витражи.

Их миновал обряд венчальный —
 весь этот вышедший в тираж
 сакраментальный и сусальный
 аляповатый антураж.

Но всю ясностью итога
 и болью пятого ребра
 дана была ему от Бога
 духовная жена-сестра.

К его ознобу, к тайне детской
 теперь примешивался лоск
 гордыни дядювской шляхетской:
 где надо, там отозвалось!

Нельзя жиць без отголоска
 погибнувшего бытия...
 Она ж — хотя б едзига слёзка
 глаза увлажнила ея!

А ты, бесхитростный ваятель,
 чья так плачевна и бледна
 раскрашенная Богоматерь —
 твоя вина, твоя вина...

Диоскурия

(шуточка)

Перепой и недоед обусловили проект
 потопленья берегов к устрашению врагов,
 и народ, умом скорбя, ров изрыл кругом себя,
 обороной кольцевой свод сплотил над головой.
 Но чудовищный кессон оказался столь весом,
 что не вынесли грунты.
 Тут и все бы, и кранты...

Диоскурия не миф, а нормальный антимир:
 где живет наоборот трудовой антинарод,
 ибо дышит в жизни той жидкой углекислотой,
 и немного погода нарождается дитя
 с жабрами и в чешуе —
 в трудовой одной семье.

Знак

Живая иноходь — волнение —
 волна по шерстке камыша.
 Однако тень бежит за тенью,
 бежит, мрачней и спеша,

* культовая башня в архитектуре Древней Месопотамии.
 ** на кривой меже.

и кроткое, как акварель,
мелкоболотистое Лаче
мутится и глядит незряче,
когда волна взбежит на мель.

Вдруг налетает ниоткуда
на Каргополье дикий шквал —
и на дыбы взмывает вал
и стоймя переходит луду.

Захлопнул устье Свидь-реки
и топит берег вал нагонный.
Окаменелый, черный, донный
топляк забросил в тростники.

Вздывает реку ураган
и гонит вспять толчками поршня.
Вширь раздаваясь по лугам,
потоп дойдет до Подкорожья...

Но вот и свет бежит за светом,
как набегал за мраком мрак.
Беда прошла. Но в вихре этом
был каргополам послан знак.

Шквал гнал, расплескивая Лаче,
анти-Онегу в анти-Свидь:
В «проекте века» все иначе
долженствовало течь и быть.



Р а с с к а з ы

Пустота с золотыми подмышками

На одном из поэтических вечеров автору этих строк довелось стать свидетелем забавного диалога — читатель из зала спросил поэта, как тот относится к графоманам, последний же совершенно искренне ответил: «Хорошо. Я ведь и сам, может быть, графоман...».

Интересен тут, конечно, не сам диалог, а то, что наша новая российская литература, утверждающая сегодня себя в журналах и книгах после десятилетнего подполья и полуподполья, в принципе не укладывается в советизированную систему эстетических категорий, согласно которой писатели делятся на членов творческого союза и графоманов, литература — на прозу и поэзию, и так далее, и тому подобное...

Например, едва ли не самые уничтожительные, с точки зрения нормативной поэтики предшествующих десятилетий, понятия — молчание и пустота — оказываются одними из главных эстетических категорий «новой литературы». Впрочем, особая эстетическая ценность всего «нулевого»: тишины, пустоты, темноты и т. д. — именно в нашем, XX веке вполне объяснима: мир настолько насыщен звуком, светом, вообще информацией, что органы чувств попросту перестают ее воспринимать.

Особую значимость паузы ощутили художники еще в начале века: русский футурист Василиск-Гнедов первым решился опубликовать в книге стихов чистую страницу, назвав ее «Поэмой конца», а К. Малевич — не только сплошь закрасить плоскость холста черной краской, но и заявить: «Я прорвал синий абажур цветных ограничений, вышел в белое, за мной, товарищи авиаторы, плывите в бездну, я установил семафоры супрематизма. Я победил подкладку цветного неба, сорвав, и в образовавшийся мешок вложил цвета и завязал узлом. Плывите! Белая свободная бездна, бесконечность перед вами». Можно гадать, что они имели в виду, но стоит ли: главное, они дали нашему глазу — отдохнуть, а воображению — вволю поработать, заполняя чистое пространство фантазиями и ассоциациями. Их прямым последователем в литературе нашего времени можно считать Генриха Сапгира, известного современному читателю в основном по детским стихам, пьесам и мультфильмам. За тридцать с лишним лет работы в литературе он создал около двадцати поэтических книг, большинство из которых можно до сих пор найти только в одном месте в мире — в его квартире на Новослободской. Книжки, изданные в Париже, — не в счет, их нет ни в одной библиотеке; три сборничка, выпущенные «Прометеем» за счет средств автора, — тоже, поскольку и они в большинстве своем сосредоточены в той же самой квартире да в домашних библиотеках многочисленных знатоков и любителей новой поэзии. Принципиально «дефектны» и журнальные публикации в «Новом мире», «Огоньке» и «Юности»; лирика Сапгира в них вырвана из контекста его жестко скомпонованных книг, а значит, лишена большей части своего эстетического заряда.

Уже в самом начале пути поэт ощутил особую значимость пауз: недаром вслед за первым сборником — «Голоса» — пришел второй со знаменательным заглавием «Молчание». В нем есть интересное стихотворение, названное, как некоторые картины современных художников — «Без названия»:

Лист
Чист
И одинаков
Ни графита
Ни чернил
Ни печатных знаков

Осторожно
Нежно
Разглядываю на свет
Здесь
Ничего нет
И все есть

Вот

Свет
Здесь
Весь
Протяженный во вселенной
Я

Об особой значимости молчания, тишины, пустоты Сапгир будет писать и позднее. Например, в цикле любовной лирики «Люстихи», где воспроизводимые в стихах диалоги кажутся абсолютно случайными, однако в стоящем за ними бесшумном любовном действии мы безошибочно угадываем главный смысл. Или в стоящем всего из двух слов стихотворении «Война будущего», где между строчками «Взрыв» и «Жив?!» — несколько рядов точек, которые можно прочитать и как холодный хронометраж, и как натуралистическое описание глухоты контуженного, и как утверждение осознанной вдруг значимости отказа от слова в самый страшный миг жизни (или смерти)...

Позднее, в 1982 году, в «Прологе» книги грамматических стихотворений «Монологи» Сапгир обратил наше внимание на другую — внешнюю по отношению к эстетике — причину не только своего, но и всеобщего молчания:

Так! Жизнью мы контужены, оглохли
и слушаем, как все молчит кругом
Молчит столица, будто выжидая
лишь ночью — гул, но все равно молчат
Молчат мои никто, мои друзья
Один замолкнул, потому что умер
Другой уехал, потому молчит
Молчит пейзаж, Молчат телеэкраны
лишь дикторы губами шевелят
Безмолвствует от края и до края...
И червь молчит...

А начинается «Пролог» — и вся книга — не менее знаменательной фразой: «Не говорить я вышел — а молчать». Впрочем, еще Ю. Тынянов ведь заподозрил, что «пустые» строфы «Евгения Онегина» — не только результат цензурных ножниц, но еще и гениальное авторское изобретение, позволяющее вложить в ограниченное пространство листа бесконечное разнообразие индивидуальных вариантов его заполнения.

Как говорится в «Прологе»:

Сам Пушкин эти паузы любил —
от чувств избытка. Знаки умолчания
он проставлял в «Онегине» затем
чтоб действие живее развивалось
как будто бы говорено о том
о чем он предпочел не говорить
и здесь, где точки, будто взвод на марше
построились онегинской строфой
сама строфа как будто существует
и даже рифмы кто-то угадал.
Мы можем также вспомнить молчаливо
как Пушкина поправил Николай
а царь, конечно, знал молчанью цену
«народ ликует» зачеркнул брезгливо
«безмолвствует», подумав, начертал
Еще — стихи: «Ненастный день потух;
ненастной ночи мгла...» Не думайте, что мужи
бумагу засидели или цензор —
дурак резвился. Нет! страдает, молча
любovníк, мавр, и лишь в самом финале —
ревнивою угрозою: «А если.....»

Пушкин помог Сапгире и в 1985 году, когда он, как многие русские поэты до него, решил вступить в открытый диалог с первым поэтом России — благо тот оставил для этого прекрасные возможности: несколько непереуцензурных французских стихотворений, недописанные «Египетские ночи», «Русалку», того же «Онегина», десятки «пустых» строк в лирических стихах. Может быть, не случайно?

Сапгир начал, как все: перевел и дописал. Но, дописывая, обнаружил вдруг, что целиком заполненный черновик стал хуже оригинала. Пришлось заново дописывать его уже своими строчками с «пушкинскими» пробелами между словами.

Дальше — больше: дописав в следующем стихотворении всего одно пропущенное Пушкиным слово, Сапгир вдруг обнаружил, что при этом из текста пропали два других, казалось бы, давно и прочно в нем сидевших. И тогда, представив, что после их насильственного водворения на место начнут пропадать и другие, поэт понял: необходимо все оставить так, как было. Как задумал Пушкин: с пробелами и паузами, с потерянными или нарочно убранными строчками...

Тогда Сапгир начал убирать части слов и целые слова из своих собственных стихотворений — и они отнюдь не потеряли смысла, напротив, сохранив его, приобрели еще и новые его подголоски. И вспомнил поэт написанное Фетом Константину Романову по поводу идеальных стихов, в которых «окончательный куплет надо будет передавать безмолвным шевелением губ», и решил для себя:

Наш великий Пу
второпях слова
в черновики опу
и недогова

Сколь несме поги
 На просторах лит
 Так что мне — Сапги
 И сам бог велит

Когда же наконец на рубеже 1990-х лета склонили-таки поэта к суровой прозе, он без колебаний начертил на титульном листе своей книжки — «Пустоты». А другую назвал «Человек с золотыми подмышками» — этот герой тоже выкристаллизовался из стихов Г. Сапгира, только не из экспериментальных, а из сатирических, густо собренных авторской иронией.

То, что Сапгир — человек легкий и добрый, видно по любому его произведению. В прозе же его, видимо продолжающей стихи, это особенно очевидно. Даже самая острая сатира не переходит в сарказм, — напротив, готова превратиться — и часто превращается — в юмор. Поэтому у него нет врагов. Или по крайней мере он не хочет ничего знать о их существовании, желая всем людям земли добра и счастья.

Может быть, с точки зрения искушенного ценителя современной прозы рассказы и притчи Сапгира будут не вполне оригинальны — повторю ему, что до конца понять их можно только в общем контексте его творчества, главная часть которого — стихи, а проза — лишь их продолжение. И каждый рассказ, так же как «Пустоты», можно «вычитать» в двадцати стихотворных книгах поэта, написанных раньше, но до сих пор, к сожалению, почти никем не прочитанных. А может быть, путь к ним лежит как раз наоборот — через прозу поэта? В которой тоже есть и истинная пустота, и «свет...», и «про...», и «...уум», и «...устага»?

Ю. ОРИЦКИЙ

Прыжок кузнечика

Кузнечик прыгнул — и главарь банды Иван Федорович повалился ничком, царапая выщербленный пол полуподвала обломанными ногтями и в предсмертных судорогах суча американскими башмаками на толстой подошве.

Кузнечик прыгнул — и на девятом этаже стекло разлетелось вдребезги... Когда приехали, Розалия Аркадьевна была еще жива, со стены укоризненно смотрел портрет покойного супруга.

Кузнечик прыгнул — и следовательно по особо важным делам Сева Петрович дернулся, и уронил бедолага голову на старые джинсы, которые он перед этим зашивал толстой суровой ниткой, по виску стекала темная струйка крови...

Литератор Сергей Былинкин поставил многоточие, выдернул лист из пишущей машинки ЭРИКА, удовлетворенно хмыкнул и хотел было перечитать — и тут на него кузнечик прыгнул.

Рыба

Приморский поселок плыл в желтом предвечерье.

Старушка, которая возилась в саду, зорко глянула на меня и выпустила большоголовую розовую рыбу.

Рыба поплыла, колеблясь неким лилово-розовым призраком над знойным шоссе...

Что-то подсказало мне: не оглядываться — конечно, оглянулся: рыба стояла в воздухе в пяти-шести шагах.

Я затряс головой: рыба исчезла, старушка — нет, она зорко смотрела над кустами вянущих роз.

Я уверил себя, что почудилось, и пошел дальше в горку — обернулся: рыба следовала за мной, чуть поотстав.

Я быстро свернул за угол и притаился в кустах акации. Рыба важно проплыла мимо — я обрадовался. Рыба вернулась и рыскала, как собака, потерявшая след. Она была явно растеряна.

Мне стало жалко рыбу. Может быть, она долго томилась в голове у старушки — некое неосуществленное желание. И вот счастливый случай, или, может быть, пахло от меня особенно для нее привлекательно (бывает) — рыба вынырнула на свободу и овеществилась.

Я выступил из кустов, показался рыбе — не оглядываясь, пошел вниз по узкому проулку к своей калитке.

Дома я выпил чаю, рыбе дал что у меня было — холодных котлет целую тарелку, все сожрала.

Ночью спал плохо — мешала рыба: то и дело тычется своими костистыми плавниками (или что там еще у нее) в плечо, царапает.

Утром бросил ей полбуханки — испугался — чуть по локоть руку не отхватила, с хрустом стала перемалывать сухой хлеб своей костяной броней.

Задумался я: чем буду кормить чужое желание? Своей плотью? И на что оно мне?

Было бы это желание юной девушки с едва наметившимися сосцами, а то старая старуха в блеклой кофте, загорелая, как солдат, — шея и кисти рук.

Решил я отвести рыбу обратно.

Не оглядываясь, я поднимался по извилистому проулку — был уверен: рыба следует за мной.

Вот и белая стена дома, розы за ребристым штакетником. Хозяйка, как и вчера, мутно смотрит на меня — сквозь меня.

Рыба подплыла к ней, обернулась своей тупой мордой. Теперь они обе — рыба и хозяйка — смотрят на меня. Да полноте, так ли уж стара и непривлекательна эта пожилая женщина?

Во мне поднималось что-то, небольно ломая мои ребра и сжимая внутренности, — вдруг серо-серебристая длинная рыба выскочила из меня — и я ощутил себя пустым, как пакет.

Она вращала моими зеленоватыми глазами, во рту ее двигался мой язык — я узнал свой недостающий зуб, она что-то говорила — какие-то пустяки... Я чувствовал себя совсем сплюсненным — без содержания, как консервная банка на трамвайном рельсе.

Хозяйкина рыба обрадовалась моей — карие с желтизной очи удивленно остановились, по извилистой губе скользнула улыбка. Обе рыбы как-то притивоестественно прыгнули навстречу друг другу — и с яростью стали пожирать друг друга, давясь, обжигаясь, со свистом всасывая мозги и потроха.

Ни обо мне, ни о какой женщине — молодой или старой — уже не было и речи: мы просто могли не существовать.

Ментальное путешествие

— Полетим в мир людей.

Вергилий прыгнул ко мне из темноты на свет моей лампы — зеленый с длинными (коленками назад) задними ногами, он сел на подоконник моей террасы — и смотрел на меня темными глазами поэта. Не будем говорить здесь о метасихозе, метаморфозах и прочей мистике. Просто будем принимать все, как оно есть.

Вот он прыгнул на окно из вечерней темноты сада и пригласил меня в путешествие. Действительно, давно пора было посмотреть, каков этот мир людей, о котором я столько читал и слышал.

Не двигаясь с места, я ощутил, что, кувыркаясь, перелетел над столом и опустился на хитиновую спину моего коня и проводника.

Как за поводья, ухватился за его длинные усы. Вергилий, шурша, перелетел на куст сирени. Куст сирени, потрянув всеми своими ветвями и гроздьями, перемахнул на голубой месяц. Месяц заскользил по небу. И мы отправились в мир людей.

Сначала внизу было темно, только редкие огоньки. Потом возникла жемчужная россыпь огней. Мы стали резко снижаться.

— Это город людей, — объявил Вергилий.

— Красиво, — сказал я.

— Давай посмотрим квартиру человека, — предложил Вергилий.

— Где она?

— А вон — любой из огоньков.

Мы устремились вниз к огоньку — я, Вергилий, куст сирени и месяц. Опустились и стали возле освещенного окна. Месяц и куст остались снаружи, где им и подобает быть. А мы вошли. Вернее, Вергилий влетел и сел на потолок.

В квартире человека были: человек, его жена, его ребенок. Они двигались

и трогали разные вещи. Сверху нам было видно, как двигались их головы и руки, башмаки и туфли, ноги как-то скрадывались.

Сначала женщина — топ-топ, топ-топ-топ — достала из буфета тарелки, поставила их на стол, то же проделала с вилками и ложками. Ножом нарезала хлеб. Почему все это не падает мне на голову? Я был вверху, но я был в опрокинутом виде, значит, я был внизу, и все это происходило над нами. И все-таки я крепко держался за шею моего спутника-коня, потому что боялся упасть — вверх?

Если посмотреть на все это посторонним глазом, то возникала странная картина. Одни вещи люди доставали из разных ящиков и домиков, другие вещи делили на части. Потом принесли откуда-то третью вещь, которая дымилась, — так была раскалена, наверно. Третью вещь разложили комьями на расставленные полукругом круглые вещи. А затем люди благополучно уничтожили и горячие комья, и нарезанные холодные пластины, при этом они размахивали ножами и вилками так, будто хотели зарезать друг друга.

— Люди ужинают, — сказал Вергилий.

Я забыл. А может быть, не знал, как это происходит. Но мне это показалось весьма странным. Зачем столько движений, приготовлений и предметов для такого простого действия, как еда?

От удивления я перестал держаться — и упал (снизу вверх или сверху вниз — не знаю) прямо в тарелку с кашей.

Сын человека выловил меня ложкой и хотел этой ложкой раздавить, как насекомое. Но ложка была в каше — и я все время выскальзывал из-под ложки. Я кричал, молил, но он меня не слышал. Он хотел меня раздавить. По неволе вспомнил я Гулливера в стране великанов. Нет, люди с тех пор совсем не изменились. Я видел его страшный разинутый рот с частоколом зубов и огромные зрачки глаз. Из множества его пор — дырок в грубой коже — выделялись испарения, просто нечем было дышать.

Липкий, весь заклеенный кашей, я полз, весь извивался на клеенке, а массивная громада, похожая на блестящий корабль инопланетян, меня настигала...

И тут послышался шелест крыльев. Ловкие лапки подхватили меня и вынесли в окно. Вверх, вверх и поставили на краю крыши — ошеломленного, не успевшего даже испугаться. Чувства, которые охватили меня, были разноречивы. Но, чтобы пережить их, потребно было время. И, когда некоторое время прошло, я сказал своему спасителю:

— Спасибо. Человек жесток, и у него слишком много вещей. Как он в них во всех разбирается?

— Я и сам до сих пор удивляюсь, — согласился Вергилий. — Почему кашу надо есть из тарелки, а шляпу носить на голове? Почему не наоборот?

— А почему меня надо давить ложкой, а не башмаком? Или грузовиком? Или автокатком?

— Ну, это что под руку попало... — пробормотал Вергилий.

— Меня вообще не надо давить, — говорил я, яростно счищая с себя лохмотья приставшей каши.

И тут я увидел — далеко внизу огоньки светятся, муравьишки ползают и жуки бегут в разные стороны.

— Что это за муравейник? — спрашиваю я.

— Это город людей, он всегда кажется муравейником с такой высоты, — охотно разъяснил мне Вергилий.

— А почему люди такие крошки?

— Это они в перспективе нам такими представляются.

— Значит, в обратной перспективе мы для них — гиганты, — медленно произнес я. И во мне ощутимо шевельнулось мстительное чувство.

Я встал, будто хочу ноги поразмять, и стал прохаживаться по краю крыши. А муравьишки внизу бегали, машинки бежали. И тут будто невзначай я стал ходить по этим людшкам и машинам. Какой переполох внизу поднялся: запаниковали, заметались, побежали врассыпную, а машинки друг на друга полезли, как жуки-навозники. И под моими сандалиями трещали и лопались.

— Стой! — закричал мне Вергилий. — Остановись! Ты давишь разумные существа.

— Нет уж, — говорю. — Ростом не вышли разумными быть. Пусть сперва докажут, что разумные. Муравьишки.

А сам какого-то юркого большим пальцем ноги догоняю. (Ноги у меня в тесных сандалиях, вот большие пальцы и торчат.) Кричит, да я не слышу что, может быть, просто пищит, как таракан. Он — за угол, я — за ним, он — в подъезд, я сунул ногу — не влезает палец в дверь. Повезло человечку.

— Ладно, может, они и разумные, — согласился я. — Вон как меня перепугались. Послушай, а почему столбы и киоски внизу никуда не побежали? Им что, жизнь не дорога?

— Вещи живут другой жизнью, как я понимаю, — ответил Вергилий. — Люди их делают, люди их приобретают, люди их теряют, наконец. Но у вещей своя жизнь, отдельная от людей, иногда глубоко чуждая людям.

— Зачем же людям вещи? — удивился я.

— Вернее поставить вопрос так: зачем вещам люди? — усмехнулся Вергилий.

— Действительно, зачем?

— А это надо у них спросить.

И мы спустились в мир людей и вещей — по пожарной лестнице. Здесь, в городе, вещи текли блестящим пестрым потоком, иногда ныряя в темноту, как в песок. Люди бежали за вещами, люди несли вещи бережно, как младенцев. Люди гордо выставляли вещи напоказ. А вещи молчали. И вообще без людей — отдельно они выглядели сиротливо, вот — костюмы на вешалке в магазине, вот — длинные ряды обуви на распродаже. Продавец где-то, даже не смотрит. А они ждут, что люди их радостно схватят, примерят, притопнут и пойдут куда-то по гладким тротуарам, по мраморным плитам, по лакированным паркетам.

— Ах, какие замечательные у вас ботинки! туфельки! мордovorоты! — скажет кто-нибудь.

Смотрите, как уныло сморщилась, почти рыдает эта забытая сумка на лавке в вагоне метро. Молния жалостно искривилась и готова вся расстегнуться. Зачем ей все эти блестящие застёжки, все это весомое содержимое, если хозяин оставил ее? Но смотрите, как она оживилась, когда какой-то ловкий и находчивый человек подхватил ее за ручки. Да, она — его, она всегда принадлежала ему — эта почти новая, почти кожаная сумка. И я понял: вещи нуждаются в людях так же горячо, как и люди в вещах. Иногда они нравятся друг другу безумно, иногда друг друга недолюбливают, но жить друг без друга не могут...

— Посмотри сюда, — позвал меня Вергилий.

В полутемной витрине стояло пирамидой множество телевизоров — и в каждом ярко веселились и говорили люди.

— Неужели вещи пожирают людей? — поразился я.

И тут мы стали свидетелем такой возмутительной сцены. На тротуаре неподалеку стояла кучка людей. Подошел пузатый автобус — и всех по очереди проглотил, правда, одного выплюнул. Видимо, не пришелся по вкусу.

— Он их всех проглотил! Куда смотрит полиция? — воскликнул я.

— Но, по-моему, они даже не заметили этого, — сказал мой спутник.

Ярко освещенные здания проглатывали людей вереницами. И мы не заметили, как нас проглотило одно милое, уютное заведение.

Мы сели за столик. Я заказал себе водки, Вергилий — розовый коктейль (какой-то особый) с вишенкой.

— Если вещи поедают людей, зачем же те их производят? — продолжал возмущаться, выпив пару рюмок.

— Люди — непоследовательные существа. — Вергилий с удовольствием потягивал коктейль. — Может быть, они делают вещи специально. Специально, чтобы вещи поглощали их. Представляешь, ты производишь розовый коктейль, который медленно и вдумчиво пожирает тебя, начиная с головы.

— А как же реальность?

— Время и фабрикует реальность, и уничтожает ее.

— Где же истина? — недоумевал я.

— Где ей быть? Истина на дне, как сказал мудрец, — ответил Вергилий, пытаясь выловить вишенку со дна бокала.

Все было выпито — и мы нырнули на дно.

Когда мы выплыли, вокруг была темнота, которая постепенно сгустилась в причудливые облики не то зверей, не то людей. Все мы — не то звери, не то люди — барахтались в каких-то помоях. Но окружающие, пожалуй, чувствовали себя, как на всемирно известном пляже в Рио-де-Жанейро. Они об-

менивались любезностями и ныряли куда-то вместе и выныривали оттуда, заметно повеселевшие. Некоторые жадно хлебали помои, видно, не нахлебались вдосталь там — наверху.

— Привет, старик, — обратился ко мне — да это был он, конечно, он — известный скульптор, он всегда был похож на жабу, теперь в особенности.

— А я думал, ты в Нью-Йорке, — не подумав, сказал я, тут же пожалев об этом.

— А где же я, по-твоему? — в свою очередь удивился он. — Я в своей мастерской на Пятой авеню — на тридцатом этаже. Сейчас я тебе приготовлю томат-водку. Я слышал, у тебя неприятности. У меня все о'кей.

— У меня все о'кей, — повторял он вверх, по-жабьи улыбаясь, погружаясь в густые помои.

Боже мой! Из темных волн на меня смотрело оплывшее лицо моей давнишней приятельницы. Как она постарела! Она была похожа на утопленницу. Да и я, наверно, выглядел здесь не лучшим образом.

— А ты — настоящий толстяк, — обратилась ко мне толстуха. — Потолстел, брюхо наел, по-дружески тебе скажу. Не правда ли, я совсем не изменилась? Приятно тебя видеть. Слушай, только тебе по секрету: это клубок змей, никому здесь не доверяй. Этот давно в погонах, этот полковник, а помнишь этого? — не меньше чем генерал, да он у них тайный мафиози! Вот и делай им добро... Нет, здесь жить можно... Я еще держусь... А вот Сонька...

Она еще продолжала говорить, цепляясь за меня своими маленькими скользкими ручками, а я, выдираясь, выбираясь, с ужасом думал: «Они же совершенно не понимают, где находятся».

— Люди постоянно обманывают сами себя, — будто подслушав мои мысли, заметил Вергилий, купаясь рядом в помоях. — Ничего другого им не остается.

— Так вот какая истина пребывает на дне! — воскликнул я.

— Истина на дне! Истина на дне! — подхватили вокруг истошные пропиные голоса. — Выпьем «за». Выпьем «против». Выпьем, потому что. Выпьем, несмотря...

— Вытащи меня отсюда! — взмолился я.

И в мгновение ока мы вылетели из этого живого супа, как пробка из бутылки.

Бесконечно вверх уходила, смутно поблескивая, металлическая, слегка вогнутая стена...

И вдруг мы оказались на вершине, блестящей и гладкой, под совершенно голубым небом.

Внизу, насколько хватал взгляд, к нам ползли люди — на животе, раскорячившись, как лягушки, они делали невероятные усилия, чтобы удержаться на полированной поверхности. Некоторым это удавалось — и они, извиваясь всем телом, как змеи, старались продвинуться дальше сантиметр за сантиметром. Но, не удержавшись — еще не понимая, что они скользят вниз, — с безумной надеждой в расширенных зрачках, — уходили вниз, как иные уходят из жизни, и летели стремглав все быстрее и быстрее при общем хохоте. Снизу они грозили кулаками недосыгаемой спокойной вершине и, мне казалось, нам, стоящим на ней.

— Мы на самом верху, — торжественно объявил Вергилий.

Я даже почувствовал некоторую гордость, что вот, мол, мы здесь, куда многие... и так сказать... да и что говорить... Я окинул широким взором наши владения — и онемел: мы стояли на самой пупочке блестящей крышки гигантской кастрюли. Крышка была выше Арарата, но это ее не спасало. Даже библейская крышка — все равно крышка, и накрывала она, пусть тоже библейскую, но кастрюлю.

— Не может быть, — прошептал я. — Этот мир похож на кастрюлю.

— Ошибаешься, он похож на чайник, — спокойно возразил мне Вергилий, любуясь картиной, открывавшейся внизу.

Я снова посмотрел вниз — нет, этого быть не может! Теперь мы стояли на крышке планетарного фаянсового чайника в голубой цветочек. Вокруг сияли шесть чашек в своих блюдцах — это были другие миры в своих орбитах. А дальше светилось множество сервизов с различными узорами. Это была Вселенная.

...Врете вы все, достопочтенные, мир похож на мою лысину, — не го-

нял я, сказала или подумала подозрительная личность в простыне, без штанов.

«Забираются сюда всякие! И как только их пускают!» — возмущенно подумал я.

А Вергилий склонил голову и с уважением произнес:

— Вы правы, уважаемый Сократ, мир похож на вашу божественную лысину и так же рождает множество идей.

— А сообщество лысых — это наша Галактика, молодой человек, — внезапно язвительно сказал Сократ, лукаво глянув на меня.

Я не нашелся, что сказать, потому что, еще посмотрев вокруг, увидел: действительно, мы стоим на лысине Сократа, и сам Сократ преспокойно стоит на своей лысине и разговаривает с толпой лысых античных мудрецов, которые и есть наша Галактика.

— ...и еще мир похож на множество различных вещей, ведомых нам и неведомых, — донесли до меня слова мудреца. — Достаточно только представить себе какую-нибудь идею — и сразу мир воплощает ее в наших глазах, потому что он то и другое, и третье — все вместе — и совершенно на все это не похож по своей сущности. Мир идентичен сам себе. В этом отличие мира от человеческой личности, которая сама себе никак не идентична...

— Поэтому между реальностью и разумом возможен контакт только на условном уровне, на любом, который разум может себе представить. А он может представить многое... — Это уже произнес Вергилий, сидя на подоконнике моей террасы.

За окном были сад и луна. Что-то трепетало почти неслышно внизу в темноте. «Ветер шевелит листья у дороги времени», — почему-то подумал я.

Но самое яркое впечатление от всего, что было: на вершине мира, похожего на кастрюлю, стоит Сократ и беседует с зеленым кузнечиком, который сидит на его ладони.

Фокусы с разоблачением

Вы видели, на освещенной сцене заезжий фокусник, щуря свои монгольские глазки, показывал тщательно отрепетированные штучки: платки, шнурки, голубей, кроликов, бутылки, жесты, — я видел другое.

Все было похоже до отвращения: сначала он показал полную бутылку какого-то вина, потом накрыл бутылку пакетом, тихонечко шлепнул сверху ладонью — пакет смялся, снял пакет — на ладони было пусто.

Но я-то видел (потому что знал), как под легким ударом ладони смялась стеклянная бутылка и так называемый фокусник незаметно растер ее в пыль.

Он достал из воздуха одно яйцо, другое, третье, два — из шляпы, шестое он вынул из уха конферансье. Но я могу поклясться, три первых яйца он вынул из трубки, которая возникла в полутьме сцены ниоткуда, два яйца снесла шляпа, которая недаром прыгала, как наседка, а конферансье подменили. Из этой куклы можно было достать все, что угодно, не только яйцо. И яйца, ручаюсь, были не куриные. Потому что из всех яиц действительно вылупились цветные платки, да платки ли это?

Публика была довольна и требовала дальнейших чудес. Мне все больше становилось не по себе, в голову лезли странные воспоминания — и все сходилось.

Безмозглые слепцы, они не поняли, что зеркальный шкафчик, который вынесли из-за кулис, — это домашний преобразователь. И, когда фокусник взял у доброхота из первого ряда карманные часы и положил их в шкафчик на мгновение, этого было достаточно. «Часы подменили! — заволновались сзади. — Видишь?» Между тем фокусник положил часы на маленькую наковальню и вдребезги разнес их молотком. Доброхот заволновался — по сценарию. Но фокусник положил разбитые вдребезги часы в шкафчик — и вытащил за цепочку оттуда целые. Торжественно, под общие аплодисменты вручил их дураку из первого ряда.

Идиоты! — никакого фокуса не было, часы были разбиты по-настоящему. Но весь фокус в том, что прежде преобразователь повторил эти часы до молекулы с поправкой на фактор времени.

Так называемый фокусник махнул рукой за кулисы — на сцену выкатили ящик, в который легла его прелестная ассистентка. Маг показал публике од-

норучную пилу, которой и распилил ящик пополам. Затем он истыкал ящик шпагами — и потекла темная кровь. Кровь испачкала пол, шпаги, полу узорного халата фокусника.

— Острия шпаг убираются, сам видел,— не мог успокоиться какой-то идиот.

Действительно, из темноты выбежала улыбающаяся ассистентка — вуаля! Зал ахнул. Нервы мои не выдержали.

Одним прыжком я выскочил на эстраду.

— Неужели вы не видите? — кричал я, обращаясь к публике, умоляюще прижимая руки к груди.— Он же ее убил! Разрезал на куски! Это же кровь! Кровь!

— Видим, видим! Не обманешь,— загалдели из зала, засмеялись.

— Перед вашими глазами совершается убийство!.. Где милиция?.. Надо вызвать, телефон...

— Во дает! — восхитился кто-то.

С отчаянья, что слова у меня путаются, что выгляжу каким-то клоуном, что мне никто не верит, я обратился к фокуснику:

— Ну скажите же им, что это другая, что она — из шкафа, что это — оболочка, что оболочка у вас вообще не имеет значения...

Фокусник с интересом посмотрел на меня:

— Вы не шутите?

— Я знаю, знаю..

— Вы знаете, что такое оболочка и что такое сущность,— почти утвердительно сказал он, правильно выговаривая слова, как говорят иностранцы.

— Нет, я не знаю, откуда вы — из космоса или вообще из другой реальности, но я бывал там — не знаю как — в астральных полетах по ночам или еще как-нибудь...

— Ах, в астральных полетах,— понимающе кивнул он, будто это что-то значит.

Публика притихла.

— Да у вас там все не по-человечески! — разгорячась, кричал я.— Оболочки получают со склада в брачный период, во время «великих перемен», носят их как одежду. Если оболочка лопнет, сущность невредима. И надевают другую оболочку, из плоти и крови. Вот ваши все фокусы! Вы же показываете здесь спектакль для своих. Мы, дураки, удивляемся, а у вас смотрят в дырочку и хихикают, может быть.

— Не в дырочку, молодой человек, а в сопереживатель,— спокойно поправил он.

— Ну пусть в сопереживатель, это еще паскуднее! Вам просто нравятся обман, убийство, кровь! Это противоестественно! Это садизм!

Глаза у фокусника вдруг стали совсем круглыми и человеческими.

— Садизм? Противоестественно? — Он подбежал ко мне и стал в волнении размахивать руками.— А то, что вы собираетесь толпами,— это не противоестественно? Вы задеваете друг друга оболочками на улицах, в метро, в помещениях. По ночам вы лезете друг на друга и третесь друг с другом своими оболочками, как куски мыла. Разве это не садизм? Мы смотрим на вас с интересом и ужасом. Вы все время нарушаете наш Закон. Мы смотрим на вашу кошмарную кучность, вы — как это у вас называется — все, как живая лапша,— (ну, это уже чересчур!) — и, ужас, у вас, видимо, нет сущностей, если оболочка нарушена, сущность куда-то исчезает. И вообще вас так много, вам так тесно, вы все так возбуждены, так противоречите друг другу — вы же критическая масса! Вы вот-вот аннигилируете!..

— Да перестаньте вы перед моим носом кулаками махать! — Я раздраженно схватил фокусника за руку — и ничего не ощутил.

Блеснула ослепительная молния — в воздухе разнесся запах озона. В моей руке осталась обгорелая манжета с запонкой-звездочкой. Я ошеломленно смотрел на нее.

— Вот это фокус! — восторженно взвизгнул доброхот женским голосом.

Зал разразился аплодисментами. Затем аплодисменты перешли в овацию. Публика ритмически била в ладоши.

— Бра-во! Бра-во! Пов-тор! Пов-тор!

Но ничего повторить мы уже не могли.

Город вождей

В старом и туманном Санкт-Петербурге, в окрестных его болотах еще бродит зловещий призрак вожды.

Когда осенней хлябистой ночью идешь по его прямым бесконечным улицам, припозднившись, возвращаешься из гостей и не знаешь, куда идешь, — трамвая давно нет, машины, обдав тебя душем холодных брызг, с визгом про скакивают мимо, и уже кажется, идешь совсем не туда и никогда не придешь, куда тебе надо, — может быть, и не надо уже никуда брести с башмаками, полными воды, а забраться сейчас в любой подъезд, подняться по темной лестнице на чердак и прикорнуть там среди сухого и теплого войлока и мелкого шлака до утра — пусть стучит, пусть грохочет, пусть гремит ржавым листом железа — не доберется, — и, уже совсем сворачивая не туда и понимая, что сворачиваешь не туда, вдруг где-нибудь на маленькой площадке или просто в сквере высоко над мокрым желтым кустарником увидишь силуэт человека с указующей вдаль рукой: вот куда надо идти, — проблуждав так еще с полчаса и поняв, что все равно идешь наугад, выйдешь на маленькую площадку перед огромным домом, где опять — он.

В руке зажата бронзовая кепка — вождь уверенно показывает тебе дорогу, но в другую сторону, — и, чертыхаясь про себя, как бедный Евгений, — ты ведь еще и принял водки в гостях, — ты идешь в ту сторону, — может быть, он, как всегда, прав и указывает верный путь, хотя бы к стоянке такси, — но твой длинный путь под длинным дождем вдоль очень длинных желтых зданий начала прошлого века приводит тебя только к очередному двойнику, который указывает тебе путь своим указателем совершенно в другую сторону, где в тупике, уютно прислонившись к стене, стоит маленький покрашенный серебряный вождь и показывает определенно — назад.

И так они водят, водят тебя по ночному пустынному городу — и кажется: никого живого, только они, памятники, живут в нем и передвигаются перед тобой, здесь чужим и едва терпимым, — город кружится, как огромная сцена, — то большой, то малый, то бюст, то торс (голову еще не поставили или отбили), то в руке кепка, на голове — другая, то малыш, одетый, как девочка, но с характерным преувеличенным лбом — и ты, совсем растерявшись, присаживаешься на влажную решетчатую скамью и вдруг обнаружишь себя лицом к лицу с Маяковским.

Сначала ты не веришь: неужели эта черная базальтовая голова — не его голова: тоже ведь лысая, как колено, — но это голова Владим-Владимыча, а раз это голова Маяковского, то рядом улица Некрасова и твоя обитель — служебный вход в театр, на пятом этаже гостиница для актеров.

...И, уже поднявшись, чтобы идти, я вижу под памятником какой-то черный ворох — ворох поднимается, под ним бледное личико не то девочки, не то старушки. Из-под вороха выпрастывается тоненькая спичка-ручка (в свете фонаря блестит бутылка) — и девочка-старушка делает несколько глотков. Глотки длинные, как те здания начала девятнадцатого века, вдоль которых я шел. Она глядит на меня темными серьезными глазами — и я вижу, что она совершенно пьяна.

— Хочешь выпить? — предлагает она. И тут же без всякого перехода: — Дуфак, шифофреник, свистофуля (тут она назвала фамилию известного писателя), прогнала, пусть уфирается... уфифытывает в свое Фомарово... Эффектрички, видите ли, нехходят... эффектно, эффектно... (нарочно или такой дефект речи? — не могу понять) — и далее ее пузырящееся бормотание отодвинуло время назад, и я увидел себя перед дверью в Дом литераторов входящим вслед за этой странной парой: она и дуфак.

Мраморные ступеньки, закутки гардероба, тетеньки в синих халатах — все пыльное, полузабытое, вытасченное из какого-то реквизита, и, увы, продолжающее служить. И эти чудовищные, много пьющие посетители — Бог знает, что творится у них в мозгах, — их тщеславие тоже из бабушкиного сундука, давно сложенная материя, пожелтевшая на сгибах, которая если и разворачивается, то для того, чтобы опять сложить ее в зеленый сундук, оббитый крест-накрест жестяными золотыми полосками.

В тесной передней стоял — с каких времен? — Маяковский, особенно неповоротливый и большой — гипсовый. Почему он здесь стоял, никому было неясно, да никто из писателей не задавался этим вопросом. На дворе была советская власть, значит, в холле стоял Маяковский — вот и все. Его так долж-

ны были не любить в этом доме, но он настоял на своем уже давно — и все сделались более чем равнодушны. Его просто не замечали. И, боюсь, скажи кому-нибудь из питерских: а как у вас там Маяковский в Доме литераторов? — на тебя посмотрят с недоумением: какой Маяковский?

Я-то знал, он давно превратился в другого — в него. Он стоял там, как стоял на многих площадях и скверах, во дворе. И он стоял там в углу, у начала витой лестницы, привычно расставив ноги, держа руки как-то по-грубому в карманах или сжимая свою гипсовую кепку. И то, что он сначала был Маяковским, его нисколько не смущало — он был с самого начала такой же нахрапистый, авантюрный, не слушающий никого другого (кстати, отличительная черта), он был здесь на своем месте, как во всех других местах. С высоты своего роста (при жизни не так уж был высок) он мог теперь следить за всеми этими пробегающими лысынями и шевелюрами, этой скользкой литературной мелочью.

— Оглушить бы вас трехпалым свистом! — говорил вождь.

Но его не слышали, потому что слушали и слышали только себя и пробегали в мутный зал бывшего дворца, пахнувший давно едой и пластиком, к вожделенной выпивке.

Кстати, мы с девочкой-старушкой допивали ее бутылку и как-то отрывочно общались, тоже не слушая друг друга под черной гладкой головой, — уж теперь не скажу, потому что не уверен — Маяковского ли? — да я бы не соблазнился: горло пересохло под этим бесконечным дождем...

Рассказывают, что призрак вождя видали девушки на болотах, — по клюкву ходили (говорят, где-то еще растет — радиоактивная), призрак шалаша видели тоже. Двух подружек (я слышал) завел вождь прошлой осенью в глушь и хлябь — и утопил. Бедные девушки, уж и металсьи, и бросались от осинки к осинке, а он им все призрак шалаша подсовывал: вот, мол, и дорожка верная — к шалашу моему ведет, только шалаш этот — дьявольский мираж и дорожка тоже — как ступишь, в черное, бездонное провалишься — и уж ни докричаться, ни дозваться — засосет, сладострастно так затынет, — он и при жизни такой был: заманит, закартавит, заговорит — докажет парнишке, что ему умирать за что-то необходимо, что умереть ему хочется, что умирать — это правильно, — и все рукой показывает: туда, туда иди, там уж точно тебя убьют... Тьфу, тьфу, нечистая сила!

Иван Родства Не помнящий

За городом Иваном кладбище было — старое Иваново, куда ни помотришь: памятники, кресты — все иваны лежат еще с довойны; за кладбищем речка Иванка — с детства иваны обоих полов голяком купались — холодная.

Жил Иван в поселке Ивантеевке, в самой середке добротных домов, вся родня кругом — иваны, в случае чего в обиду не дадут. Собак его все ваньками звали, котов — ванюшами, борова звали Иванушкой, знатный хряк.

Однажды и говорит Иван своей Ивановне:

— Хочу в хозяйство опель-ивана купить. Все иваны вокруг в мерседесах гоняют, одни мы безлошадные.

— Возьми Ивана-свояка с собой, — забеспокоилась Ивановна. — Ты же у меня, известно, Иванушка-дурачок. Ох, возьми Ивана-свояка, не пожалейшь!

— Обойдется, — сказал Иван. Упрям был, как все иваны.

А в городе Иване на хазе, на малине, в грязи — не на виду — золотой человек объявился — Большой Иван. А Большому Ивану большое плаванье полагается. Да и что говорить, крутые иваны были в банде. Взять Ивана на мушку, сесть в его новенький «иван» и где-нибудь в подпольном гараже разиванить машину на мелкие иванчики было для них одно удовольствие.

Автобус, битком набитый иванами, с Ивантеевки шел, покачиваясь, по Ивановскому шоссе. Мимо мелькали провинциальные облезлые дома, новые пятиэтажки-невалашки, храм Ивана Предтечи — под склад занятый. Грел Ивана бумажник в грудном кармане пиджака — сорок тысяч иванов до одного иванчика.

Перед театром имени Ивана Франко стоял памятник Ивану Грозному. По площади имени Ивана Тургенева ходили местные иваны и на памятник

Ивану Грозному не смотрели. Здесь за углом и остановился автобус с Иван-теевки.

Здесь был центр. Кинотеатр, в котором вечно шла картина «Иван Иванович сердится», модный магазин «Иван-царевич», розовая вывеска «Иван-чай» (чаю здесь, кстати, никогда не было) и центр по каратэ «Ванька-Встанька».

Возле загса под черной с золотом вывеской «Иван да Марья» стояла вереница такси. Мэр города Иванчук выдавал в этот день дочку-красавицу Ваню за грузина-студента Ваню. Иваны-водители громко и неодобрительно переговаривались по этому случаю.

Иван Иванович — инспектор уголовного розыска — тоже переговаривался — в переговорное устройство. Переложил свой шестизарядный «иван» из кобуры в карман и сел в свой старенький «иван-жигуля». Порядок.

Между тем Иван с бумажником на груди бродил среди людей и машин и поглядывал на них, на машины. Над ним на кирпичной стенке радостно вещал плакат: «ИВАН-ДУРАК СЧАСТЬЕ НАШЕЛ» — и автомобильчик нарисован. Правильный плакат.

Тут к нему какой-то иван подкатился, низенький, лысоватый, с золотым зубом, и затараторил:

— Привет, Иван. Что промышляешь — продаешь, покупаешь?

— Ишь, разговорчивый, — подумал вслух Иван. — И откуда имя мое знает?

— Откуда знаю, там меня уже нет. Да меня самого Иваном кличут, — бойко ответил новый Иван.

— Не иначе, ты моя родня, — решил Иван.

— Близкая, — подтвердил новый Иван. — Ты Иван, я Иван, надо выпить по сто грамм.

Это и решило дело. У нового Ивана карман оттопыривался, и выглядывала оттуда бутылка «Ивановской». Отправились иваны вместе в столовую на Ивановский спуск. А за ними уже блатные иваны следили.

Напротив кафе-столовой «Иван Поддубный» долго ждали иваны перехода. Свадьба ехала. Следом Иван Иванович — будто ни при чем — в своем «иване-жигуляне» прошкандыбал. За углом затаился.

Вышел Иван из кафе-столовой совсем Иваном-дурачком: Ивановский спуск торчком, каланча Иванча крючком, да и ноги собственные не слушаются — ваньку валяют. А новый Иван, за которого двух небитых иванов дают в базарный день, не отстает — уговаривает:

— Пойдем тут рядом к одному — Полтора Ивана зовут. У него бутылка есть.

Вошли в какой-то двор. Солнце жарит во всю ивановскую. Совсем Ивана развезло: рядом с ним Полтора Ивана... протягивает ему полтора стакана... полтора двора... в голове дыра...

Вдруг хватают Ивана, шарят по Ивану, щекотно Ивану. Он и кочевряжится:

— Зачем вы, иваны, с меня колокола снимаете — с красной девушки?

Ну ему и дали соответственно: бом! бом! — по кумполу. Только звон по храму пошел. Лег Иван и отключился от сознательной жизни. Все прозевал: как стрельба поднялась, как повязали иван-мильтоны блатных иванов, как везли его в отделение.

Очнулся Иван на скамейке. Провели куда-то маленького лысенького.

— Большой Иван, — говорят, — Большой Иван, добро будет и вам...

Ничего Иван понять не может. В голове гудит, видно, с большого перепоя.

Стал Иван Иванович его спрашивать. Как зовут, сколько классов, где живет, где работает — ничего Иван не знает, видать, память отшибло. Ни национальности, ни воинского звания, ни сколько иванов в бумажнике было — ничего, как и не было. Не протокол, а сплошной прокол. А может, притворяется.

Вызвал Иван Иванович врача Иванукуяна. Тот только спросил:

— В какой стране, друг, живешь?

Поморгал Иван на врача — и отвечает:

— Извини, друг, забыл.

Врач Иванукуяна официально заявил:

— Если он, в какой стране живет, забыл, его надо лечить.

— Для чего лечить?

— Чтобы вспомнил мать родную, вот для чего.

Стали Ивана лечить. Разными уколами, лекарствами и процедурами. Лежит на кровати Иван иваном, пустыми иванами глядит, слово «иван» не произносит.

Позвонил как-то Иван Иванович врачу Ивануяну:

— Ну как наш Иван?

— Иванезия, дорогой.

— Ну, хоть мать родную...

— Никакого родства не помнит.

— Так, может быть, его помнят? Предлагаю следственно-медицинский эксперимент.

Договорились. Выставили Ивана на площади для всеобщего узнавания. Глядит Иван: вокруг чужие ходят, незнакомые глазают. И город какой-то чужой, может быть, зарубежный. Страшно стало. Заплакал Иван.

— Домой, — говорит, — хочу, в больницу.

Тут его Иван-свояк увидел и сразу узнал:

— Да это же наш Иван, пропавший! А мы думали, его инопланетяне забрали.

— Какие инопланетяне?

— Обыкновенные, — говорит. — Недавно ночью тарелка на Ивановских лугах села. Сам видел. Такие же иваны, как мы, только зеленые.

В общем, привезли Ивана домой. Думали, дома вспомнит. Ни своей Ивановны, ни кота Ванюши не узнает. Уж хрюкал, хрюкал ему на ухо боров Иванушка — ничего. Но все же повеселел Иван — улыбаться стал. Видимо, что-то его туманному уму все же представилось.

Про этот случай во всех газетах напечатали. Так нашего Ивана и прозвали: Иван Родства Не помнящий. И прославился город Иван да и мэр Иванчук, что было ему кстати по многим причинам.

Ходит Иван по улицам, все иваны кругом озабоченные, а он улыбается, потому не знает, в какой стране живет и как его зовут.

Вечером взойдет над городом Иваном бледный круглый Иван-царевич, рано ложатся спать иваны — электричество экономят, — совсем красиво становится. Спит Ивановская роща. Спит речка Иванка, лишь плеснет — блеснет кто-то спросонья, не иначе Иван-водяной. Спит кладбище Иваньково, поселок Ивантеевка. Спят заливные луга Ивановские. Только длинными темными силуэтами проносятся многотонные «иваны-камазы» по Ивановскому шоссе куда-то туда, где вроде брезжит что-то — из Ивана в Иван.

Пустоты

1

На крашенной желтым стене летнего кафе я прочел объявление местного УВД: «Пропали без вести трое: Светлана Д. — 23 года, Николай С. — 18 лет, Нина Михайловна Г. — 82 года. Ушли из дома и не вернулись». И фотографии.

Людей у нас в стране пропадает больше, чем мы думаем. И не о них я хочу рассказать, по крайней мере в этом повествовании. Об их отсутствии.

Виктор Д. ночь прождал, наутро мать прикатила. В милицию звонить! Приехали.

— Может, ушла к кому, — говорят, — а вы, молодой человек, милицию попусту беспокоите. У нас и так дел нераскрытых выше головы.

— Да вот мать.

— А что мать? Теперь мать — не указ и не помеха.

Однако бумагу заполнили. «Будем искать», — говорят.

Каждый вечер домой возвращался, ждал: дома Светлана окажется. Вон и шарфик зеленый на вешалке. Без шарфика ушла.

И вот что обнаружилось: ушло что-то живое, что наполняло квартиру независимо от того, была сама дома или за молоком побежала. Что-то быстрое, что мелькало всюду, — и сразу хотелось жить дальше. Опустела квартира, пылью подернулась, помертвела вся.

Будто принесли покойника и положили на обеденный стол, на скатерть. Как после этого ужинать, чай распивать, когда на столе покойник лежит?

А то, что незримый, он от этого не меньше присутствует и даже весь не умещается — из окна голова торчит. После этого можно только водки выпить да килькой в томате зажевать. «Вот и весь ужин, Светлана. А тебя нет и нет».

Обнаружил Виктор Д.: чего-то стало не хватать в его молодой жизни, и не скажешь сразу чего. Сунулся в ванную, а там никого — и душ не шумит. Прилег на постель, повернулся обнять, а там пусто. Отвернулся — тонкая рука его не ищет. Вскочил, заглянул в шкаф — и там тоже пустота образовалась: висят сиротливо платья на плечиках, сбились все в уголок, никто не берет.

Отсутствие молодой женщины заполнило квартиру и обосновалось в ней, как дома.

Скисло, высохло молоко в молочной бутылке — отсутствие давало знать о себе.

Ему ее не хватало. И этого «нехватало» становилось все больше. Оно вытесняло в нем все мысли и желания. Оно стало преследовать его, сопровождать на работу в трамвае. Вон она бежит по тротуару, сейчас скроется за углом. Скорей соскочить с подножки, ноги его несли сами, успеть. Непохожа, даже и в лицо заглядывать не надо. Ведь он знал Светлану наизусть. И душу Виктора мutilи бешенство и безумие.

Если это не она и другая — не она, значит, ее от него прячут. И Виктор отнес заявление в милицию, где в горячке было изложено следующее: «Прошу найти преступников, которые прячут мою жену Светлану Д., судить и приговорить к высшей мере наказания. Если вы, органы правосудия, этого не делаете, я совершу этот акт справедливости сам. Виктор Д.»

Он стал заглядывать в лица подозрительных мужчин, чернявых, конечно. Этот черный прячет или другой черный? Куда-то бежит. Надо проследить. Подошла высокая женщина. Нет, не Светлана. А может, эти преступники прячут ее вдвоем? И он жался, поджидал на площадках полутемных лестниц, в арках — проходах старых зданий. Все безрезультатно.

И вдруг обожгла мысль: это она сама, Светлана, прячется от него. Не хочет видеть. Она где-то здесь, но все вокруг отталкивает его. Город наполнен ее нежеланием. Она хотела отсутствовать для него. Для других — пожалуйста, смеющаяся, горячая, ласковая. А для него — нет. В темноте пьяный он шел нарочито швыряя себя из стороны в сторону. Он хотел толкнуть кого-то и затеять драку. Но плечо встречало лишь пустоту. И Виктор заплакал, зарыдал тонко, как-то по-собачьи. Он понял, что она спряталась от него навсегда.

Вы видели солдатских матерей? Безмолвно вопиющих на ступенях Верховного Совета, держащих перед собой, как иконы, большие мутные фотографии стриженных или гладко причесанных молодых людей, увеличенные с тех маленьких фотокарточек, которые присылали им дети из непонятной, неизвестной воинской части, только номер. Ребенка убили, вырвали кусок нутра живо.

Положив перед собой свои полные руки с короткими пальцами (прежде она старалась украсить их маникюром), она смотрела на них, как на нечто отдельное, ей не принадлежавшее. Между рук на клеенке лежала фотография Николая. Завтра утром просили ее принести в отделение. А глаза Николая говорили: «Ничего, мать, переживем. Ведь жили же без отца». И если бы каким-то потаенным уголком души она все же не надеялась, сейчас бы выла, каталась по комнате, билась головой об стену, пока сознание ей не накрыла спасительная тьма.

Она понимала: на свете его нет. Но мать в ней — лоно, из которого он вышел, — не хотела этого понимать. Уехал, а куда — не сказал. Как быстро все примирились с его исчезновением. Во-первых, его комната. Ее наполнила пустота — и выталкивала мать, когда та хотела туда войти. Во-вторых, в институте. Однажды утром она пришла к зданию. И каждый взбегающий по ступенькам казался ей Николаем. Она бросалась к нему и уже видела: не он, хотя затылок похож, куртка похожа, не он. Просто каждый из них был на месте ее Николая, а его не было — и каждый студент почему-то казался ей врагом. Легко переговариваясь с девушками, бегут враги, будто ее сына никогда не было. И это общее равнодушное сжигало ее сердце.

Жизнь ее постепенно опустела. Не надо было спешить в магазин. Не на-

до было готовить обед, не о ком стало думать. По привычке она еще убирала квартиру. Как автомат. Из нее вынули весь интерес и беспокойство, волнение ее жизни — и внутри нее была пустота. Пустота и жгучий холод, лучше было не смотреть в ее глаза. Одна фотография смотрела — имела на это полное право.

И мать заключила с фотографией сына соглашение. Она будет жить пока. Она будет ждать. А фотография ее сына будет ходить по этой земле и всех спрашивать: не видали ли вы, прохожие, молодые девушки и старые люди, не видали ли вы этого милого смуглого паренька? Посмотрите на меня повнимательней. Ну, конечно, вы его видели. Уши немного враспыху, не любил он свои уши. Зато лоб, посмотрите, какой высокий. Черный свитерок, джинсовая куртка, да его в любой толпе узнаешь. И походка особенная, ни с кем не спутаешь. Так помогите, добрые люди, одинокой матери. Иначе ей совсем на свете незачем жить будет. Прошу вас.

Так и порешили. Она будет ждать всегда. Вида подавать не будет, что ждет. Что разрывает ее эта проклятая пустота в сердце. Что на каждый звонок будто обрывается все в ней. Никому не скажет, чтобы не сглазить. И он вернется.

И тогда вернется все. Все ее прошлое прибежит и станет перед ней с радостью, молодостью, высоким небом, поселком на взгорке и белым парохом, разворачивающимся на широкой реке. И тогда не будет больше этой страшной пустоты, когда каждый шаг и каждое слово будто проваливается куда-то, откуда ничего не возвращается.

Голодная кошка беспрестанно мяукала в пустой комнате. И на третьи сутки ее открыл слесарь. Умершей старушки в комнате не обнаружили. Кошку выгнали, комнату запечатали. Но кошка не хотела уходить. Ее стали прикармливать соседи по квартире, да так все и осталось. Кошка жила в коридоре, спала под веником на кухне, вечером выскакивала в форточку, по утрам приходила к блюдечку — и ждала свою хозяйку.

Говорят, кошки привыкают к месту. Но эта искала хозяйку. Остался повсюду домашний старушечий затхловатый запах, и это прекрасно чуяла кошка. Лохматый круглый коврик-подстилка, связанный из лоскутков, на котором спала кошка, постель с темным бельем и большими подушками, на которую прыгала кошка, и желтый самовар, у которого грелась кошка, — это все было ее старой, высохшей хозяйкой. И это все осталось там — за запертой теперь дверью. Поэтому кошка сначала все царапала дверь, просилась.

А однажды ушла и не вернулась. Видно, попала бедняжка под проезжее колесо или мальчишки замучили. Но нервная соседка уверяла, что слышит по вечерам за запечатанной белой бумажкой дверью старческие шаги, мяуканье, и «брысь», и звяканье блюдца. А что, все может быть. Возможно, тишина, поселившаяся в пустой комнате, еще носила отпечатки прежней жизни и порой слышались как бы отзвуки, бредовое эхо. Ведь если тишина хочет, чтобы ее слышали, она должна что-то проборматывать, чем-то прошлепывать. Полная тишина — не тишина, а могила. Потому живые все время слышат чего-то.

Но все призраки однажды утром исчезли разом. Комнату распечатали, вещи, самовар и тряпки забрала племянница. Потолок побелили, обои переклеили. Новорожденная беспамятная пустота поселилась в бывшей старухиной комнате. Голубой потолок и маслянисто-белая рама окна знать не хотели о том, что было. Они не помнили ни о какой хозяйке, они готовились встретить новых хозяев и были правы в своей новизне и свежести.

И если бы старуха явилась сюда, отлежавшись в какой-нибудь дальней больнице, представим такую возможность, комната бы ее не признала. Пустая комната потребовала бы ордер, паспорт и ключи, долго бы и придирчиво рассматривала документы большим окном, затем бы выкинула их за порог и презрительно защелкнулась перед носом старой хозяйки на новый английский замок. Более того, старуха сама бы не признала свою обитель и отказалась от нее.

Но прошлое не вернулось, и пустота затянулась, как заживший фурункул затягивается свежей пленкой, а там и шрама не осталось.

Всюду из жизни выдергивают людей или сами выпадают. И для близких образуются зияющие пустоты. Одни ненадолго, как для кошки и соседей. Другие навсегда, как для матери.

Эти пустоты смущают автора, потому что их все больше и больше в его

собственной жизни. Дух исследования не дает автору покоя — и хочется представить, какие они — эти пустоты, что они значат и почему людям неведомо видеть их перед собой. Люди стараются заполнить пустоту всем, что подвернется под руку, короче говоря, всяким хламом, портят жизнь себе и другим, лишь бы уйти, лишь бы не видеть этой обескураживающей, этой не замечающей тебя пустоты.

2

С другой стороны, пустота заманчива. В нее хочется заглянуть. Как с балкона на двадцать втором этаже — вниз.

Помню, ребенком я все ощупывал языком впереди качающийся молочный зуб. Он качался, а я его еще двигал, пока не укусил бутерброд с колбасой и он, зуб, остался у меня в колбасе. Нет, против ожидания больно не было. Было даже забавно.

Я начал трогать языком то нежное место, где у меня был молочный зуб. Там было непривычно пусто. И это дразнило, все время подмывало осязать это место. Язык ощупывал и каждый раз удивлялся непривычному ощущению пустоты. И опять трогал — и все не мог прекратить.

«Перестань цыкать зубом. Ты не медведь», — сердилась мама. Почему не медведь? А, это из сказки. Я убирал свой язык назад — поближе к гортани, но так далеко он убираться не желал. Он увеличивался и заполнял всю полость рта, клянуясь.

Я подтягивал свой язык назад сколько мог. Но незаметно он подбирался все ближе и ближе к деснам (так ползет разведчик к окопам противника, ему приказали взять «языка» — незаметно, чтобы мама не услышала). Ближе, ближе — и вдруг упирается в десну, воровато ощупывает сверху пустоту — промежутки между целыми зубами, находит твердый росток нового зуба, проводит по нему. И тут раздавалось влажное громкое «цык!» Мама вздрагивала. Для меня в этом было поразительное сладострастие.

Один пожилой человек рассказал мне, почему он долго не вставлял два передних выпавших зуба. Видите ли, ему было приятно ощупывать там языком. Когда он смеялся, он прикрывал рот рукой, чтобы посторонние не видели этот недостаток — эту пустоту. «У меня теперь рот — проститутка», — с удовольствием говорил он. Может быть, он просто боялся идти к зубному врачу.

И еще мне рассказывали, после войны это было — и, наверно, со многими ранеными, контуженными. Человеку отрезали ногу, он чувствовал ее по ночам, она болела. Отрезанная нога болела, и человек кричал от боли. Но там же ничего не было. Ныла пустота, ее дергало, выкручивало. Человек ощущал пустоту, как свою ногу. Но на пустоту нельзя было опереться. Он вскакивал с постели и падал, как подкошенный.

Значит, пустота может казаться тем или другим. Близкого, дорогого тебе человека давно уже нет, а он все болит и ноет в душе, как отрезанная нога, и все кажется, он здесь. Досадная несправедливость, этого не может быть. Вот моя нога, сейчас обопрусь. И валишься, падаешь, потому что нет тебе поддержки, пустота — и это реальность.

3

Сегодня Москва показалась мне пустой, но тут же вспомнил: воскресенье. А по воскресеньям город пустеет. Все равно мне казалось: сегодня больше пустоты, чем обычно. Не говоря уже о пустых цинковых прилавках в магазинах, но это общая притча. Эту пустоту мы перестали замечать. Скорее замечаем, если что-нибудь появляется. А если ничего нет, это привычно для россиянина.

Но мне чудилось: пустота, которая прежде таилась в углах, гаражах и под лестницей, теперь явно выпячивалась вперед и даже лезла на глаза. Вот. Пустой переулок. И в нем пустая телефонная будка. Можно зайти в нее, заполнить своим телом, но мне никуда не надо звонить, и будка остается пустой. Остановился троллейбус, совершенно пустой — даже водителя в нем, по-моему, не видно. Сейчас бы вскочить в него, чтобы хоть кто-нибудь в нем оказался. Но мне никуда не надо ехать, и троллейбус трогается — пустой.

Какой-то пустой день. Можно было, правда, заглянуть к моему литературному приятелю. Но разговоры такие пустые, жена у него такая пустышеч-

ка, даже такса — пустолайка. Так что не надо. Из пустого ведра не вычерпать пустоты. И если такой поговорки нет, то она будет.

Решил просто пройтись. Вдоль пустых витрин. Прохожих немного, пройдут — и пустота. До следующего прохожего. Проехала машина — и опять пустота во всю улицу — таким колоссальным, бесцветным желе, в котором идешь и вязнешь.

От нечего делать обратил внимание: идет впереди джинсовая пара — парень и девушка. Между ними просвет — и этот просвет свою форму имеет, будто тоже кто-то между ними идет. Может быть, потому, что эти двое такие одинаковые с черными длинными волосами, как братья, представился между ними третий, такой же, как они, и на таких же высоких каблуках. Идет между ними, обнимает обоих, то одной щеки коснется, то другой. Войдут двое в кафе, а между ними третья — пустота.

— Что вашей девушке налить? — усмехнется бармен.

— Какой? — спросит парень.

— А вот этой, которой не видать, все отворачивается.

— Этой — кислородный пунш.

— Как? — не поймет бармен.

— А напиток такой: смесь из кислорода и азота, — в свою очередь усмеяется парень. — Не слышали? Такие, как она, теперь все это пьют. Даже кое-где не хватает, говорят.

— Дефицит? — посочувствует бармен.

— Дефицит.

Так они и живут втроем. И с какой из них он проводит ночь, самому непонятно.

Много таких семей есть в городе. Дома «люди во плоти», я бы так их назвал, всё больше полеживают и на экран смотрят. А их бесплотные братья и сестры по квартире ходят, рюмками в буфете звенят. Пустые листы разворачивают и читают — как газеты. Что-то перебирают, чем-то шелестят. Муж с женой рассорились, а эти пьют коктейль «кислород с азотом», обнимаются, только складки портьер бурно ходят и чайник в кухне засвистит. В общем, живут за своих двойников во плоти. Бесплотным в нашей пустоте жить весело, это же их мир, настоящий. Волны незримой ткани одевают бесплотных по моде невидимого мира. Только не надо какому-нибудь глупцу во плоти в него рядиться. Вот и получится голый король. Пустота живет по своим законам и не менее разнообразна. В каком-то смысле пустота даже более перспективна, чем наш материальный мир, в котором мы сами давно разочаровались, только не признаемся себе в этом.

Вот и видел я в это воскресенье больше пустоты, чем надо. Я хотел ее видеть, вот и видел. А сколько еще той, которую мы не видим: неявной пустоты.

4

Я об этом еще не думал и думать не хотел. Я вообще не желал вязаться в этот процесс — затягивает. Я ведь — только пустой скудельный сосуд, все жду, что меня чем-нибудь стóящим наполнят. Плотные мысли — вроде растительного масла они мне представляются. Или разные эмоции — клубничное варенье, кипит, кипит, самое вкусное — пенка сверху образуется. Засахарился, засиропился... Но ведь этого ничего нет. Провожу по стенкам — гладко и пусто. Это хорошо, что пусто. Бог подаст. Что там блестит в вышине? А, звезды. А я думал, что — для меня, в меня падает. Что упало, то пропало. Но это же просто удивительно, до чего жадная сущность человеческая! Как она все поглощает! Это ребенок, за которым нет пригляда, кушает всякую дрянь — зеленые дички с земли, незрелые сливы. Говорят, крепче будет. А потом все удивляются: откуда у нашей Машеньки понос и дизентерия? А откуда у вашей Машеньки — интеллигенция — понос и дизентерия, что всякую дрянь под видом просвещения и патриотизма кушала. Нет, нет, тысячу раз нет. Пусть буду пуст. Да не войдет в меня ничего неподобающего. Не для этого же слеплен и придана мне божественная форма на вечно крутящемся гончарном кругу.

У меня на шкафу под потолок стоит древнегреческая амфора с отбитым частично горлом и ракушками, которые росли на нее эдаким украшением. Лет двенадцать назад я купил ее в Ялте у водолазов — крепких светловолосых парней. Им срочно нужна была средняя сумма (по тем временам), чтобы

посидеть (по тем временам прилично) в облюбованном ими ресторане «Волна» на веранде. Все с тех давних пор развеялось, как дым: и деньги в первый же вечер, и настроение тогда, и парни, те, какими они были, и Ялта, которой тоже уже давно нет,— одни воспоминания. А воспоминания, кстати, весьма ветхие,— не окрашенная ли в цвета реальности пустота? Вот амфора стоит на шкафу. Правда, я ее давно не касался. Боюсь дотронуться до нее, она и рассыпется красноватой пылью. Не трогай воспоминаний. Нет, не удержать той реальности, не закрепить. Разве что искусство способно на это — и то весьма, весьма условно. Поставит замысловатую закорючку — знак, а все чувства провялять предоставляется тебе. Наполнять свой пустой сосуд. О чем и стихи в тетрадке.

Твое вино давно смешалось с морем.
Но вот со дна берут тебя, несут...
Я, как и ты, кувшин, пустой сосуд —
Мы оба пятен времени не смоем.

5

Когда любовь уходит, остается пустота привычных отношений.

Полые старики — будто мешки, из которых наполовину высыпали картофель.

Все думали: подтекст, а оказалось — пустота.

Когда опускаешь монету в монетоприемник, там звякнет — слышно: пустота.

Старческие руки, которые все время бесцельно двигаются, теребят и вяжут пустоту, как пуловер.

В старом доме и в новом здании пахнет пустота сыростью, штукатуркой.

Я видел большой склад, вроде дровяного, там мерили пустоту на кубометры и взвешивали на напольных весах, как зерно. Я видел, дюжий мужик получил кубометр пустоты. Он упер руки в бедра и подставил широкую спину. Рабочие разом поставили этот куб ему на спину. Так и понес, не разгибаясь.

У меня было пять кубометров пустоты, одному не унести. Пришлось нанять машину со стороны. Дерут, будто она золотая.

— Да ты имей совесть,— говорю шоферу.— Это же пустота, это же — тьфу — одна пустота, ну что это, скажи мне, кому это надо?

— Вам вот надо,— с достоинством ответил он.

Логично.

В России давно предпочитали пустоту и в политическом смысле в виде «потемкинских деревень», и в общественном вроде «мертвых душ». Примеров достаточно. О близком вообще говорить не будем. Стройки века. Чудовищная пустота. И Гоголь, Гоголь, Гоголь... А вот и Салтыков-Щедрин, а вот и Салтыков-Щедрин... возьмите и меня, возьмите и меня!.. за дрожками...

Но пустынька, пустынь, пустыня — спасение... А как еще и думать теперь, если не по Розанову? Прости Василь-Васильевич, что имя твое упомянул всуе. Но ведь свято место будет пусто, это ты знал.

В лаборатории давно изучали пустоту, вакуум. В колбах, в ретортах, в стеклянных баллонах — всюду была пустота. Посередине зала на специальной подставке высилась огромная стеклянная банка. В ней плотно стояла пустота.

— Пока что ничего из нее не выросло,— почти жаловался мне академик.— Но не теряем надежды.

Я хотел сказать что-нибудь подобающее моменту, но растерялся и спросил:

— А что прежде было в этой банке?

— Как что? — недоуменно сказал ученый.— А что в ней, по-вашему, должно было быть?

Я не нашелся, что ответить.

— Мы заказывали ее специально,— сжалился надо мной собеседник.— Таких стеклодувов уже нет.

И я уважительно подумал: «Это же какие легкие надо иметь! Как спальные мешки, наверно».

Она жила и пряталась за дверь в подвале большого дома. Как-то заглянули за дверь. «Что там?» «А ни черта там нет, сор какой-то». Ее и вывели.

Пустота была такая, что поглощала свет. Стоит край света поперек деревенской улицы. Трава, дорога, полкозы, плетень. А дальше как отрезало — пустота. Протянешь руку — нет твоей ручищи. Вытянешь руку — вот она, играйся. Многих смущало. Но конец света так и не наступил.

«Да погода, говорят, у вас такая: туман — не туман, пустота».

Оголтелая страшная толпа — очередь, вот носительница истинной пустоты

6

Све...

...та

Про...

...зраки

...ствие

Голу...

...уум

...устота



О ч е р к и русской смуты

Глава XII. ПРОТИВОБОЛЬШЕВИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НА ВОСТОКЕ: ЧЕХОСЛОВАКИ, «КОМИТЕТ ЧЛЕНОВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ» И «НАРОДНАЯ АРМИЯ»

В то время, когда происходили описанные события на территории России, вовлеченной в той или иной форме в сферу германского влияния, за Волгой, на Урале и в Сибири разгоралась в свою очередь борьба против советской власти — широко, в масштабе, соответствовавшем необъятным восточным просторам.

Главный толчок к ней дало выступление чехословаков. Роль, которую сыграл первоначально 30—40-тысячный чехословацкий корпус в чисто военном стратегическом отношении, служит наглядным показателем полной беспомощности советского правительства весной и летом 18 года и той легкости, с которой возможно было свержение его при условии надлежащего использования противобольшевистских сил.

И если этого не случилось, то историческая ответственность за продолжение кровавого опыта лежит не только на беспринципной и близорукой политике германцев и Согласия, но еще в большей степени на совести русских противобольшевистских деятелей.

Углубленные и обостренные революцией социальные, классовые, племенные, даже областные расхождения набросили вскоре густой туман на пробудившуюся было русскую национальную идею.

Рожденное революцией, питавшееся ее извращениями в большей степени, чем тяжестью иноземного нашествия, противобольшевистское движение дало поэтому Архангельск, Киев, Новочеркасск, Екатеринодар, Самару, Омск; но оно бессильно было возвыситься до создания своего Пьемонта.

Чехословацкий корпус после Брест-Литовского мира двигался к Владивостоку, откуда Согласие предполагало перебросить его на европейский театр войны. К весне 1918 года чехословаки были разбросаны на огромном протяжении — 7½ тысяч верст — от Пензы до Владивостока. В мае, по требованию Мирбаха Троцкий отдал приказ об их разоружении. По настоянию Массарика, всемерно уклонявшегося от «вмешательства во внутренние русские дела», чехи подчинились этому распоряжению, потребовав лишь оставления на каждый эшелон 150 винтовок и нескольких пулеметов. Но вслед за сим последовало из Москвы новое распоряжение — остановить на местах все чешские эшелоны, разоружить чехов окончательно и водворить их в концентрационные лагеря.

Эта мера советского правительства привела к последствиям, для него совершенно неожиданным: чехи восстали.

Без какого-либо плана, без руководящих указаний свыше, спасая свою свободу и существование, чешские войска вступили в борьбу с большевиками, захватывая железнодорожные линии и станции, разгоняя Советы и разоружая или уничтожая красную гвардию. Силы большевиков за Волгой были по численности и боевой пригодности ничтожны; действия чехов сопровождались поэтому быстрым, ошеломляющим успехом. Повсюду их выступления вызывали местные восстания и организацию добровольческих отрядов — по преимуществу офицерских, отчасти возникавших стихийно, отчасти созданных местными военными и политическими центрами. Эти отряды добровольно присоединялись к чешским войскам, увеличивая их силу и значение и придавая выступлению чехов, вызванному стремлением открыть себе путь на восток, смысл и характер идейного движения.

Почти одновременно в конце мая произошел ряд важных событий: полковник Чечек во главе почти безоружных эшелонов взял Пензу, захватил большое количество вооружения и боевых припасов и, пробиваясь далее за Волгу, занял последовательно Сызрань и Самару. В Челябинске полковник Войцеховский* после столкновений с местным Советом разгромил его и затем овладел железнодорожным узлом Екатеринбург. В Западной Сибири первое восстание чехов произошло в Ново-Николаевске (западнее Томска), где капитан Гайда совместно с одним из главных организаторов вооруженной силы в Западной Сибири, подполковником Гришиным-Алмазовым, свергли советскую власть, после чего Гайда двинулся на восток, освобождая попутные города и направляясь в Забайкалье, где за Иркутском прочно засели большевики, прервав сибирский путь и сообще-ние с Владивостоком.

К концу июля чехословацкий корпус был расположен следующим образом: бригада Чечека в Самаре, прикрывая направления от Саратова и Пензы; бригада Войцеховского в Екатеринбурге — на Казанском и Пермском направлениях; бригада Гайды — по пути в Забайкалье; пробившаяся ранее четвертая бригада располагалась во Владивостоке, находясь в ведении начальника штаба корпуса ген. Дитерихса.

Восточного фронта в общепринятом смысле этого слова не существовало вообще. Положение менялось чуть ли не ежедневно, находясь в зависимости от передвижения чешских эшелонов и успеха возникавших постоянно местных восстаний. С грубым приближением линии, разграничивавшую сферы влияния советской власти и противобольшевистских сил, можно провести с севера по р. Тагилу на Кунгур и по Каме и Волге на Сызрань — Хвалынский, далее на Николаевск и Уральск. Каждый из командиров бригад действовал в оперативном отношении совершенно самостоятельно, не выполняя какого-либо общего стратегического плана и первоначально не имея никакой политической задачи, кроме негативной, поставленной Национальным советом и уже отброшенной жизнью, — «невмешательства во внутренние русские дела». Штаб корпуса во главе с командиром корпуса генералом Шокоревым находился в г. Челябинске, управляя войсками лишь номинально и притом только в административном отношении.

Состав корпуса, пополненного военнопленными чехословаками, разбросанными по Сибири, доходил до 40—60 тысяч**, т. е. по 10—15 тысяч в бригаде. Вполне боеспособный и дисциплинированный во время внешней войны корпус этот к лету 18 года значительно изменил свою физиономию. Под давлением большевиков и под влиянием Национального совета социалистического состава он воспринял некоторые основы «демократизации» и керенщины, вроде комитетов, выборного начала, «революционной дисциплины» и проч. Русский командный состав был вскоре удален***, и места его были заняты людьми, нередко энергичными и способными, но обыкновенно имевшими служебный стаж не выше лейтенанта запаса и потому малограмотными в вопросах тактики и стратегии. Военный авторитет их стоял невысоко, и случаи неповиновения были обычными. На этой почве произошло, между прочим, произведшее большое впечатление самоубийство одного из достойных начальников, капитана Швеца. Только жуткое чувство затерянности среди русского бушующего моря заставляло чехов держаться своих частей и своих начальников, восполняя тем в известной степени упадок воинской дисциплины.

Были и другие темные стороны в деятельности чехословаков, о которых в докладе ген. Гришина-Алмазова**** говорится: «...Начальники — все зеленая молодежь, которую нельзя было убедить, что надо обращаться к городским самоуправлениям и к русским властям за своими нуждами; что неприемлемо, чтобы они на каждый город смотрели как на военную добычу. Исчезали целые поезда, тысячи сапог, чешская армия одевалась за счет сибирской»... Поезда с «добычей» являлись повсюду неизменными спутниками чешского движения, развращая морально войска, стесняя их оперативную деятельность и вызывая в русском населении горечь и недоумение.

Тем не менее на всем пространстве от Волги до Владивостока это была вначале единственная прочная сила, импонировавшая и советским войскам, и местному населению, в большинстве смотревшему на чехов как на избавителей.

Большевики поняли наконец свою ошибку и стали вести широкую пропаганду среди чехословаков, обещая им свободный пропуск с полным вооружением и снаряжением, при условии отказа от помощи «белогвардейцам». Как это ни странно, подобную же роль взяли на себя американская железнодорожная миссия и генеральный консул Гаррис*****, уговаривавшие чешские эшелоны ехать во Владивосток. Старшие чешские начальники стремились стянуть свои части к железнодорожным центрам... Местные русские организации обращались с мольбой о помощи к начальникам эшелонов, встречая зачастую полное сочувствие чехов,

* Офицер русского генерального штаба.

** Точной цифры не знали и в штабе корпуса.

*** В том числе и ген. Шокорев, которого заменил Сыровой.

**** Военный министр Сибирского правительства.

***** Впоследствии Гаррис изменил свою тактику.

проявлявших широкую частную инициативу в ущерб распоряжениям свыше. Положение запутывалось до крайности и только к середине лета разъяснилось: державы Согласия, осуществляя план создания противонемецкого Восточного фронта, пожелали использовать создавшееся так неожиданно для них благоприятное положение, возложив на чехословацкий корпус задачу авангарда образующего по Каме и Волге заслон, под прикрытием которого должна была начаться перевозка союзнических сил. Эшелоны, пробившиеся на восток, потянулись вновь на запад.

Какими бы мотивами ни руководились чехословаки, их выступление сыграло чрезвычайно важную роль в истории развития противобольшевистского движения. В этот первый период их заслуги в деле освобождения России не оценимы, их тогдашние вины поблекнут перед судом истории

В начале мая 18 года собрался 8-й совет партии социал-революционеров, на котором постановлено было перейти к открытой борьбе с советской властью и в то же время при помощи союзной интервенции «свергнуть германское насилие». Работа в этом направлении велась с большой энергией, в особенности в Заволжье и в Сибири. Повсеместно образованные комитеты с.р. брали на себя инициативу подготовки восстания. И так как все другие политические организации оставались бездейственными или склонялись к соглашательству с большевиками, то вокруг с.р.-ов начали группироваться противобольшевистские элементы, зачастую им совершенно чуждые. Тем более что симпатии чешского Национального совета были явно на стороне с.р.-ов и, в частности, Чернова*. Это сказалось в особенности, когда в июле совет был переизбран и во главе его стали социалисты — Павлу, Потейдло, Благош и др. лица, сыгравшие затем весьма прискорбную роль в судьбах Сибири. Чешский совет воспринимал русскую действительность исключительно в освещении черновцев и испытывал болезненный страх, чтобы не прослыть «контрреволюционным».

На этой почве возникали бытовые курьезы. Так, наиболее консервативное монархически настроенное Уральское войско**, чрезвычайно бедное интеллигенцией, под влиянием с.р.-ов упразднило вековой институт атаманской власти, вручило ее выбранному правительству во главе с с.р.-ом Фомичевым и вступило с областным комитетом с.р.-ов в тесный союз для борьбы против большевиков. Одним из договоров предусматривалось «перенесение наступления на другие территории», причем в этом случае там должен быть создан «руководящий движением орган на паритетных началах со стороны Уральского войскового правительства и организации партии (с.р.) данной территориальной единицы». Своеобразная коалиция для управления Россией!.. Ген. Гришин-Алмазов, организовавший офицерство на территории Сибири, встретил огромные затруднения вследствие невозможности приобщить его к политическим лозунгам господствующей партии: «Пришлось поэтому сойтись на поддержании самой идеи власти, хотя бы данное содержание ее и представлялось неприемлемым»***.

С.р. воспользовались широко восстанием чехословаков. И, когда бригада Чечка 8 июня овладела Самарой, было объявлено, что власть переходит к Комитету членов Учредительного собрания («Комуч»). Демократический покров популярный еще в русской общественности, прикрывал новую диктатуру — партии с.р.-ов, безраздельно овладевшей властью и вдохновляемой Черновым, который — потому ли, что имя его было слишком одиозным, потому ли, что не очень верил в успех дела. — руководил им из-за кулис.

Для истории противобольшевистской борьбы этот единственный опыт чисто социалистического правления**** представляет большой интерес. Опыт, наиболее краткий — всего 107 дней — и, как кажется, наименее удачный.

«Комуч» объявил себя эмбрионом Всероссийской верховной власти, которая должна была утвердиться при наличии 30 членов бывшего Учредительного собрания. В состав его вошли Вольский (председатель), Климушкин, Брушвит, Нестеров, Филипповский и другие. — имена весьма мало известные русскому обществу. О «правомочности» этого органа говорить не приходилось. Точно также не стоит «сводить успех или неуспех отдельных восстаний, падение или укрепление власти исключительно к личным качествам вождей и лидеров»*****... Гораздо интереснее то общее направление деятельности с.р.-ского правительства, которое при успехе движения должно было проявиться во всероссийском масштабе.

Основные декреты советской власти — о национализации земли и предприятий, о рабочем контроле и др. — остались в силе; местные Советы были сохранены. Часть комитета и Чернов ставя главной целью своей создание единого со-

* Чернов Виктор Михайлович (1873—1952) — лидер партии правых эсеров, Председатель Учредительного собрания. Летом 1918 г. возглавил Комитет членов Учредительного собрания (Комуч) эмигрант. В 20-е годы разработал теорию «конструктивного социализма» (Прим. ред.)

** Большинство казаков — старoverы

*** Доклад 30 ноября 18 г

**** Грузия находилась в особенных условиях.

***** Так оправдывало впоследствии в своем обращении московское бюро-Центр ком. парт. с.-р. слабый состав «Комуча»

диалистического фронта, уже с первых дней борьбы искали путей соглашения с большевиками, и только решительный протест Чешского национального комитета остановил эти попытки. Тем не менее «Комуч» проявлял широкое попустительское отношение к большевистствующему населению и организаций.

Не имея ни правительственного авторитета, ни реальной силы, «Комуч» стремился к подчинению своей власти областных новообразований мерами, подчас весьма решительными, вызывавшими противодействие, рознь и разделение сил. Так, Уральское и оренбургское казачьи войска стали в зависимость от «Самары» из-за боевого снабжения и материальных средств, попавших в руки комитета. При этом большая часть Оренбургской губернии отделилась (северо-восток), присоединившись к Сибири и поставив тем в весьма щекотливое положение выборного атамана Дутова*, поторопившегося признать «Комуч» и даже вступить в его состав. В конце июля, впрочем, Дутов съездил в Омск и завязал сношения с сибирским правительством, что вызвало некоторые репрессии со стороны «Комуча» как лично против атамана, так и против области: Дутов был исключен из состава комитета, а область весьма ограничена в пополнении снабжением и деньгами. В отношении Сибирской области «Комуч» применял «таможенную войну» и широкую интригу при посредстве печати (черновской), сибирских партийных ячеек и с.-р.-ской областной Думы. В отношении прочих, слабее организованных территорий меры принимались проще. Так, когда г. Златоуст с уездом «отложился» к Сибирской области, «Комуч» повелел уфимскому гарнизону идти войной на непокорный город. Войска, однако, не послушались и не пошли. Когда же назрела возможность вооруженного столкновения «Самары» с «Омском», то офицерство Народной армии решило категорически в нем не участвовать, не останавливаясь перед «давлением на правительство» и массовым уходом из армии. В результате территория, подведомственная «Комучу», ограничилась губернией Самарской, частью Уфимской, двумя уездами Оренбургской и — условно — Уральской областью.

К государственному строительству «Комуч» фактически не приступал, ограничившись общими декларациями и посылкой на места своих комиссаров («генерал-губернаторов»!). Но зато внешний антураж власти и ее приемы оставляли далеко позади практику всех «новообразований». Огромные штаты «министерств» были наполнены исключительно партийными людьми, без всякого стажа и элементарного опыта. Широко разросшийся «институт по охране государственного порядка» («охранка»!) и контрразведка с обычными их приемами висели над жизнью буржуазии и офицерства, зачисленных поголовно в стан контрреволюционеров.. Десятки миллионов народных денег расходовались щедрой рукой на поддержку с.-р.-овской печати**, распространявшей широко официальный оптимизм, сеявшей нетерпимость и возбуждавшей социальную ненависть; на пропаганду, направленную против сибирского правительства, потом против директории, на насаждение партийных ячеек в войсковых частях, на создание опричнины под видом русско-чешских «отрядов для защиты Учредительного собрания» и т. д.***. В то же время оренбургское и уральское правительства испытывали крайнюю нужду в денежных средствах, необходимых для самых насущных потребностей беспримерно тяжелой народной войны.

Если в активе самарского правительства окажется мало элементов государственного творчества, то, без сомнения, оно войдет в историю как самое расточительное. Уже в Уфе, после образования директории, переименовавшись в Совет управляющих ведомствами, быв. «Комуч» продолжал распоряжаться миллионами настолько широко, что потребовалась правительственная ревизия. Директория командировала с этой целью члена директории ген. Болдырева и вице-директора мин. финансов Крестовского. Отчет комиссии нарисовал удивительную систему расходования огромных государственных средств, при которой «кредиты отпускались без указания предмета расхода, проводились всегда в спешном порядке и немедленно по получении из банка ассигнованные суммы бесследно исчезали»...

Таким же пустоцветом оказалась созданная комитетом «Народная армия».

Первые сведения о ней мы получили в начале августа — наиболее полные от командированного за Волгу для связи с чехословаками полк. Моллера, побывавшего в Самаре, Челябинске и Екатеринбурге.

Во главе армии поставлен был «военный штаб» — коллегия в составе начальника штаба — совершенно случайного человека — капитана Галкина**** и «членов штаба» — штатских людей с.-р.-ов. Привезенные нам приказы, уставы, военные узаконения исходили от трех лиц — Галкина, Боголюбова и Фортунатова; утверждались они в порядке прежних «Высочайших утверждений» столь ком-

* Дутов Александр Ильич (1879—1921) — полковник старой армии. В 1917 г. — председатель Союза казачьих войск, с сентября 1917 г. атаман Оренбургского казачьего войска, в 1918—1919 гг. — командующий Оренбургской армией в войсках Колчака. (Прим. ред.)

** Газеты «Комуча» — «Народ», «Народное дело».

*** Из доклада ревизионной комиссии. См. ниже.

**** Возведен затем «Комучем» в течение двух месяцев в генералы.

петентными лицами, как Климушкин, Брушвит и Нестеров. Из-за недоверия к русскому генералитету командующий армией не был назначен, а войска в оперативном отношении подчинены были чеху — полковнику Чечеку.

Порядки в армии напоминали совершенно времена Керенского: дисциплинарная власть начальникам дана была только на походе и в бою; в остальное время действовал «товарищеский дисциплинарный суд». «Вне службы все равны, — гласил устав. — Служба начинается с отдачи приказа и команды и кончается с выполнением приказа и команды». Комитеты были сохранены. В частях организовывались с.р.-ские ячейки, имевшие характер «глаз и ушей» правительства. В области внешних взаимоотношений — отменены погоны, и «гражданин-солдат» обязан был отдавать честь только прямому начальнику, притом один раз в день и т. д. *.

Вначале вооруженная сила создавалась по частной инициативе, исключительно на основе добровольчества. Это были те малые числом, но сильные духом добровольческие, главным образом офицерские части, которые совместно с казаками и чехословаками нанесли первые удары красным войскам и освобождали Симбирск, Самару, Казань... Которые потом, осенью, после отказа чехов от борьбы и развала Народной армии отступали с боем последними, прикрывая уходившие на восток комфортабельные поезда чехов...

По иронии судьбы под флагом Учредительного собрания, так же как и под трехцветным знаменем Корнилова, создавалась классовая армия. Народ не шел добровольно к поборникам «Земли и Воли». Пошли, главным образом, офицерство — скрепя сердце, в надежде на изменение политической обстановки — и буржуазная молодежь.

Численность этих отрядов была невелика; и «Комуч», не организовав ни преемников, ни местного военного управления, наряду с призывом добровольцев приступил к принудительной мобилизации возрастов 1917 и 1918 гг., т. е. наиболее разраженных революцией, и всех офицеров — элемента, если не враждебно-го, то, во всяком случае, чуждого правительству. Мобилизация производилась, однако, по системе воззваний и уговариваний; при этом только в тех районах, где, по предположениям, «она могла произойти без применения силы»... Из этих контингентов начато было формирование трех дивизий: в Самаре, Сызрани и Уфе, причем три слабых отряда действующих войск работали на фронте, подполковника Капеля — на Казанском направлении, подполковника Бакича — на Пензенском и полковника Махина — на Николаевском.

Народная армия не внушала доверия ни правительству, ни чешскому командованию.

Предполагая, что во главе чехословацкого корпуса стоит ген. Дитерихс, ген. Алексеев послал ему в начале июля письмо, в котором, указывая, между прочим, на необходимость «скорейшего объединения всех здоровых сил страны и дружественных элементов», сообщал: «Ближайшей задачей Добровольческой армии ставится выход на Волгу», для чего необходимо «содействие чехословацких частей... и казачьих отрядов, действующих на нижней Волге». Запрашивал, в какой мере чехи могут содействовать нашему движению. Моллер, не найдя Дитерихса, ознакомил с этим письмом ген. Шокорева и полк. Чечека **. Первый уклонился от прямого ответа. Второй выразил живейшую радость по поводу возможного соединения с Добровольческой армией и желание видеть во главе всех сил — ее командование. Начальник штаба Волжской армии Чечека полк. Щепихин прислал горячий привет ген. Алексееву «и всем (его) сотрудникам, прибытия коих мы ожидаем с самым живым нетерпением, которое вызвано не только военной, но, пожалуй, в большей степени политической конъюнктурой» ***. Офицерство Народной армии, тяготившееся своим положением, выражало те же чувства. Иначе отнесся, однако, капитан Галкин. В беседе с Моллером, выразившим отрицательное отношение Добровольческой армии к политике с.р.-ов, он сказал: «Соединяться нам поэтому не следует, так как у нас работа идет очень хорошо, и в скором времени Народная армия будет насчитывать 80 тысяч штыков. А Добровольческая армия внесет нам раскол».

Иллюзии исчезли очень скоро.

Мобилизация Народной армии потерпела полную неудачу, встретив на местах явно враждебное отношение, местами сопротивление. К 1 августа номинально было призвано 8485 добровольцев и 21888 мобилизованных. Но мобилизованные оставались в частях только до получения оружия и мундирной одежды, после чего большинство уходило домой. Позднее, когда неудачи на фронте заставили армию отходить, целые полки отказывали в повиновении, оставались на месте или расходились по своим деревням. Уходило понемногу и офицерство, преимущественно в Сибирскую армию.

* Для характеристики революционной демократии небезынтересно, что в «Комуче» возбужден был вопрос об обязательном отдании чести почетным караулом у дома его заседаний всем членам Учред. собрания. Министры-социалисты сибирского правительства назначали себе офицеров-адыютантов и т. д.

** В середине июля.

*** Письмо от 3 августа.

И уже в половине августа, когда Моллер, возвращаясь из Челябинска, посетил вновь Самару, настроение в штабе Народной армии радикально изменилось. Галкин — тогда уже полковник — просил передать ген. Алексееву, «чтобы он приехал к ним ранее, чем придет Добровольческая армия, дабы впредь уничтожить всю резкую разницу армий». При этом он добавил, что «Комитет Учредительного собрания решил пойти на все уступки, кроме земельного вопроса (?), и что они сами поняли, что нужно вести твердую политику, но что в данное время не имеют силы, которой могли бы ее провести».

Придя к власти на штыках чехословаков, комитет Учредительного собрания — филиал центрального комитета партии с.-р.-ов — явился отображением советского правительства, только более тусклым и мелким, лишенным крупных имен, большевистского размаха и дерзания.

Кроме чехословаков, опоры у него не было.

Заволжское крестьянство, не испытывавшее в достаточной степени большевистского гнета, занятое еще ликвидацией помещичьей земли и не видевшее никаких новых «завоеваний» в декретах «Комуча», отнеслось к его призывам по меньшей мере равнодушно. Городской пролетариат оказался враждебным новому правительству, и собравшаяся в Самаре рабочая конференция, признав это правительство «врагом народа», высказалась за подчинение советской власти. Буржуазия и несоциалистическая демократия были отстранены с.-р.-ами от государственного строительства и усилили собою стан их противников. Что касается Народной армии, то надежность ее как опоры власти определилась тем фактом, что в Самаре и потом в Уфе — пунктах квартирования дивизий — «Комуч» счел себя вынужденным формировать особые отряды для своей личной охраны...

«Жестокая действительность разбила самые прекрасные сны... Восстание, поставившее на своих знаменах принципы чистой демократии (?); власть, руководящая этими принципами, должны быть разбиты, если нет прочной опоры в самой демократии»...

Такой эпитафией почтило впоследствии московское бюро центрального комитета с.-р.-ов попытку возглавления своей партией русской державы.

Попытку освободить страну чужими руками: отмеченной ими и им враждебной буржуазной демократии и офицерства.

Глава XIII. ВЛАСТЬ И АРМИЯ В СИБИРИ И НА УРАЛЕ

В Сибири и на Урале большевизм нашел еще менее благоприятную почву, распространяясь главным образом от центра к периферии чисто механическим путем, вдоль железнодорожных магистралей. Его заносила, главным образом, волна солдат, отчасти казаков, хлынувших с фронта, пронесшая вначале бурно и потом стихавшая по мере рассасывания солдатчины по необъятным сибирским равнинам. Большевизм нашел искренний отклик только в городском пролетариате и в крестьянской бедноте — «новоселах», не успевших прочно осесть и окрепнуть на богатой сибирской почве. Коренное крестьянство Сибири весьма мало интересовалось земельным вопросом.

Не находя сочувствия, но и не встречая сколько-нибудь серьезного сопротивления, большевизм начал утверждаться в Сибири только в январе — феврале 18 года. Организующим его центром стал Иркутск. Собравшийся в нем в ноябре 17 года «Всесибирский съезд Советов» избрал Центральный исполнительный комитет Советов Сибири; последний в середине декабря, после восьмидневных уличных боев между большевистским гарнизоном и отрядом из офицеров, юнкеров и незначительного числа казаков, захватил власть, образовав затем сибирский Совет народных комиссаров.

Утверждение большевизма сопровождалось обычными явлениями: сосредоточением власти в местных Советах, упразднением земско-городских учреждений, правительственных и судебных установлений, разгромом кооперации и т. д. Но террора, который заливал кровью Европейскую Россию и Кавказ, в Сибири не было. Города, конечно, несколько пострадали; но сибирская деревня, за исключением пригородных сел, не успела испытать ни продрозверстки, ни «отнятия излишков», ни карательных отрядов. Поэтому народ в широком смысле этого слова, когда в июне началась борьба против советского правительства, оставался равнодушным к ней. Ясно ощутимого стимула для нее не было. Только известная инерция, законопослушность — быть может, более привитая в сибирском быту, чем в центре, — побуждали народ исполнять в известной мере требования менявшихся потом, как в калейдоскопе, правительств, давать им солдат и платить подати.

Сменившая большевиков сибирская власть, как и все рожденные революцией, не могла претендовать на демократичность происхождения. Очевидно, в пожаре революции, в ожесточении борьбы применение истинно-демократических методов построения власти невозможно психологически и не вьшлось технически...

Во второй половине прошлого столетия впервые началось движение, известное под именем сибирского областничества. Движение идейное, вызванное мертвающей централизацией Петербурга и тем невниманием, с которым центр относился к экономическим и культурным нуждам Сибири. Наиболее ярким представителем его был — ко времени революции уже глубокий старец — Потанин. С началом революции движение это ожило, и целый ряд совещаний и съездов Сибири занимался вопросом об ее государственной автономии. Но так как центральная власть была в то время или слишком слабой (Временное правительство), или слишком однозной (Совет комиссаров) и, с другой стороны, в состав этих съездов входила почти исключительно революционная демократия, то идейная сторона вскоре отошла на задний план, уступив место чисто политической борьбе. Борьбе за власть.

Чрезвычайный Сибирский областной съезд, состоявшийся в г. Томске в декабре месяце, объявил об автономии Сибири и постановил создать «общесибирскую социалистическую, от народных социалистов до большевиков включительно, с представительством национальностей, власть в лице Сибирской областной Думы».

Советы отнесли к факту созыва Думы как к контрреволюционной попытке. И потому, когда в конце января с большим трудом собралось в Томске около полтораста депутатов, большевики арестовали виднейших из них и не допустили открытия Думы. Более смелые депутаты по инициативе пришедшего человека, еврея Дербера, собирались тайно, избрав на одном из таких заседаний Временное правительство. Гинс так описывает процедуру избрания*: «На частной квартире собравшаяся исподтишка небольшая группа членов Думы, человек около двадцати из полтораста, «избрала» шестнадцать министров с портфелями и четырех без портфелей. Шесть человек присутствовавших самоизбрали себя в совет министров». Большинство министров было избрано без их ведома и согласия. Все — социалисты или ошибочно считавшиеся таковыми.

«Председатель правительства» Дербер от имени Думы издал декларацию**, заключавшую обычные неолыбшевистские положения группы Чернова, впоследствии воспроизведенные самарским «Комучем» — с добавлением милостивого разрешения «всем народам, проживающим на своей территории, в разное время присоединенным к Российскому государству», путем «свободного волеизъявления... отделиться от Российской федеративной республики»...

Десять министров (с.р.-ов) с Дербером во главе стали пробираться тайно на восток, пыгались безрезультатно обосноваться в Чите, долго мутили политическую жизнь Харбина, добиваясь там признания, и, наконец, с падением большевиков во Владивостоке в конце июня объявили себя там всесибирской верховной властью.

Перед отъездом Дербер наметил для Западной Сибири комиссариат в составе членов Учредительного собрания П. Михайлова и Линдберга.

Когда в июне военные организации совместно с чехословаками капитана Гайды свергли большевиков на всем протяжении от Челябинска до Иркутска, Западносибирский комиссариат выступил явно как власть, установленная Временным сибирским правительством; повсеместно появились явочным порядком «уполномоченные правительства», и Сибирь спокойно приняла новую власть.

Но личный состав комиссариата, его политика, черпавшая свои откровения из декларации Думы и постановлений областного комитета с.р.-ов, уронили совершенно престиж комиссариата. До такой степени, что через несколько недель (1 июля) комиссариат почти без сопротивления сдал власть по требованию группы случайно оказавшихся в Омске пяти министров дерберовского правительства, во главе с Вологодским***. Новое правительство (коалиция с.р.-ов и либералов) объявило себя, так же как и дерберовское, носителем верховной власти и в первые же дни обнародовало указ об отмене советских декретов, об упразднении всех местных Советов и о восстановлении частной собственности. Этот акт расположил к правительству Вологодского умеренные элементы общественности и армии.

Край отнесся спокойно и к новому перевороту, но сибирская общественность не успокоилась. Борьба за власть продолжалась, находя отражение и в недрах самого правительства. Я не буду останавливаться на всех перипетиях этой борьбы, отмечу лишь характерные стороны ее. Боролись на авансцене политической жизни только социал-революционеры и либералы. С одной стороны, комитет Учредительного собрания, Сибирская областная дума, областной центральный комитет партии с.р. и с.р.-овская фракция правительства, с другой — правительственная группа Вологодского, так называемый «деловой аппарат»****

* «Сибирь, союзники и Колчак». (Гинс Г. К. Сибирь, союзники и Колчак. Т. 1. Пекин, 1921. — Прим. ред.)

** Декларация 27 января.

*** Вологодский, Патушинский, И. Михайлов, Шатилов и Крутовский.

**** Вследствие полного безлюдья среди революционной демократии с.р.-овский комиссариат вынужден был создать аппарат управления из либеральных общественных деятелей и служилого элемента.

(позднее — Административный совет) и командование. Все остальные политические и общественные группы, кроме коммунистов и левых с.р., поддерживали в той или другой мере одну из сторон, расширяя внешне масштаб участвующих — до борьбы между социалистической и либеральной демократией. Борьбу запутывали и усложняли чехословаки, принимавшие в ней деятельное участие — до арестов членов правительства включительно, и союзные представители. Кроме генеральных консулов Франции и Англии (Гарриса и Буржуа), все это были мелкие консульские агенты или офицеры для связи. Не разбираясь в русской жизни, не имея ни полномочий, ни даже возможности снестись со своими правительствами, они играли, однако, совершенно неподобающую роль, вмешиваясь непрерывно во внутренние русские дела, не раз влияя на важные решения и внося в область политики элемент хлестаковщины и интриги.

Мало-помалу во внутренней борьбе двух центров — Самары и Омска — успех стал клониться на сторону последнего. Умеренная политика Вологодского, все возрастающая сила Сибирской армии и устанавливавшийся в крае внешний порядок привлекали в орбиту сибирской государственности Оренбургское, Уральское казачества и новую Уральскую область*, которая вопреки давлению Самары вошла в связь с Омском и приняла общее направление его политики и единство командования. Наконец, Омск привлекал к себе симпатии и офицерства Народной армии.

Соперничество двух центров отражалось болезненно во всех областях государственной жизни. Такое положение длиться не могло. В общественном сознании идея необходимости государственного объединения и создания общероссийской власти пустила глубокие корни, не встречая противодействия и среди идейных сибирских областников.

Под давлением общественного мнения, иностранных представителей и чехословаков, запутавшихся в противоречиях внутренней русской жизни, и под влиянием умеренных членов Союза возрождения** вопрос об объединении власти был наконец поставлен на очередь.

В Челябинске 15 июля состоялась встреча представителей Самары и Омска обнаружившая непримиримое противоречие во взглядах на построение власти. Самара считала всероссийской верховной властью Учредительное собрание 1918 года и себя временным носителем ее; Омск отверг категорически это положение, заявив, что общерусская власть может быть создана только путем соглашения новообразований.

— На каких условиях вы нам подчиняетесь?

Это был первый вопрос, с которым делегаты «Комуча» обратились к посланцам Омска.

Первое совещание не дало положительных результатов. В августе состоялось второе — там же, в Челябинске, приведшее к уфимскому государственному совещанию.

Нет сомнения, что на уступчивость самарских правителей повлияло угрожающее положение Волжского фронта, которое ставило их перед перспективой — в ближайшем будущем остаться без «народа» и без армии.

С начала 18 года, после захвата власти большевиками, по сибирской магистрали от Челябинска до Канска начали формироваться тайно «офицерские дружины». Большая часть из них возглавлялась коллективом из местных с.р.-овских ячеек и находилась в известной зависимости от дерберовского правительства, получая от него весьма, впрочем, ничтожные пособия. Военным министром считался подпоручик Краковецкий, один из произведенных Керенским за выслугу лет в ссылке при царском правительстве в подполковники. Начальником штаба всей организации, распространявшейся от Челябинска до Байкала, состоял артиллерийский подполковник Гришин (псевдоним «Алмазов»). Я познакомился с ним в конце 18 года, когда судьба заставила его покинуть Сибирь и появиться в Екатериноударе. Молодой, энергичный, самоуверенный, несколько надменный, либерал — быть может, более политик, чем воин, с большим честолюбием и с некоторым налетом авантюризма — он, несомненно, сыграл бы большую роль в сибирском движении, если бы в самом начале своей карьеры не переоценил свой вес и влияние.

Офицерство было в большом смущении. Имена Краковецкого и Гришина-Алмазова не говорили ему ничего. Существовавшее в потенции, в конспирации какое-то Временное Сибирское правительство не могло внушить ему доверия. Но ни признанного вождя, ни другого объединяющего центра не было; не было и материальных средств, которых не хотел давать верный себе, закоснелый в эгоизме торгово-промышленный класс, не доверявший к тому же возглавлению революционной демократии. Средства предоставляла сибирская кооперация, но под условием признания с.р.-овского «правительства». Эти обстоятельства и обусло-

* Часть Пермской губ. с гор. Екатеринбургом, где образовалось самостоятельное правительство из кадетов и умеренных социалистов с П. Ивановым во главе.

** Авксентьев Аргунов и др

видели внешние формы взаимоотношений между офицерскими отрядами и с.р.-овскими ячейками и всю подготовку движения. К тому же руководитель его Гришин-Алмазов «понимал, что власть будет иметь тот, у кого реальная сила»*, и внушал эту мысль колебавшемуся офицерству.

Были, впрочем, местами и так называемые «беспартийные» организации, возникавшие по инициативе внепартийной интеллигенции и скудно субсидируемые мелкими представителями сибирского торгово-промышленного класса.

Составленные из однородных элементов, преимущественно офицерских, дружины, находясь подчас в одном городе, не были объединены и зачастую не знали о существовании друг друга. Более сильные отряды сформировались в Омске, Томске и Иркутске.

Еще в январе от Добровольческой армии за Волгу и в Сибирь была послана делегация во главе с ген. Флугом — по инициативе Корнилова и при более чем сдержанном отношении к ней Алексева. Военная задача, возложенная на делегацию, заключалась в том, чтобы организовать на местах элементы, способные к борьбе с большевизмом, обеспечить их местными средствами и связать в той или другой форме с Добровольческой армией**, политическая — завязать сношения с местным правительством и войти с ним в соглашение по вопросу формирования добровольческих частей. «При наличии правительства... желающего помочь (нам), все мероприятия проводить через его посредство, всячески поддерживая краевую власть, а при возможности заключить с нею договор для совместных действий по воссозданию России»***...

Связь с Сибирью не наладилась. Мы получили только одно донесение от ген. Флуга в июне, которое шло из Омска два с половиной месяца и сильно отстало от быстро текущих событий. Он не получил ни одного распоряжения из армии. По этому поводу ген. Алексеев писал мне:

«Расходы льются широкой рекой. Выделить из своих сумм «хотя бы 100 тысяч рублей» (представление Флуга)... это такая разброска средств, которая непосильна для маленькой организации, живущей изо дня в день и тяжкими усилиями добывающей средства. Я считаю необходимым закрыть отдел и держать лицо только для связи и осведомления... Что важнее — содержание армии или политическая работа за тридевять земель, до которых армия не дойдет и где есть свое правительство, свои задачи, свои цели, свои средства?»****

Без всяких денежных средств, с одним только авторитетом имени генералов Алексева и Корнилова Флуг проехал через всю Сибирь, посетил важнейшие центры и вошел в связи с местными политическими деятелями и тайными военными организациями. Деятельность его, носившая поневоле совершенно личный, самостоятельный характер, сводилась к ознакомлению с тайными организациями, освобождению их от исключительной опеки с.р.-овских ячеек и подчинению политическому влиянию местных несоциалистических групп, преимущественно кадетских, путем извлечения средств от буржуазии; к установлению вместо штабных коллективов — единоначалия. Наконец, в объединении «беспартийных» и с.р.-овских дружин в некоторых центрах под общим командованием. Так, например, по его настоянию был назначен начальником дружин в Омске полковник Иванов (псевдоним «Ринов»), командир одного из сибирских казачьих полков, ставший позднее атаманом Сибирского войска и командующим Сибирской армией.

Участие в деле «делегатов генералов Алексева и Корнилова», несомненно, придавало ему большую серьезность в глазах офицерства.

Офицерские дружины, пополненные добровольцами-интеллигентами, сибирские казаки, местами присоединившееся городское и сельское население при помощи чехословаков повсюду легко разбивали красную гвардию и свергали Советы. Ставший командующим Сибирской армией и управляющим военным министерством сначала в комиссариате, потом в правительстве Вологодского Гришин-Алмазов***** с большой энергией стал приводить в порядок эти разношерстные ополчения, освобождая их от случайного элемента, пополняя добровольцами, вводя организацию и дисциплину. К августу Сибирская армия состояла из трех корпусов: Уральского (ген. Ханжин), Степного (ген. Иванов-Ринов) и Средне-Сибирского (полк. Пепеляев). В состав их входили части офицерско-добровольческие, сибирские и оренбургские казаки, киргизские и башкирские. Кроме того, на территории Сибири действовало несколько партизанских отрядов во главе с «атаманами», никому не подчинявшимися и являвшимися бедствием для населения и власти.

Состав Сибирской добровольческой армии весьма показателен для народных настроений: «Общая численность ее, — говорит отчет, — 40 тысяч человек, казаки составляют половину этого числа. Если принять во внимание, что в строй на положение рядовых добровольно стало до 10 тысяч офицерской молодежи, призванной по мобилизации, то оказывается, что добровольцев невоеннообязанных всего 10 тыс. человек, причем добрую половину этого числа составляет интеллигенция,

* Из доклада ген. Гришина-Алмазова.

** Инструкция Корнилова.

*** Наказ Алексева.

**** Письмо от 30 июня 18 г. № 65.

***** Произведен был в генерал-майоры.

главным образом учащаяся молодежь. Таким образом, «народ» дал всего 5 тыс. добровольцев»*.

В оперативном отношении, так же как и Народная армия, Сибирская была подчинена чешскому командованию: Уральский корпус и часть Степного — Войсковому, Средне-Сибирский — Гайде; только дивизия, действовавшая в направлении на Верный, подчинялась командующему Сибирской армией. Русские части были разбросаны между чешскими полками, иногда батальонами, лишая возможности старший командный состав оказывать влияние на свои войска, мешая их внутренней спайке. На этой почве Гришин-Алмазов вел безрезультатную борьбу с чешским командованием. «Поручики в генеральских мундирах» — по его выражению — вошли во вкус неограниченного самовластия; они, по существу, были господами положения. Гришин-Алмазов рассказывал, как капитан Гайда, например, объявил своей властью Иркутскую и Енисейскую губернии на военном положении и ввел на жел.-дор. станциях военно-полевые суды из чехов, «с обязательным участием одного русского»... Как Гайда награждал русских офицеров георгиевскими крестами и т. д. Позднее самовластие и русских войсковых начальников стало явлением обычным, внося большое расстройство в гражданское управление краем. В армии была введена старая дисциплина, с некоторыми изменениями устаревших положений, и в угоду революционной демократии отменено ношение погон; последняя мера принята была в армии как унижение офицерского звания и вызывала недоброжелательство.

Говоря о «старой дисциплине», я должен оговориться: ни в одной армии, ни в один период революции восстановить ее в надлежащей мере не удалось. Всеобщий моральный распад отозвался болезненно в жизни армии, поразив верхи еще в большей степени, чем низы. Можно говорить лишь об установлении сверху правильных взглядов на дисциплину и о большем или меньшем приближении к их осуществлению в войсках. К этому вопросу я вернусь, говоря о Добровольческой армии.

В общем, офицерство оставалось вполне лояльным в отношении власти, более интересуясь условиями армейской жизни, чем общей политикой правительства. То обстоятельство, что правительство не вмешивалось в организацию армии, предоставив это дело военачальникам, побуждало армию «терпеть» социалистический комиссариат и относиться спокойно к полусоциалистическому правительству Вологодского. Что касается казачьих войск, то, оставаясь, в общем, лояльными к выборной казачьей власти и к высшему командованию, ведя самоотверженную борьбу с большевиками, они переживали иногда периодически и сами приступы большевистской болезни.

К августу приток добровольцев в Сибирскую армию прекратился совершенно. Командование решило приступить к мобилизации, призвав два возраста 19 и 20 годов, не бывших еще на фронте. Тщательно подготовленный набор, произведенный в конце августа, дал до 200 тысяч человек: сибирские крестьяне без подъема, но покорно шли в армию, а сопротивление, оказанное в двух-трех уездах, было жестоко подавлено вооруженной силой. Невзирая на большой недостаток командного состава (генералов и штаб-офицеров), крайнюю бедность в обмундировании и снаряжении, молодая армия организовывалась, училась, сколачивалась, возбуждая большие и обоснованные надежды в сибирском обществе. Прикрытый чехословаками и Народной армией Волжский фронт давал возможность Сибири собраться с силами.

Результатов своих трудов Гришину-Алмазову не пришлось увидеть. С. р.-ы совместно с левой частью правительства, к которой примкнул и Вологодский, питавший личное нерасположение к надменному и слишком самостоятельному, по мнению правительства, генералу, добились его устранения. Слепой страх перед призраком отечественного Бонапарта побудил революционную демократию устранить человека, сумевшего как бы то ни было примирить армию с фактом существования полусоциалистического правительства, и передать власть другому лицу — сугубо правому по политическим убеждениям, однозному в глазах социалистов по характеру его прежней деятельности (начальник уезда), но не обладавшему, как казалось им, опасными качествами Бонапарта... Во время командования этого другого — ген. Иванова-Ринова — по иронии судьбы состоялся впоследствии переворот 18 ноября.

Удалив Гришина-Алмазова самым непристойным образом, правительство Вологодского особым «рескриптом» отдало ему «заслуженную щедрую дань глубокого уважения и признательности».

Генерал Гришин-Алмазов уверял впоследствии, что все «предложения офицерства и войск стать на его сторону он отверг», чтобы не подрывать авторитета власти... Есть другие данные, свидетельствующие, что подобная попытка была, но встретила противодействие со стороны старших начальников (соревнование Иванова-Ринова) и полное равнодушие со стороны армии.

Армия считала Гришина-Алмазова социалистом, а социалисты — реакционером. Таких недоразумений история русской смуты знает немало.

* Из доклада полковника Хартудари.

Глава XIV. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ. «ИНТЕРВЕНЦИЯ»

Дальний Восток был долго отрезан от остальной Сибири, не имея с ней никакой связи. Только в начале сентября капитан Гайда, взяв Читу, открыл сквозное движение по сибирскому пути.

В конце ноября 18 года курьер привез на Юг письмо адмирала Колчака и доклад ген. Степанова (лица, близкого к адмиралу)*, адресованные на имя покойного тогда уже М. В. Алексеева. Доклад Степанова, рисующий положение дел на Дальнем Востоке, представляет большой интерес в том отношении, что он составлен с ведома адмирала**.

Привожу этот доклад, составленный по данным к половине сентября 18 года, в подробном извлечении, исключив лишь часть чисто личную и переставив некоторые абзацы в интересах последовательности изложения.

«В середине мая положение было таково. В Иркутске и Забайкалье господствовали большевики, захватившие Благовещенск, Хабаровск и затем Владивосток. Часть чехословацких эшелонов (что-то около 15 тысяч человек) в это время успела добраться до Владивостока с ген. Дитерихсом и французским полковником (ныне генералом) Парисом. В Манчжурии, вернее, в так называемой полосе отчуждения Китайской Восточной жел. дороги, я застал полный хаос.

Бунтовавшие запасные батальоны товарищей были разогнаны и сменены китайскими войсками (в декабре). Русская милиция заменена также китайской. Администрация жел. дор. сохранилась русской, во главе с Управляющим дорогой ген. Хорватом.

Затем, пользуясь свободой от большевизма, в Харбине и на более крупных ж. д. станциях (Хайлар, Манчжурия), собралось несколько тысяч русских офицеров, большей частью из войск бывшего Заамурского округа пограничной стражи, а также из войск, ранее квартировавших в Приамурском округе.

Масса эта оказалась по достоинству своим не очень-то высокой и мало способной организоваться в регулярные, прочные единицы. Это с одной стороны, а с другой, у высших чинов отсутствовала необходимая воля и организаторские дарования, при наличии мелкой зависти и готовности к интригам. Союзники, т. е. японцы и отчасти французы (знакомые Вам ген. Накасима и лейт. Пелио), сразу же своим участием внесли много зла в попытки создать здесь русские войска. Так как сверху уклонялись от объявления формирования войсковых частей, то такие стали сперва возникать самостийно. Забайкальского войска есаул Семенов выпорол на ст. Манчжурия несколько ж. д. агентов за их симпатии к большевизму и объявил сам себя атаманом. Ему дали сейчас же денег японцы и французы. Начался набор добрых малых, готовых на все, кроме установления у себя хотя бы тени необходимого воинского порядка. Небольшие удачи в мелких стычках с отдельными большевистскими бандами создали, с одной стороны, ложную славу Семенову, а с другой, непризнание им самим какой-либо иной, кроме него самого, высшей объединяющей власти, что особенно культивировалось господами японцами.

Нечто подобное создалось, но в значительно более мелком масштабе и на востоке, на ст. Пограничная, с самозванным Уссурийским атаманом есаулом Калмыковым, который, как оказывается, даже и не приписан ни к одному казачьему войску, а просто значится харьковским мещанином.

«Атаман» этот также состоит под покровительством японцев, которые и субсидируют его денежными подачками.

Наконец, в самом Харбине возникла было офицерская организация полк. Орлова на более регулярных началах.

Еще в январе возникла на Д. В. мысль о сформировании в полосе отчуждения Китайской ж. д. правительства из числа русских деятелей, собравшихся в Харбине, Владивостоке, Китае и Японии, причем главой такого правительства большинство избирало Управляющего Китайской ж. д. ген.-лейт. Хорвата, лица, популярного особенно в Китае. Однако эта мысль встретила среди наших дипломатических представителей в Пекине ряд сомнений в успехе ее осуществления и было а priori предложено ген. Хорвату сперва создать некоторую вооруженную силу из числа хотя бы прибывших на Д. В. офицеров и, только заручившись этой необходимой данной, реализовать свое выступление. А так как ген. Хорват всю службу провел вне строя и по медлительному, нерешительно-эластичному характеру своему и недоверчивости к сотрудникам мало гарантировал возможность определенной организации воинских частей, то для этой цели и был вызван Путиловым и кн. Кудашевым А. В. Колчак и, так сказать, навязан ими, чего, однако, тогда же никто А. В. не высказал. Решено было, что ген. Хорват озаботится под-

* Письмо адмирала от 1 окт. (вероятно, нов. стиля) и доклад Степанова от 17 сент. 18 г.

** В письме адмирала говорится: «Ген. Степанов в своем письме излагает довольно подробно положение вещей, создавшееся на Дальнем Востоке».

бором хороших политических деятелей, а адмирал Колчак сформирует для него войска на основа дисциплины и строгой иерархии, в чем была обещана союзниками широкая помощь деньгами и оружием. Когда же то и другое будет готово, то только тогда ген. Хорват и выступит.

Честный, открытый, с сильной волей, глубоко и искренне любящий родину А. В. Колчак принял это предложение и в конце апреля приехал в Харбин. Но здесь его сразу же враждебно встретили и японцы, определившие в нем крупного, стойкого, чисто русского деятеля, и старшие чины наши, и господа самозванные атаманы. В течение мая и июня разыгралась грустная и гнусная с точки зрения русских интересов драма, авторами которой были, конечно, японцы, режиссировали же свои. А. В. травил в Харбине все, а атаман Семенов отказался даже его принять, когда адмирал сам к нему приехал на ст. Манчжурия. О каком-либо воинском единовластии никто и слышать не хотел: оно казалось опасным японцам, подозрительным для высших властей, стеснительным для младших чинов и контрреволюционным для массы.

В результате так никаких войск и не сформировали. Культивировались как бы наперекор основной идее лишь разные небольшие отдельные отряды, никого выше себя не признающие и составленные главным образом из китайцев, монгол и бурят. Затем возникло несколько высоких штабов и много генеральских должностей до главнокомандующего фронтом включительно*. Завелась переписка, канцелярии, делопроизводители, а воителей состояло к 1 июля, и то «по спискам»: в отрядах, признающих адмирала, всего 740 человек, у атамана Семенова — грубо не подчинявшегося ни адмиралу, ни ген. Хорвату — что-то около 1800 человек (китайцы, монголы, буряты, японцы, 100 сербов, 400—500 забайкальских казаков и немного русских офицеров), у атамана Калмыкова — 70 человек. Вот и весь боевой состав, друг друга не признающий и даже угрожающий один другому.

Вследствие всего этого 30 июня н. ст. адмирал Колчак выехал в Токио, чтобы лично выяснить там, являются ли поступки ген. Накасима и некоторых офицеров японского ген. штаба, заключающиеся в подговаривании начальников русских отрядов не признавать адмирала и не исполнять его приказаний, их личными выступлениями против него или это делалось с ведома и одобрения начальника японского генерального штаба.

В Токио, в присутствии нашего посланника В. Н. Крупенского и моего, адмирал имел по этому поводу беседу с ген. Танака — помощником Начальника ген. штаба, фактически — его главой. Ген. Танака против обвинений, высказанных адмиралом, не протестовал, но просил его «временно» оставаться в Японии, обещая призвать к высокой военной деятельности впоследствии, по выяснении условий интервенции союзников. Так А. В. и остался в Японии.

В июне весь Харбин был полон воплями о необходимости для спасения России призвать союзников, а главное, японцев. Больше всех в этом отношении агитировал образовавшийся здесь еще ранее Дальневосточный Комитет**, при участии бывшего члена Государственной думы Ст. Вас. Востротина (кадет). Господа эти сочинили целое молебное послание от лица «лучших русских людей» и через ген. Хорвата отправили его в Токио и другим союзникам.

Скорее (9 июля н. ст.) после отъезда адмирала из Харбина ген. Хорват объявил себя Всероссийским Правителем, принявшим на себя и «всю полноту государственной власти», для чего выехал на ст. Гродеково, находящуюся на русской территории в Уссурийском крае.

Хорват организовал так называемый Деловой кабинет, в состав которого вошла часть членов Дальневосточного Комитета; председателем его был избран Востротин. Пост военного министра принял недавно перед этим прибывший от Васшего имени ген. Флуг».

В письме своем от 1 октября адмирал Колчак высказал также глубоко пессимистический взгляд на общее положение Дальнего Востока: «Я считаю (его) потерянным для нас если не навсегда, то на некоторый промежуток времени; и только крайне искусная дипломатическая работа может помочь в том безотрадном положении, в котором находится наш Дальний Восток. Отсутствие реальной силы, полный распад власти, неимение на месте ни одного лица, способного к упомянутой работе создали бесконтрольное хозяйничанье японцев в этом крае, в высшей степени унижительное и несправное положение всего русского населения».

Интересно первое впечатление, которое вынес адмирал о директории, приехав в конце сентября в Омск: «Я не имею пока собственного суждения об этой власти, но, насколько могу судить, эта власть является первой, имеющей все основания для утверждения и развития».

Адмирал Колчак не питал, как видно, никакого предубеждения к идее «демократического правительства».

* Ген. Плешков был назначен «главнокомандующим Российских войск». А в т.

** Полное название — «Дальневосточный комитет защиты Родины и Учредительного собрания». Состав — главным образом правый до кадетов включительно. А в т.

В то время, когда на огромном пространстве от Волги до Великого океана шла непрерывная политическая борьба взаимно ненавидящих, свергающих друг друга советов, комитетов, правительств и правителей, на бесчисленных внутренних фронтах лилась кровь. Политика всецело полонила стратегию, внося своими чрезвычайными противоречиями элемент авантюры в операции, хаос в снабжение и начало деморализации в дух армий.

В начале августа стратегическое положение было следующим. Под номинальным командованием ген. Шокорева находилось около 120 тысяч русско-чешских войск, из которых более половины входило в состав Западного фронта, 15—20 тысяч — Южного, 15—20 тысяч — Забайкальского и 10—15 тысяч расположилось во Владивостоке.

Против этих сил действовали войска Красной армии, насчитывавшие на фронте Камы и Волги 80—100 тысяч, и совершенно не поддающиеся учету многочисленные красногвардейские отряды так называемого Ташкентского фронта, внутреннего сибирского*, Забайкалья и Приморской области.

Операции развивались почти исключительно вдоль жел.-дор. линий.

В Прикамском районе, на Пермском направлении в первой половине августа большевики произвели сильный нажим на Екатеринбург, подойдя к городу на полперехода и вызвав там сильную панику. Полковнику Войцеховскому удалось, однако, отбросить наступавших.

На Волжском фронте без разрешения командования, по инициативе частных начальников (полковник Капель, чешский капитан Швец) неожиданным налетом 7 августа была взята Казань. Операция эта, стратегически не обоснованная, имела, однако, чрезвычайно важные последствия: в Казани был захвачен и поступил в ведение Самарского правительства золотой запас Российского государства в 651 1/2 миллионов рублей золотом** и, кроме того, 110 миллионов кредитными билетами и на большую сумму ценных бумаг. Это обстоятельство давало прочную финансовую базу для развития Восточного фронта и сильно подрывало положение советской власти.

На Саратовском направлении с марта месяца, проявляя огромное напряжение, мобилизовав все мужское население с 19 до 55-летнего возраста, выставив до 20 полков, вело непрерывную героическую борьбу Уральское войско. В каких условиях — об этом один из участников говорит*: «Пусть будет известно, что в отношении вооружения в начале нашей борьбы дело обстояло так, что многие старики несли с собой в бой пехни, пики, ломы и даже цепи; и после боя бывали найдены на поле брани с этим оружием самозащиты в руках»***. Только в начале июня, когда самарской группой чехов и добровольцев был взят Бузулук, войску открылась возможность получить оружие и боевые припасы. Под давлением превосходных сил большевиков уральский фронт все время менял свое очертание, дважды (апрель и июнь) подходя почти вплотную к столице войска — г. Уральску.

До конца августа на Камском и Волжском фронтах было сравнительно спокойно; уральские казаки, отбросив большевиков на всех направлениях, дрались у Николаевска, Новоузенска и Красного Яра (под Астраханью); капитан Гайда подошел к Байкалу; на прочих направлениях шли небольшие бои с переменным успехом.

В сентябре обстановка круто изменилась под влиянием двух новых факторов: подвинувшейся значительно вперед организации Красной армии и начавшегося брожения в Чехословацком корпусе, который продолжал еще перебрасывать свои части с востока на запад.

Предпринятое большевиками в начале сентября наступление — главными силами на Уфимском направлении — увенчалось успехом: они взяли 9-го Казань, 12-го — Симбирск, а 9-го октября овладели и Самарой, продвигаясь затем дальше на восток.

Чехи, избалованные легкими успехами над красной гвардией весной и летом, теперь, когда начались более серьезные бои, драться не хотели. Тем более что к тому времени путь к Великому океану был уже свободен... Глухо прозвучал выстрел, которым доблестный чех — капитан Швец — покончил свою жизнь, не будучи в силах перенести те явления, которые он считал предательством... Прозвучал — не разбудив ничьей совести. Только добровольческие части, отступая последними, оказывали слабое сопротивление преследующему противнику. С фронта на восток потянулись массы беженцев.

В оправдание свое чехи приводили мотивы достаточно веские: неустойчивость русских частей, вызывавшую у них сомнение, «желает ли русский народ действительно у себя порядка, народовластия, свободы... или предпочитает совет-

* Отступившие летом от ж. д. магистрали крупные банды в Верхнеуральске на Алтае и в северном Семиречье.

** Золотой запас переходил затем преименно к директории и к правительству адмирала Колчака.

*** «Уральцы». Е. Коновалов.

скую власть»...* «Внутреннюю смуту и неурядицу», в силу которой наблюдалось «не взаимодействие отдельных областей, но что-то вроде глухой вражды... Эгоизм и непонимание государственных задач доходили до грани недопустимого»...** Приводились и стратегические соображения — неправильность первоначальной разброски сил и необходимость сосредоточиться в районе Челябинска, чтобы начать серьезную операцию в одном главном направлении — на Вятку — Котлас для соединения с англичанами***.

Образ действий чехов в этот второй период их участия в русской смуте не нуждается в оправдании. Они вольны были решить по внутреннему своему убеждению трагическую для нас дилемму: проливать ли кровь за спасение России или уходить. Они стали уходить. Это обстоятельство дает нам, однако, нравственное право отнести критически к ореолу героизма и самоотверженности, в который облакают движение чехословаков, и, во всяком случае, не чувствовать себя в долгу перед ними. С осени 1918 года, в особенности с ноября, когда последние их части вышли из боевой линии, Чехословацкий корпус стал чужеродным и большим наростом в организме Сибири, поглощая большие материальные средства ее, столь необходимые для русской армии, загромождая и подчас парализуя подвижность сибирской магистрали.

С августа месяца начала как будто сбываться мечта многих русских людей, видевших спасение России в союзнической интервенции. Мечта, положенная в основание планов большинства политических партий, поддерживавшая морально впавшую в отчаяние буржуазию и дрогнувший фронт...

В августе и сентябре стали прибывать во Владивосток транспорты с долгожданными союзными войсками. Высадилось... три дивизии японцев, 5 батальонов американцев, по батальону англичан****, французов и итальянцев. Численность войск явно не соответствовала той огромной задаче, которая ставилась им пышными декларациями правительств и «высоких комиссаров». Еще более странным показалось применение этих войск. Японские дивизии расположились во Владивостоке, Харбине и вдоль линии Забайкальской ж. д. до Читы; при этом японский командующий маршал Отани заявил, что никакой другой задачи от своего правительства он не имеет. Американцы стали на охрану пути между Иркутском и Верхнеудинском и по Уссурийской ж. дор., английский батальон двинул в Омск — резиденцию «высокого комиссара», очевидно, для представительства.

Этот высокий комиссар, сэр Эллиот, прибыв раньше других полномочных представителей союзников на екатеринбургский фронт, торжественно заявил: «Союзники употребляют все усилия, дабы оказать помощь возрождающейся России, как оружием, снаряжением, так и людьми. Уже находятся в пути к Сибири их части, которые скоро будут сражаться на фронте. Помощь подвигается и с другой стороны, от Котласа... Нельзя упрекать нас в медлительности... Связь только что налажена, и теперь делается все, чтобы ускорить помощь»...

Официальная ложь союзников будила надежды, сменившиеся скоро глубоким разочарованием. Сибирь не получила от иностранцев ни одного штыка и ни одной копейки.

Порт и многомиллионные склады Владивостока были обеспечены, путь для чехословаков открыт, австро-германские контингенты военнопленных временно локализованы, а военно-политическая обстановка на европейском театре войны давала надежду на скорое и победное ее окончание.

Какие же еще мотивы могли побудить «реальных» политиков Запада принять более деятельное участие в судьбах опасной своим бурным брожением страны, в несчастье непонятного для них народа?

Глава XV. ВНЕШНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ: НЕМЕЦКАЯ ОККУПАЦИЯ, АСТРАХАНСКАЯ И ЮЖНАЯ АРМИИ

С приходом германских войск на Дон положение Добровольческой армии стало весьма затруднительным. Декларации наши, свободно обращавшиеся, не могли создать никаких иллюзий в немецком командовании в вопросе об отношении к нему армии. Правда, первоначальная формула этих отношений, исходившая некогда от «совета» при триумvirате****, теперь была заменена более мягкой: «никаких сношений с немцами»... Но и эта формулировка не могла примирить

* Воззвание Чечка.

** Председатель Чешского национального комитета Павлу.

*** Объяснения Войцеховского.

**** По другим данным, около бригады.

***** Триумvirат: Алексеев, Корнилов, Каледин; зима 1917—18 гг. Первая декларация Добровольческой армии определяла цели ее «борьбой с надвигающейся анархией и немецко-большевистским нашествием». Т. II, гл. XVII.

немецкое командование с фактом существования бок о бок силы, безусловно, им враждебной.

Началось зондирование почвы.

Киевская главная квартира через третьих лиц — немецкой ориентации — предлагала нам войти в «дружеские сношения»; гр. Альвенслебен искал свидания с адъютантом ген. Алексеева, ротмистром Шапроном, бывшим в Киеве по делам армии; ген. Арим в Ростове на официальных собраниях высказывал свое уважение к Добровольческой армии и сожаление, что «она не идет вместе с нами». На Украине свободно работали вербовочные бюро, и команды добровольцев — в форме, с отличительными знаками армии — направлялись беспрепятственно на Дон, встречая даже известную предупредительность со стороны немецких комендантов. Это обстоятельство наряду с появившимися в киевских газетах сведениями о «союзнической ориентации» армии возбуждало даже в наших киевских друзьях сильнейшее беспокойство: «Не готовят ли немцы ловушки?..»

Попытки эти остались безрезультатными: командование Добровольческой армии, избегая каких бы то ни было активных действий в отношении немцев, категорически отказалось войти с ними в сношения. Создалось весьма оригинальное «международное» положение, которое с некоторым приближением можно назвать «вооруженным нейтралитетом».

Любопытно, как расценивала правая общественность наши побуждения в этом вопросе. Кн. Г. Трубецкой в своем донесении Правому Центру писал*: «Генералы, стоящие во главе Добровольческой армии, мыслили возрождение России и армии в прямой преемственности от той идеологии, которую они принесли с фронта бывшей русской армии. Немец был враг, и притом нечестный враг, придумавший удушливые газы, а потом и самих большевиков. С этим врагом могла быть только борьба на жизнь и смерть и невозможны и недостойны никакие разговоры. Изменить союзникам было бы недостойным малодушием и на всех, кто были заподозрены в германской ориентации, ложилось пятно». Определение это, верное в отношении офицерской массы, слишком, однако, элементарно в отношении старших начальников: они руководствовались, кроме этого, мотивами государственной целесообразности и некоторым предвидением...

Истинные намерения германцев нам не были известны. Возможность дальнейшего движения их к востоку и югу ставила в крайне тяжелое положение Добровольческую армию и вызывала неоднократные сношения по этому поводу ген. Алексеева и мои с донским правительством. Ген. Богаевский, управляющий отделом иностранных дел, предупредил, что ручаться ни за что нельзя, но что, во всяком случае, «с ведома и согласия войскового правительства никакого передвижения немцев быть не может». Одновременно, однако, приходили сведения, что ген. Краснов помимо своего правительства ведет переговоры с немецким командованием о совместном наступлении на Азов и Ейск. 15 июля сведения эти получили существенное подтверждение. Атаман пригласил к себе моего представителя ген. Эльснера и убеждал его в необходимости сдвинуть Добровольческую армию с Кубани на Царицын. В качестве неопровержимого довода Краснов просил передать мне со слов будто бы немецкого майора (Стефани?), что немцы сосредоточили «крупные силы против большевиков» и «предъявили им требование очистить Азов, Ейск, Новороссийск и всю жел.-дор. линию от Ростова до Новороссийска»; ее немцы займут тотчас же, оккупируя таким образом Кубань**. С другой стороны, все чаще поступали донесения по поводу возможного движения немцев на Царицын совместно с донскими казаками. Об этом писал и ген. Алексеев. И я, учитывая большое значение для нас Царицына как единственного выхода на север, просил М. В. «предъявить атаману требование... чтобы не только с его стороны не последовало приглашения немцев, но, наоборот, — были бы устранены все предлоги для их движения туда».

Немцы, однако, против красной гвардии и советов больше не пошли. Только однажды, в конце мая, они вынуждены были вступить в бой с большевиками, предпринявшими без ведома Москвы нелепую и безрассудную десантную операцию из Азова к Таганрогу, окончившуюся страшным поражением большевиков, но вместе с тем вызвавшую потери и у немцев до 700 человек.

Берлин все это время вел переговоры о «дополнительных соглашениях» с Москвой, которая настаивала на очищении немцами Ростова и Таганрога или по крайней мере пропуска по юго-восточным и Владикавказской дорогам большевистских войск для борьбы с Югом.

Позднее, 23 июля, Чичерин предъявил преемнику Мирбаха Гельфериху желаний более определенных: «Активное выступление против Алексеева и никакой дальнейшей поддержки Краснову». Очевидно, как отголосок этих переговоров в начале июня ген. Кнерцер получил распоряжение из Киева о заключении перемирия с большевиками на всех фронтах, в том числе на Таганрогском и Батайском...

* От 28 августа 18 г.

** Доклад ген. Эльснера от 15 июня. № 223.

Все немецкие силы, следовательно, можно было направить против Восточного фронта, когда он представит действительную опасность.

С половины июня отношения немцев к армии резко изменились. 13 июня, как я говорил выше, имело место обращение их через Тундугова к донскому атаману о репрессиях в отношении Добровольческой армии. Вскоре через местных воинских властей последовало требование немцев о сборе всех военнопленных австро-германцев, относившееся и к чехословакам, находившимся в рядах армии и сделавшим с ней Первый кубанский поход*... На обращенный ко мне тревожный вопрос представителя их Краля я ответил, что избегаю тщательно всяких столкновений с немцами, но защита наших соратников — чехословаков — это вопрос нашей чести, и я не останюсь в случае нужды даже перед боем... В Киеве немецкая контрразведка, пополненная русскими офицерами, в том числе дезертирами Добровольческой армии, разгромила местный добровольческий центр и арестовала полковников Кусонского и Ряснянского**... Начали поступать сведения о задержке и аресте следовавших в армию офицерских эшелонов из целого ряда городов... Задержание эшелонов и офицеров германские власти объясняли тем, что «Добровольческая армия находится в состоянии войны с Германией, так как содержится на средства французов».

Добровольческие «центры» стали переходить на конспиративное положение, приток пополнений сократился.

В июле стали получаться весьма тревожные сведения со всех сторон — от Шульгина, Милюкова, московских организаций, из кругов, стоявших в оппозиции к донскому атаману, — об опасности, угрожающей нам со стороны немцев. Непосредственно из Всероссийского (советского) генерального штаба пришло тайно донесение, что «решено сильным отрядом не допустить продвижения Добровольческой армии к Царцину, а разоружить ее и разогнать, как будущее ядро Русской национальной армии».

Обстановка разъяснилась окончательно только к сентябрю, когда от лица, стоявшего во главе одного из центральных советских учреждений, получено было подробное освещение положения***.

«После заключения договора — дополнительного к Брестскому — Гинце**** (середина августа) обратился к советским властям с нотой, которая является... новым дополнением к договору... В конце ее имеется указание о необходимости сохранения ее в тайне. В одном из пунктов немецкое правительство настаивает на принятии советскими властями решительных мер к немедленному прекращению чехословацкого движения, к удалению союзников с Мурмана и Архангельска... и подавлению мятежа ген. Алексеева. Если советская власть окажется не в состоянии достигнуть указанных выше задач собственными силами, то она не должна противодействовать продвижению для... этих целей немецких сил по территории России... Немцы видят наибольшую для себя опасность именно в Добровольческой армии и в генерале Алексееве... Из сопоставления всех этих данных с передачей советским властям вооружения, снаряжения и боевых запасов, захваченных немцами на наших фронтах, а также формированием на немецкие средства... Астраханской и Южной армий — для меня ясно, что немцы принимают все меры к ослаблению численности Добровольческой армии и к поселению розни между ними (армиями), так и по возможности к полному ее уничтожению... Что касается Дона, то немцы, по-видимому, передали его большевикам, обязавшись дополнительным к Брестскому договором очистить жел.-дор. линию Воронеж — Ростов, а также не признавать его самостоятельности... По-видимому, и советские власти пришли к убеждению, что немцы не будут поддерживать Дон в его борьбе с большевиками»...

Что же помешало выполнению этих планов?

Стратегическое положение Добровольческой армии не было таким безрадостным, как представлялось ее друзьям в Москве и Киеве. Это хорошо понимали в штабе ген. Кнерцера и умеряли воинственное настроение своих московских дипломатов. Корпус Кнерцера, состоявший из трех пехотных дивизий и кавалерийской бригады, занимал обширный район Таганрог — Ростов — Миллерово — Бахмут и не мог выделить достаточных сил для скорой ликвидации Добровольческой армии. Вооруженное выступление против нас, несомненно, охладило бы симпатии германофильской части русской общественности, всколыхнуло бы национальное чувство, в частности, донского офицерства, вызвало бы раскол в Донской армии, падение Краснова и большой хаос в тылу наступающих. Углубление германских войск на Северный Кавказ в связи с большой подвижностью Добровольческой армии грозило надолго затянуть операцию, ставя под удары

* Около 300—400 человек в составе инженерного батальона, отчасти Корниловского полка.

** Через некоторое время были освобождены.

*** От 25 сентября 18 г.

**** Министр иностранных дел Германии.

партизанских отрядов все сообщения немцев. До фактического создания союзниками Восточного противонемецкого фронта и до движения армии на север такой риск не оправдывался бы обстановкой.

В свою очередь я, совершая Второй Кубанский поход, принял некоторые меры обеспечения. На линии Киев — Ростов Киевский железнодорожный комитет и некоторые организации готовили жел.-дор. заготовки, нападения, порчу и разрушение пути — на случай движения на восток немецких подкреплений.

Краснов по мере движения Добровольческой армии спешил с открытием жел.-дор. линий от Ростова на Торговую и Тихорецкую и просил ген. Алексеева о подчинении ему всех путей сообщения Кубанской области и Ставропольской губернии*. Так как это обстоятельство угрожало существованию армии, облегчая удар по ней немцам, я нынужден был препятствовать этим намерениям, мирясь с огромными трудностями подвоза нам снабжения по грунтовым путям. Линия Ростов — Батайск — Торговая была во многих местах основательно разрушена ранее, и инженеры, которым по приказанию донского атамана надлежало восстанавливать путь, в мере возможности саботировали работу. Наконец, 10 июля, после взятия нами станции Куцевки, полковником Кутеповым по моему приказанию взорван был куцевский ж. д. мост, чем прервано было движение от Ростова.

Взрыв у Куцевки вызвал гнев донского атамана и произвел большое впечатление на немцев, не оставляя уже никаких сомнений в отношении к ним армии. Тем не менее «вооруженный нейтралитет» не нарушался. Только в конце сентября произошел небольшой эпизод: в первый раз ко мне официально обратился от имени своего правительства майор фон-Кюфенгаузен, прося ускорить восстановление проходившей по занятой нами территории линии индо-европейского телеграфа и предлагая дать для исправления и обслуживания ее свой персонал. Кюфенгаузену было отвечено через ген. Эльснера**, что вообще все телеграфные линии на территории армии восстанавливаются и чужой помощи не требуется. Через 2—3 недели я получил новую ультимативную уже ноту — о предоставлении германскому командованию указанной линии, с требованием определенного ответа в пятидневный срок... Ответил тем же порядком, что телеграфные линии по мере восстановления поступают в общественное пользование... на точном основании российских законов.

Было ли проявление этого ультиматума желанием создать повод для открытия военных действий, не знаю — ближайшие дни совершенно изменили обстановку: над Германией стряслась неслыханная катастрофа, а «высокий представитель» ее фон-Кюфенгаузен тайно исчез из Ростова, долго еще потом пугая воображение союзных миссий, безуспешно разыскивавших его на территории Юга.

Я должен добавить еще одно: оставаясь неизменно нашим врагом, немецкое командование на Юге России относилось всегда с большим уважением к Добровольческой армии.

Не выступая против Добровольческой армии с оружием в руках, немцы старались разложить ее другими путями. К числу их относится создание ими так называемой Астраханской армии***.

В Киеве в начале июля образовалась организация для вербовки в эту армию, формировавшуюся на Дону, в районе ст. Великокняжеской. Во главе ее стал совершенно ничтожный человек, полковник Тундутов, в качестве политического руководителя — Иван Добрынский, в окружении чрезвычайно темные элементы (немцы и русские) германской контрразведки.

Астраханская армия, приняв внешние отличия, служебный распорядок и «лозунги» — монархические, тем самым должна была отвлечь офицерство от армии Добровольческой — армии «с неопределенной политической физиономией», «признающей Учредительное собрание», даже «в скрытой форме... республиканской»... — как говорили создатели Астраханской армии.

Первое время набор, открыто поощряемый немцами, имел известный успех. Немцы дали Тундутову несколько миллионов рублей и отпустили в небольшом размере русское боевое снабжение. Правые круги Киева, во главе с гр. В. Бобринским, оказывали армии моральное содействие, московский Правый Центр «вступил с ней в контакт». Шли в армию и офицеры: одни — из числа обиженных, не нашедших удовлетворения своему честолюбию в рядах Добровольческой армии; другие — из-за двойного в сравнении с добровольческим оклада; третьи — действительно искренне привлекаемые монархическим лозунгом. Большинство же шло просто «на борьбу с большевиками», не разбираясь ясно в задачах нового формирования и в удельном весе его руководителей.

Организаторы искали долго генерала с популярным именем для возглавления армии. Гр. Келлер отказался, как «открытый противник германской ориента-

* Сношение от 13 июля, № 262.

** Мой представитель на Дону.

*** Такое странное название формирование получило от теоретического предположения Тундутова комплектовать армию астраханскими казаками и калмыками, по мере освобождения Астраханской губернии.

ции»... Ген. Н. И. Иванов — также. «Я всегда ставил безусловно необходимым * полное согласование всех действий этих войск, — писал мне Иванов 10 августа, — с Вашей армией и самым настойчивым образом отвергал возможность каких-либо моих сношений с германцами». Характерно для психологии русского генералитета: Н. И., допуская снабжение «астраханцев» запасами, оставшимися на Украине, «что требовало согласия немцев», был, однако, глубоко оскорблен тогда «тяжким обвинением, возведенным (на него) агентурой **», об (его) не имевших места в действительности сношениях с представителями германского командования» и «убедительно просил (меня)... расследовать источник этих обвинений»... Остановились астраханцы на Павлове — лично кавалерийском генерале, в политической идеологии которого был только монархизм и никаких осложняющих дело «предрассудков». Павлов побывал у меня в Тихорецкой, осведомился об отрицательном отношении моем к новому формированию, но должность принял.

В результате вся эта попытка немцев потерпела полную неудачу. К августу был сформирован только один батальон в 400 штыков и до конца существования «армии» (начало 19 года) численность ее не превышала 3 тысяч бойцов, из которых в феврале 19 года только 1753 могло быть на фронте. Втайне от руководителей организации армейский штаб астраханцев *** считал себя в распоряжении Добровольческой армии, получая временами указания от ген. Эльснера, и заявлял, что «сформированные части готовы перейти в состав Добровольческой армии по первому требованию»... Добровольческий штаб относился, однако, несочувственно к такому распылению сил и к темной политической игре. В результате штаб Астраханской армии рисовал ген. Эльснеру такие сцены: «Офицеры по прибытии в Ростов узнают от специально поставленных на вокзале (ваших) агентов об ориентации Астраханского войска, источниках его содержания, и до 60—80% эшелонов желают с места перейти в Добровольческую армию»... «Затем, когда эшелон идет по линии Батайск — Торговая, рьяную агитацию ведут (ваши) командиры станции. В результате значительная часть эшелонов переходит в Добровольческую армию. Но мало того, переходящие начинают все время корить и упрекать остающихся, издеваться над ними. Проявляется взаимная обиды и обозление»... Астраханский штаб просил ген. Эльснера самого «по-братски распределять пополнения»****. Ген. Эльснер от содействия укомплектованию Астраханской армии отказался, но и не препятствовал ему.

В августе немцы, разочаровавшись в своем формировании, прекратили отпуск денег Тундутову. Донской атаман давал скудные пособия. И Тундутов в поисках материальной поддержки обратился в киевскую организацию крайних правых — Совет монархического блока *****. Между ними был заключен 7 сентября договор *****, в силу которого ничего не ведавшему офицерство было поставлено перед фактом неожиданного применения его патриотических побуждений: «Войсковой атаман передает всю политическую работу Совету Монархического Блока» (ст. 7-я)... «Астраханская армия должна быть использована для борьбы со всеми противниками восстановления Законопреемственной монархии и воссоздания России»... (ст. 2-я).

Но казна «блока», черпавшая средства также из берлинского источника, скоро иссякла, и Астраханская армия все время не выходила из тяжелого кризиса.

Осенью Тундутов явился на поклон в Екатеринодар. Пороча всячески донского атамана, он просил разрешения «отложиться» от Донской армии и присоединиться к Добровольческой. Не считая возможным обострять отношения, я категорически отказал. По тем же побуждениям и не желая подрывать принципа дисциплины, я отклонял многократные ходатайства астраханских частей о переходе их в полном составе к нам.

Тундутов и его окружение вели праздный и разгульный образ жизни, а «армия» постепенно таяла; таяла от отсутствия пополнений, от ухода из ее рядов многих неудовлетворенных и от потерь, понесенных в небольших, но непрерывных боях с большевиками — на крайнем правом фланге донцов, в Манычских степях.

* Выделено в письме.

** Сделавшимся ему случайно известным.

*** Начальник штаба подполк. Рябов-Решетин, ген.-квартирм. подполк. Полеводин.

**** Доклады ген. Эльснера № 1499 и 1661 от 3 и 10 августа 18 г.

***** Блок возник в результате соглашения между крайними правыми и националистами групп Балашова и В. Бобринского.

***** Подписали договор:

- 1) Войсковой атаман Астраханского войска кн. Тундутов.
- 2) Командир Астраханского корпуса ген.-лейт. Павлов.
- 3) Управляющий внешним отделом Астрах. каз. войска И. Добрынский.
- 4) Председатель Совета монархического блока Соколов.
- 5) Член Совета кн. А. Н. Долгоруков.

Почти одновременно с этой неудачной попыткой немцы предприняли другую, казавшуюся им более солидной ввиду общественного положения лица, ставшего во главе дела.

Из всех членов императорской фамилии, оставшихся в живых, только двое — герцоги Н. и Г. Лейхтенбергские — приняли всецело «германскую ориентацию». Герцог Н. Лейхтенбергский взял на себя роль посла атамана Краснова к германскому императору и, не будучи принят Вильгельмом, устранился в дальнейшем от политической деятельности. Герцог Г. Лейхтенбергский стал во главе формирования на немецкие деньги — при фактическом участии в штабе организации немецких офицеров — так называемой Южной армии.

Герцог был «флагом». Душою организации являлся некто Акацатов, член Союза русского народа. Возглавлялась организация созданным Акацатовым союзом «Наша Родина», в состав которого, кроме герцога и Акацатова (председатель), входило еще несколько членов (9), имена которых по интимным соображениям опубликованы не были. В качестве народной и общественной базы назывались такие полумифические организации, как Всероссийский национальный клуб, Всероссийский национальный союз, Союз русской молодежи Юга России, Гимнастическое общество «Богатырь», «Крестьянские кооперативы», некоторая часть Союза русского народа и т. д.*.

Организация встретила отрицательное к себе отношение в среде киевского генералитета, но зато с большим увлечением отнеслась к ней группа гр. В. Бобринского**.

Монархический лозунг был поставлен ясно и определенно. Политическая же ориентация была известна в точности только верхам. Рядовому офицерству сообщалось, что Южная армия не имеет никаких обязательств в отношении немцев и «создается на деньги, занятые у русских капиталистов и у монархических организаций».

Территория для формирования была представлена ген. Красновым, неизменно поощрявшим эти предприятия, «русская» (не донская) — южная часть Воронежской губернии, — на которой Акацатов стал водворять администрацию и «исконные начала».

Ни один из крупных генералов, к которым обращался союз «Наша Родина», не пожелал стать во главе армии. Так до конца своего «самостоятельного» существования армия оставалась без командующего; его заменял временно начальник штаба, ген. Шильдбах, а наличным составом формируемых частей командовал фактически ген. Семенов. Выбор — весьма показательный: Семенов был до того удален из отряда Дроздовского ввиду полной неспособности в боевом отношении, потом из Добровольческой армии — за то, что, будучи начальником нашего вербовочного бюро в Харькове, вступил в связь с немцами и... отговаривал офицеров ехать в Добровольческую армию.

На небольшом клочке Воронежской губернии Акацатов с Семеновым восстанавливали порядки, давно отошедшие в область истории. Оттуда распространялась нездоровая литература, отравлявшая души офицерства реакционным изуверством и человеконенавистничеством. Оттуда же шла лютая травля Добровольческой армии. «В последних номерах газеты «Наша Родина», — сообщала киевская «Азбука», — нет ни слова о большевиках. Вся газета посвящена грубому поношению ген. Алексеева, Шульгина, Родзянко и т. д. О ген. Алексееве газета пишет, что это он предал царя, устроив ему ловушку, и что он разложил армию. О всех вообще, кто, движимый любовью к несчастной Родине, собрались в Екатеринодаре, газета говорит, что на лица их «ясно виднеется улыбающийся Азеф»...

Любопытно, что организатор армии герцог Лейхтенбергский все же счел нужным обратиться ко мне с письмом, в котором выражал надежду на совместные наши военные действия в будущем. Я ответил весьма сдержанно, что это будет зависеть от той политики, которую поведут руководители Южной армии.

Как бы то ни было, но расхождение в политических лозунгах армий воспринималось в Киеве, по-видимому, очень остро. Митрополит Антоний, хорошо осведомленный о настроении правых и принимавший в работе их деятельное участие, с одним офицером, общим знакомым, приехавшим в Екатеринодар в начале августа, передавал мне о крайнем своем беспокойстве: «Как бы русские армии не вступили в междоусобную брань»...

В приказе донского атамана от 26 августа указывалось, что Южная армия, равно как Астраханская и Русская народная армия***, «в будущем обеспечат пределы Дона», а «политическими программами их войско не интересуется и их не разделяет, имея одну цель — создание сильного государства — Всевеликого войска Донского». Эта тирада звучала особенно странно, принимая во внимание, что южные части Саратовской и Воронежской губерний были «временно» подчинены

* Доклад офицера штаба Южной армии полковника Хондзынского.

** Бобринский Владимир Алексеевич (род в 1852 г.) — помещик и сахарозаводчик. граф. Один из организаторов партии «националистов». (Прим. ред.)

*** Фактически формировалась самими атаманом Красновым в южной части Саратовской губернии.

Дону и незадолго перед тем военными губернаторами там были назначены атаманскими приказами начальники формировавшихся войск — ген. Семенов* (Воронежской) и подполковник Манакин (Саратовской)**...

И эта вторая попытка немцев и русских германофилов окончилась неудачей. Тем более, что немцы, достигнув основной своей цели — посеять рознь, не думали вовсе о создании из Южной армии прочной силы: уже в сентябре финансирование ими герцога Лейхтенбергского почти прекратилось, снабжение ограничено было до ничтожных размеров. К октябрю в «армии» было до 3 1/2 тысяч штыков и сабель, без обоза, почти без артиллерии, и много небоевого элемента. В войсках создавалось тяжелое настроение. Искусственно вызванное взаимное отчуждение и озлобление между «южанами» и добровольцами сменялось понемногу явным тяготением к Добровольческой армии отдельных лиц и целых частей Южной армии. Оно усилилось еще более после произведшего большое впечатление обращения Шульгина «к руководителям Астраханской и Южной армий»***. «Ваша тяжкая жертва была принесена напрасно, — писал он. — Теперь, после того, как Германия запросила мира, вы, конечно, сознаете, что она никого спасти не может». Указывал выход — «соединиться с людьми, которые, как и вы, любят Россию, но которые шли к ее спасению другими путями»... В Екатеринодаре появились вновь делегации от Южной и Астраханской армий с просьбой о присоединении к Добровольческой. «В скором времени, — обобщал свои впечатления Шульгин****, — следует ожидать массового бегства офицеров из Южной армии в Добровольческую, так как офицерство потеряло надежду на то, что верхи Южной армии перестанут его делать пугалом в глазах народа».

Но с 30 сентября Южная армия поступила уже в полное подчинение ген. Краснову и потому, чтобы не создавать затруднений атаману, на основании моих указаний ген. Драгомиров сообщил Шульгину*****: «Нужно успокоить офицеров Южной армии и убедить их не уходить из ее рядов, так как в скором времени все равно они попадут под наше начальство и послужат остовом при формировании общерусской армии»...

Влились они в армию действительно, но... слишком поздно — после окончательного развала.

Глава XVI. ВНЕШНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ: ОТНОШЕНИЯ С ДОНСКИМ АТАМАНОМ

Наиболее тяжелые отношения установились у нас с донским атаманом.

На небольшом клочке освобожденной от большевиков русской земли двум началам, представленным, с одной стороны, ген. Красновым, с другой — ген. Алексеевым и мною, очевидно, оказалось тесно. Совершенно неприемлемая для Добровольческой армии политическая позиция атамана, полное расхождение в стратегических взглядах и его личные свойства ставили трудно преодолимые препятствия к совместной дружной работе. Утверждая «самостоятельность» Дона ныне и «на будущие времена», он не прочь был, однако, взять на себя и приоритет спасения России. Он, Краснов, обладающий территорией, «народом» и войском — в качестве «верховного вождя Южной Российской армии»*****, брал на себя задачу — ее руками — освободить Россию от большевиков и занять Москву*****... На этом же пути стояла другая сила — пока еще «бездомная», но с непрерываемым общерусским авторитетом бывшего Верховного — ген. Алексеева и с большим моральным весом и боевой репутацией Добровольческой армии.

Обе стороны, понимая непреложные законы борьбы, считали необходимым объединение вооруженных сил, и обе не могли принести в жертву свои убеждения или предубеждения. На этой почве началась длительная внутренняя борьба — методами, соответствовавшими характеру руководителей... В то время, когда командование Добровольческой армии стремилось к объединению вооруженных сил Юга — путями легальными, атаман Краснов желал подчинить или устранить со своего пути Добровольческую армию; какими средствами — безразлично.

Началось еще в мае, когда неожиданно атаманским приказом все донские казаки были изъяты из рядов Добровольческой армии, что расстроило сильно некоторые наши части, особенно Партизанский и Конный полки. Мне пришлось поблагодарить донцов и отпустить их, чтобы не обострять положения и не создавать картины развала... В краткий период кризиса, пережитого Добровольческой арми-

* Приказ 6 августа, № 669.

** Вице-губернатором был назначен известный Аладьин, который и осуществлял «политическое руководство армии» во главе с набранной им «группой земских деятелей Саратовской губ.». Численность этой «армии» была ничтожна.

*** Открытое письмо в № 36 «России» в конце сентября.

**** Записка от 12 октября.

***** Резолюция от 23 октября.

***** Соединенные Южная, Астраханская и Народная.

***** Речь в Таганроге. «Приазовский край» 18 г., № 178.

ей*, отдельные лица, иногда небольшие части, дезертировали из армии на службу на Дон, встречая там радушный прием. Был даже случай, что целый взвод с оружием и пулеметами под начальством капитана Корнилова** бежал в Новочеркасск; с ним ушел также офицер штаба армии лейтенант флота Поздеев и... мой конный вестовой — текинец; характерная мелочь — последний ушел о-двуконь, укрыв, кстати, мою лошадь. Штаб вел по этому поводу переписку, но безрезультатно. Все проходило совершенно безнаказанно. Между тем переход в Добровольческую армию, хотя бы и легальный, расценивался совершенно иначе. Помню, какой гнев вызвало впоследствии формирование донским генералом Семилетовым после долгих переговоров партизанского отряда в Черноморской губернии из донских граждан, не обязанных службой на Дону***... Отряд не представлял из себя сколько-нибудь серьезной силы и, конечно, не мог иметь никакого политического значения — по крайней мере я не допустил бы этого. Но ген. Краснов считал, что цель Семилетова, «находящегося всецело в руках кадетской партии... поднять казаков против правительства и свергнуть его — атамана — с должности»****... В июне ген. Эльснер просил разрешения ген. Краснова привлечь на службу в армию иногородних Донской области и получил отказ, мотивированный тем, что «неокрепшие еще местные власти не в состоянии будут заставить иногороднее население выполнить приказ»*****... Через несколько дней атаман, однако, отдал приказ о наборе иногородних Дона, формируя из них полк, кадром для которого послужили... следовавшие в Добровольческую армию офицеры лейбгвардии Измайловского полка. Он откровенно высказывал ген. Алексееву***** надежду, «что получит гвардейских офицеров от всех полков гвардии»*****. Но измайловцы не пошли, а инициатор этой затеи, полковник Есимантовский, формирующий полк (потом бригаду) при помощи нескольких офицеров лейбгвардии Финляндского полка, через два месяца, подчиняясь общему настроению, писал уже покаянное письмо ген. Алексееву*****: целью его было только «привести в Добровольческую армию готовый полк без расходов от нее». Есимантовский спрашивал указаний. «Когда и как сделать переход в армию»...

Наиболее осложненный доставил нам вопрос с отрядом полковника Дроздовского. Прибыв в Новочеркасск 25 апреля, Дроздовский в тот же день донес мне, что «отряд прибыл в мое распоряжение» и «ожидает приказаний». Но время шло, назревал 2-й Кубанский поход, а начало его все приходилось откладывать: более трети всей армии — бригада Дроздовского — оставалась в Новочеркасске. Это обстоятельство препятствовало организационному слиянию ее с армией, нарушало все мои расчеты и не давало возможности подготовить операцию, о которой было условлено с ген. Красновым 15 мая*****. По просьбе Краснова, отряд Дроздовского разбрасывался частями по области: конница дралась в Сальском округе, пехота употреблялась «на очистку от большевиков» Ростова и Новочеркасска, на карательные экспедиции по крестьянским деревням севера области. Я требовал присоединения бригады, Дроздовский ходатайствовал об отсрочке для отдыха, организации и пополнения. Краснов упрямивал Дроздовского не покидать Новочеркасск — публично, на параде перед строем, и более интимно в личных разговорах с Дроздовским. Атаман порочил Добровольческую армию и ее вождей и уговаривал Дроздовского отложиться от армии, остаться на Дону и самому возглавить добровольческое движение под общим руководством Краснова*****. Слухи об этих переговорах и якобы колебаниях Дроздовского***** дошли до офицеров его отряда и вызвали среди них беспокойство. По просьбе офицеров командир сводно-стрелкового полка, полковник Жебрак, обратился по этому поводу к Дроздовскому и получил от него успокоительное заверение. Позднее Дроздовский так писал мне о новочеркасских интригах: «Считая преступным разъединять силы, направленные к одной цели, не преследуя никаких личных интересов и чуждый мелочного самолюбия, думая исключительно о пользе России и вполне доверяя Вам, как вождю, я категорически отказался войти в какую бы то ни было комбинацию, во главе которой не стояли бы Вы»...

Я ждал присоединения отряда, без чего нельзя было начинать операцию, атаман всемерно противился этому и в то же время... «настаивал на немедленном наступлении — надо использовать настроение казаков, их порыв, надо воспользоваться растерянностью комиссаров»...

* Май. См. ниже.

** Однофамилец генерала.

*** Такой набор разрешался всем армиям, кроме Добровольческой. Приказ войску Донскому № 921.

**** Отчет о разговоре ген. Краснова и Эльснера 18 октября.

***** Доклад ген. Эльснера 7 июня, № 144.

***** Письмо ген. Алексеева мне от 26 июня, № 59.

***** Гвардейцы собирались тогда при 1-м офицерском полку Добров. армии.

***** От 31 августа.

***** Свидание в Манычской, См. ниже.

***** Доклад полковника Дроздовского.

***** Долго еще Краснов в заседаниях Правительства, немцам и вообще при всяком удобном случае повторял, что «отряд полк. Дроздовского покинет Добровольческую армию и перейдет на службу к Донскому или Астраханскому (?) войску». Протокол заседания 26 июня.

После беседы с Жебраком Дроздовский приехал в Мечетинскую, отряд его был зачислен в качестве 3-й бригады в Добровольческую армию и 23 мая выступил на соединение с ней.

Все эти неудачи не останавливали, однако, атамана перед попытками создания подчиненной ему Российской армии. Свое недоумение он высказал однажды в письме к ген. Алексееву: «На земле войска Донского, а теперь и вне ее я работаю совершенно один. Мне приходится из ничего создавать армию... снабжать, вооружать и обучать ее. В Добровольческой армии много есть и генералов, и офицеров, которые могли бы взять на себя работу по созданию армий в Саратовской и Воронежской губерниях, но почему-то они не идут на эту работу» *... Краснов не хотел понять, что его попытки обречены на успех просто в силу психологии русского генералитета и офицерства, глубоко чуждой основным положениям атаманской политики. Попытки — вместе с тем неизбежны, даже независимо от чьей-либо злой воли, ослаблявшие и расстраивавшие Добровольческую армию.

Ввиду явной неудачи формирования Южной армии руководители ее вынуждены были передать ее в полное подчинение генералу Краснову**. 30 сентября состоялся атаманский приказ о создании Особой Южной армии, в составе которой должны были формироваться три корпуса: Воронежский (бывшая Южная армия), Астраханский (бывшая Астраханская армия) и Саратовский (бывшая Русская народная армия). На новую армию возлагалась «защита границ Всевеликого войска Донского от натиска красновардейских банд и освобождение Российского государства».

Возник вопрос о возглавлении армии генералом с общероссийским именем, чтобы привлечь таким образом офицерство. Но такого найти не удавалось. С ген. Щербачевым, жившим в Яссах, атаман не смог войти в связь. Ген. Драгомиров, проезжая в августе из Киева через Новочеркасск, «умышленно уклонился от встречи с Красновым», ибо, — как он писал мне впоследствии***, — «мы стояли на столь различных точках зрения в вопросе о дружбе с немцами, что наш разговор мог бы иметь результатом только крупную ссору, с чего мне вовсе не хотелось начинать свою деятельность на Юге России». Тем не менее 30 сентября Краснов обратился к Драгомирову**** с предложением принять новую армию. Горячий Драгомиров ответил, что в этом формировании он «видит продолжение той же немецкой политики — divide et impera — которая привела нашу Родину к пропасти», и потому «предложение этого поста равносильно (для него) оскорблению»*****.

Остановился Краснов на Н. И. Иванове. К этому времени дряхлый старик Н. И., пережив уже свою былую известность, связанную с вторжением в 1914 году армий Юго-западного фронта в Галицию, проживал тихо и незаметно в Новочеркасске. Получив предложение Краснова, он приехал ко мне в Екатеринодар, не желая принимать пост без моего ведома. Я не противился, но не советовал ему на склоне дней давать свое имя столь сомнительному предприятию.

Однако, вернувшись в Новочеркасск, Иванов согласился.

25 октября мы прочли в газетах атаманский приказ о назначении Н. И., заканчивавшийся словами: «Донские армии восторженно приветствуют вождя их новой армии — армии Российской»...

Бедный старик не понимал, что нужен не он, а бледная уже тень его имени. Не знал, что пройдет немного времени и угасшую жизнь его не заинтересованный более Краснов передаст истории с такой эпитафией: «Пережитые им (ген. Ивановым) в Петербурге и Киеве страшные потрясения и оскорбления от солдат, которых он так любил, а вместе с теми немалые уже годы его отозвались на нем и несколько расстроили его умственные способности»...

Ген. Иванов умер 27 января, увидев еще раз крушение своей армии, особенно трагическое в войсках Воронежского корпуса*****.

Я шел с армией походом, вел ежедневно кровавые бои, требовавшие большого нравственного напряжения и известного душевного равновесия... А из нашего тыла, из Новочеркаска, все чаще шли вести — возмущающие и волнующие. Это были не просто слухи, а факты, документы, основанные на словесных и письменных излияниях не в меру злобствовавших ненавистников Добровольческой армии.

Атаман в заседаниях правительства, в речах и беседах... командующий Донской армией ген. Денисов публично в офицерских собраниях — поносили и Добровольческую армию, и вождя ее. Поносили все — нашу стратегию, политику, нравственный облик начальников и добровольцев. «Достоверные сведения» о полном развале Добровольческой армии были любимой темой донских руководителей*****.

* От 8 сентября, № 172.

** С ноября, после падения немцев, средства — 76 миллионов — обязался доставить гетман. Но до своего падения отпустил только 4½ миллиона.

*** Письмо от 3 августа 1922 г. в опровержение слов ген. Краснова о личных переговорах с ним. («Архив рус. рев.» статья «Все войско Донское».)

**** Тогда уже помощнику Главнокомандующего Добровольческой армией.

***** Письмо от 12 октября, № 148. Я ознакомился с его содержанием только после отправки.

***** Б. Южная армия.

***** Письма ген. Алексеева и отчеты о заседаниях.

Даже самый поход наш был заранее опровержен. В заседании 26 июня Краснов заявил*, что Добровольческая армия «оставила без всякого предупреждения Донского правительства в ночь на 11 июня линию Мечетинская — Кагальницкая, чем Донская армия поставлена в крайне тяжелое положение, ибо получилось обнажение фронта». Этот упрек брошен был армии, двинутой во Второй Кубанский поход, имевший одной из ближайших задач освобождение Задонья и тот общий результат, который в отчете Кругу Денисова выражен был следующими словами: «Быстрое движение войск и начало очищения Сальского округа обозначились после успехов Добровольческой армии, взявшей Торговую... Освободились (также) от противника южные части Ростовского и Черкасского округов, отпала угроза Новочеркасску с юга, и вместе с тем мы смогли за счет Азовского и Тихорецкого направлений усилиться на других фронтах, а с прибывшими подкреплениями перейти к более активным действиям»...

Отношения верхов отражались в низах — особенно в буйном, несдержанном новочеркасском тылу. На этой нездоровой почве пьяный скандал разрастался в событиях, перебранка подгулявших офицеров — в оскорбление Донского войска или Добровольческой армии. Были, конечно, и чисто бытовые причины недоразумений между «хозяевами» и «пришельцами». «Хозяева» были замкнуты в кастовых перегородках, несколько эгоистичны и не слишком приветливы. Но если правы были добровольцы, жалуюсь неоднократно на дурное отношение к ним казаков, то и те имели не раз основание для такого отношения в поведении части добровольческого офицерства: в их нескромной самооценке, в полупрезрительном отношении к донским частям, наконец в «назойливой бравате монархическими идеями». Правда, эти отношения складывались резко только в тыловых гарнизонах, а если и отражались в армии, то в гораздо более умеренных формах. Вообще же в массе своей добровольчество и донское казачество жили мирно, не следуя примерами своих вождей.

Очевидно, в этой расправе были не совсем правы и мы. Ген. Алексеев писал мне 26 июня: «Отношения (между атаманом и Добровольческой армией) не хороши и вредят нам сильно... В особенности принимая во внимание, что и ген. Денисов совсем не принадлежит к числу наших друзей. Примеру главных деятелей следуют исполнители. Полагаю, что в некоторых случаях нужно изменить тон наших сношений, так как в создавшейся атмосфере взаимного раздражения работать трудно. И, только когда мы окончим счеты, можно будет высказать все накопившееся на душе за короткое время с 15 мая». М. В. упустил из виду одно — что почти вся ориентировка с Дона исходила от него**. Только, что он умел обыкновенно облекать эти отношения во внешние дипломатические формы, я не постиг этого искусства. Каждое его письмо дышало недоверием и осуждением общей политики атамана и Денисова и их отношений к Добровольческой армии. Насколько глубоко было это недоверие, видно из переписки между ними, имевшей место в августе.

10 августа ген. Алексеев, находившийся тогда в Екатеринодаре, под влиянием донесений из Новочеркасска телеграфировал Краснову***: «Негласно до меня доходят сведения, что предполагаются обыски и аресты моего политического отдела****. Если это правда, то такой акт, ничем не вызванный, будет означать в высокой мере враждебное отношение к Добровольческой армии. Разве кровь армии (пролитая) за Дон позволяет такой унижительный шаг».

Ген. Краснов, вероятно, искренно ответил: «Я удивляюсь, что Ваше Высочайшее превосходительство допускает думать, что такой акт к дружеской нам Добровольческой армии возможен. Прошу арестовать как злостных провокаторов лиц, распускающих такие слухи. Враги Дона ни перед чем не стесняются, чтобы вызвать вражду и недовольство в той армии, которой Дон так многим обязан и в которой видит будущее России»*****.

Как жаль, что в то же время у атамана и Денисова не находилось для этого «будущего России» иного эпитета, чем:

— Странствующие музыканты.

Или:

— Банды!

В случайном признании атаманом значения армии было, вероятно, и некоторое отражение донских настроений... Ведь не только пафос и правила вежливости или «кадетская интрига» руководили Большим Войсковым Кругом — тем самым «мудрым» кругом, который переизбрал атамана Краснова, — когда Круг, собравшись осенью 18 года, обратился к армии с ответным приветием: «...С чувством глубокой радости (мы) выслушали братский привет и пожелания успеха в нашей работе. Слухи, доносившиеся к нам даже в самые отдаленные хуторские углы о нарушенных сердечных отношениях с вами, тревогой и скорбью отзыва-

* Из протоколов заседаний.

** Ген. Алексеев жил тогда в Новочеркасске.

*** № 187.

**** Отдел оставался еще в Новочеркасске.

***** 13 августа, № 551.

лись в наших сердцах. Но теперь тревога рассеяна... У Тихого Дона нет достаточно сильных слов для выражения своих чувств преклонения перед вашими подвигами, но есть горячая любовь и искреннее желание не словами, а делом служить вам в вашей тяжелой, святой работе»*...

Было два человека — Богаевский и Эльснер — оба люди спокойные и уравновешенные, которые больше других работали над тем, чтобы сгладить трения между Новочеркасском и ставкой Добровольческой армии, но им это решительно не удавалось. Что касается меня лично, то, чтобы не терять душевного равновесия и не создавать самому каких-либо поводов для осложнений, я с конца июня 1918 года прекратил совершенно переписку с ген. Красновым; возобновилась она ненадолго, в силу необходимости, только после объединения командования в 1919 году. Но атаман продолжал писать пространно моим помощникам, вызывая в них не раз глубокое недоумение.

Так, в октябре 1918 года он писал ген. Драгомирову**:

«...У Вас после тяжелых боев прорвался Сорокин с отрядом, и Ваши и мои враги пустили слух, что ген. Деникин нарочно выпустил его, чтобы не дать Краснову взять Царицын. Судите сами, Абрам Михайлович, такими слухами, такими грязными сплетнями на чью мельницу мы льем воду»...

Возмущенный ген. Драгомиров 13 октября отвечал:

«...Вашим вопросом — «на чью мельницу мы льем воду», — Вы как будто возлагаете вину на нас за эти сплетни... Неужели не ясно, что Добровольческая армия из сил выбивается, чтобы сдержать напор большевиков, значительно превышающих (ее) в силах и неизмеримо обильнее снабженных боевыми припасами. Неужели последние кровопролитные и упорнейшие бои, в коих гибли с несравненным героизмом офицерские части армии, дают кому-либо право сколь-нибудь серьезно останавливаться на приведенной Вами грязной сплетне о выпуске Сорокина. Неужели по своей доброй воле Добровольческая армия два месяца дерется изо дня в день все на тех же позициях, а города и станицы периодически переходят из рук в руки при всех ужасах, которыми сопровождаются для жителей эти переходы»...

Любопытно, кто же, однако, распространял «такие грязные сплетни»?

В те же дни*** Краснов писал в Екатеринодар донскому представителю, ген. Смагину:

«...Мы ведем борьбу с восемью советскими армиями, в то время как против Добровольческой армии только одна армия — Сорокина и та более, чем наполю вину, в выпущенную против нас... Прибытие отряда Сорокина**** и дивизии Жлобы, непреследуемых по пятам добровольцами, и удар их в тыл нашим войскам у Царицына произвели на казаков угнетающее впечатление»...

«...Конечно, это письмо только тема для Вас. Оно не для огласки», — заканчивал ген. Краснов.

Я чувствую, что посвятил слишком много строк и внимания розни «белых генералов». Но это было. Внося элемент пошлости и авантюризма в общий ход кровавой и страшной борьбы за спасение России и отражаясь роковым образом на ее исходе.

Глава XVII. КОНСТИТУЦИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ВЛАСТИ, ВНУТРЕННИЙ КРИЗИС АРМИИ: ОРИЕНТАЦИИ И ЛОЗУНГИ

В станицах Мечетинской и Егорлыкской жила Добровольческая армия — на «чужой» территории, представляя своеобразный бытовой и военный организм, пользовавшийся полным государственным иммунитетом.

С первого же дня моего командования без каких-либо переговоров, без приказов, просто по инерции утвердилась та неписаная конституция Добровольческой армии, которой до известной степени разграничивался ранее круг ведения генералов Алексеева и Корнилова. Ген. Алексеев сохранил за собой общее политическое руководство, внешние сношения и финансы, я — верховное управление армией и командование. За все время нашего совместного руководства этот порядок не только не нарушался фактически, но между нами не было ни разу разговора о пределах компетенции нашей власти. Этим обстоятельством определяется всецело характер наших взаимоотношений и мера взаимного доверия, допускавшая такой своеобразный дуализм.

Щепетильность в этом отношении ген. Алексеева была удивительна — даже во внешних проявлениях. Помню, в мае в Егорлыкской, куда мы приехали оба беседовать с войсками, состоялся смотр гарнизону. Несмотря на все мои прось-

* Телеграмма № 10 от 18 августа 1918 г.

** № 02 без даты.

*** 13 октября, № 010.

**** Сорокин никогда не выходил к Царицыну. Как увидим ниже, в октябре против Добровольческой армии было большевистских войск 93 тыс. при 124 орудиях.

бы, он не согласился принять парад, предоставив это мне и утверждая, что «власть и авторитет командующего не должны ничем умаляться». Я чувствовал себя не раз очень смущенным перед строем войск, когда старый и всеми уважаемый вождь ехал за мной. Кажется, один только раз, после взятия Екатеринодара, я убедил его принять парад дивизии Покровского, сказав, что я уже смотрел ее.

В то же время на всех заседаниях, конференциях, совещаниях по вопросам государственным, на всех общественных торжествах первое место бесспорно и неотъемлемо принадлежало Михаилу Васильевичу.

В начале июня, перед выступлением моим в поход, ген. Алексеев переехал из Мечетинской в Новочеркасск и попал сразу в вихор политический жизни Юга. Его присутствие там требовалось в интересах армии. Работая с утра до вечера, он вел сношения с союзниками, с политическими партиями и финансовыми кругами, налаживал, насколько мог, отношения с Доном и своим авторитетом и влиянием стремился привлечь отовсюду внимание и помощь к горячей любимой им маленькой армии.

Но временная наша разлука имела и свои отрицательные стороны. При ген. Алексееве образовался «военно-политический отдел», начальником которого стал полковник ген. штаба Лисовой. Этот «отдел» был пополнен молодыми людьми, обладавшими, по-видимому, повышенным честолюбием... Вскоре началась нервнирующая переписка по мелким недоразумениям между отделом и штабом армии. Даже милейший и добродушнейший Эльснер стал жаловаться на «двоевластие» в Новочеркасске и на Лисового, который «весьма ревностно следил, не получает ли кто-либо, а главное (он — Эльснер) каких-либо политических сведений помимо него». Бывали случаи и посерьезнее. Так, например, совершенно неожиданно мы прочли в газете*, случайно попавшей в армию, официальное уведомление от «военно-политического отдела», что уполномоченными представителями армии по формированию пополнений («начальники центров») являются только лица, снабженные собственноручными письменными полномочиями ген. Алексеева... Это сообщение поставило в ложное положение меня и в роль самозванцев — начальников разбросанных повсюду по Украине и Дону «центров» и вербовочных бюро, которые назначались мною и руководились штабом. В архиве я нашел переписку, свидетельствующую, что это сделано было самовольно «молодыми людьми». Положение осталось, конечно, прежним.

По инициативе «отдела» и за подписью Лисового так же неожиданно появилось в газетах сообщение, вносящее серьезное изменение в «конституцию» Добровольческой армии. В этом сообщении «ввиду неправильного осведомления общества» разъяснялась сущность добровольческой иерархии, причем ген. Алексеев был назван впервые Верховным руководителем Добровольческой армии.

Так как в моих глазах моральное главенство ген. Алексеева было и без того неоспоримым, то официальное сообщение не могло внести в жизнь армии каких-либо перемен, тем более что практика «дуализма» осталась без ущерба. Мне казалось лишь несколько странным, что узнал я о новом положении из газет, а не непосредственно.

Об этих эпизодах я никогда не поднимал разговора с ген. Алексеевым.

Все политические сношения, внутренние и внешние, вел ген. Алексеев, пересылая мне из Новочеркаска исчерпывающие сводки личных переговоров и подлинные доклады с мест. С большинством исходивших от него лично письменных сношений я ознакомился только впоследствии. Но то взаимное доверие, которое существовало между нами, вполне гарантировало, что ни одного важного шага, изменяющего позицию Добровольческой армии, не переговорив со мною, ген. Алексеев не предпримет. И я со спокойным сердцем мог вести армию в бой.

С половины июля М. В. был опять при штабе армии — сначала в Тихорецкой, потом в Екатеринодаре, и личное общение наше устраняло возможность каких-либо трений, создаваемых извне.

Добровольческая армия сохраняла полную независимость от политических организаций, союзников и врагов. Непосредственно возле нее не было и видных политических деятелей.

Между прочим, и на Дону были попытки организации государственной власти и возглавления добровольческого движения, встретившие отпор со стороны ген. Алексеева: Родзянко совместно с проживавшими в Ростове и Новочеркасске общественными деятелями усиленно проводил идею созыва верховного совета из членов всех четырех дум. Присылал гонцов и в мою ставку. Писал мне о необходимости «во что бы то ни стало осуществить (эту) идею», так как «в этом одном спасение России». Но при этом, к моему удивлению, ставил «непременным условием, чтобы М. В. Алексеев был абсолютно устранен из игры»**. Я ответил,

* «Вечернее время» 18 г., № 16.

** Письмо от 7 июня.

что общее политическое руководство армией находится в руках М. В., к которому и следует обратиться по этому вопросу непосредственно... Алексеева я не посвятил в нашу переписку — и без того между ним и Родзянко существовали враждебные отношения.

Не было при нас и никакого кадра гражданского управления, так как армии предостало выполнение частной временной задачи в Ставропольской губернии и на Кубани, и ген. Алексеев, вовлеченный в переговоры о создании общерусской власти за Волгой, не считал пока нужным создавать какой-либо аппарат при армии.

Мы оба старались всеми силами отгородить себя и армию от мятущихся, борющихся политических страстей и основать ее идеологию на простых, бесспорных национальных символах. Это оказалось необычайно трудным. «Политика» врывается в нашу работу, врывается стихийно и в жизнь армии.

Первый Кубанский поход оставил глубокий след в психике добровольцев, наполнив ее значительным содержанием — отзвуками смертельной опасности, жертвы и подвига. Но вместе с тем вызвал невероятную моральную и физическую усталость. Издерганные нервы, утомленное воображение требовали отдыха и покоя. Хотелось всем пожить немного человеческой жизнью, побыть в обстановке семейного уюта, не слышать ежедневно артиллерийского гула.

Искушение было велико.

От Ростова до Киева и Пскова были открыты пути в области, где не было ни войны, ни большевиков, где у многих оставались семьи, родные, близкие. Формальное право на уход из армии было неоспоримо: как раз в эти дни (май) для большинства добровольцев кончался обязательный четырехмесячный срок пребывания в армии... Ворвавшаяся в открытое «окно» жизнь поставила к тому же два острых вопроса — об «ориентации» и «политических лозунгах». Для многих — это был только повод нравственного обоснования своего ухода, для некоторых — действительно мучительный вопрос совести.

Кризис в армии принял глубокие и опасные формы.

Германофильство смутило сравнительно небольшую часть армии. Активными распространителями его в армейской среде были люди заведомо авантюристического типа: доктор Всевожский, Ратманов, Сиверс и др., ушедшие из армии и теперь формировавшие на немецкие деньги в Ростове и Таганроге какие-то «монархические отряды особого назначения»... Панченко, издававший грубые, демагогические «бюллетени» — чрезмерно угодливые и расставленные на слишком невежественную среду; в них, например, создавшиеся между Германией и Россией отношения объяснялись как результат «агитации наших социалистов, ибо главным врагом (своим) они почему-то считали Императора Вильгельма, которого мировая история справедливо назовет Великим»*. Немецкие деньги расходовались широко, но непродуцительно. Впрочем, иногда цели достигали: начальником самого ответственного разведочного узла Добровольческой армии в Ростове какими-то непостижимыми путями оказался некто «полковник Орлов»**, состоявший агентом немецкой контрразведки и членом организации Всевожского...

Влияние более серьезное оказывали киевские германофильские круги. Но и они не могли побороть прочно установившиеся взгляды военной среды, найдя отклик главным образом в той части офицерства, которая либо искала поводов «выйти из бойни», либо использовала немецкие обещания в качестве агитационного материала против командования.

Несравненно труднее обстоял вопрос с лозунгами.

«Великая, единая и неделимая Россия» — говорило уму и сердцу каждого отчетливо и ясно. Но дальше дело осложнилось. Громадное большинство командного состава и офицерства было монархистами. В одном из своих писем*** ген. Алексеев определял совершенно искренне свое убеждение в этом отношении и довольно верно офицерские настроения:

«...Руководящие деятели армии сознают, что нормальным ходом событий Россия должна подойти к восстановлению монархии и, конечно, с теми поправками, кои необходимы для облегчения гигантской работы по управлению для одного лица. Как показал продолжительный опыт пережитых событий, никакая другая форма правления не может обеспечить целость, единство, величие государства, объединить в одно целое разные народы, населяющие его территорию. Так думают почти все офицерские элементы, входящие в состав Добровольческой армии, ревниво следящие за тем, чтобы руководители не уклонились от этого основного принципа»****.

* Курсив в подлиннике.

** Как выяснилось впоследствии — человек с темным прошлым, по имени И. В. Добровольский.

*** Письмо к ген. Щербачеву от 31 июля 18 г.

**** Я предпочитаю избрывать взгляд М. В. его собственными словами и утверждаю, что этот взгляд был присущ ему во всех стадиях нашей совместной деятельности на Юге России.

Но в мае — июне настроение офицерства под влиянием активных правых общественных кругов было значительно сложнее. Очень многие считали необходимым немедленное официальное признание в армии монархического лозунга. Это настроение проявлялось не только внешне в демонстративном ношении романовских медалей, пении гимна и т. п., но и в некотором брожении в частях и... убыли в рядах армии. В частности, появились офицеры — агитаторы, склонявшие добровольцев к участию в тайных организациях; в своей работе они злоупотребляли и именем в. кн. Николая Николаевича. Меня неприятно удивила однажды сцена во время военного совета перед походом: Марков резко отозвался о деятельности в армии монархических организаций; Дроздовский вспылал:

— Я сам состою в тайной монархической организации... Вы недооцениваете нашей силы и значения...

В конце апреля в обращении к русским людям я определил политические цели борьбы Добровольческой армии*. В начале мая мною, с ведома ген. Алексеева, был дан наказ представителям армии, разосланным в разные города, для общего руководства:

I. Добровольческая армия борется за спасение России путем 1) создания сильной дисциплинированной и патриотической армии; 2) беспощадной борьбы с большевизмом; 3) установления в стране единства государственного и правового порядка.

II. Стремясь к совместной работе со всеми русскими людьми, государственно мыслящими, Добровольческая армия не может принять партийной окраски.

III. Вопрос о формах государственного строя является последующим этапом и станет отражением воли русского народа после освобождения его от рабской неволи и стихийного помешательства.

IV. Никаких сношений ни с немцами, ни с большевиками. Единственно приемлемые положения: уход из пределов России первых и разоружение и сдача вторых.

V. Желательно привлечение вооруженных сил славян на основе их исторических чаяний, не нарушающих единства и целостности русского государства, и на началах, указанных в 1914 году русским Верховным главнокомандующим.

Оба эти обращения нашли живой отклик, но... не совсем сочувственный. Офицерство не удовлетворялось осторожным «умолчанием» Алексеева — формулой, которая гласно не расшифровывалась, разделялась многими старшими начальниками и в цитированном мною выше письме** была высказана вполне откровенно: «...Добровольческая армия не считает возможным теперь же принять определенные политические лозунги ближайшего государственного устройства, признавая, что вопрос этот недостаточно еще назрел в умах всего русского народа и что преждевременно объявленный лозунг может лишь затруднить выполнение широких государственных задач».

Еще менее, конечно, могло удовлетворить офицерство мое «непредрешение» и в особенности моя декларация с упоминанием об Учредительном собрании и народоправстве. Начальники бригад доложили мне, что офицерство смущено этими терминами... Такое же впечатление произвели они в другом крупном центре противобольшевистского движения — Киеве. Ген. Лукомский писал мне в то время***: «...Я глубоко убежден, что это воззвание вызовет в самой армии и смущение, и раскол. В стране же многих отшатнет от желания идти в армию или работать с ней рука об руку. Может быть, до вас еще не дошел пульс биения страны, но должен Вас уверить, что поправление произошло громадное. Что все партии, кроме социалистических, видят единственной приемлемой формой конституционную монархию. Большинство отрицает возможность созыва нового Учредительного собрания, а те, кто допускают, считают, что членами такового могут быть допущены лишь цензовые элементы. Вам необходимо высказаться более определенно и ясно»...

Милюков сообщал ЦК партии в Москву, что он «вступил уже в сношения с ген. Алексеевым, чтобы убедить его обратить Добровольскую армию на решение этой задачи****... А в. кн. Г. Трубецкой несколько позже в своем донесении Правому Центру***** недоумевал: «...как все переменялось! Ведь, как это ни дико, но для штаба Добровольческой армии, например, позиция Милюкова слишком правая, ибо они все еще не отделились от полинявших побрякушек, вроде Учредительного собрания, и не высказались еще за монархию».

Атмосфера в армии сгушалась, и необходимо было так или иначе разрядить ее. Дав волю тогдашним офицерским пожеланиям, мы ответили бы и славшим-

* Декларация от 23 апреля. См. Т. II, гл. XXXI.

** Алексеева к Щербачеву.

*** 14 мая 18 г.

**** Объединение России путем контакта с немцами и восстановление конституционной монархии. Письмо 7 мая 18 г.

***** 30 июля 18 г.

ся тогда настроениям значительных групп несоциалистической интеллигенции, но рисковали полным разрывом с народом, в частности, с казачеством — тогда не только не склонным к приятию монархической идеи, но даже прямо враждебным ей.

Мы решили поговорить непосредственно с офицерами.

В станичном правлении в Егорлыкской были собраны все начальники, до взводного командира включительно. Мы не сговаривались с ген. Алексеевым относительно тем беседы, но вышло так, что он говорил о немцах, а я о монархизме.

В пространной речи ген. Алексеев говорил о немцах как о «враге жестоком и беспощадном» — таком же враге, как и большевики*... Об их нечестной политике, об экономическом порабощении Украины... О колоссальных потерях немцев, об истощении духовных и материальных сил германской нации, о малых шансах ее на победу... О Восточном фронте... О том будущем, которое сулит России связь с Германией: «политически — рабы, экономически — нищие»... Словом, обосновал два наши положения:

- 1) Союз с немцами морально недопустим, политически нецелесообразен.
- 2) Пока — ни мира, ни войны.

Я сказал кратко и резко:

«Была сильная русская армия, которая умела умирать и побеждать. Но, когда каждый солдат стал решать вопросы стратегии, войны или мира, монархии или республики, тогда армия развалилась. Теперь повторяется, по-видимому, то же. Наша единственная задача — борьба с большевиками и освобождение от них России. Но этим положением многие не удовлетворены. Требуют немедленного поднятия монархического флага. Для чего? Чтобы тотчас же разделиться на два лагеря и вступить в междуусобную борьбу? Чтобы те круги, которые теперь если и не помогают армии, то ей и не мешают, начали активную борьбу против нас? Чтобы 30-тысячное ставропольское ополчение, с которым теперь идут переговоры и которое вовсе не желает монархии, усилило Красную армию в предстоящем нашем походе? Да, наконец, какое право имеем мы, маленькая кучка людей, решать вопрос о судьбах страны без ее вельможи, без вельможи русского народа?»

«Хорошо — монархический флаг. Но за этим последует естественно требование и к нам. И теперь уже политические группы называют десяток имен, в том числе кощунственно в отношении великой страны и великого народа произносится даже имя чужеземца — греческого принца. Что же, и этот вопрос будем решать поротно или разделимся на партии и вступим в бой?»

«Армия не должна вмешиваться в политику. Единственный выход — вера в своих руководителей. Кто верит нам — пойдет с нами, кто не верит — оставит армию».

«Что касается лично меня, я бороться за форму правления не буду. Я веду борьбу только за Россию. И будьте покойны: в тот день, когда я почувствую ясно, что биение пульса армии расходится с моим, я немедленно оставлю свой пост, чтобы продолжать борьбу другими путями, которые сочту прямыми и честными».

Мои взгляды в отношении «политических лозунгов» несколько расходились с алексеевскими: ген. Алексеев принял формулу умолчания — отнюдь, конечно, не по двоедушию. Он не предусматривал насильственного утверждения в стране монархического строя, веря, что восприятие его совершится естественно и безболезненно. У нас — мои взгляды разделяли всецело Романовский и Марков — не было такой веры. Мы стояли поэтому совершенно искренне на точке зрения более полного непредрешения государственного строя.

Я говорил об этом открыто всегда. В начале — так же, как и в конце своего командования. Через полтора года на Верховном Круге в Екатеринодаре мне опять придется коснуться этого вопроса**: «...Счастье родины я ставлю на первом плане. Я работаю над освобождением России. Форма правления для меня вопрос второстепенный. И если когда-либо будет борьба за форму правления — я в ней участвовать не буду. Но, насколько не насилуя совесть, я считаю одинаково возможным честно служить России при монархии и при республике, лишь бы знать уверенно, что народ русский в массе желает той или другой власти. И, поверьте, все ваши предрешения праздны. Народ сам скажет, чего он хочет. И скажет с такой силой и с таким единодушием, что всем нам — большим и малым законодателям — придется только преклониться перед его державной волей».

Как бы то ни было, два основных положения — непредрешение формы государственного строя и невозможность сотрудничества с немцами — фактически нами были соблюдены до конца. Помню только два случая некоторого колебания, испытанного ген. Алексеевым... В конце августа или начале сентября, бу-

* Показательно, что из рядов послышалась произнесенная каким-то хмурым подковником фраза: «Да, но это враг — культурный...»

** Речь 16 января 1920 г.

дучи с армией в походе, я получил от него письмо; под влиянием доклада адмирала Ненюкова ген. Алексеев высказывал взгляд относительно возможности войти в соглашение с германским морским командованием по частному поводу включения наших коммерческих судов Новороссийского порта в общий план черноморских рейсов, организуемых немцами. Предложение исходило от ген. Гофмана и являлось, очевидно, первым шагом к более тесным сношениям с австро-германцами. Ген. Алексеев пожелал знать мое мнение. Я ответил отрицательно, и вопрос заглох. Другой раз в Екатеринодаре я получил очередной доклад «Азбуки» с ярким изображением нарастающего монархического настроения и с указанием на непопулярность Добровольческой армии, не выносящей открыто монархического лозунга... На докладе была резолюция ген. Алексеева в таком смысле: «Надо нам, наконец, решить этот вопрос, Антон Иванович, — так дальше нельзя». Я зашел в тот же день с Романовским к ген. Алексееву.

— Чем объяснить изменение ваших взглядов, Михаил Васильевич? Какие новые обстоятельства вызвали его? Ведь настроение Дона, Кубани, ставропольских крестьян нам хорошо известно и далеко неблагоприятно идее монархии. А про внутреннюю Россию мы ровно ничего не знаем...

Резолюция, по-видимому, была написана под влиянием минуты. Михаил Васильевич переменял разговор, и более этой темы до самой его смерти мы не касались.

Возвращаюсь к егорлыцкому собранию.

После моей речи ген. Марков попросил слова и от имени своей дивизии заявил, что «все они верят в своих вождях и пойдут за ними». То же сделал Эрдели*.

Мы ушли с собрания, не вынеся определенного впечатления об его результатах. Но к вечеру Марков, успевший поговорить со многими офицерами, сказал:

— Отлично. Теперь публика поуспокоилась.

Глава XVIII. ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ: ТРАДИЦИИ, ВОЖДЯ И ВОИНЫ. ГЕНЕРАЛ РОМАНОВСКИЙ. КУБАНСКИЕ НАСТРОЕНИЯ. МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, СЛОЖЕНИЕ АРМИИ

Тяжело было налаживать и внутренний быт войск. Принцип добровольчества, привлекая в армию элементы стойкие и мужественные, вместе с тем создавал несколько своеобразные формы дисциплины, не укладывавшиеся в рамки старых уставов. Положение множества офицеров на должности простых рядовых изменяло характер взаимоотношений начальника и подчиненного; тем более что сплошь и рядом, благодаря новому притоку укомплектования, рядовым бывал старый капитан, а его ротным командиром подпоручик. Совершенно недопустимо было ежедневно менять начальников по приходе старших. Доброволец, беспрекословно шедший под огонь и на смерть, в обыкновенных условиях — на походе и отдыхе — не столь беспрекословно совершал не менее трудный подвиг повиновения.

Добровольцы были морально прикреплены к армии, но не юридически. Создался уклад, до некоторой степени напоминавший удельно-вечевой период, когда «дружиинники, как люди вольные, могли переходить от одного князя на службу другому».

Не менее трудно было установить правильные отношения со старшими начальниками. Необычные условия формирования армии и ее боевая жизнь создавали некоторым начальникам наряду с известностью вместе с тем какой-то своеобразный служебный иммунитет. Не кубанская рада, а ген. Покровский, благодаря личному своему влиянию, собрал и привел в армию бригаду (потом дивизию) кубанских казаков — вооруженную и даже хорошо сколоченную за время краткого похода. И когда кубанское правительство настойчиво просило устранить его с должности, выдвигая не слишком обоснованное обвинение в безотчетном израсходовании войсковых сумм в бытность его командующим войсками, явилось большое сомнение в целесообразности этого шага...

Своим трудом, кипучей энергией и преданностью национальной идее Дроздовский создал прекрасный отряд из трех родов оружия и добровольно присоединил его к армии. Но и оценивал свою заслугу не дешево. Позднее, как то раз обиженный замечанием по поводу неудачно проведенной им операции, он писал мне: «...Невзирая на исключительную роль, которую судьба дала мне сыграть в деле возрождения Добровольческой армии, а может быть, и спасения ее от умирания, невзирая на мои заслуги перед ней — (мне) пришедшему к Вам

* В Егорлыцкой стояли только 1-я (Марков) и Конная (Эрдели) дивизии. 2-я дивизия (Боровский) — в Мечетинской, и 3-я (Дроздовский) была еще в Новочеркасске.

не скромным просителем места или защиты, но приведшему с собой верную мне крупную боевую силу, Вы не остановились перед публичным выговором мне»*...

Рапорт Дроздовского — человека крайне нервного и вспылчивого — заключал в себе такие резкие и несправедливые нападки на штаб и вообще был написан в таком тоне, что в видах поддержания дисциплины требовал новой репрессии, которая повлекла бы, несомненно, уход Дроздовского. Но морально его уход был недопустим, являясь несправедливостью в отношении человека с такими действительно большими заслугами. Так же восприняли бы этот факт и в 3-й дивизии... Принцип вступил в жесткую коллизию с жизнью. Я, переживая остро этот эпизод, поделился своими мыслями с Романовским.

— Не беспокойтесь, Ваше превосходительство, вопрос уже исчерпан.

— Как?

— Я написал вчера еще Дроздовскому, что рапорт его составлен в таком резком тоне, что доложить его командующему я не мог.

— Иван Павлович, да вы понимаете, какую тяжесть вы взваливаете на свою голову...

— Это неважно. Дроздовский писал, очевидно, в запальчивости и раздражении. Теперь, поуспокоившись, сам, наверно, рад такому исходу.

Прогноз Ивана Павловича оказался правильным: вскоре после этого случая я опять был на фронте, видел часто 3-ю дивизию и Дроздовского. Последний был корректен, исполнительен и не говорил ни слова о своем рапорте. Но слухи об этом эпизоде проникли в армию и дали повод клеветникам чернить память Романовского:

— Скрывал правду от командующего!..

Высокую дисциплину в отношении командования проявляли ген. Марков и полковник Кутепов. Но и с ними были осложнения... Кутепов на почве брожения среди гвардейских офицеров, не удовлетворенных «лозунгами» армии, завел речь о своем уходе. Я уговорил его остаться. Марков после одной небольшой операции в окрестностях Егорлыкской усмотрел в сводке, составленной штабом, неодобрение его действиям, прислал мне рапорт об увольнении своем от службы. Разве возможен был уход Маркова? Генерала легендарной доблести, который сам в боевом активе армии был равноценен дивизии... Поехал Иван Павлович в Егорлыкскую к своему близкому — еще со времен молодости — другу извиняться за штаб...

Подчинявшиеся во время боевых операций всецело и безотказно моим распоряжениям многие начальники с чрезвычайной неохотой подчинялись друг другу, когда обстановка требовала объединения групп. Сколько раз впоследствии приходилось мне командовать самому на частном фронте в ущерб общему ведению операции, придумывать искусственные комбинации или предоставлять самостоятельность двум-трем начальникам, связанным общей задачей.

Приказ, конечно, был бы выполнен, но... неискренне, в несомненный ущерб делу.

Так шли дни за днями, и каждый день приносил с собою какое-нибудь новое осложнение, новую задачу, предъявляемую выбитой из колеи армейской жизнью. Выручало только одно: над всеми побуждениями человеческими у начальников в конце концов все же брало верх чувство долга перед Родиной.

Особое положение занимал И. П. Романовский.

Я не часто упоминаю его имя в описании деятельности армии. Должность начальника штаба до известной степени обезличивает человека. Трудно разграничить даже и мне степень участия его в нашей идейной работе по направлению жизни и операций армии — при той интимной близости, которая существовала между нами, при том удивительном понимании друг друга и общности взглядов стратегических и политических.

Романовский был деятельным и талантливым помощником командующего армией, прямолинейным исполнителем его предначертаний и преданным другом. Другом, с которым я делил нравственную тяжесть правления и командования и те личные переживания, которые не выносятся из тайников души в толпу и на совещания. Он платил таким же отношением. Иногда — в формах трогательных и далеко не безопасных. «Иван Павлович имел всегда мужество, — говорит один из ближайших его сотрудников по штабу, — принимать на себя разрешение всех, даже самых неприятных вопросов, чтобы оградить от них своего начальника».

Ген. Романовский был вообще слишком крупной величиной сам по себе и занимал слишком высокое положение, чтобы не стать объектом общественного внимания.

В чем заключалась тайна установившихся к нему враждебных отношений, которые и теперь еще прорываются дикой, бессмысленной ненавистью и черной клеветой? Я тщательно и настойчиво искал ответа в своих воспоминаниях, в

письменных материалах, оставшихся от того времени, в письмах близких ему людей, в разговорах с соратниками, в памфлетах недругов... Ни одного реального повода — только слухи, впечатления, подозрительность.

Служебной деятельностью начальника штаба, ошибками и промахами нельзя объяснить создавшегося к нему отношения. В большом деле ошибки неизбежны. Было ведь много учреждений, несравненно более «виновных», много грехов армии и властей, неизмеримо более тяжелых. Они не воспринимались и не осуждались с такой страстностью.

Но стоит обратить внимание, откуда исключительно шли и идут все эти обвинения, и станет ясным их чисто политическая подкладка. Самостоятельная позиция командования, не отдававшего армии в руки крайних правых кругов, была причиной их вражды и поводом для борьбы — теми средствами, которые присущи крайним флангам русской общественности. Они ополчились против командования и прежде всего против ген. Алексеева, который представлял политическую идеологию армии.

Для начала они слагали только репутации.

Самый благородный из крайних правых граф Келлер, рыцарь монархии и династии — человек прямой и чуждый интриги, но весьма элементарного политического кругозора — искренне верил в легенду о «мятежном генерал-адъютанте», когда писал ген. Алексееву: «Верю, что Вам, Михаил Васильевич, тяжело признаться в своем заблуждении; но для пользы и спасения родины и для того, чтобы не дать немцам разрознить последнее, что у нас еще осталось, Вы обязаны на это пойти, покаяться откровенно и открыто в своей ошибке (которую я лично все же приписываю любви Вашей к России и отчаянию в возможности победоносно окончить войну) и объявить всенародно, что Вы идете за законного царя»...

Руководители Астраханской армии еще летом 18 года говорили представителям Правого Центра: «В Добровольческой армии должна быть произведена чистка... В составе командования имеются лица, противящиеся по существу провозглашению монархического принципа, например, ген. Романовский»...

«Относительно Добровольческой армии, — сообщала нам организация Шульгина, — Совет монархического блока решил придерживаться такой тактики: самой армии не трогать, а при случае даже подхваливать, но зато всемерно, всеми способами травить и дискредитировать руководителей армии. На днях правая рука герцога Г. Лейхтенбергского Акацатов в одном доме прямо сказал, что для России и дела ее спасения опасны не большевики, а Добровольческая армия, пока во главе ее стоит Алексеев, а у последнего имеются такие сотрудники, как Шульгин...» Такая политика «правых большевиков», по выражению «Азбуки», приводила даже в смущение просто правых: Алекс. Бобринский на днях говорил: «Я боюсь не левых, а крайних правых, которые, еще не победив, проявляют столько изуверской злобы и нетерпимости, что становится жутко и страшно»...

Такое же настроение создавалось в соответственных кругах, группировавшихся в армии и возле армии, и такая же тактика применялась ими.

Как составлялись репутации в армии, или, вернее, для армии, об этом свидетельствует письмо ко мне ген. Алексеева, относящееся к этому периоду*. В заседании донского правительства (24—25 июня) атаман, по словам М. В., заявил: «Ему достоверно известно, что в армии существует раскол — с одной стороны, дроздовцы, с другой — алексеевцы и деникинцы. Дроздовцы будто бы определено тянут в сторону Юго-Восточного союза... В той группе, которую Краснов называет общим термином «алексеевцы и деникинцы», тоже, по его мнению, идет раскол; я числюсь монархистом, и это заставляет будто бы некоторую часть офицерства тяготеть ко мне; Вы же, а в особенности Иван Павлович, считаетесь определенными республиканцами и чуть ли не социалистами. Несомненно, это отголоски, как я полагаю, наших разговоров об Учредительном собрании»...

Человек серьезный, побывавший в Киеве и имевший там общение со многими военными и общественными кругами, говорит о вынесенных оттуда впечатлениях**: «В киевских группах создается неблагоприятное и притом совершенно превратное мнение о Добровольческой армии. Более всего подчеркивают социалистичность армии... Говорят, что «идеалами армии является Учредительное собрание, притом прежних выборов... что Авксентьев, Чернов, пожалуй, Керенский и прочие господа — вот герои Добровольческой армии, но мы ведь знаем, что можно ждать от них»...

Атака пошла против всего высшего командования. Но силы атакующих были еще слишком ничтожны, а авторитет ген. Алексеева слишком высок, чтобы работа их могла увенчаться серьезным успехом. С другой стороны, крепкая связь моя с основными частями армии и неизменные боевые успехи ее делади, веро-

* От 26 июня, № 59.

** Доклад полковника Крейтера от 18 сентября.

ятно, дискредитирование командующего нецелесообразным и, во всяком случае, нелегким... Главный удар поэтому пришелся по линии наименьшего сопротивления.

От времени до времени в различных секретных донесениях, в которых описывались настроения армии и общества, ставилось рядом с именем начальника штаба сакраментальное слово — «социалист». Нужно знать настроение офицерства, чтобы понять всю ту тяжесть обвинений, которая ложилась на Романовского. Социалист — олицетворение всех причин, источник всех бед, стряпшихся над страной... В элементарном понимании многих в этом откровении относительно начальника штаба находили не раз объяснения все те затруднения, неудачи, неустойства, которые сопутствовали движению армии и в которых повинны были судьба, я, штаб, начальники или сама армия. Даже люди серьезные и непредубежденные иногда обращались ко мне с доброжелательным предупреждением:

- У вас начальник штаба — социалист.
- Послушайте, да откуда вы взяли это, какие у вас данные?
- Все говорят.

Слово было произнесено и внесло отраву в жизнь.

Затем началась безудержная клевета.

Только много времени спустя я мог уяснить себе всю глубину той пропасти, которую рыли черные руки между Романовским и армией.

Обвинения были неожиданны, бездоказательны, нелепы, всегда безличны и поэтому трудно опровержимы. «Мне недавно стало известным, — говорит генерал, непосредственно ведавший организационными вопросами, — что еще в 1918 году готовилось покушение на Ивана Павловича за то, что он якобы противодействовал формированию одной из добровольческих дивизий... Ну можно ли это изобрести про начальника штаба, только и думающего о развитии мощи армии и больше всего о «добровольцах»... Один из друзей Романовского, бывший и оставшийся монархистом и правым, описывает ту «атмосферу интриг», которая охватила его осенью 18 года, когда он приехал в Екатеринодар: «Многие учли мой приезд — человека близкого к Ивану Павловичу, как могущего влиять на него, и стали внушать мне, что он злой гений Добровольческой армии, ненавистник гвардии, виновник гибели лучших офицеров под Ставрополем... С мыслью влиять через меня на Ивана Павловича, а следовательно, и на командующего армией расстались не сразу. И месяца два моя скромная квартира не раз посещалась людьми, имевшими целью убедить меня, какой талантливый и глубоко государственный человек Кривошеин и т. д. Посещения эти резко оборвались, как только убедились в несклонности моей к политической интриге»...

Психология общества, толпы, армии требует «героев», которым все прощается, и «виновников», к которым относятся беспощадно и несправедливо. Искусно направленная клевета выдвинула на роль «виновника» генерала Романовского. Этот «Барклай-де-Толли» добровольческого эпоса принял на свою голову всю ту злобу и раздражение, которые накапливались в атмосфере жестокой борьбы.

К несчастью, характер Ивана Павловича способствовал усилению неприязненных к нему отношений. Он высказывал прямолинейно и резко свои взгляды, не облекая их в принятые формы дипломатического лукавства. Вереницы бывших и ненужных людей являлись ко мне со всевозможными проектами и предложениями своих услуг; я не принимал их; мой отказ приходилось передавать Романовскому, который делал это сухо, не раз с мотивировкой, хотя и справедливой, но обидной для просителей. Они уносили свою обиду и увеличивали число его врагов. Я помню, как однажды после горячего спора о присоединении к армии одного отряда на полуавтономных началах Иван Павлович за столом у меня в большом обществе обмолвился фразой:

— К сожалению, к нам приходят люди с таким провинциальным самолюбием...

В начальнике отряда — человеке доблестном, но своенравном — он нажил врага... до смерти.

Весь ушедший в дело, работавший до изнеможения, он не умел показать достаточно внимания, приласкать тех служилых людей, которые с утра до вечера толпились со своими нуждами в его приемной. Они уносили также в полки, в штабы, в общество представление о «черстве, бездушном формалисте»... И только немногие близкие знали, какой бесконечной доброты полон был этот «черствый» человек и скольких людей — даже враждебных ему — он выручал, спасал от беды, иногда от смерти...

Об отношении к себе в армии и обществе Иван Павлович знал и болел душой.

— Отчего меня так не любят?..

Этот вопрос он задал одному из своих друзей, врачавшихся в армейской гуще, и получил ответ:

— Не умеешь расположить к себе людей.

Однажды со скорбной улыбкой он и ко мне обратился со своим недоумением...

— Иван Павлович, вы близки ко мне. Известные группы стремятся очернить вас в глазах армии и моих. Им нужно устранить вас и поставить возле меня своего человека. Но этого никогда не будет.

Кубанские казаки, входившие в состав армии, в массе своей мало интересовались пока еще «ориентациями» и «лозунгами» и, стоя на самой границе своей области, томилась ожиданием наступления и освобождения своих станиц. Кубанское офицерство разделяло мятущееся настроение всего добровольчества.

Атаман и правительство придерживались союза с Добровольческой армией, не желая рисковать им для новых комбинаций. 2 мая в заседании рады были установлены основные положения кубанской политики: 1) «Необходимость продолжения героической деятельности Добровольческой армии, действующей в полном согласии с кубанским правительством»... 2) «В настоящее время вооруженная борьба с центральными державами является нецелесообразной... но необходимо принять все меры для предотвращения... продвижения германской армии в пределы (края) без согласия на то кубанского правительства»... 3) «Необходимо полное единение с Доном». 4) «Для заключения (союза) с Доном, выяснения целей германского движения и определения отношений с Украиной... отправить в Новочеркасск, Ростов и Киев делегации» *.

Назначение последних двух делегаций вызывало некоторое опасение и у нас, и у атамана, оказавшееся необоснованным. Делегация на Украину, добившаяся помощи материальной — военным снабжением и дипломатической, — «чтобы на мирной конференции между Украиной и Советской республикой Кубанский край не был включен в состав Р. С. Р.», — не достигла цели. Гетманское правительство дало понять делегации, предлагавшей «федерацию», что «без включения Кубанского края в состав Украинской республики на автономных правах (оно) не сможет оказать помощи Кубани»... В среде кубанских правителей возникло опасение, что «при соединении на этих началах с Украиной для немцев возникнет возможность распространить на Кубань силу договора, заключенного Германией с Украиной со всеми последствиями» **.

Вопрос остался открытым.

Точно так же непосредственные сношения с немцами в Ростове ограничались взаимным осведомлением, а переговоры о Доно-Кавказском союзе, как я говорил ранее, усиленно затягивались кубанцами. Кубанский дипломат Петр Макаренко неизменно проводил взгляд, что «кубанцы не являются противниками идеи Юго-Восточного союза, но воплощение его в жизнь в спешном порядке при настоящих условиях не является приемлемым».

Атаман, рада и правительство больше всего опасались, чтобы Добровольческая армия не покинула Кубани, отдав ее на растерзание большевиков, и чтобы на случай нашего ухода на север область была обеспечена теперь же своей армией. Последнее требование, имевшее главным мотивом упрочение политического значения кубанской власти, привело бы к полной дезорганизации армии и встретило поэтому решительный отказ командования.

Между тем в самой среде кубанцев шла глухая внутренняя борьба. С одной стороны, социалистическое правительство и рада, с другой — кубанское офицерство возобновили свои старые неоконченные счеты. На этот раз с офицерством шел атаман, полковник Филимонов, поддерживавший периодически то ту, то другую сторону. Назревал переворот, имевший целью установление единоличной атаманской власти.

30 мая состоялось в Мечетинской собрание, на котором атаман перечислял вины правительства и рады, «расхитивших его власть». Офицерство ответило бурным возмущением и недвусмысленным призывом — расправиться со своей революционной демократией. Поздно ночью ко мне пришли совершенно растерянные Быч — председатель правительства — и полковник Савицкий — член правительства по военным делам; они заявили, что готовы уйти, если их деятельность признается вредной, но просили оградить их от самосуда, на который толкает офицерство атаман.

Переворот мог вызвать раскол среди рядового казачества, а главное, толкнуть свергнутую кубанскую власть в объятия немцев, которые, несомненно, признали бы ее, получив легальный титул для военного и политического вторжения на Кубань. Поэтому в ту же ночь я послал письмо полковнику Филимонову, предложив ему не осложнять и без того серьезный кризис Добровольческой армии.

Впоследствии полковник Филимонов в кругу лиц, враждебных революционной демократии, не раз говорил:

— Я хотел еще в Мечетке покончить с правительством и радой, да генерал Деникин не позволил.

* Протокол заседания 2 мая.

** Объяснения Быча в заседании 10 июня.

Так же отрицательно отнеслись к этому факту и общественные круги, близкие к армии; в них создалось убеждение, что «тогда, на первых порах, была допущена роковая ошибка, которая отразилась в дальнейшем на всем характере отношений Добровольческой армии и Кубани»...

Я убежден, что прийти в Екатеринодар — если бы нас не предупредили там немцы — с одним атаманом было делом совершенно легким. Но долго ли он усидел бы там — не знаю. В то время во всех казачьих войсках было сильное стремление к народоправству не только в силу «завоеваний революции», но и «по праву древней обыкновенности». Во всяком случае, то, что сделал на Дону Краснов, оставив внешний декорум «древней обыкновенности» и сосредоточив в своих руках единоличную власть, было не под силу Филимонову.

Как бы то ни было, в лице кубанского казачества армия имела прочный и надежный элемент. Офицерство почти поголовно исповедывало общерусскую национальную идею; рядовое казачество шло за своими начальниками, хотя многие и руководствовались более житейскими мотивами. «Они только и думают,— говорил на заседании рады один кубанский деятель,— как бы скорее вернуться к своим хатам, своим женам; они теперь охотно пойдут бить большевиков, но именно, чтобы вернуться домой».

Финансовое положение армии было поистине угрожающим.

Наличность нашей казны все время балансировала между двухнедельной и месячной потребностью армии. 10 июня, т. е. в день выступления армии в поход, ген. Алексеев на совещании с кубанским правительством в Новочеркасске говорил: «...теперь у меня есть четыре с половиной миллиона рублей. Считая поступающие от донского правительства 4 миллиона, будет 8,5 миллиона. Месячный расход выразится в 4 миллиона рублей. Между тем, кроме указанных источников (ожидание 10 милл. от союзников и донская казна), денег получить неоткуда... За последнее время получено от частных лиц и организаций всего 55 тысяч рублей. Ростов, когда там был приставлен нож к горлу... обещал дать 2 миллиона... Но когда... немцы обеспечили жизнь богатых людей, то оказалось, что оттуда ничего не получим... Мы уже решили в Ставропольской губ. не останавливаться перед взиманием контрибуции, но, что из этого выйдет, предсказать нельзя»*.

30 июня ген. Алексеев писал мне, что, если ему не удастся достать 5 милл. рублей на следующий месяц, то через 2—3 недели придется поставить бесповоротно вопрос о ликвидации армии...

Ряду лиц, посланных весной 18 года в Москву и Вологду**, поручено было войти по этому поводу в сношения с отечественными организациями и с союзниками; у последних, как указывал ген. Алексеев, «не просить, а требовать помощи нам» — помощи, которая являлась их нравственной обязанностью в отношении русской армии... Денежная Москва не дала ни одной копейки. Союзники колебались: они, в особенности французский посол Нуланс, не уясняли себе значения Северного Кавказа как флангового района в отношении создаваемого Восточного фронта и как богатейшей базы для немцев в случае занятия ими этого района.

После долгих мытарств для армии через Национальный Центр было получено ген. Алексеевым около 10 миллионов рублей, т. е. полутора-двухмесячное ее содержание. Это была первая и единственная денежная помощь, оказанная союзниками Добровольческой армии.

Некто Л., приехавший из Москвы для реализации 10-миллионного кредита, отпущенного союзниками, обойдя главные ростовские банки, вынес безотрадное впечатление: «...по заверениям (руководителей банков) все капиталисты, а также и частные банки держатся выжидательной политики и очень не уверены в завтрашнем дне».

В таком же положении было и боевое снабжение. Получили несколько десятков тысяч ружейных патронов и немного артиллерийских от войска Донского; Дроздовский привез с собой свыше миллиона патронов и несколько тысяч снарядов. Это были до смешного малые цифры, но мы давно уже не привыкли к таким масштабам и поэтому положение нашего парка считали почти блестящим. Техническая часть? Кроме полевых пушек — 2 мортиры, 1 гаубица, 1 исправный броневой автомобиль... Было смешно и трогательно видеть, как весь гарнизон станции Егорлыкской ликовал при виде отбитого 31 мая у большевиков испорченного броневика «Смерть кадетам и буржуям» и с какой радостью потом мечетинский гарнизон смотрел на этот броневик, преобразенный в «Генерала Корнилова» и появившийся на станичных улицах. Несколько дней и ночей, чтобы поспеть к походу, чинили его в станичной кузнице офицеры — уставшие и выманные до ушей, но теперь торжественно серьезные...

Ген. Алексеев выбивался из сил, чтобы обеспечить материально армию,

* Отчет о совещании.

** Ген. Казанович, А. А. Ладыженский, полковник Новосильцев, ротмистр Шапрова.

требовал, просил, грозил, изыскивал всевозможные способы, и все же существование ее висело на волоске. По-прежнему главные надежды возлагались на снабжение и вооружение средствами... большевиков. Михаил Васильевич питал еще большую надежду на выход наш на Волгу: «Только там могу я рассчитывать на получение средств», — писал он мне. «Обещания Парамонова... в силу своих отношений с царицынскими кругами обеспечить армию необходимыми ей денежными средствами разрешат благополучно нашу тяжкую финансовую проблему».

В таких тяжелых условиях протекала наша борьба за существование армии. Бывали минуты, когда казалось, все рушится, и Михаил Васильевич с горечью говорил мне:

— Ну что же, соберу все свои крохи, разделю их по-братски между добровольцами и распушу армию...

Но мало-помалу горизонт стал проясняться.

Еще в мае Покровский привел конную кубанскую бригаду, которая удивила всех своим стройным — как в дореволюционное время — учением; 3 июня к нам пришел из большевистского района полк мобилизованных там казаков; через два дня гарнизон Егорлыкской с недоумением прислушивался к сильному артиллерийскому гулу, доносившемуся издалека: то вели бой с большевиками отколовшиеся от Красной армии и в тот же день пришедшие к нам в Егорлыкскую одиннадцать сотен кубанских казаков.

В конце мая прибыла и долгожданная бригада Дроздовского.

В яркий, солнечный день у околицы Мечетинской на фоне зеленой донской степи и пестрой радостной толпы народа произошла встреча тех, кто пришел из далекой Румынии, и тех, кто вернулся с Первого Кубанского похода. Одни — отлично одетые, подтянутые, в стройных рядах, почти сплошь офицерского состава... другие — «в пестром обмундировании, в лохматых папахах, с большими недочетами в равнении и выправке — недочетами, искупавшимися боевой славой добровольцев»*.

Встреча была поистине радостная и искренняя.

С глубоким волнением приветствовали мы новых соратников. Старый вождь, ген. Алексеев, обнажил седую голову и отдал низкий поклон «рыцарям духа, пришедшим издалека и влившим в нас новые силы»...

И в душу закрадывалась грустная мысль: почему их только три тысячи? ** Почему не 30 тысяч прислали к нам умиравшие фронты великой некогда русской армии?..

Впрочем, мало-помалу начали поступать и другие укомплектования. Во многих пунктах были уже образованы «центры» Добровольческой армии и «вербовочные бюро». Они снабжались почти исключительно местными средствами — добровольными пожертвованиями, так как армейская казна была скудна и ген. Алексеев мог посылать им лишь совершенно ничтожные суммы***. В городах, освобожденных от большевиков, сталкивались «вербовщики» нескольких армий, в том числе и самостоятельные вербовщики бригады Дроздовского. Все они применяли нередко неблагоприятные приемы конкуренции, запутывая и без того сбитое с толку офицерство. Тем не менее оно текло в армию десятками, сотнями, привозя иногда разобранные ружья и пулеметы, прилетали и «сбежавшие» из-под охраны немцев и большевиков аэропланы...

В самый острый период армейского кризиса, когда начался отлив из армии под формальным предлогом окончания четырехмесячного договорного срока службы, я приказал увольнять всех желающих в трехнедельных отпусках: захотят — вернуться, нет — их добрая воля.

В последние дни перед началом похода мимо дома, в котором я жил на окраине станицы, по большой маньчжурской дороге днем и ночью тянулись подводы: возвращались отпускные. Приобщившись на время к вольной, мирной жизни, они бросили ее вновь и вернулись в свои полки и батареи для неизвестного будущего, для кровавых боев, несущих с собою новые страдания, быть может, смерть.

Добровольческая армия сохранилась.

Глава XIX. КРАСНАЯ АРМИЯ

К весне 1918 года обнаружилась окончательно полная несостоятельность Красной гвардии.

5-й съезд Советов**** восстановил всеобщую воинскую повинность: «На каждом честном и здоровом гражданине в возрасте от 18 до 40 лет лежит долг по

* Впечатления дроздовца.

** В том числе 1340 штыков, 400 шашек.

*** Сохранились записи денег, ассигнованных «на образование центров»: Одесско-го — 10 тысяч рублей, Тираспольского — 5 тыс., Таганрогского — 3 тысячи и т. д.

**** Всероссийский съезд Советов проходил в Москве 4—10 июля 1918 г. (Прим.

первому зову Советской Республики встать на ее защиту от внешних и внутренних врагов... Из буржуазии призывного возраста должно быть создано тыловое ополчение для укомплектования нестроевых частей, служительских и рабочих команд».

На этих общих основаниях началась организация «рабоче-крестьянской» Красной армии. Строилась она на принципах старых, отмеченных революцией и большевиками в первый период их властвования, в том числе на нормальной организации, единовластии и дисциплине.

Введено было «всеобщее обязательное обучение военному искусству», основаны инструкторские школы для подготовки командного состава, взят на учет старый офицерский состав, привлечены поголовно к службе офицеры генерального штаба и т. д. Советская власть считала себя уже достаточно сильной, чтобы влить без опасения в ряды своей армии десятки тысяч «специалистов», заведомо чуждых или враждебных господствующей партии...

Организация армии шла с великим трудом и большими препятствиями: инерция несения государственной повинности была прервана, прежний двигатель борьбы — иноземное нашествие — сильно поубавился и к тому же вытраивался большевиками из народного сознания, новый — буржуазная контрреволюция — не был воспринят в должной мере; других стимулов не было; в качестве побудительного фактора оставались лишь страх и принуждение.

Русская жизнь этого периода (лето 1918 года) являет разительную аномалию народной психологии, вытекающую из недостаточно развитого политического и национального самосознания русского народа. На огромном пространстве страны возникли десятки правительств и десятков армий, отмеченных всеми цветами политического спектра, начиная с Красной и кончая Южной. Все они производили мобилизации на занятых ими территориях. Во все шел народ — с превеликим нежеланием, оказывая пассивное, очень редко активное сопротивление, но все же шел и воевал, проявляя то высокую доблесть, то постыдное малодушие; бросал «побежденных», переходил к «победителям» и менял красную кокарду на трехцветный угол и наоборот с такой легкостью, как будто это были только украшения форменной одежды... Все усилия красных, белых и черных вождей придать борьбе характер народный не увенчались успехом. За все пять лет русской смуты происходил глубокий внутренний процесс разложения и слоения социальных слоев, были вспышки народного гнева, были миражи народного подъема, но вооруженной народной борьбы еще не было. Когда она начнется на самом деле, то, в какие бы формы ни вылились ее политические лозунги, она будет национальной, весьма скоротечной и положит конец великой смуте.

Первый призыв военнообязанных был объявлен советским декретом во второй половине июля. Пять призывных возрастов (21—25-летний) дали до 800 тысяч солдат. Число это испытывало огромные колебания по пути от уездных приемников до фронта. Тем не менее к 1 ноября советская власть насчитывала на территории России до полумиллиона штыков и сабель.

С Красной армией в собственном смысле слова мы встретимся только поздней осенью. Летом шла лишь подготовка и некоторые преобразования. Армия оставалась смешанного типа — частью из добровольцев, частью из людей, мобилизованных на местах — насильственно, беспорядочно, властью местных Советов или частных войсковых начальников. Центральное управление употребляло большие усилия, чтобы собрать воедино множество возникших самостоятельно отрядов и придать им организацию полков, дивизий, армий; чтобы взять в свои руки волю «контрреволюционных начальников» путем установления за ними неусыпного наблюдения политических комиссаров и вместе с тем заставить распущенную солдатскую массу повиноваться этим начальникам. Выборное начало было отменено и если на практике еще применялось, то только в отношении должностей не выше ротного командира. Уже в июне к нам попал большевистский приказ, в силу которого упразднялись войсковые комитеты; взамен их в частях не выше полка допускались «комиссии» с контрольно-хозяйственными функциями. При этом приказ предупреждал, что всякое вмешательство этих комиссий в действия командного состава будет рассматриваться как контрреволюционное выступление и виновные будут расстреливаться...

В области репрессий были восстановлены все прежние виды наказаний до смертной казни включительно.

Я не буду останавливаться на других военных мероприятиях советской власти, в силу разнообразных причин никогда не достигших преобразования Красной армии в действительно серьезную национальную силу. Интересно отметить лишь тот путь, которым пошли Советы — путь решительной и полной реставрации во всем — в строе, в службе и быте войск. Это явление было естественным по той простой причине, что Красная армия строилась исключительно умом и опытом «старых царских генералов». Участие в этой работе комиссаров Троцкого и Подвойского, товарищей Аралова, Антонова, Сталина и многих других было вначале чисто фиктивным. Они играли лишь роль надзирателей над работами арестант-

ской артели и вместе с тем учились исподволь у своих «арестантов» их сложному и новому для себя искусству; одни оставались неучами, другие преуспевали — по крайней мере в такой степени, чтобы отличить меру явно целесообразную от грубой провокации.

Одни дали разум, другие внесли волю.

Все органы центрального военного управления возглавлялись генералами-специалистами — особенно широко был представлен генеральный штаб — работавшими под неослабным надзором коммунистов. Почти все фронты* и большинство красных армий имели во главе старших начальников старой армии. Периодически на большевистском горизонте вспыхивали довольно яркими звездами самородные таланты, рожденные войной и революцией, но это были лишь редкие исключения, и вся сила, вся организация Красной армии покоились на старом генералитете и офицерстве.

Первое время, кроме десятка авантюристов, еще в начальный период революции оторвавшихся от идеологии офицерства и теперь безоглядно шедших с большевиками, весь прочий генералитет, поступивший на службу, был им враждебен. Почти все они находились в сношениях с московскими Центрами и Добровольческой армией. Не раз к нам поступали от них запросы о допустимости службы у большевиков... Они оправдывали свой шаг вначале необходимостью препятствовать германскому вторжению, потом «недолговечностью большевизма» и стремлением «кабинетным путем разработать все вопросы по воссозданию русской армии и пристроить так или иначе голодных офицеров». Жизнь ответила им годами террора, «внутренних фронтов» и прямым участием в междоусобной борьбе. Часть их перешла впоследствии в противобольшевистские армии, другая была последовательно истреблена большевиками, остальным засасало большевистское болото, в котором нашли успокоение и человеческая низость, и многие подлинные душевные драмы.

Московские Центры поощряли вхождение в советские военные учреждения и на командные должности доверенных лиц с целью осведомления и нанесения большевизму возможного вреда. Я лично решительно отвергал допустимость службы у большевиков, хотя бы и по патриотическим побуждениям. Не говоря уже о моральной стороне вопроса, этот шаг представлялся мне совершенно нецелесообразным. От своих единомышленников, занимавших видные посты в стане большевиков, мы решительно не видели настолько реальной помощи, чтобы она могла оправдать их жертву и оккупить приносимый самым фактом их советской службы вред. За 2,5 года борьбы на Юге России я знаю лишь один случай умышленного срыва крупной операции большевиков, серьезно угрожавшей моим армиям. Это сделал человек с высоким сознанием долга и незаурядным мужеством; поплатился за это жизнью. Я не хочу сейчас называть его имя... Были, конечно, переходы к нам на фронте отдельных лиц и целых «красных» частей, но, в общем, операции большевиков протекали довольно планомерно, иногда талантливо, поскольку это зависело от высшего командования, а не исполнителей.

Рядовое офицерство уничтожалось или насильственно привлекалось в Красную армию. Жизнь разделила резко старый офицерский состав на три группы. В первой — весьма малочисленной — были «стоящие на советской платформе» — коммунисты искренние или «октябрьские», во всяком случае, настолько скомпрометированные своим близким участием в кровавой работе большевиков, что вне советского строя им выхода не было... Во второй — столь же малочисленной — так называемые «контрреволюционеры», невзирая на необычайный гнет, сыск и террор советской власти работавшие активно против нее. Работа эта проявлялась в разрозненных вспышках, восстаниях, покушениях, в переходе на сторону «белых армий» и т. д. Свидетельствуя о высоком самоотвержении участников, эти факты имели тем не менее эпизодический характер, мало отражаясь на общем ходе событий. Наконец, третья группа — наиболее многочисленная, брошенная в ряды Красной армии голодом, страхом, принуждением, разделила общую судьбу русской интеллигенции, обратившейся в «спецов». Страдающие морально или беспечные, нуждающиеся или берущие от жизни все, что можно, они слились в одну массу лояльных советских работников. Но неприглядность положения и беспокойная совесть заставляли их искать более высоких идеологических обоснований своей жертвы или падения. Для немногих представителей революционной демократии это был временный этап — гораздо более близкий и родственный, чем ненавистный им «белый стан»; этап, приближающий к устройению социалистического отечества, арена идейной пропаганды, имеющей целью «превратить армию из средства порабощения широких народных масс в реальную вооруженную силу демократии». Для многих правых — такой же этап, только в другом пути: «Мы убежденные монархисты, но не восстанем и не будем восставать против советской власти потому, что раз она держится, значит, народ еще

* Северный — против Архангельска (ген. Парский), Восточный — на Волге (полк. Каменев), Южный — против Дона (ген. Сытин), Западный — на фронте немецкой оккупации, Северо-Кавказский — против Добровольческой армии, частью против Дона (ген. Снесарев).

недостаточно хочет царя. Социалистов, кричащих об Учредительном собрании, мы ненавидим не меньше, чем их ненавидят большевики. Мы не можем бить их самостоятельно, мы будем их уничтожать, помогая большевикам. А там, если судьбе будет угодно, мы и с большевиками рассчитаемся»*.. Наконец, и тогда уже, летом 18 года, слышались те мотивы, которые впоследствии с большим опозданием восприняли Устрялов и прочие сменовеховцы: белое движение не опирается на народ и раздробляет Россию; большевизм — явление чисто народное, объединяющее страну; большевизм погибнет сам, когда народ изживет его; сопротивление бесполезно и задерживает лишь естественный исторический процесс...

Как бы то ни было, советская власть может гордиться тем искусством, с которым она поработила волю и мысль русского генералитета и офицества, сделав их невольным, но покорным орудием своего укрепления. Восприняв большевистскую практику, эти люди, конечно, по-прежнему чужды большевистской идеологии. Настанет день, когда и они вместе с народом приложат руку к спасению страны — совершенно искренно и даже с энтузиазмом. И будут отрицать тогда, что ведь благодаря и их трудам спасение это пришло так поздно...

Жизнь Красной армии в тот переходный период протекала чрезвычайно разнообразно. Были, однако, общие черты, свойственные частям всех фронтов. Формировались части по распоряжению штабов и совдепов, но чаще по частной инициативе. Принимали название по местности формирования, иногда по фантазии организатора; «Черная Хмара», «Гроза буржуазии», «Пятый неустрашимый» и т. д. Отдельные отряды совершенно произвольной численности жили полусамостоятельной жизнью, входя в состав «колонн», дивизий, армий. Жили на местные средства — реквизицией и грабежом, редко имея связь с довольствующими учреждениями. Умирали в них люди массами — от постоянных боев и еще более — в результате потрясающего неустойства санитарной части.

Основное ядро полков, отрядов составляли обыкновенно «коммунистическая ячейка», матросы и деклассированные элементы — старые солдаты, по тем или другим причинам не вернувшиеся домой и обратившие военную службу в ремесло. Из последних выбиралось обыкновенно ротное начальство — не сведущее в военном деле, но восполнявшее до некоторой степени отсутствие военного образования длительным опытом и зачастую отменным знанием психологии своих подчиненных. Охотно выбирали в командиры и старых офицеров, отношение к которым значительно переменялось в сравнении с первым периодом революции. Иногда назначали их насильно, против воли, так как власть приносила тогда больше терний, чем роз. Должно быть, сроднили общее несчастье и одинаковый гнет со стороны коммунистов. Главную массу армии составляло по-прежнему крестьянство — инертное и невоинственное.

Наконец, огромную роль в утверждении коммунистической власти, в особенности вначале, играли отряды наемников — латышей, китайцев, пленных венгров и немцев. Полное непонимание совершающихся событий, презрение к стране и народу, холодная, страшная жестокость и садизм и вместе с тем тревожное чувство обреченности и грядущего возмездия — делали этот элемент чрезвычайно удобным, слепым и покорным орудием в руках советской власти. Эти отряды составляли личную охрану советских самодержцев, комплектовали кадры палачей в чека и в армии, участвовали во всевозможных карательных экспедициях, усмиряли крестьянские восстания, истребляли интеллигенцию и «белых», подогревали с тыла пулеметами дух красных воинов и расправлялись с непокорными честолюбцами, появившимися время от времени среди красного командования.

Эта своеобразная «интервенция», примененная народными комиссарами, своими кровавыми образами запечатлелась надолго в памяти русского народа.

Летом 18 года сводки штаба Добровольческой армии устанавливали «резко бросающуюся в глаза черту Красной армии: борьбу между начальниками, старавшимися установить порядок, и подчиненными — пассивно, иногда активно сопротивлявшимися этому... Приказы и телеграммы полны жалоб, указаний, увещаний, угроз. Наиболее распространены в армии неисполнение приказаний, небрежное несение службы, самовольное оставление фронта, насилия, грабежи, пьянство». Обучение отсутствовало почти вовсе. Жизнь в войсках принимала такой тяжелый и сумбурный характер, что под влиянием более разумного элемента некоторые части сами выносили постановления о применении в них суровых мер наказания, включительно до розог и смертной казни.

Красная армия в переходный период жила еще преемственно традициями «революционной армии» 17 года, и потому боевая годность ее была весьма относительной. Но она шла массами. Стихийная тяга к земле, к дому, просто к мирной жизни вызывала дезертирство в небывалых размерах, особенно летом, обращая красные части в проходные этапы, через которые переливала человеческая волна. Ушедших заменяли новые люди — иногда являвшиеся добровольно,

* Доклад капитана гв. Энгельгарта о впечатлениях, вынесенных им с Восточного — противочешского — фронта.

чаще взятые насильно. И они шли опять массами, подгоняемые пулеметами «на- рательных отрядов», побуждаемые страхом столько же, сколько и злобой, подо- греваемые надеждой на скорое окончание безумной кровавой борьбы. А на тер- риториях, пораженных войной, люди подымались с насиженных мест, разоряли свои хозяйства и шли куда глаза глядят, без толку и без смысла. За армией дви- гался громадный обоз с добром красноармейцев — своим и награбленным, с жен- щинами, которые их ссорили и развращали, с детьми, которые их связывали.

Казалось тогда, что в толще народной слагается безразличное отношение к вопросу — кто победит: лишь бы скорее конец.

Г л а в а XXXI. «МЯТЕЖ» СОРОКИНА И ЕГО СМЕРТЬ. ТЕРРОР В ПЯТИГОРСКЕ

<...>

...Я не знаю, чьей инициативе принадлежит последующий план действий Се- веро-Кавказской армии большевиков. Были ли директивы из Москвы, решил ли вопрос Реввоенсовет или оказал давление созданный в то время Сорокиным * и заседавший в Невинномысской Чрезвычайный съезд Советов и представителей Красной армии.

Перед большевистским командованием стояло три направления отхода: по Владикавказской жел. дороге, упирающейся в Кавказские горы или Каспийское море; на Святой Крест — с отходящим от него Астраханским трактом; наконец, третье, сопряженное с новыми боями, — на Ставрополь, с возможностью пользо- ваться Астраханским трактом и открыть связь и сообщение с Царицыном и при- крывавшей его 10-й советской армией, левый фланг которой подходил к Манчычу у Кормового **.

До нас доходили сведения еще в сентябре, что по этому поводу возникли большие трения в среде командного состава и что Сорокин и Гайчинец — сторон- ники движения на Святой Крест, Матвеев — на Ставрополь.

В результате длительных споров и колебаний большевистское командование приняло решение: перебросив свои тылы на Святой Крест, двинуться к Ставрополю с целью овладения им.

Сорокин не принимал уже активного участия в операции. В то время, когда большевистские войска под начальством Федько атаковали Ставрополь, он, опаль- ный главнокомандующий, со своим штабом и конвоем находился в Пятигорске. Опасаясь расправы со стороны третируемых им и не доверявших ему большевист- ских главарей, Сорокин задумал устроить переворот с целью захватить в свои ру- ки верховную военную власть. 13 октября он арестовал председателя Ц. и к. Кав- казской республики Рубина, товарищей председателя Дунаевского и Крайнего, члена Ц. и к. Власова и начальника «чрезвычайной комиссии» Рожанского. Все эти лица — кроме Власова, евреи — были в тот же день расстреляны. По объяс- нению приближенных Сорокина, пойманных и заключенных в тюрьму, Сорокин — яркий юдофоб — «ненавидел евреев», возглавлявших кавказскую власть, и «ре- шился на кровавую расправу, негодую на постоянное вмешательство Ц. и к. в во- енное дело, что мешало военным операциям» ***.

Но съезд Советов и представителей фронта постановил объявить Сорокина вне закона «как изменника революции» и доставить его в Невинномысскую «жи- вым или мертвым для всенародного суда»...

Не найдя поддержки в армии, Сорокин бежал из Пятигорска в направлении Ставрополя; 17 октября был пойман одним из таманских полков возле города, привезен в ставропольскую тюрьму **** и там убит во время допроса командиром 3-го Таманского полка Висленко.

Выступление Сорокина отозвалось трагически на судьбе минераловодской интеллигенции. Еще после захвата Кисловодска Шкуро и восстания терских каза- ков тюрьмы Минеральной группы были заполнены заложниками, которые сог- ласно приказу «чрезвычайки» подлежали расстрелу «при попытке контрреволюци- онного восстания или покушения на жизнь вождей пролетариата». Когда умер командовавший северо-западным фронтом, товарищ Ильин, от ран, полученных в бою с добровольцами, чрезвычайная комиссия казнила в его память 6 заложни- ков. После расстрела Сорокиным членов Ц. и к. обещание было исполнено в бо- лее широком масштабе: «чрезвычайка» постановила «в ответ на дьявольское

* Сорокин Иван Лукич (1886—1918) — фельдшер, с 1915 г. офицер. В начале 1918 г. организовал казачий революц. отряд. С 3 авг. 1918 г. главноком. войсками Северо-Кавказской республики, с 24 сент. командующий войсками Сев. Кавказа, с 3 окт. командующий 11-й армией. Стремился к неограниченной власти, проводил незаконные реквизиции, аресты, расстрелы. 2-м съездом Советов Сев. Кавказа объявлен вне закона, 1 ноября 1918 г. убит в тюрьме. (Прим. ред.)

** В 42 верстах от Дивного — пункта сосредоточения 2-й Ставропольской дивизии (большевистской).

*** Из акта расследования Особой комиссией.

**** После взятия большевиками города.

убийство лучших товарищей» расстрелять заложников — по двум спискам 106 человек. В их числе были генералы Рузский и Радко-Дмитриев, зверски зарубленные 18 октября. Обоим им большевистские главы неоднократно предлагали стать во главе кавказской Красной армии и оба они отказались от предложения, заплатив за это жизнью.

«В одном белье, — говорится в описании Особой комиссии, — со связанными руками, повели заложников на городское кладбище», где была приготовлена большая яма... «Палачи приказывали своим жертвам становиться на колени и вытягивать шею. Вслед за этим наносили удары шашками... Каждого заложника ударили раз по пяти, а то и больше... Некоторые стонали, но большинство умирало молча... Всю эту партию красноармейцы свалили в яму... Наутро могильщики засыпали могилы... Вокруг стояли лужи крови... Из свежей, едва присыпанной могилы слышались тихие стоны жаживо погребенных людей. Эти стоны донеслись до слуха Обрезова (смотрителя кладбища) и могильщиков. Они подошли и увидели, как из могильной ямы выглядывал, облокотившись на руки, один недобитый заложник (священник И. Рябухин) и умолял вытащить его из-под груды наваленных на него мертвых тел... По-видимому, у Обрезова и могильщиков страх перед красноармейцами был настолько велик, что в душах их не осталось более места для других чувств — и они просто забросали могилу землей...

Стоны затихли».

Сохранился рассказ о последнем разговоре ген. Рузского со своим палачом*:

— Признаете ли вы теперь великую российскую революцию?

— Я вижу лишь один великий разбой.

Глава XXXIII. СОПРИКОСНОВЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ С НЕМЦАМИ И ГРУЗИНАМИ. НАШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Утверждение наше на берегах Азовского и Черного морей привело к соприкосновению с германскими войсками и флотом. В предвидении неизбежных встреч с немецкими властями добровольческим начальникам дана была мною краткая инструкция, заключавшая следующие положения: самим избегать всяких встреч и всякого общения; относительно политической конъюнктуры Добровольческой армии: Брест-Литовского мира не признаем, отношения наши с Германией может установить только всероссийская центральная власть, которой пока не существует; но враждебных действий против немцев мы без вызова с их стороны предпринимать не намерены; относительно торговых сношений — вопрос преждевременный, так как торговый аппарат еще не налажен; но боевые припасы покупать готовы в обмен на произведения страны; при всех сомнительных вопросах ссылаться на неимение от меня инструкций.

На Ейском рейде 2 августа появилась немецкая флотилия из четырех судов** под брейд-вымпелом капитана 2-го ранга, именовавшегося «командующим германскими морскими силами в Азовском море». В беседе с начальником гарнизона он объяснил причину появления немецких судов следующим образом***: «При последнем походе большевиков на Таганрог ими был пойман и приведен в Ейск пароход, на котором находились австрийские офицеры. Последние были бесчеловечно убиты и выброшены в море... Кроме того, в последнее время замечено много судов, пристающих в разных пунктах Крымского и Азовского побережья и высаживающих там большевиков, спасающихся от Добровольческой армии. Задача флотилии — прекратить зверства на море, не допускать и истреблять высаживающихся негодяев, так как никакому государству неприятно иметь их в своей среде»...

Такое неожиданное отношение свое к союзникам и пособникам Германии командующий флотилией пояснил тем, что «хотя Германия и заключила официальный договор с Советской Россией, неофициально он может выразить живейшее пожелание в скорейшей и окончательной победе над большевиками в целях умиротворения края и введения в нем законного порядка и твердой власти».

Я думаю, что немецкий офицер говорил искренно, и таких было немало, но голос их не имел никакого решительного значения в русской политике Германии.

На второй день по взятии Новороссийска на рейде его появился немецкий миноносец, который стоял там постоянно и в эти дни случайно отсутствовал. Немецкий офицер тотчас же явился с визитом к военному губернатору полковнику Кутепову, поздравил его с занятием Новороссийска, выразил крайнее изумление быстротой движения Добровольческой армии и спросил, чем могут быть полезны германские суда. Содействие было вежливо отклонено. В дальнейшем несколько раз представители германского и австрийского (из Одессы) командования обра-

* Председатель «чрезвычайки» Артабеков.

** Приспособленные и вооруженные русские суда — бывшие тральщики и землерпадки.

*** Рапорт начальника гарнизона г. Ейска 2 августа № 4.

щались к полк. Кутепову за разрешением проехать для переговоров в Екатери-
нодар, но им было в этом отказано.

В то же самое время немцы высадились у Адлера и начали рыть окопы
фронтом на север против нас...

Сложнее был вопрос относительно Тамани. Еще весной восставшие против
большевиков таманские станицы обратились к немецкому командованию в Крыму
с просьбой о помощи. Быть может, это обращение было инсценировано и немца-
ми, для которых, по словам майора фон-Кюфенгаузена, в вопросе о занятии полу-
острова «большую роль играла военная сторона дела, а именно обеспечение Кер-
ченского пролива». Немцы ввели на полуостров полк с батареями, потом еще не-
сколько усилили оккупационный отряд и вытеснили большевиков до Темрюка,
продвинув свой фронт к лиманам в низовьях Кубани.

С тех пор Тамань жила своей обособленной от остальной Кубани жизнью.
Был там свой «атаман» — полковник Перегяткин, свои «вооруженные силы», то
собиравшиеся, то расходившиеся и совершенно игнорируемые немцами. Казаки
вели распри, захватывали чужие запашки, разбирали войсковые запасные земли,
рыболовные воды; начальство вело подкопы друг против друга и против кубан-
ского правительства, не признавая его власти. Словом — суверенная Тамань в су-
веренной Кубани.

А в станице Таманской — столице нового государственного образования —
квартировал командир 10-й ландверной бригады*, правивший всеми, всеми по-
мыкавший и содействовавший, главным образом, беспрепятственному вывозу с
полуострова сырья и хлеба. Посредником его в сношениях с таманцами и факти-
ческим распорядителем их судеб был платный немецкий агент инженер Кашта-
нов — авантюрист, весьма сходный по типу с Иваном Добрыньским. Каштанов но-
сился с планами движения немцев на Новороссийск и Екатеринодар.

Когда в начале июля кубанское правительство командировало на Тамань
круглым путем через Ростов своих представителей и ген. Борисевича с целью
воссоединить Тамань с Кубанским краем, его послы были арестованы и высланы
немцами. 13 августа войска Покровского, преследуя большевиков, захватили
Темрюк и на левом берегу Кубани у моста столкнулись с немецкой ротой. Река
стала демаркационной линией между войсками и районами политического влия-
ния немцев, с одной стороны, и кубанского правительства и Добровольческой ар-
мии, с другой. С некоторыми, однако, отличиями: в приказе Таманского атамана
мы прочли распоряжение командира ландверной бригады: «По причине пол-
ного нейтралитета (?), приказы Добровольческой армии для казачьих войск Та-
манского полуострова недействительны. Приказы же кубанского краевого прави-
тельства — только в согласении с германским генеральным командованием в
Симферополе. Таманский полуостров находится под германской защитой»**.

Но в половине сентября таманские депутаты постановили «выразить благо-
дарность германскому командованию за оказанную помощь и теперь же просить
оставить Таманский полуостров»; с аналогичным представлением обратился по-
сыл кубанского правительства к высшему германскому представителю в Ростове
майору фон-Кюфенгаузену. Последний ответил, что главное командование согла-
сно на введение в пределах Тамани общекубанской администрации и «милиции». Что же
касается «очистения края навсегда», то «это вопрос довольно отдаленно-
го будущего» и о нем можно будет говорить только тогда, «если дружелюбное
отношение (будущей) краевой рады даст нам нужные гарантии»***... Ухудшив-
шееся положение на западном фронте делало немцев пассивными и уступчивыми.

Такое положение в этом глухом углу продолжалось до конца октября, когда
немецкие войска вынуждены были поспешно покинуть Тамань, а потом и Крым...

Когда войска Добровольческой армии продвинулись к Новороссийску, полу-
чено было известие, что в районе Туапсе с 24 июля находится небольшой грузин-
ский отряд**** под начальством ген. Мазниева, к которому примкнуло несколько
сотен кубанских казаков Майкопского отдела. В начале сентября этот отряд о-
перировал вдоль армарив-туапсинской жел. дороги между Туапсе и Белореченской,
ведя борьбу с большевиками и помогая оружием и боевыми припасами восстав-
шим кубанским станицам.

По установлении связи с Мазниевым ген. Алексеев послал ему письмо*****,
выражая свою радость, что «судьба поставила нас не только в близкое боевое
соприкосновение, но сделала нас союзниками, борющимися пока за
одно и то же дело и действующими в одном и том же направлении... Думаю, —
писал он, — более того, убежден, — что этот союз примет длительный и более ши-
рокий характер»... Распорядившись об отправке продовольственных припасов в
отряд, ген. Алексеев сообщал, что он вообще «широко пойдет навстречу грузин-

* Из состава оккупационных войск Крыма.

** 10 сент. 18 г., № 139.

*** Телеграмма Макаренко из Новочеркасска 19 сентября, № 285.

**** 2 батальона, 4 батареи, броневой поезд.

***** 16 августа, № 228.

скому правительству в удовлетворении его продовольственных нужд, ожидая, что и оно поделится (с ним) своими запасами и прежде всего винтовками и патронами». М. В. просил для обсуждения условий товарообмена и др. вопросов командировать в Екатеринодар доверенных от правительства лиц.

Между тем таманская группа большевиков, отступая от Новороссийска на юг, опрокинула отряд Мазниева, который отошел к Сочи. Наш конный полк, преследуя большевиков по пятам, 26 августа занял Туапсе, округ которого поступил в управление добровольческих властей.

Дальнейшее продвижение наше по Черноморской губернии было приостановлено грузинами, отношение которых к нам резко изменилось. К югу от Туапсе вместо большевистского образовался грузинский фронт; грузинское правительство отозвало ген. Мазниева как человека общероссийской ориентации, заменив его Кониевым. В районе Туапсе стали сосредоточиваться передовые грузинские силы, по преимуществу «народной гвардии» (до 3 тысяч при 18 орудиях); на побережье у Сочи, Дагомыса и Адлера грузины стали спешно возводить укрепления фронтом на севере, причем в последних двух пунктах высадили небольшую немецкий десант. Создавалась угроза Новороссийску.

В это время наладилось уже сообщение между Новороссийском и южными портами и из Грузии хлынули к нам вместе с волною беженцев и волнующие вести о проявлениях грузинского шовинизма... Из Сочи и Сухуми шли мольбы об избавлении края от грузин.

Между тем грузинское правительство в ответ на приглашение ген. Алексева командировало в Екатеринодар в качестве своего представителя Гегечкори совместно с ген. Мазниевым.

Обстановка, сопровождавшая начало наших сношений, имевших впоследствии столь важное значение для обеих сторон, не свидетельствовала об искренности грузин и не предвещала ничего доброго. Проездом в Екатеринодар Гегечкори остановился в Сочи, где при его участии состоялся ряд митингов, организованных социалистическим блоком. На них послышались речи «высокого гостя» и других ораторов, дышавшие враждой к Добровольческой армии, и клятвы, что она войдет в Сочинский округ только «через трупы грузинских красногвардейцев»...

12 и 13 сентября состоялось совещание между добровольческим командованием, кубанским правительством и грузинскими представителями*.

Ген. Алексеев был тяжело болен и с большим трудом поднимался в эти дни с постели, чтобы вести заседание. Последний раз перед смертью он участвовал в государственной работе.

Открыл он заседание приветствием «дружественной и самостоятельной Грузии» и заверением, что «с нашей стороны никаких поползновений на самостоятельность Грузии не будет. Но, дав такое обеспечение от имени Добровольческой армии и кубанского правительства, мы должны ожидать равноценного отношения со стороны грузинского правительства к нам»...

Затем с большою горечью, словами резкими, но облеченными в дипломатические формы, он нарисовал картину тяжелого и унижительного положения русских людей на территории Грузии, расхищения русского государственного достоинства, вторжения и оккупации грузинами совместно с немцами Черноморской губернии...

В его речи, дополненной потом в порядке обмена мнений, намечены были следующие главные вопросы:

1. Отношение Грузии к большевикам, к Добровольческой армии и к немцам.
2. Отношение к русскому населению на территории, занятой грузинами.
3. Вопрос о наших правах на часть русского государственного имущества и, в частности, военных запасов бывшего Кавказского фронта.
4. Вопрос о гарантиях, чтобы при товарообмене русский хлеб шел действительно в Грузию, а не в Германию.
5. Вопрос о границах и об очищении грузинами Сочинского округа.

«Борьба с большевиками — это вопрос нашей жизни и смерти», — сказал Гегечкори... Категоричность этого заявления была, впрочем, тотчас же ослаблена пояснением, что задача эта ставится лишь на Черноморском побережье, и окончательно поблекла после повторных заявлений Гегечкори: «Они (большевики) говорят, что мы находимся в тесном союзе с Добровольческой армией. В действительности же ни в каком союзе (с ней) мы не состоим, а выполняем одну общую работу — борьбу с большевиками. Представлять же нашу работу, носящую случайный характер, в смысле связанности с Добровольческой армией — нельзя»...

Итак, для выполнения общерусской задачи — в Грузии союзника мы не найдем. Печально, но по крайней мере ясно.

На вопрос, что означает совместное вторжение грузин и немцев в Черноморскую губернию и «не участвует ли Грузия в союзе с немцами и большевика-

* Участники: генералы Алексеев, Деникин, Драгомиров, Лукомский, Романовский; В. В. Шульгин и В. А. Степанов; полк, Филимонов, Быч и Воробьев; Гегечкори и ген. Мазнев.

ми в комбинации окружения Добровольческой армии*, Гегечкори категорически отверг подобное предположение. «...мы оберегаем свою независимую республику, и если немцы начнут (!) вмешиваться в наши внутренние дела, то правительство, с которым мы работаем, уйдет»...

Факт притеснения русских в Грузии Гегечкори отвергал. Быч также выражал сомнение по этому поводу, предлагая «с большою осторожностью относиться к этим сведениям», и утверждал, что кубанцы, возвращающиеся из Грузии, «не жаловались на скверные к себе отношения». Совещание приняло предложение обследовать вопрос этот на месте смешанной комиссией. Относительно государственного имущества и запасов бывшего Кавказского фронта, захваченных грузинами, Гегечкори заявил, что «этот вопрос должен быть разрешен на более авторитетном собрании, на котором будут представители всей России, а не отдельных ее частей». Его поддержал всецело Быч, заявивший, что сейчас кубанское правительство претензий не предъявляет, а «переносит это на более компетентные органы; но частные соглашения по этому предмету заключать будет». Эти «частные соглашения», в отношении боевого имущества в особенности, вызывали, однако, у нас серьезные опасения: в борьбе против советской власти восставших терских казаков и осетин, которым удалось на время овладеть Владикавказом**, грузины приняли более чем странное участие... По крайней мере заседавший во Владикавказе большевистский 4-й съезд трудовых народов так информировал местные совдепы: «Слухи о том, что грузины подступили к Владикавказу, неверны. Наоборот, грузинское правительство отпустило нам миллион патронов»***...

Гегечкори подтвердил факт закупки и вывоза грузинского хлеба немцами, а гарантию того, что такая же участь не постигнет русский хлеб, он видел в том, что хлеб будет поступать в распоряжение правительства. Это положение резюмировал кратко один из участников совещания: грузинский хлеб — немцам, а русский взамен — грузинам...

Все эти вопросы, однако, могли быть в конце концов разрешены удовлетворительно. Перед совещанием встал основной принципиальный вопрос, который являлся, по выражению ген. Алексеева, «камнем преткновения, не давал возможности приступить к обсуждению других, с которым мы всегда будем сталкиваться»... Отношение к нему должно было служить показателем искренности и миролюбия грузинского правительства. Мы требовали возвращения к Черноморской губернии Сочинского округа****, на который ни по историческим, ни по этнографическим мотивам Грузия не имела никаких прав. Округ, в котором из 50 селений — 36 русских, 13 со смешанным пришлым населением и только одно грузинское; в котором грузин всего 10,8%*****; который миллионами русских народных денег обращен был из дикого пустыря в цветущую, культурную здравницу. Был поднят вопрос и относительно Абхазии, насильственно присоединенной к Грузии, но никаких требований в отношении ее предъявлено не было.

Гегечкори от имени грузинского правительства заявил категорически, что Сочинский округ не может быть оставлен Грузией из-за опасений насильий со стороны большевиков над грузинами, которых там якобы 22%... Мы возражали, что большевиков уже нет на побережье, что силы Добровольческой армии достаточно велики, чтобы охранить округ, что нельзя таким односторонним актом — волею грузинского правительства — отнимать русское достоинство только потому, что некому было заступиться за него...

Спор принял страстный характер.

Гегечкори отрицал за Добровольческой армией даже право защиты русских интересов... «На каком основании Добровольческая армия выступает защитником этого населения?.. Ни вы, ни мы (?) не имеем права решать судьбу каких бы то ни было округов, так как вы представляете не Российское государство, каковое только и могло бы претендовать на это... Ведь Добровольческая армия — организация частная... При настоящем положении вещей Сочинский округ должен войти в состав Грузии»... Ему возражали, что раз Грузия считает себя независимой республикой, то пусть же не вмешивается в чужие, русские дела и предоставит нам самим судить о них, о том, «частная» ли организация Добровольческая армия или государственная; пусть предоставит и Абхазии иметь суждение о своей судьбе...

Нас неприятно поразила уклончивая роль кубанского представителя Быча, который, как впоследствии оказалось, вошел тогда же в тайное соглашение с Гегечкори... Позднее, 11 ноября, Быч поведал на заседании рады, что грузины не страшны Кубани, что они заявили о намерении передать ей Сочинский округ по соглашению с кубанским правительством и что между Кубанью и Грузией поэтому никаких недоразумений нет...

* См. заявление Людендорфа, глава VII.

** 5—17 августа 1918 г.

*** Заседание Кисловодского совдепа. «Известия» от 25 августа.

**** См. главу VIII Граница округа — река Бзыбь.

***** Гегечкори исчислял 22%.

«Великая Кубань» и «Великая Грузия» нашли общий язык за счет интересов «Великой России».

Эти пожелания Быча не нашли, однако, поддержки в революционной демократии. Сочинский объединенный совет социалистических партий решил, что «хотя округ экономически тяготеет к Кубанской области, но присоединение его к Кубани расширило бы сферу влияния военной диктатуры», и поэтому постановил. чтобы: «1) грузинское правительство немедленно особым декретом оформило временное присоединение Сочинского округа к республике и 2) одновременно установило правильный товарообмен с Кубанской областью для обеспечения населения округа хлебом и другими продуктами первой необходимости» *.

Итак, «свободы» — грузинские, а хлеб — русский.

Гегечкори в последнем слове своем после горячих дебатов повторил:

— Наше заявление остается в силе. Мы настаиваем на временном оставлении Сочинского округа в пределах Грузинской республики.

Он сказал «временно», отказавшись разъяснить существо этого понятия. И было свидетельство его, равно как и тайные обещания Бычу, лживы. Ибо на карте, где Грузинская республика обозначила свои «исторические границы», которые ее парижская делегация должна была отстаивать перед мирной конференцией, в составе «Великой Грузии» показан был и Сочинский округ до Туапсе.

Генерал Алексеев высказал сожаление, что нетерпимость грузин не позволяет продолжать переговоры, и закрыл заседание.

— Должно же быть чувство справедливости, чувство меры...

Ввиду несостоявшегося соглашения, я, не предпринимая никаких враждебных в отношении Грузии действий, закрыл, однако, границу для пропуска через нее грузов. Войска наши остановились южнее Туапсе. Во всей грузинской прессе, особенно официозной, началась безудержная травля Добровольческой армии, «мобилизующей свои силы на Кубани для объединения с силами открытой монархической реставрации, для беспощадной борьбы с демократией» **... Травля русского народа, для которого на страницах социалистических газет находились такие эпитеты, как «проклятый судьбою»...

Политика грузинского правительства была настолько непонятна, что вызвала на совещании вопрос:

— Не связаны ли вы в вашем решении кем-либо?.. (Германией)

Гегечкори ответил:

— Мы связаны только своим собственным решением.

Действительно, уйдут немцы, придут англичане, но отношение к России не изменится. Грузия не откажется также от захвата русской земли, не облетит его даже в какие-либо псевдоюридические формы, а заявит откровенно: «Сочинский округ нам нужен как буфер между Россией и Абхазией, «Гагринские ворота» — как обороноспособный рубеж против наступления «какой-либо армии» с севера» ***.

Был еще один мотив, обольщавший не раз всех могильщиков великодержавной России...

Официоз грузинского правительства с.-д. газета «Борьба» доказывала в то время, что во всех случаях и при всех комбинациях дело восстановления России осуждено на полную неудачу и провал; даже в том случае, если случится лучшая перспектива и «союзная демократия» построит свою попытку «на связь с (русской) демократией, Учредительным собранием, Уфой»...

Так начались наши отношения с Грузией, чреватые последствиями и вызвавшие легенды о нетерпимости добровольческой политики, оттолкнувшей будто бы от себя Грузию — «естественного союзника» нашего в борьбе с большевиками...

Время срывает покровы с людей и событий, разрушает легенды.

В 21 году, когда окончилось самостоятельное существование Грузии, Церетели, взывая к «пролетариату всего мира», чтобы он «заклеймил подобный акт империализма» Советов, оправдывался против обвинения в посылательстве на советскую власть ****:

«...Грузия всегда была противницей всякого вмешательства во внутренние русские дела. Она никогда не участвовала в политических выступлениях, имевших характер такого вмешательства. Она наотрез отказалась сотрудничать с ген. Деникиным в то время, когда Добровольческая армия была всего более могущественна и когда она искала союза с Грузией, угрожая ей войной в случае отказа»...

Враги Добровольческой армии — они не сознавали, что, подрывая ее бытие, губят этим и свой народ.

* Постановление 18 сент. 18 г.

** «Борьба».

*** Протокол переговоров англ. ген. Бригса с членами груз. пр-ства в мае 1919 г.

**** «Воля России» 21 г. № 156. Письмо Церетели «по поручению с.-д. партии и раб. проф. с-юзам Грузии».

**Глава XXXV. ВОПРОС О ВСЕРОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ.
ОТНОШЕНИЕ К НЕМУ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
И ПОЛИТИЧЕСКИХ ГРУПП. ПОЗИЦИЯ ВЕЛ. КНЯЗЯ
НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА. УФИМСКАЯ ДИРЕКТОРИЯ.
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ КОМАНДОВАНИЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
АРМИИ С ДИРЕКТОРИЕЙ**

Вопрос о всероссийской власти занимал все политические группировки. Как существо, так и пути пришествия власти представлялись в крайне разнообразных формах.

Правый Центр, как мы знаем, ставил своей задачей восстановление монархии и династии, не останавливаясь, однако, окончательно на личности венценосца. Путь к разрешению этой задачи Центр видел в следующем*.

В результате вооруженной борьбы с большевиками и местных восстаний во главе войск и гражданского управления силою вещей станут военачальники в ранге «главноначальствующих». Эти лица «не должны задаваться целями государственного строительства»... Единственная их задача — «это очищение подчиненной им местности от остатков советской власти, прекращение гражданской войны и классовой борьбы, недопущение к власти или участию в управлении социалистических элементов, хотя бы самого правого толка, водворение порядка и восстановление деятельности железных дорог, телефонов и телеграфов». Вначале «главноначальствующие», естественно, будут самостоятельными, засим их деятельность должна быть объединена: «в местностях, находящихся на пути следования с юга Добровольческих армий, объединяющим лицом явится Главнокомандующий этими армиями... Северные же области, по мере восстановления связи, должны быть подчинены главноначальствующему г. Москвы и Московской губернии»... После этого появляется «Правитель Государства и Совет Министров», задача которых в первое «переходное время» сводится «главным образом к расчистке пути для проведения в будущем органических реформ»...

Правый Центр понемногу распадался и терял всякое политическое значение. Значительная часть его членов оставила советскую Россию и переехала в Киев, где вошла в состав местных организаций и в большом числе в образовавшееся там совещание членов Государственной думы и Государственного совета. Эта новая организация явилась, таким образом, духовной преемницей Правого Центра, воспринявшей и его германофильство, и политическую идеологию, умерявшуюся, впрочем, до октября (переизбрание президиума) участием Милокова и его единомышленников. К осени сообразно с новыми факторами — надвигавшимся кризисом Германии и создавшейся в процессе борьбы с большевизмом новой «политической картой России» — пути к созданию конституционной монархии, которая признавалась Совещанием наилучшей формой правления, наметились уже иные **: «1) Объединение под одним знаменем как Добровольческой армии, так и всех отдельных... правительств в целях создания одной общей мощной военной силы, имеющей целью свержение большевиков и образование взамен их русской государственной власти (при условии предоставления отдельным областям широкой автономии) и 2) создание объединенного органа сильных общественных групп, состоящего как из представителей учреждений, отражающих зрелую политическую мысль страны, каковыми являются бывшие законодательные палаты, земские и городские самоуправления дореволюционного избрания, так и представителей важнейших отраслей народного труда, как-то землевладения и земледелия, промышленности, торговли, финансов»...

Партия соц.-рев., как мы видели, верховной властью считала Комитет членов Учредительного собрания, самарский эмбрион которого посылал своих «наместников» — комиссаров — на места.

Пути Национального Центра и Союза возрождения поначалу сошлись. Обе организации считали необходимым за пределами Восточного фронта впредь до созыва нового Учредительного собрания организовать всероссийское правительство — по существу, диктатуру, по форме трехчленную директорию. В отношении персональных назначений стороны до конца не договорились: Национальный Центр настаивал на «возглавлении» директории верховным руководителем Добровольческой армии ген. Алексеевым; Союз возрождения обходил этот вопрос уклончиво... Для переговоров с новообразованиями и окончательного решения вопроса обе стороны избрали из своей среды по три члена и командировали их на Север, Юг, за Волгу и в Сибирь.

В переходный период борьбы за воссоздание государства директория, по мысли Союза возрождения, «должна была опираться на восстанавливаемые ею в районе ее действий демократические органы местного самоуправления».

* Записка от 1 июля 18 г.

** Наказ «уполномоченным Совещания», отправлявшимся в Добровольческую армию.

Все правые группировки, выдвигая идею о временном «Правителе Государства», диктаторе, Верховном главнокомандующем, с этими понятиями связывали имя вел. кн. Николая Николаевича.

Вел. кн. жил тогда в имении своего брата вел. кн. Петра Николаевича — Дюльбере. Жил крайне замкнуто, не принимая многочисленных представителей политических партий, искавших свидания с ним. Вместе с тем он резко отклонил всякое общение с немецкими властями оккупированного Крыма.

В Добровольческой армии идея привлечения вел. кн. к активной деятельности впервые проявилась реально в конце мая 1918 года. В Мечетинскую станцию, где стояла тогда армия, приехали два офицера и от имени якобы некоей тайной организации, не имевшей, конечно, никакой связи с великим князем, начали вербовать в нее офицеров. От поступающего требовалось только признание верховного главенства Николая Николаевича и выступление, когда им будет указано. Новому члену организации выдавался картонный знак с номером и инициалами великого князя.

Узнав об этом, я приказал отыскать этих офицеров и представить их мне. Оказалось, что они выехали в Егорлыкскую, в дивизию Дроздовского. Запросил Дроздовского, который ответил, что офицеры уехали в Ростов. Тем дело и кончилось.

Тогда же, в конце июня, на Дону появился кн. П. М. Волконский. После беседы с ним ген. Алексеев писал мне из Новочеркасска*:

«На днях я беседовал с кн. Волконским, человеком, видимо, близким и приближенным вел. князю. По его словам, Николай Николаевич никакого желания идти на арену политической жизни не имел, но его угнетает мысль, что он посылкой своей телеграммы о необходимости отречения способствовал гибели монархии, разрушению России и хотел бы, чтобы загладить свой шаг, принять участие в боевой работе. Это может привести к присоединению к нам вел. князя, если не отклонить приезда. Время на все имеется...»

В августе кн. Волконский был в Екатеринодаре и виделся вновь с ген. Алексеевым и со мною. Ген. Алексеев со слов кн. Волконского передавал мне, что вел. князь Николай Николаевич выражает неудовольствие, что до сих пор не получает приглашения от командования Добровольческой армии стать во главе движения, тогда как это является желанием всей армии... М. В. был весьма озабочен такой постановкой вопроса ввиду тех настроений, которые существовали в занятом крае, в казачестве и в особенности на Кубани. Со мною кн. Волконский беседовал об опасности пребывания вел. князя в Крыму и о возможности для него избавиться от немецкой опеки путем тайного переезда на территорию Добровольческой армии; я ответил, что в случае нужды будет оказано всемерное содействие.

Происходило какое-то большое недоразумение.

Я не знаю, что говорил кн. Волконскому ген. Алексеев, но впоследствии, к моему удивлению, оказалось, что того, кого мы считали «послом Дюльбера», в Дюльбере сочли послом... ген. Алексеева. Кн. Волконский в качестве такового просил приема, но «вел. кн., решивший лично не принимать никого, кто являлся к нему с каким-либо политическим предложением, не сделал исключения и в этом случае». Осведомление произошло через третьих лиц и заключалось в следующем: кн. Волконский от имени ген. Алексеева довел до сведения вел. князя, что «Добровольческая армия мечтает, чтобы в известную минуту он стал во главе ее и что ген. Алексеев запрашивает его принципиального согласия с тем, чтобы оповестить (вел. князя), когда такая минута настанет». Мы получили из авторитетного источника сообщение**, не заставшее уже в живых М. В. и устанавливавшее, что инициатива переговоров не исходила вовсе от вел. князя, а являлась лишь ответом на предложение, сформулированное кн. Волконским; сообщение — свидетельствовавшее о личной незаинтересованности великого князя и о большом политическом такте его. «Великий князь полагает, — писали нам, — что ему можно будет принять в свое время приглашение Добровольческой армии при условиях, которые аннулировали бы претенциозные заявления кн. Львова о «воле народа»***. Для спокойствия его совести нужно было бы, кроме обращения Добровольческой армии, которую он ценит по заслугам, чтобы оно было подкреплено соответствующим, возможно, более веским обращением общественности. Великий князь стоит в стороне (от всех политических групп). Если обстоятельство сложится так, что его личность может послужить делу объединения, он пойдет на это... Он совершенно одинаково, как и Добровольческая армия, оценивает первоочередную задачу, которая не в решении коренных вопросов государственного устройства, а в объединении России и водворении в ней того элементарного порядка и мира, когда народ в состоянии будет сам решать свое

* 30 июня, № 65.

** От 27 сентября.

*** В письме председателя Временного правительства кн. Львова вел. кн. Николаю Николаевичу о необходимости оставить пост Верховного главнокомандующего говорилось: «Народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых каких-либо государственных должностей».

устройство. Он говорил, что если бы ему пришлось активно выступить в той или другой форме, то он именно так и понимал бы свою задачу, выполнив которую, отошел бы»...

Еще до получения этого ответа, в начале сентября, в Екатеринодаре распространились упорные слухи, что, уступив многократным просьбам руководителей правых партий, встречавших до той поры категорический отказ, великий князь согласился стать во главе Южной и Астраханской армий. Это сведение, исходившее главным образом из кругов, возглавлявших Южную армию, встревожило ген. Алексеева и екатеринодарских общественных деятелей. За подписью М. Родзянко, В. Шульгина и Н. Львова было послано великому князю письмо, предостерегающее его от этого шага.

Между тем Сибирь ранее всех перешла от слов к делу и создала государственную власть, которая наименовала себя Всероссийской.

Государственное совещание, собравшееся в сентябре в Уфе, ни в коем случае не могло претендовать на демократичность способа своего образования. Это было представительство политическое — партий (с.-р., с.-д., н.-с., к.-д., «Единства»), территориальное — новообразований фактических (правительства «Комуча», сибирского, уральского, шести сибирских казачьих войск) и несуществующих (правительств Астраханского казачьего войска, Башкирии, Алаш-Орды, Туркестана), «национального правительства тюрко-татар внутри России»; организаций: съезда членов Всероссийского Учредительного собрания, представителей съезда городов и земств и Союза возрождения России...

Число членов Государственного совещания было 129. Из них членов Учредительного собрания 77 — почти все с.-р.-ы. Члены этой партии входили в состав совещания еще и как представители центрального комитета ее и в замаскированном виде — в качестве представителей экзотических правительств, «Земгора» и — в лице председателя совещания Авксентьева и Аргунова — в качестве делегатов Союза возрождения.

Совещание резко разделилось на две неравных численно и непримиримых идейно части. Одна группировалась возле сибирского правительства (казачьи делегаты, несоциалистические представители других организаций, н.-с.-ы); другая — возле самарского «Комуча».

Совещанию предстояло решить три основных вопроса: о форме верховной власти, о порядке ее ответственности и о личном составе правительства.

Верховной властью левая часть считала Учредительное собрание 18 года, а до открытия его — Съезд членов Учредительного собрания, перед которым должно быть ответственно Всероссийское правительство. Последнее мыслилось в образе директории, коалиционной по своему составу. Сибирское правительство снабдило своих послов инструкцией, гласившей: «Всероссийская власть должна быть организована по типу директории, в составе не более 5 лиц; политическая ответственность власти возможна только перед будущим полномочным органом правильного волеизъявления народа, и до создания такого органа Всероссийская власть является несменяемой». Казачество шло дальше, требуя единоличной и безответственной диктаторской власти.

Вокруг этих точек зрения шла сильнейшая борьба, грозившая полным разрывом между борющимися сторонами. А военно-политическая обстановка в эти дни становилась между тем все более угрожающей. Советские армии овладели Казанью, Симбирском и приближались к Самаре... Началось новое наступление большевиков на фронте Оренбургского и Уральского казачества... Главнокомандующий Сыровой и председатель Национального комитета Павлу требовали скорейшего создания всероссийской власти, угрожая оставлением фронта чехами... В Омске назревал глубокий кризис на почве столкновения и борьбы за власть между сибирским правительством и с.-р.-овской Сибирской областной думой...

Эти обстоятельства заставили обе стороны пойти на взаимные уступки, с обеих сторон неискренние. И 23 (н. ст.) сентября 18 года был обнародован «акт об образовании верховной власти», носящий явные следы сильного давления с.-р.-овской партии.

«Единственным носителем Верховной Власти на всем пространстве Государства Российского» объявлялось «Временное Всероссийское правительство» в составе пяти лиц: Н. Д. Авксентьева, Н. И. Астрова, ген.-лейт. Болдырева, П. В. Вологодского и Н. В. Чайковского. Заместителями их были избраны А. А. Аргунов, В. А. Виноградов, ген. от инфантерии Алексеев, В. П. Сапожников и В. М. Зензинов. Из пяти членов директории только двое были налицо, а трое, согласия которых не спрашивали, отсутствовали. Поэтому директория приступила к деятельности в составе Авксентьева (с.-р.), ген. Болдырева (беспарт., член Союза возрождения), Виноградова (к.-д.), Сапожникова (беспарт.), Зензинова (с.-р.).

Директория признавалась ответственной перед Учредительным собранием 1918 года, которое должно было открыться 1 января 1919 года при наличии не менее 250 человек или 1 февраля при наличии 170 членов. Директория обязалась «неуклонно руководствоваться в своей деятельности непререкаемыми

верховными правами Учредительного собрания». Съезд членов Учредительного собрания продолжал существовать параллельно с правительством как «государственно-правовое учреждение», пользуясь независимостью, неприкосновенностью, средствами из государственного казначейства и охраной «предоставляемой правительством особой воинской команды». Его задача была номинально ограничена «обеспечением деятельности Всероссийского Учредительного собрания».

Не касаясь личности правителей, в самой идее построения власти мы видим крупные дефекты. По происхождению своему она вряд ли могла претендовать на значение всероссийской. Фразы — «вступив по воле народов в управленне государством»*... «объединение (в лице правительства) всех областей, народностей и партий освобожденной части России»**... — звучали бессильно и неубедительно при наличии самостоятельных новообразований Украины, Дона, Кубани, Грузии... и при неопределенности и остроте взаимоотношений даже с сибирскими областными правительствами, «установление пределов компетенции» которых «предоставлялось мудрости Временного Всероссийского правительства»***...

Ответственность коалиционного правительства перед партийным с.р.-о в собрании являлась актом политически несообразным и психологически чреватом опасностями. Установление ее вызвало глубокое неудовольствие во всех не социалистических кругах, перенесенное с места на личный состав правительства. Даже умереннейший Союз возрождения устами Мякотина говорил: «Это решение совещания окончательно установило партийный характер созданной им власти и отталкивало от нее всех, кто неспособен был связывать надежды на возрождение России с эсэровским Учредительным собранием»...****

Совещание не учло еще одного важного обстоятельства — психологии единственной к тому времени реальной русской силы на территории, подвластной новому правительству, — Сибирской армии. Психологии, глубоко враждебной всему комплексу явлений, связанных с «черновским учредительным собранием».

Члены Союза возрождения, игравшие на совещании примирительную роль и вошедшие в состав директории, нарушили полномочия, данные им Союзом. Аргунов (заместитель) — по убеждению считая, что «только... Учредительное собрание данного состава... являлось юридически тем полномочным органом, перед которым могло и должно было предстать временное всероссийское правительство»*****... Ген. Болдырев (верховный главнокомандующий) — по мотивам практическим: «Союзом возрождения, — писал он ген. Алексею 30 сентября 18 года, — была предложена компромиссная формула безответственной власти на определенный срок... Мы исходили из того убеждения: если новая власть укрепит-ся за период безответственной работы, едва ли тогда явится у кого-либо желание идти против такой власти. И тогда будущее покажет дальнейший ход государственной жизни России. Если же этой власти не удастся справиться с теми исключительными по трудности условиями работы, тогда становится безразличным — будет ли она безответственной или нет».

Жизнь дала ответ ранее срока — переворотом 18 ноября.

Тотчас после своего избрания директория обратился с посланием к ген. Алексею и ко мне*****. Объявляя о принятии на себя «всей полноты Верховной Государственной власти на всем пространстве Государства Российского», директория, «восхищаясь» одиннадцатимесячной борьбой Добровольческой армии, посылая ей свой привет и выражала надежду «в скором времени принять на территории освобожденной России усталых бойцов, которые найдут здесь и отдых, и справедливую оценку своих трудов»... Высказывала убеждение, что «государственная мудрость и высокие гражданские качества руководителей и горячая любовь офицеров и солдат к Родине укажут Добровольческой армии единый с Правительством путь»... Одновременно официальным письмом на имя ген. Алексея Авксентьева приносил ему «искреннее поздравление с назначением». М. В. тогда не было уже в живых, и это поздравление с «должностью», которой он никогда бы не принял, казалось нам несколько нескромным и обидным в отношении его памяти.

Ген. Болдырев в свою очередь в официальном письме приглашал ген. Алексея «принять все меры к развитию и упрочению идеи возрождения России под знаменем Всероссийского правительства» и указывал стратегическую задачу Добровольческой армии: «Было бы крайне желательным и необходимым, чтобы Ваша армия и примыкающие к ней силы овладели бы нижним течением Волги, примерно на плесе Царицын — Астрахань. В дальнейшем имело бы огромное

* Из «Грамоты ко всем народам России».

** Из «Грамоты», адресованной генералу Алексею и мне

*** Из «акта об образовании верховной всероссийской власти».

**** Брошюра «Союз Возрождения России».

***** «Между двумя большевиками».

***** 2 октября, № 69.

значение овладение Саратовом». В частном письме* он говорил еще о недостатке людей в Сибири и желательности приезда туда генералов Драгомирова, Лукомского, Головина... О необходимости, чтобы «здесь новая Россия (была бы) надлежаще представлена», и в связи с этим о желательности «служения вашего (т. е. ген. Алексеева) и ген. Деникина на постах Всероссийского масштаба».

Ни одно из новообразований Юга не признало власти директории. Я также отказался признать Уфимскую директорию Всероссийской властью как «ответственную и направляемую Учредительным собранием первого созыва, возникшим в дни народного помешательства... и не пользующимся в стране ни малейшим нравственным авторитетом». Вместе с тем я признавал «исключительно важное значение Сибирского объединения и находил необходимым — путем взаимных соглашений направить русские силы Востока и Юга к одной общей цели — возрождению великодержавной России» **...

Инструкции в этом духе были посланы в Сибирь курьером, который должен был разыскать там командированных ген. Алексеевым еще в начале 18 года ген. Флуга и полк. Лебедева. О них в штабе армии не было никаких сведений. Оказалось впоследствии, что ген. Флуг в Харбине стал военным министром Всероссийского правительства Хорвата, а Лебедев оказался в Омске, приняв видное участие в ноябрьском перевороте и непостижимым образом, не имея никакого командного стажа, стал вскоре начальником штаба Верховного главнокомандующего адмирала Колчака.

Добровольческая армия в эти дни истекала кровью на полях Ставрополя и не могла принять немедленного участия в выполнении стратегической задачи, данной Уфой.

Глава XXXVI. «ВОЕННО-ПОХОДНОЕ» УПРАВЛЕНИЕ. ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. ОБРАЗОВАНИЕ ОСОБОГО СОВЕЩАНИЯ

В непосредственном управлении командования Добровольческой армии находилось несколько уездов Ставропольской губернии и Черноморская губерния без Сочинского округа. Это положение определялось словами приказа: «Впредь до воссоздания и создания верховной власти Русского Государства... губерния в порядке верховного управления подчиняется командованию Добровольческой армии» ***.

В Ставрополе был поставлен военным губернатором командир бригады полковник Глазенап, помощником его ген. штаба ген. Уваров. В Новороссийске — командир бригады полковник Кутепов, помощником его — Сенько-Поповский. Военные губернаторы подчинялись командующему армией и были ответственны только перед ним. Это упрощенное «военно-походное» управление, основанное на «Положении о полевом управлении войск», до крайности затрудняло меня, отвлекая от ведения операций и вызывая на местах чрезмерную инициативу, не раз граничившую с произволом. Постановка во главе гражданской администрации лиц военных, командовавших одновременно вооруженной силой — в крае, где шла непрестанная война не только на фронте, но и внутри, вызывалась обстановкой и казалась наиболее целесообразной, подчиняя весь ход народной жизни интересам борьбы. К тому же было необыкновенно трудно создать и поддерживать авторитет гражданского начальника в глазах военной массы, наполнившей край — театр войны. Но отсутствие административного опыта и сложившаяся в процессе революции психология военных начальников в значительной мере уничтожали выгоды военного управления.

Представлялось наиболее естественным привлечь к совместной работе местную организованную общественность, но в этом заключался наибольший камень преткновения... Революция изменила облик русской общественности, сметя или преобразив в корне старые ее организации. Когда кровью Добровольческой армии освободились Ставрополь и Черноморье, из-под обломков советского здания быстро встали и возродились только органы революционной (социалистической) демократии в образе земских, городских, кооперативных, профессиональных и других. Той самой революционной демократии, в отношении которой в военной среде сложилось непримиримо враждебное отношение, с именем которой неразрывно были связаны самые тяжелые переживания развала армии, страны, внешнего разгрома ее, воспоминания о советах, комитетах, о корниловской трагедии, о голгофе офицерства, об явном противодействии первым шагам нарождающейся армии... Той революционной демократии, которая и теперь отнеслась к армии — освободительнице если не враждебно, то, во всяком случае, подозрительно и недоброжелательно.

Попытки с той стороны были...

* От 30 сентября.

** Из речи на открытии Кубанской рады

*** Приказ о Черноморской губ. 14 августа. № 7.

20 июля в Москве члены главных комитетов Всероссийского земского и городского союзов, состав которых за время революции сильно пополнился левыми элементами*, объединились лично, организовали общий «главный комитет» и постановили «выступить на широкую арену общего государственного строительства». В числе основных своих задач главный комитет поставил «восстановление демократических органов местного самоуправления на территории всей России».

Но так как арены для подобной деятельности в Центральной России и на Украине не оказалось, то главный комитет перенес свою деятельность в Екатеринбург. Я до сих пор не уверен, действовали ли приехавшие к нам лица — В. Н. Малянтович, Луганский, Кириллов — по поручению З. Г. О. или на свой страх**... Они образовали Юго-Восточный комитет З. Г. О., включенный мною по традициям военного времени в состав Добровольческой армии для оказания ей «всемерной помощи по санитарной части и снабжению». Стараниями Е. А. Елачича были привезены на Кубань небольшие суммы и имущество Юго-Западного и Румынского фронтов, и комитет поступил на полное иждивение армии, приобрел вместе с тем все льготы, установленные для военнослужащих.

Через некоторое время в комитете произошел раскол, повлекший временный выход из него всей земской группы во главе с Елачичем. Произведенный разбор дела выяснил интересные детали. Члены Главного комитета поставили в подчиненное к себе отношение Юго-Восточный комитет, который оказался лишь «прикрытием» их политической деятельности. «Главная задача З. Г. О., — говорил Малянтович***, — это участие в общественно-политической работе, остальное должно быть отодвинуто на задний план. Практическая помощь Добровольческой армии является только подсобной работой, дающей возможность утилизировать персонал и материальные средства союзов. Рассматривать Юго-Восточный комитет как армейский неправильно, ибо в приказ Добровольческой армии мы включились с болью в сердце, тем более что политическая физиономия Добровольческой армии до сих пор нам не ясна». Малянтович установил «общность кассы» Юго-Восточного комитета с главным, единоличное хранение и распоряжение сумм комитета Кирилловым и, таким образом, за счет бедной армейской казны, потому что иных источников не предвиделось — начиналась политическая работа в духе общесоциалистических тенденций того времени... против Добровольческой армии.

Я был крайне удивлен необыкновенной развязностью членов главного комитета и в особенности Малянтовича, который явился ко мне и, любезно оставляя за мной командование армией, заявил о своем намерении «руководить политической жизнью городов и земств»...

«Сотрудничество» в такой форме было неприемлемым, удельный вес группы Малянтовича слишком незначительным. Мною были приняты поэтому меры, чтобы вернуть Юго-Восточному комитету облик армейского общественно-служебного органа, а Малянтовичу и его сподвижникам предоставлено вести политическую работу за свой счет вне комитета и вне армии в рамках закона и «Положения о полевом управлении войск».

Так неудачно окончилось первое общение наше с «демократической общественностью».

Психология военной среды, имевшая много оснований в прошлом, в известной части ее принимала характер нетерпимости не только в отношении социалистических, но и либеральных местных деятелей. Либеральная общественность, к тому же разгромленная ходом революции, не имела на местах ни организаций, ни силы, ни влияния, ни даже особенного желанья работать в обстановке, угрожающей ежедневно самому физическому существованию должностных лиц.

И военные губернаторства обрастали мало-помалу махровым цветом старого чиновничества — нередко добросовестного, но потерявшегося в угаре революции, отставшего от быстро мчавшейся колесницы жизни. Обрастали и элементами авантюристическими, взращенными условиями революции и гражданской войны.

В центре не было пока компетентных направляющих органов. Военные губернаторы терялись в обстановке до крайности запутанной, на почве безвременья и удручающего безлюдья. И я, и они делали немало ошибок. Бывали и такие эпизоды, которые весьма тягостно отражались на положении Добровольческой армии, возбуждая против нее население. Так, ген. Уваров, заменяя временно ставропольского губернатора, в его отсутствие успел отдать ряд оглушительных приказов об аннулировании всех законов Временного правительства, о вознаграждении проторей и убытков помещиков, об уничтожении преступников на месте преступления... Приказы были отменены, Уваров «по прошению» уволен от должности, но настроение создалось весьма неблагоприятное для армии...

В уездах было хуже.

Впоследствии в одну из своих поездок в Ставрополь я очертил откровенно собравшимся общественным деятелям создавшееся положение следующим образом:

* В состав Союза Возрождения и З.Г.О входили зачастую одни и те же лица.

** Именовались они «зарубежной делегацией главного комитета».

*** Журнал заседания № 9 от 19 сент. 18 г.

«Нам не удастся наладить гражданское управление; в уезды идут люди отпетые; уездные административные должности стали этапом в арестантские роты. Между тем местная интеллигенция предпочитает заниматься политикой и будированием; не отказывается, впрочем, от «постов» и «портфелей». Добровольцы приносят несчетные жертвы своими жизнями. Принесите жертву и вы: умерьте ваши маштабы, дайте мне несколько честных и умных начальников уездов; я окажу им полную поддержку и обеспечу возможность работать. Создать условия нормальной жизни, внести успокоение, насадить право и законность в одном русском уезде — работа гораздо более значительная, чем все упражнения в партийных программах и резолюциях».

И было слово мое подобно гласу вопиющего в пустыне.

Программы положительного государственного строительства у нас поначалу не было. До некоторой степени общие основания добровольческой политики определялись в сказанной мною при первом посещении Ставрополя речи, имевшей декларативный характер*.

«...Добровольческая армия поставила себе задачей воссоздание Единой Великодержавной России. Отсюда — ропот центробежных сил и местных больших честолюбий.

Добровольческая армия не может, хотя бы и временно, идти в кабалу к иноземцам и тем более набрасывать цепи на будущий вольный ход русского государственного корабля. Отсюда — ропот и угрозы извне.

Добровольческая армия, свершая свой крестный путь, желает опираться на все государственно мыслящие круги населения. Она не может стать орудием какой-либо политической партии или общественной организации. Тогда она не была бы Русской Государственной Армией. Отсюда — неудовольствие нетерпимых и политическая борьба вокруг имени армии. Но если в рядах армии и живут определенные традиции, она не станет никогда палачом чужой мысли и совести. Она прямо и честно говорит: будьте вы правыми, будьте вы левыми — но любите нашу истерзанную Родину и помогите нам спасти ее.

Точно так же, обрушиваясь всей силой против растлителей народной души и расхитителей народного достояния, Добровольческая армия чужда социальной и классовой борьбы. В той тяжкой, болезненной обстановке, в которой мы живем, когда от России остались лишь лоскутья, не время решать социальные проблемы. И не могут части русской державы строить русскую жизнь каждая по-своему.

Поэтому те чины Добровольческой армии, на которых судьба возложила тяжелое бремя управления, отнюдь не будут ломать основное законодательство. Их роль — создать лишь такую обстановку, в которой можно бы сносно, терпимо жить и дышать до тех пор, пока Всероссийские законодательные учреждения, представляющие разум и совесть народа русского, не направят жизнь его по новому руслу — к свету и правде».

Необходимо остановиться на двух положениях, вытекающих из этой программы.

Первое — отражала ли она действительно идеологию добровольчества? Да-леко не всего. Во всяком случае, я убежденно и искренно выразил в ней свои взгляды, стараясь вкючить их борющимися и правящими.

Второе — уклонение от радикальной ломки государственного и социального строя, с предоставлением этой работы будущим правомочным органам народной воли...

Историк отметит, что эта идея являлась господствующей в течение 1917—1920 годов среди российских политических группировок, составляя наиболее слабое и уязвимое место всех правительств и правителей, ставя их в неизмеримо более трудное положение, чем то, в котором была советская власть, объявив себя хозяином русской жизни и ломая ее беспощадно и безоглядно. С различными оттенками, но одинаково по существу эта идея нашла отражение в актах Временного правительства**, в «Корниловской программе», в программах «центров», в «Грамоте ко всем народам России» Уфимской директории, в декларациях адмирала Колчака.

Обоснование этой идеи было до крайности простым и ясным и казалось неопровержимым. Еще до большевистского переворота, в сентябре 17 года, оно нашло, между прочим, такое согласное определение в двух органах — радикальной и либеральной мысли:

Газета «День» писала: «Спор программ сейчас напоминает о метафизической сущности... Перед всей страной ныне стоит одна платформа — национального бедствия... Пусть завтра у власти станет любой герой большевистского райка, он должен будет, как и его «империалистический» предшественник, озаботиться ликвидацией ташкентского мятежа, выкачиванием хлеба из деревни, избранием нового способа печатания денег. Прекрасные слова, широковещательные лозунги, святость канона — все это блекнет перед неумолимой прозой — такой простой и

* 26 августа.

** Невзирая на объявление России республикой и согласие на автономию Украины.

такой зловещей. И в этой прозе — ключи, размыкающие конфликт программ, в ней и только в ней одной — отправной пункт соглашения тех общественных групп, которые должны образовать коалиционную власть». Перепечатавая эти строки, «Речь» говорила*: «Поистине, золотые слова... Справиться с национальными бедствиями, сохранить единство России — вот вся программа. Если бы ее удалось осуществить, — это была бы величайшая заслуга перед родиной и перед революцией, которая только этим путем и может быть спасена».

Теория разошлась с практикой.

Мы не учли элемента времени и степени напора народной стихии. Правители стремились к «неумолимой прозе», народ хотел еще «поэзии» демагогических лозунгов. Правители желали приостановить временно течение жизни в создавшихся берегах, пока некая высшая власть не расчистит новое русло, а жизнь бурно рвалась из берегов, разрушая плотины и сметая гребцов и кормчих.

В августе, т. е. после месячного опыта «военно-походного управления, окончательно назрела необходимость создания органа, который мог бы всесторонне заняться устройством освобожденной армией территории. Эта территория была еще очень незначительна, но расширению ее победами Добровольческой армии должно было предшествовать создание правительственного аппарата и установление деловой программы его работ.

Идея эта появилась у многих лиц, прикосновенных к армии. В. Шульгин составил перечень тех отделов, из которых должен был состоять новый орган. Название его (Особое Совецание) принадлежит также ему. Ген. Лукомский, состоявший с 5 августа моим помощником по гражданской части, в развитие идеи Шульгина представил мне доклад о необходимости образования при мне Особого Совецания по разрешению вопросов, связанных с восстановлением нормальной жизни на территории, освобождаемой от власти большевиков. По его мысли, совещанию предоставлялась роль, исключительно отвечающая его названию, именно — «давать заключения по делам, вносимым на его рассмотрение» главным командованием.

Я считал функции гражданского управления, выходящие за пределы «Положения о полевом управлении войск», принадлежащими ген. Алексееву и поэтому вторично просил его взять на себя это бремя.

Одновременно вопросом этим занимался и ген. Драгомиров, состоявший с 10 августа «помощником Верховного Руководителя». Ему принадлежит окончательная разработка и редакция того «Положения об Особом Совецании», которое было утверждено ген. Алексеевым 18 августа без изменений. Акт этот не опубликовывался, очевидно, чтобы не вызвать до времени возбуждения в кубанском правительстве, относившемся крайне подозрительно ко всем государственным начинаниям командования.

«Положение» так определяло цель создания Особого Совецания.

а) Разработка всех вопросов, связанных с восстановлением органов государственного управления и самоуправления в местностях, на которые распространяется власть и влияние Добровольческой армии. б) Обсуждение и подготовка временных законов по всем отраслям государственного устройства, как местного значения по управлению областями, вошедшими в сферу влияния Добровольческой армии, так и в широком государственном масштабе по воссозданию великодержавной России в прежних ее пределах. в) Организация сношений со всеми областями бывшей Российской Империи для выяснения истинного положения дел в них и для связи с их правительствами и политическими партиями для совместной работы по воссозданию великодержавной России. г) Организация сношений с представителями держав Согласия, бывших в союзе с нами, и выработка планов совместных действий в борьбе против коалиции центральных держав. д) Выяснение местонахождения и установление тесной связи со всеми выдающимися деятелями по всем отраслям государственного управления, а также с наиболее видными представителями общественного и земского самоуправления, торговли, промышленности и финансов для привлечения их в нужную минуту к самому широкому государственному строительству. е) Привлечение лиц, упомянутых в § д., к разрешению текущих вопросов, выдвигаемых жизнью».

Особое Совецание заключало следующие отделы: государственного устройства, внутренних дел, дипломатическо-агитационный, финансовый, торговли и промышленности, продовольствия и снабжения, земледелия, путей сообщения, юстиции, народного просвещения и контроля.

Председателем Особого Совецания являлся ген. Алексеев, а заместителями его в порядке последовательности — я, ген. Драгомиров и Лукомский.

В «Положении» отразилась в значительной мере существовавшая практика дуализма власти, которую не желал нарушать составитель его, создавая один общий орган для двух соправителей. На «больших заседаниях», под председательством ген. Алексеева, должны были разрешаться «наиболее серьезные вопросы

* Передовая 23 сентября 17 г.

общегосударственного значения и рассмотрение сложных законопроектов, затрагивающих интересы нескольких ведомств». На «малых заседаниях»*, под моим председательством, предполагалось разрешать «в спешном порядке не терпящие отлагательства вопросы текущей жизни, связанные с установлением гражданского правопорядка в местностях, занятых Добровольческой армией». Отзвуком того же дуализма явилось отсутствие в Совещании военно-морского отдела, учрежденного лишь впоследствии и возглавленного ген. Лукомским, к которому перешли обязанности военного и морского министра и, кроме того, все органы снабжения армии.

Генералы Алексеев и Драгомиров принимали все меры к розыску и привлечению в Екатеринодар известных им государственных и общественных деятелей, что представляло серьезнейшие затруднения ввиду разобщенности русских областей и того несопкойного и потому малопривлекательного положения, в котором находился Северный Кавказ — театр военных действий. По ходу событий русской революции главное ядро русской общественности переселялось по историческим этапам: весной 18 года — Москва; летом — Киев; осенью — Одесса; весной 19 года — Екатеринодар. Эта концентрация сил в определенных пунктах сопровождалась всегда и необыкновенным сгущением там политической атмосферы на почве обостренной розни и борьбы. Безлюдие было так велико, что отделы по долгу оставались в управлении временных заместителей во время поисков по свету и в ожидании прибытия неизвестно где находившихся кандидатов. Морской отдел, например, ждал намеченного возглавления весь период борьбы Юга — полтора года...

Образование Особого Совещания — этого зачаточного органа управления — подвигалось медленно. Первыми участниками его были Г. А. Гейман (финансы), Э. П. Шуберский (пути сообщений), ген. А. С. Макаренко (юстиция), А. А. Нератов (диплом.), В. А. Лебедев (торг. и пром.)... По мере формирования отделов туда переходили и текущие дела по управлению территорией, занятой армией. Общих заседаний — ни больших, ни малых — до смерти ген. Алексеева не состоялось.

Глава XXXVII. ПРИСТУП К ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ НА ЮГЕ. СМЕРТЬ ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА

Ген. Драгомиров был приглашен ген. Алексеевым для совместной работы и «дальнейшего путешествия с ним в Уфу». В начале августа М. В. подтвердил свое намерение «выехать в Уфу, как только явится возможность сколько-нибудь верного способа сообщения и когда состояние его здоровья позволит ему совершить путешествие». Он предполагал выждать продвижения армии по Северному Кавказу и пробраться в Сибирь через Петровск и Уральскую область.

М. В. не поделился ни со мною, ни с Драгомировым своими дальнейшими планами, но, по-видимому, к этому времени он сошел уже со своей категорической точки зрения на диктатуру как на единственно приемлемую форму власти и соглашался возглавить директорию по проекту Национального Центра.

Но состояние здоровья М. В. стало уже совсем плохо; все близкие понимали, что ни о каком переезде не может быть речи... Последние 2—3 недели М. В. почти не вставал с постели, никого не принимал и выслушивал лишь изредка важнейшие доклады ген. Драгомирова, предоставив ему разрешение всех остальных дел.

Между тем время шло, жизнь кипела и предъявляла свои неумолимые требования... Стратегическая обстановка указывала, что армия надолго еще задержится на Северном Кавказе... Вопрос о Восточном фронте и формировании там Всероссийской власти принимал все менее определенные формы... Совещательный характер Особого Совещания явно не мог устранить затруднений, вытекавших из отсутствия на территории правительственного аппарата... Наконец, обостренные отношения с Кубанью требовали полного и ясного юридического обоснования. Ген. Драгомиров приводил еще один мотив о необходимости «взять представительство общерусских интересов» — мотив, выдвинутый жизнью даже ранее, чем выступили на сцену все остальные вопросы политические и гражданского управления — экономический хаос: «Разделение юга России на самостоятельные области, ведущие сепаратную финансовую и таможенную политику, создало невыносимые условия, затруднявшие и ограничившие обмен произведений земли и промышленности, затруднившие даже почтовые и телеграфные сношения между отдельными областями и совершенно убившие общую и всем доступную систему кредита».

Эти обстоятельства оказали решающее влияние на дальнейшую судьбу образования власти.

Ген. Драгомиров поручил в частном порядке проф. К. Н. Соколову и В. А.

* С участием заинтересованных представителей ведомств.

Степанову составить проект государственного устройства, в результате чего появились несколько вариантов конституции. Эти варианты подвергались составителями многократным обсуждениям в среде местных представителей к.-д.-ской партии и после окончательного рассмотрения их в более тесной коллегии под руководством ген. Драгомирова и при участии, кроме составителей, В. Шульгина и ген. Лукомского в конце концов вылились в два проекта: 1) «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией» и 2) «Положение о Северо-Кавказском Союзе»... <...>

Я принял первое «положение»* с незначительными поправками.

В основу построения власти я считал необходимым положить следующие мысли:

1. Временная власть командования Добровольческой армии, преследуя общерусские интересы, не претендует, однако, на значение Всероссийской. Она распространяется лишь на освобождаемые армией территории.

2. Временная власть должна быть неограниченной, в виде единоличной диктатуры.

3. Кубань надлежит привлечь к объединению с Добровольческой армией на началах автономии не иначе, как путем соглашения.

4. Желательно привлечение к единению с Добровольческой армией на началах автономии и других, сложившихся уже новообразований Юга.

5. Окончательная победа над большевиками немаловажна без объединения всех армий Юга.

Насколько первое положение открывало возможность дальнейшего сложения противобольшевистских образований, настолько второе, составляя, бесспорно, нашу внутреннюю силу, вместе с тем до крайности затруднило или сделало невозможным осуществление широкого и прочного внешнего объединения.

Для ген. Алексеева (вначале), для меня и старших военных начальников вопрос о форме власти имел далеко не академическое значение. Мы все считали единоличную власть единственно возможной в условиях борьбы с многоликостью по форме, но сконцентрированной диктаторской властью Совета. Но, если бы мы и держались иного взгляда, то провести его в жизнь не смогли бы...

Единоличной диктатуре противопоставлялась трех- или многочленная директория. Конечно, ко а л и ц и о н н а я, ибо однородная — тем более военная — была бы нелепешим разбродом сил. Мы пережили уже в малом масштабе подобие такой директории зимой 1917—18 гг.**.

Ко мне неоднократно обращались впоследствии представители левой общности с предложениями «укрепить» мою власть пристройкой к ней двух лиц — «кадета и самого мирного социалиста». Это была идея, быть может, не лишённая известного теоретического обоснования, но тем не менее совершенно праздная, не считавшаяся вовсе с тогдашней психологией армии.

Армия, которая тогда беспрекословно исполняла веления главнокомандующего — в кратчайший срок и, во всяком случае, при первой же неудаче вышла бы из подчинения и свергла бы директорию.

21 сентября проект конституции был готов окончательно.

А 25-го окончил жизнь Верховный Руководитель Добровольческой армии, генерал Алексеев...

Я принял звание Главнокомандующего, объединив власть командования и управления.

Передо мной открывался новый путь, на котором судьба приуловила много радостных событий, возбуждавших надежду на близкое спасение страны, но еще более — тяжких, сокрушительных ударов.

Смерть Михаила Васильевича не была неожиданной. Тяжкая болезнь, тяготы Первого похода и огромная, непосильная работа, которую он вел последние годы, день за днем подтачивали его силы. На наших глазах догорал светильник его многотрудной жизни.

Еще в середине сентября он в кругу близких говорил о предстоящем своем переезде за Волгу, а 20-го, почувствовав приближение конца, он призвал ген. Драгомирова и передал ему хранившиеся при нем лично армейские суммы. «Этим актом, — говорит Драгомиров, — не сопровождавшимся никакими объяснениями, М. В. прорахнул навсегда не только с мыслью о поездке на Волгу, но и с жизнью... Остальные дни до 25-го были медленной агонией».

* «Временное положение об управлении областями, занимаемыми Добровольческой армией».

** Триумвират — Алексеев — Корнилов — Каледин. См. Т. II., гл. XVI.

Когда умер М. В., несчетные толпы народа пришли поклониться его праху, отдавая должную дань признания человеку, так много потрудившемуся для своей Родины. Глубокою скорбью отозвалась весть о смерти ген. Алексеева и в Добровольческой армии...

В годы великой смуты, когда люди меняли с непостижимою легкостью свой нравственный облик, взгляды, «ориентации», когда заблудившиеся или не в меру «скользкие» люди шли окольными, темными путями, он шагал твердой старческой поступью по прямой кремнистой дороге. Его имя было тем знаменем, которое привлекало людей самых разнообразных политических взглядов обаянием разума, честности и патриотизма.

Добровольческая армия 25 сентября отдала последний раз честь своему старому знамени*:

«Сегодня окончил свою — полную подвига, самоотвержения и страдания жизнь Генерал Михаил Васильевич Алексеев.

Семейные радости, душевный покой, все стороны личной жизни он принес в жертву служения Отчизне.

Тяжелая лямка строевого офицера, тяжелый труд и боевая деятельность офицера генерального штаба, огромная по нравственной ответственности работа фактического руководителя всеми вооруженными силами русского государства в Отечественную войну — вот его крестный путь. Путь, озаренный кристаллической честностью и горячей любовью к Родине — и великой, и растоптанной.

Когда не стало армии и гибла Русь, он первый поднял голос, кликнул клич русскому офицерству и русским людям.

Он отдал последние силы свои созданной его руками Добровольческой армии. Переноса и травлю, и непонимание, и тяжелые невзгоды страшного похода, сломившего его физические силы, он с верою в сердце и с любовью к своему де-тищу — шел с ним по тернистому пути к заветной цели спасения Родины.

Бог не судил ему увидеть рассвет.

Но он близок.

И решимость Добровольческой армии продолжать его жертвенный подвиг до конца — пусть будет дорогим венком на свежую могилу собирателя Русской Земли».

27 сентября тело почившего Верховного Руководителя армии было погребено в Екатеринодаре в усыпальнице Екатерининского собора среди могил младших его сподвижников, положивших свою жизнь за освобождение Родины.

Balaton — Lelle. Венгрия. 1923 г.

* Приказ армии № 1.

А. АВТОРХАНОВ

М е м у а р ы

ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ*

Грозный — Берлин

В предисловии ко второму изданию своей книги «Технология власти» я писал: «Выпускаю меня на волю, НКВД думал, что он использует меня как провокатора против чеченского народа; поэтому в обкоме партии мне торжественно сообщили, что я даже не исключался из партии за все эти пять лет моего сидения». Здесь я хочу раскрыть скобки, что сие означало. НКВД точно знал, что мы с организатором антисоветского восстания в горной Чечне Исраиловым школьные товарищи и близкие друзья. Знал НКВД и то, что после моего первого освобождения Исраилов приезжал ко мне с подарками. Вот теперь, освобождая меня второй раз, чекисты предложили мне поехать к Исраилову в двух ролях: в роли официального представителя правительства, чтобы уговорить Исраилова явиться добровольно к властям, и в роли негласного представителя НКВД, чтобы помочь агентам НКВД похитить его, если он откажется. К немалому удивлению чекистов, я немедленно принял предложение, имея на этот счет собственные планы. Я, несомненно, сделал тактическую ошибку, которая не могла не навести чекистов на размышления далеко не в мою пользу. После своего первого освобождения я узнал от многих ответственных работников, освобожденных после ареста Ежова, что почти каждый из них должен был давать подписку о сотрудничестве с НКВД, иначе чекисты угрожали ссылкой через «Особое совещание». Но давали такую подписку только после долгого сопротивления, а выйдя на волю, подавали в обком заявления, рассказывая, как следователи шантажировали их, бывших наркомов республики или секретарей райкомов партии, чтобы сделать их мелкими шпионами. Это «саморазоблачение» считалось, по чекистским законам, разглашением «государственной тайны» и уголовнонаказуемым деянием и соответственно каралось тю-

ремным заключением. Но ведь не посадишь обратно в тюрьму сотни «реабилитированных» людей из актива республики, которые выдали «тайну» не врагу, а своему обкому партии. Однако меня-то хотели сделать не мелким шпином, а провокатором НКВД по решению самого обкома и по мандату правительства. Мое спонтанное согласие стать им, вероятно, не согласовывалось с тем представлением, которое у чекистов сложилось обо мне за время моего сидения. Отсюда подозрение: не хочу ли я сам присоединиться к Исраилову или уйти к немцам? Иначе говоря, не хочу ли я перехитрить НКВД? Тогда чекисты решили проверить меня на воле путем ряда провокационных трюков. Стоит сказать несколько слов о двух из них.

О чекистах я знал теперь больше, чем знал о них прежде, и больше, чем они думали, что я о них знаю. Давным-давно прошли те времена, когда чекисты Держинского старались брать умом и фантазией, умело маскируя подлость под «культурность». Сталинские же чекисты были натуральные подлецы без масок, даже не старающиеся скрывать свою подлость. Я понимал: до того, как направить меня на выполнение «специального правительственного задания», меня должны много раз спровоцировать. Вспомнил я и нотацию чиновника НКВД Мицюка перед моим освобождением:

— Когда человек попадает сюда в третий раз, то он остается здесь навсегда. Смотрите, из-за того, что вы сидели у нас, националистическая контрреволюция постарается сделать из вас свое знамя. Да и немецкие агенты будут искать к вам дорогу.

И действительно — очень скоро заявился ко мне один «немец» из... нашего аула. Молодой человек лет двадцати, которого я совсем не знал, представился мне, сославшись на рекомендацию своего старшего брата, моего ровесника. Это была плохая рекомендация: о его старшем брате люди говорили, что он сотрудничает с НКВД. Молодой человек без всяких предисловий заявил мне, что его прислали ко мне тайные представители

* Окончание. Начало см. «Октябрь», № 8 с. г.

немецкого военного командования, которые хотели бы встретиться со мною, и назвал место встречи — у гор в сторону Старого-юрта, куда НКВД меня уже водил с группой чеченцев на расстрел. На мой удивленный вопрос, что хотят от меня немцы, молодой человек ответил с уверенностью артиста, отлично выучившего роль: «Они хотят согласовать с вами будущий состав чечено-ингушского правительства!»

Я от НКВД ожидал всего, но не столь наглой и примитивной провокации, ведь надо же считаться хотя бы со своим собственным лозунгом «враг хитер и коварен»! Если враг таков, то не побежит же он по наущению неизвестного ему юнца из чекистского логова прямо к немцам согласовывать состав будущего антисоветского правительства. Но беда ведь еще вот в чем — вы не можете сказать чекистам: я вижу вашу провокацию, оставьте меня в покое. Поэтому, еле скрывая внутреннюю злость на НКВД и на его нахального лазутчика, я ответил:

— Молодой человек, иди прямо отсюда же в НКВД и сообщи ему все, что ты мне сейчас говорил, если же ты этого не сделаешь, то я сделаю это сам, и тогда тебе будет хуже.

Больше «немцы» не приставали ко мне.

Вторая провокация была не умнее. Ко мне приехал один мой близкий родственник с письмом от... Израилова. Израилов писал, что он слышал о моем освобождении и ждет моего присоединения к нему. Почерк вполне мог сойти за израиловский, но не само письмо. Письменно повстанцы обращались только к властям, а сторонников вербовали через живую связь. Мой родственник был в отношении его связей с НКВД вне подозрений, да он и не знал, кто автор письма, которое доставил мне. Это письмо ему вручил его знакомый, односельчанин Израилова, бывший шофером НКВД! Я моего родственника тоже направил в НКВД, чтобы он отдал письмо по назначению — отправителю...

В первых числах мая 1942 года мне вручили повестку. Меня вызывали как свидетеля на заседание военного трибунала...

Когда из комнаты ожидания меня вызвали в зал заседания трибунала, перед моими глазами предстала картина, хотя и вызвавшая у меня совершенно естественный прилив чувства морального удовлетворения, но напомнившая мне еще раз о неиссякаемых криминальных возможностях Сталина, его вероломстве, его безграничной подлости даже по отношению к тем подлецам, на которых держалась его власть. В зале суда на скамье подсудимых я увидел весь аппарат ежовского НКВД во главе с Ивановым, Алексеевко, Леваком и Кураксиним. Их бледные, измученные лица свидетельствовали, что эти люди тоже прошли через пытки, каким сами подвергали свои жертвы. Они были в чекистских формах, но

без орденов и знаков различия (суд еще не состоялся, а их уже лишили чинов и орденов). После установления моей личности председатель трибунала (северокавказский трибунал войск НКВД) перешел к допросу по существу:

— Кого вы знаете из подсудимых?

Я назвал.

— Вам знакомо требование уголовного-процессуального кодекса РСФСР о запрещении насилия и угроз во время следственного процесса?

— Я имею о нем только общее представление.

— Так послушайте, свидетель, я вам прочту соответствующую статью УПК РСФСР: «Статья 136. Следователь не имеет права домогаться показания или сознания обвиняемого путем насилия и угроз». Теперь я вас спрашиваю, соблюдали ли ваши следователи требование этой статьи во время ваших допросов?

Такая неожиданно «дикая» постановка вопроса чекистским судьей против чекистских подсудимых на чекистском трибунале совершенно произвольно вызвала у меня ехидную улыбку, за что я заработал порицание судьи.

На повторный вопрос судьи я ответил, что требования статьи 136 УПК по отношению ко мне мои следователи не соблюдали.

Тогда последовал главный вопрос:

— Расскажите военному трибуналу, какие контрреволюционные, вредительские, террористические методы ведения следствия применяли к вам ваши следователи Иванов, Левак и Кураксин?

Я рассказал о пытках без чувства меры и возмущения, а потому, не вдаваясь в излишние подробности, упуская многие детали, ибо слишком хорошо знал цену всей этой судебной трагикомедии. Сталин просто убирал очередных «мавров», которые уже сделали свое дело. Об этом знал суд, знали подсудимые, знал и я, свидетель.

Всех подсудимых приговорили по ст. 58, пункты 7, 8 и 11 (вредительство, террор и участие в контрреволюционной организации) — одних к расстрелу, других к длительным срокам заключения в лагерях. Потом я узнал, что такие же закрытые процессы происходили над ежовцами и во всех других областях и республиках. Всех ежовцев обвиняли в том, что они создали в системе органов госбезопасности контрреволюционную террористическую организацию под руководством Ежова с целью уничтожения партийных, военных и хозяйственных кадров и таким образом собирались подготовить поражение СССР в случае войны. Сталин свою собственную вину в организации тотального террора в стране возложил на лояльнейшего исполнителя... Чтобы как-нибудь придать правдоподобие обвинению против ежовцев, что они свои злодеяния совершали без ведома Сталина, в тюрьме прекратили массовые пытки, многие дела пересматривались, возвращали уже осужденных и

находившихся в лагерях на переселения; ограниченное число людей, которым посчастливилось остаться в живых, даже выпустили на волю. Среди них был и я.

С моим вторым освобождением началась и моя вторая жизнь. Люди, выпустившие меня из тюрьмы, строили свои собственные планы в отношении меня, которые счастливо совпадали с моими заветными планами, конечно, не по целям, но по «маршруту». Узнал я также и то, почему мне так спешно вручили партбилет.

К началу 1942 года Исраилов и Шерипов договорились о координации действий обоих повстанческих отрядов, что привело к полному освобождению всей горной Чечено-Ингушетии. Советское правительство узнало через своих агентов, что оба руководителя восстания планируют расширение зоны восстания за пределы горной Чечено-Ингушетии в соседнюю горную Грузию и горный Дагестан, а то и на других соседей — Осетию, Кабардино-Балкарию и Карачай. Обеспокоенное этими тревожными сообщениями и ввиду явного роста антисоветских настроений среди населения соседней Чечено-Ингушетии, советское правительство решило принять более крутые меры. На место не справившихся со своими задачами войск НКВД в горы перебрасывались крупные армейские соединения. С закавказского и северокавказского фронтов сняли несколько дивизий и ввели в горы с обеих сторон — с юга и с севера. Заодно обком партии получил указание ЦК объявить всю чечено-ингушскую партийную организацию мобилизованной, и составленные из ее членов «боевые дружины» поставить под командование армии.

Бюро обкома партии созвало партийный актив республики, чтобы сообщить это решение ЦК.

К моему удивлению, я тоже получил пригласительный билет на этот актив. Каждого, без исключения, кто входил в зал, чекисты подвергали обыску: если кто имел оружие, тот должен был его сдать... Когда зал был полон и в президиуме появилось начальство, мы узнали, чем объяснялся обыск: рядом с первым секретарем обкома партии появился сам Берия. Открыв собрание, первый секретарь тут же предал ему слово.

Берия прямо заявил:

— Я обращаюсь к чеченским и ингушским коммунистам в этом зале и через них ко всему чечено-ингушскому народу: если в ближайшие недели в горах Чечено-Ингушетии не будет восстановлена Советская власть, то весь чечено-ингушский народ навсегда будет изгнан с кавказской земли.

Многие думали, что это только угроза. Не может же марксистское государство вводить «коллективную ответственность» за действия меньшинства народа (во всей горной Чечено-Ингушетии жило не более

25 процентов от общего чечено-ингушского населения республики). Я, наоборот, был убежден, что это будет сделано даже и в том случае, если в горах завтра же восстановится советская власть. Мстительность Сталина была легендарна, а о коварстве Берии на Кавказе знали больше, чем в Москве. Он мог угрожать принятием решения, которое на самом деле уже принято... Поздно вечером меня вместе с маленькой группой чеченских коммунистов пригласили на «приват-аудиенцию» к Берии в его салон-вагон на вокзале. Это был, собственно, не салон-вагон, а целый состав салон-вагонов — с зенитками на крышах, с пулеметами, вооруженной охраной. Принимал нас Берия каждого отдельно и каждому давал индивидуальное задание.

Я с Берией встречался второй раз. В первый раз я его видел, когда после XVII съезда в феврале 1934 года он создал в Москве группу из кавказцев — слушателей ИКП и Курсов марксизма при ЦК, чтобы собрать материалы в Военно-историческом архиве и Архиве Октябрьской революции для его работы по истории закавказских большевистских организаций. В эту группу был включен и я. Берия проинструктировал нас, за какие годы и что мы должны искать в архивах. Тогда он был только «царьком» Грузии, и ничто не говорило о том, что из него выйдет со временем второй диктатор Советского Союза...

Берия, которого я видел сейчас, был уже другим человеком, вторым «я» Сталина... Его первым вопросом ко мне был: как близко вы знаете Хасана Исраилова и Майербека Шерипова?

Я ответил, что обоих знаю хорошо с детства.

— Так вот. От имени Советского правительства я поручаю вам поехать к Исраилову и передать ему следующее: если он не сложит оружия в течение десяти дней после вашей встречи, то начнется наступление Красной Армии, которая снесет с лица земли все аулы и истребит все население. Если он подчинится этому требованию, то я гарантирую ему жизнь. Если же он не подчинится, то вы должны остаться там, войти в его полное доверие и искать возможности его ликвидации. В этом случае я вам гарантирую орден Ленина и высокий пост за выполнение специального задания правительства. Подробную инструкцию вам даст один из моих сотрудников.

Сотрудник Берии в соседнем вагоне (штаб его в основном состоял из грузин) подробно проинструктировал меня, как я должен себя вести в «лагере врага», назвал пароли для встреч с тамошними агентами НКВД, каналы связи с внешним миром. Словом, из меня сделали доподлинного лазутчика времен Шамилля...

Я говорил о своих собственных планах. План, собственно, был один: пробраться в горы и присоединиться к Исраилову. Как я уже рассказывал выше, я

принципиально был против восстания и при нашей встрече в 1940 году предупреждал Исраилова об этом, доказывая ему безнадежность такого предприятия без общего кризиса Советского Союза. Я связывал организацию освободительного движения в горах с созданием единого фронта с другими народами Кавказа. Вне этих факторов я считал всякие попытки провозгласить локальную «независимость» гибельным авантюризмом. Однако Исраилов сделал свои собственные выводы, изложенные в его «Декларации», которую он направил в обком в ответ на предложение восстановиться в партии. Этот документ я включил в свой Меморандум о геноциде над горцами Кавказа, который подал в 1948 году в ООН через английскую миссию при содействии бывшего советского полковника, профессора Лондонского университета Г. А. Токаева. Вот что писал Исраилов: «Уже двадцать лет, как Советская власть ведет войну против моего народа, уничтожая его по частям — то как кулаков и мулл, то как «бандитов» и «буржуазных националистов». Теперь я убедился, что война отныне ведется на истребление всего народа. Поэтому я решил встать во главе Освободительной войны моего народа. Я слишком хорошо понимаю, — писал Исраилов, — не только одной Чечено-Ингушетии, но даже и всему Северному Кавказу трудно будет освободиться от тяжелого ярма красного империализма, но фанатичная вера в справедливость и законная надежда на помощь остальных свободолюбивых народов Кавказа и всего мира вдохновляют меня на этот в ваших глазах дерзкий и бессмысленный, а по моему убеждению, единственно правильный, исторический шаг. Храбрые финны доказали, что великая рабовладельческая империя бессильна против маленького, но свободолюбивого народа. На Кавказе вы будете иметь вторую Финляндию, а за нами последуют другие угнетенные народы советской империи».

Я хорошо знал, что в начавшейся игре с НКВД на карту поставил собственную жизнь. Малейший промах с моей стороны — и игра кончится в его пользу еще до того, как я сделаю первый ход.

А первый ход означал: выйти из-под контроля НКВД. Однако в этой игре у меня было и преимущество, которое НКВД, вероятно, и в мыслях не допускал: оба его сексота, один по внешнему, другой по внутреннему наблюдению, явились ко мне, каждый в отдельности, и сообщили, что они приставлены ко мне, чтобы информировать НКВД о моем передвижении, встречах, разговорах. Внешнего наблюдателя я совсем не знал и поэтому сказал ему, что он честно должен исполнять возложенные на него обязанности; что же касается внутреннего наблюдателя, то я верил, что он не способен на предательство. Только угрожая арестом, его принудили дать подписку информировать НКВД о моих встречах,

разговорах, мыслях. Он говорил, что все будет писать в мою пользу, но знает, что готовится мой новый арест, поэтому мне лучше уехать в какую-нибудь далекую республику. Я его легко убедил, что если я и переселюсь куда-нибудь, хотя бы и на Колыму, это только ускорит мой арест, а вот если он примет мое предложение, то у меня есть шансы еще долго оставаться на воле. Он не задумываясь согласился. Тогда я начал диктовать ему почти ежедневные донесения в НКВД, в своей основной части — липовые, в своих деталях — дезинформационные, в бытовых мелочах — пикантные, с тем чтобы убедить НКВД, что он имеет дело не с врагом власти, а мещанином самой низкой пробы! Я убежден, что эти мои «доносы» на самого себя еще до сих пор лежат в моем личном деле в КГБ (я пишу об этом потому, что их мнимый автор умер, хотя я не хочу называть его имени — у него есть дети). Думаю, что эти «доносы» задали чекистам некоторые головоломные загадки, дезориентирующие их в отношении моих намерений на будущее...

НКВД не спешил с моей отправкой к Исраилову, а у меня связи с Исраиловым уже установились по тем каналам, о которых мы договорились после моего первого освобождения. По этим каналам я сообщил ему, как Берия обещал мне орден Ленина за его голову. По этому поводу он прислал мне стихи, достойные пера авторов «Письма турецкому султану», посвященные Берии. Но главное послание было другое: наш общий доверенный человек передал мне меморандум Временного народно-революционного правительства Чечено-Ингушетии на имя правительства Германии, в Берлин. Главное содержание меморандума сводилось к следующему:

1. Чечено-Ингушетия восстала, чтобы избавиться от тирании Сталина и освободиться от советского империализма для восстановления своей былой свободы и независимости;

2. мы ожидаем, что в ближайшее время к нам присоединится весь свободолюбивый Кавказ;

3. мы считаем, что враг Сталина — наш друг. Поэтому мы предлагаем Германии военно-политический союз против большевизма;

4. в ответ на это Германия, в свою очередь, признает независимость и территориальную целостность Кавказа.

В начале лета 1942 года Исраилов предложил мне пробраться к немцам и вручить им этот меморандум. Почти одновременно началось и немецкое наступление от Таганрога в сторону Ростова и Кавказа. Я сейчас же уехал из Грозного и перешел на нелегальное положение. Враг Сталина был нашим союзником, и у нас другого выбора не было: злополучная демократия и ее апостолы Рузвельт и Черчилль находились в объятиях Сталина, а мой народ — в его когтях. Должен ли был я помочь Сталину и Берии

совершить геноцид над моим народом из-за того, что их врагом был Гитлер? Конечно, с первой же встречи с гитлеровской администрацией я почувствовал, что нарвался на фальшивого союзника. Еще живет в Мюнхене адвокат из немецкого штаба, который на мое заявление и Меморандум Исраилова хладнокровно ответил: «Германия не нуждается в каких-либо союзниках внутри советской России. Мы и так дойдем до самой Индии». Потом выяснилось, что это была официальная точка зрения Берлина. Но что же мне было делать — не идти же обратно, к Сталину, с жалобой на политическое тупоумие Гитлера.

Ликвидируя Чечено-Ингушскую республику и депортируя ее народ в Среднюю Азию, советское правительство утверждало, что это делается потому, что чечено-ингушский народ во время войны сотрудничал с немцами, между тем все знают, что ноги немецкого солдата на чечено-ингушской земле вообще не было. Чечено-ингуши восстали еще в то время, когда Сталин согласно пакту Риббентропа — Молотова снабжал Гитлера стратегическим сырьем для ведения войны против Запада и, как оказалось, для ее подготовки против самого Советского Союза.

Вообще мой переход на сторону немцев мог для меня плохо кончиться. Со своими личными документами я привез, чтобы доказать немцам, что я враг советского режима, и копию приговора Верховного суда РСФСР по моему делу. Из него было видно, что я сидел в тюрьме НКВД пять лет, но из него видно было и другое: я был членом партии, занимал ответственные должности, окончил ИКП. Немцы решили, что я советский шпион с фальшивыми документами. Меня изолировали, и начались интенсивные допросы. Меня спасла моя группа, с которой я перешел линию фронта. Она убедила немцев в своих свидетельских показаниях, что их предположение ложное.

Вместе с моими друзьями мы подали немцам новый Меморандум — о разрешении издавать серию брошюр об антисоветских восстаниях в национальных областях Северного Кавказа. Немцы заинтересовались не столько этой идеей, сколько моей личностью и пригласили меня в штаб пропаганды Кавказского фронта. В этом штабе я встретился с князем Накашидзе. Это был европейски образованный человек, патриот Кавказа и последовательный враг большевизма. Он меня убедил в том, что если я хочу добиться понимания немцами кавказской проблемы, то должен поехать в Берлин и там доказывать свою правоту. Договорившись со своим шефом, он мне вручил так называемый «маршбэфель», бывший одновременно и железнодорожным билетом, и документом для получения пропусков.

17 января 1943 года я прибыл в Берлин и явился в учреждение, которое бы-

ло указано в «маршбэфеле». В Берлине я находился безотлучно до 12 апреля 1945 года с немецким паспортом для иностранцев («фремденпасс») на имя Авторханова. О моем пребывании и о характере моей деятельности в Германии во время войны советские пропагандисты сочинили несколько легенд, одна лживее другой. Вот отрывки из моей «биографии», напечатанной в газете «Неделя» (№ 6, 2—8 февраля 1981 г.):

«Авторханов Абдурахман Геназович... с высшим образованием... занимал до войны ряд «начальственных» должностей... Как участник антисоветской организации, протаскивавший в своих трудах националистические идеи, был арестован и осужден. Отсидел срок к началу войны и, попав на фронт в 1942 г., перешел на сторону гитлеровцев... Авторханов числился официальным сотрудником немецкой военно-морской разведки в звании обер-лейтенанта... Авторханов неоднократно премировался немцами и был награжден «Железным крестом»... До недавнего времени он преподавал в американской разведшколе в Гармиш-Партенкирхене. Будучи платным агентом ЦРУ, Авторханов ведет негласное наблюдение за рядом сотрудников «Свободы», а также за находящимися на Западе отщепенцами, с которыми он поддерживает контакты на базе «родства душ» и общеполитических убеждений».

Совершенно новыми в этом новом варианте моей биографии для меня были два «открытия» журналистов из «Недели»: в ранних советских писаниях я числился по штату гестапо и карательных отрядов СС, а теперь получил «повышение» и более «приличную работу» — чин обер-лейтенанта в военно-морской разведке да и орден «Железный крест», такой, как у Гитлера со времен первой мировой войны (какое дело лжецам, что «Железный крест» «унтерменшам» вообще не давали). Второе «открытие» еще более оригинальное: оказывается, на старости лет, будучи на пенсии, я не мог найти себе более полезного занятия, как бегать «платным агентом ЦРУ» за сотрудниками радиостанции «Свобода» и диссидентами из Советского Союза. О действительной причине злости на меня упомянуто вскользь: «Участвуя в деятельности многочисленных зарубежных антисоветских организаций, Авторханов написал и опубликовал большое количество статей и брошюр злобного, клеветнического характера, содержащих выпады против СССР и его миролюбивой политики». Одна намеренная ложь присутствует во всех моих чекистских «биографиях»: «Попав на фронт в 1942 г., перешел на сторону гитлеровцев». Я ни одного дня в армии не служил, на фронте не был. Поэтому перейти отсюда к немцам я не мог. Хотя при выпуске из ИКП приказом наркома обороны СССР Ворошилова в мае 1937 года мне было присвоено звание полкового комиссара,

но после освобождения из НКВД меня в армию не взяли.

Однако пора вернуться к хронологии и к тому, чем я в действительности занимался в Берлине. В моем «маршбейле» стояло название того учреждения на Александерплац, куда я должен был явиться (на русско-немецком жаргоне — «замельдоваться») по прибытии в Берлин. Это было очень оригинальное учреждение, в котором, как в библейском ковчеге, собралось всякой твари по паре: спасаясь от Сталина, здесь осели научные работники, писатели, журналисты, артисты, музыканты, художники, цирковые артисты — представители разных народов СССР. Деятели искусства находили себе применение, выезжая на гастроли в районы сосредоточения «остарбайтеров»; журналисты переводили для радио с немецкого на русский, с русского на национальные языки народов СССР новости, которые никогда не передавались; ученые писали книги, которые не издавались; художники писали натюрморты и батальные сцены, которые нигде не выставлялись. Зато все получали какую-то зарплату, продовольственные карточки и койку в общежитии. Учреждение возглавлял пожилой профессор, весьма симпатичный немец из Румынии...

Месяца два я аккуратно приходил на работу, но никакого задания не получал. Читал газеты, пил эрзац-кофе, иногда играл в шахматы с такими же бездельниками, как и я. Обедали тут же за углом, там вдоволь давали конину, мюшльн (ракушки), множество разных трав неизвестных мне названий, но некоторые и известные — шпинат, кольраби, кольрюбен (брюква), и все это безо всяких карточек. Один мой знакомый однажды пошутил: пока в море водится всякая дрянь, а на немецкой земле растут какие-либо травы, немец с голоду не помрет. Пива тоже было много — прямо из бочки, пенистого, но его крепость была издевательски мизерна — один или два градуса. Однако какой же все-таки у немцев порядок: все, что положено по карточкам, вы обязательно получите, и никаких очередей. Даже поездка дальнего следования ходила точно по расписанию, секунда в секунду. И это — несмотря на систематические воздушные бомбежки, которые только в начальной стадии имели целью военно-стратегические объекты. К концу войны доблестная демократия бомбила по системе «теппих» (ковер) все немецкие города, квартал за кварталом, район за районом, в том числе и те города, в которых не было никакой промышленности. Немецкие фронтовики, которые приезжали в Берлин в отпуск, спешили обратно на фронт, — так жутко было в немецком тылу. Я здесь не хочу вдаваться в рассуждения, нужен ли был этот террор против гражданского населения, чтобы заставить Гитлера капитулировать, но я, как тогдашний житель и очевидец бомбежек

Берлина и других городов Германии, свидетельствую: западные союзники Сталина действовали словно по лозунгу сталинского лауреата Ильи Эренбурга: «В Германии не виноваты собаки и неродившиеся дети». И, несмотря на весь этот ад или, может быть, именно поэтому, рядовой немец не ворчал, а выполнял свой долг так, как он его понимал.

Но здесь надо видеть разницу между жертвенностью немца и его преступным правительством, которое начало эту войну и по-зверски ее вело. Правительство Гитлера подвергло геноциду европейских евреев, а в лагерях советских военнопленных устроило искусственный голод, в результате которого погибло несколько миллионов человек, остальные были спасены генералом Власовым. Я имею в виду не только тех, которые записались в его армию, но и тех, которые остались в лагерях. Власов добился значительного улучшения как правового, так и материального положения этих несчастных людей, объявленных Сталиным «изменниками Родины». Я сказал, что снабжение немцев было нормальным для военного времени, но этого нельзя сказать о миллионах «остарбайтеров», главным образом девушек, которые жили в неблагоустроенных деревянных бараках и впроголодь, хотя и гораздо лучше, чем им пришлось жить потом в советских концлагерях.

Наконец, пришла и моя очередь заняться делом. Наш руководитель, немецко-румынский профессор, предложил мне написать исторический очерк на основании личного опыта: «Что я видел, слышал и читал за десять лет пребывания в партии и пять лет нахождения в тюрьме». Профессор сказал, что очерк ему заказал «Остфоршунг» («Востоковедение»). Он нужен только для внутреннего потребления. Срок мне дали шесть-семь месяцев. Я приступил к работе с большим интересом и к концу 1943 года сдал профессору объемистую рукопись под названием «Мои советские годы». Весьма строгие педанты из немецкой профессуры нашли мой очерк очень важным как «татзахенберихт» (фактическое сообщение) и предложили опубликовать его как материал для востоковедов. На это я не согласился, так как из очерка чекисты сразу могли бы установить личность его автора и никакой псевдоним тут меня не спас бы. Между тем профессору пришла мысль: все действие в очерке перенести с Кавказа в Туркестан, кавказцев переименовать в туркестанцев, Москву оставить как есть и, подписав псевдонимом, издать рукопись в виде книги. На эту операцию потребовалось еще месяца два. Когда я ожидал, что вот-вот получу первую корректуру, издательство разбомбили, погибли и рукопись, и набор. От всей этой затеи остались лишь мои черновые наброски, без которых очень трудно было бы писать настоящие воспоминания.

Этим не ограничивалась моя работа в

Берлине. Я сотрудничал во многих русских органах печати, иногда мои статьи появлялись и по-немецки. Все статьи я подписывал псевдонимом, но никогда, хотя бы две статьи подряд, не подписывал одним и тем же псевдонимом, так что не только чекистам, но и мне самому было бы сейчас трудно установить, где, что и под каким псевдонимом я печатал. А о чем же я писал? Совершенно о том же, о чем и сейчас.

Берлин был полезен мне в двух отношениях: во-первых, я мог исследовать и писать все, что я знаю и думаю о коммунистической идеологии и коммунистической системе властвования (то, что в Германии тоже существовала тоталитарная власть, только низшей формы, была не моя проблема, а немецкая); во-вторых, мне была доступна вся богатая — как немецкая, так и эмигрантская — литература довоенных лет (философская, историческая, социологическая), которая помогла мне преодолеть «узкие места» моего советского исторического образования. Я был в курсе мировой политики и хода войны. Читал местные и некоторые зарубежные газеты. По вечерам слушал новости и комментарии немецкой службы Би-Би-Си (это каралось законом, но я ни разу не попался). Впервые из передач Би-Би-Си я узнал и о таких абсолютно невероятных, по моим понятиям, вещах: оказывается, сейчас же после начала войны Черчилль и Рузвельт заявили о безусловной поддержке Сталина против Гитлера, которой Сталин даже не просил. В июле 1941 года Рузвельт направил в Москву своего специального помощника Гопкинса с миссией предложить Сталину все, что ему нужно, за ним последовали Черчилль, Иден, Криппс с таким же предложением. Правда, у них тоже была одна просьба к Сталину: дать немного свободы религии, хотя бы на бумаге!

О причинах обозначившейся катастрофы Германии нечего много рассуждать. Основные причины были ясны уже тогда: античеловеческая практика расизма в тылу Германии и в завоеванных ею странах, с одной стороны, и дремучее тупоумие в политической стратегии ведения войны, с другой. Войну, стратегически близкую к выигрышу уже в октябре 1941 года, Гитлер политически проиграл сразу после того, когда выяснилось, что война ведется не на уничтожение большевизма и за освобождение народов СССР из-под его ига, а за их превращение в колониальных рабов «третьего рейха». Но даже и в этом случае у Германии были шансы уничтожить Сталина, если бы Сталин не пользовался безусловной поддержкой Америки и Англии. Близорукая демократия упустила уникальный в истории шанс попасть прямо с панихиды по Гитлеру на похороны Сталина. Насколько эта демократия была ослеплена политически и загипнотизирована психологически Сталиным, показали две конференции «Ве-

ликих трех» в Тегеране 28 ноября — 1 декабря 1943 года и в Ялте 4—11 февраля 1945 года. Несмотря на исключительную сверхсекретность решений обеих конференций (изданы ведь были только краткие коммюнике), немецкая печать была хорошо информирована, но все, что немцы писали, считалось демагогией доктора Геббельса — настолько невероятным казалось, чтобы западные союзники отдали во власть Сталина всю Восточную Европу. Увы, конец войны доказал, что все это так и было.

Эти встречи назывались встречами «Великих трех», а на деле они были встречами одного великого и двух карликов. Умный во внутренней политике, Рузвельт был невинным младенцем в понимании большевизма и криминальной природы Сталина, а Черчилль, прожженный макиавеллист, понимал и то и другое, но понимал «по-британски», то есть как сохранить Британскую империю от развала при помощи Сталина, подарив ему за это полдюжины чужих государств в Восточной Европе, в том числе и Польшу, из-за которой Англия, собственно, и объявила войну Германии. Зато Сталин отлично изучил и натуру своих партнеров, и жизненные интересы их государств (один наш профессор в ИКП рассказывал, как он и его коллеги неделями готовили Сталина к встрече с министром иностранных дел Англии Иденом в 1935 году, а Иден потом признавался, что коммуникации Британской империи Сталин знает лучше, чем он сам). Хорошо готовился он и к своей первой встрече с союзниками в Тегеране. Для такой подготовки исключительную психологическую роль сыграл выдающийся трюк Сталина, которого никто не ожидал: Сталин «распустил» Коминтерн. Одним росчерком пера он освободил Рузвельта от давления американской антикоммунистической общественности и заодно показал всему миру, будто бы он, Сталин, окончательно отказался от ленинской стратегии «мировой революции».

Историки и политики приписывают европейскую трагедию исключительно Ялтинской конференции, тогда как все началось с Тегерана. Прежде всего о сроках обеих конференций: кардинальная ошибка западных союзников заключалась в том, что сроки и место конференции диктовал им Сталин. Если они вообще хотели связать Сталина какими-либо условиями послевоенного устройства Европы, то первую конференцию надо было созвать, когда Гитлер триумфальным маршем двигался к Москве, когда Кремль открыто заявлял народу, что существование советского государства находится под угрозой, а сам Сталин в панике укрывлся на своей подмосковной даче в Кунцеве. Теперь же, после выигрыша Красной Армией трех битв глубокого стратегического значения (Московской, Сталинградской и Курской), Сталин был уже «на боевом ко-

не», как льстиво выразился о нем Черчилль произнося тост в его адрес. Теперь он мог легко диктовать свои условия Рузвельту и Черчиллю, тем более что западные союзники и в мыслях не допускали, что они все еще могут оказать на него давление, пугая хотя бы сепаратным миром с Германией вроде того, который заключил Ленин во время первой мировой войны, имея тех же союзников.

Соответствующими были и решения Тегеранской конференции. Западные союзники признали за Сталиным территорию той части довоенной Польши, которая ему досталась в результате раздела Польши между ним и Гитлером, добавив к этому еще Кенигсберг и Мемель. Что касается самой национальной Польши, то ее фактически перевели из бывшей сферы «государственных интересов Германии» (как Польша была обозначена на советской географической карте) в сферу государственных интересов Советского Союза. Сталин только дал пустые обещания провести в Польше свободные выборы и не строить там коммунизм (Сталин: «Для Польши коммунизм не подходит, поляки — индивидуалисты и националисты»), но отказался включить в свой «Люблинский комитет» поляков из Лондона. Однако Сталину одной Польши было мало. Поэтому Черчилль, как он рассказывает в своих воспоминаниях, во время заседания передал Сталину записку на клочке бумаги с предложением, как разделить между СССР и Англией Юго-Восточную Европу, которое Сталин с небольшой корректировкой принял. Советскому Союзу достаются: 1) Румыния на 90 процентов (остающиеся проценты — Англии и др.); 2) Болгария — на 90 процентов; 3) Венгрия на 75 процентов; 4) Югославия на 50 процентов; 5) Греция на 10 процентов (на 90 процентов — Англии). Сталин на записке поставил знак согласия. Рузвельт обосновывал политику одаривания Сталина чужими государствами следующей оригинальной философией: «Если я Сталину дам все, что в моей власти, не требуя от него за это ничего, тогда он не прибегнет к аннексиям и будет действовать на благо демократии и мира во всем мире», а на Ялтинской конференции Рузвельт еще добавил: «Дядя Джо (Сталин) мне очень нравится, думаю, что я ему тоже нравлюсь». (Сталин делал все, чтобы укрепить его в этом заблуждении: когда Рузвельт сказал, что он сионист, Сталин заметил: «Я тоже».) На Тегеранской конференции было решено открыть в мае 1944 года «второй фронт» против Германии на Западе (план «Оверлорд»). Сталин тоже сделал уступки: 1) согласился на создание ООН (зарезервировав за собой три места вместо полагающегося одного); 2) согласился объявить войну Японии (зарезервировав за собою права аннексировать японские (Курильские острова, Южный Сахалин) и китайские территории

(Дайрен), осуществлять фактический контроль над Манчжурией и присвоить себе КВЖД, которую до войны он продал Японии. Однако Сталин отверг планы Рузвельта и Черчилля разбить Германию на пять государств под контролем ООН (Рузвельт) или создать «Дунайскую федерацию» с включением в нее всех южногерманских провинций (Черчилль). Отвел Сталин и идиотский план Моргентау — превратить Германию в аграрное государство. Но и тут Сталин преследовал политику дальнего прицела — со временем большевизировать всю Германию, ибо, как завещал Ленин, «русский серп и германский молот победят весь мир» (правда, с «серпом» до сих пор ничего не выходит).

Ялтинская конференция завершила торг судьбами народов Европы. Ей предшествовали длинные переговоры о месте конференции. Сталин был готов встречаться только на той территории, на которую распространяется его власть (ведь и в Персии тогда стояла Красная Армия). Черчилль писал потом, что, если даже искать десять лет, нельзя было бы найти худшего места для конференции, чем Ялта... Рузвельт, декларировавший в «Атлантической хартии» пресловутые «четыре свободы» для всех малых и больших народов, заседал со Сталиным на территории малого народа, который Сталин за год до этого поголовно депортировал в Среднюю Азию, — на исконной территории крымских татар. Но этот факт ему, вероятно, не был известен, да едва ли известие об этом его и тронуло бы. То же самое надо сказать и о Черчилле. Когда шеф его военной миссии в партизанском штабе Тито генерал Маклин однажды сказал ему, что Тито собирается после войны превратить Югославию в коммунистическое государство, то Черчилль ответил: а почему вас это беспокоит, вы же не собираетесь жить в Югославии после войны.

Никаких формальных соглашений в Ялте заключено не было, не велось также и настоящие протоколы. Соглашения были больше устные. То, что давалось Сталину, им уже было взято. Сталин еще раз обещал провести в Польше и других завоеванных им странах свободные выборы. И провел их под руководством своей политической полиции и местных коммунистов. Германию решили разделить на четыре зоны. Постановили создать ООН. Сталин согласился, вероломно нарушив свой договор с Японией 1941 года о нейтралитете, вступить в войну с Японией через два-три месяца после победы над Германией. Сталин потребовал, и союзники согласились, что судьбы мира и народов отныне будут решать только три державы: СССР, США и Англия. Когда Рузвельт и Черчилль в Ялте в своих тостах хотели быть более снисходительными в отношении малых народов, Сталин в ответном тосте сказал «Югославия, Албания

и им подобные малые страны не имеют права сидеть за этим столом. Или вы хотите дать Албании такой же статус, как Америке... Мы втроем должны обеспечить сохранение мира». В другом месте Сталин сказал: «Я никогда не допущу, чтобы действия какой-либо великой державы подлежали суду малых держав». Вот таково подлинное лицо советского великодержавного империализма, который стал «большим братом» за счет поглощения «малых братьев». Удивительная легкость победы Сталина над союзниками объяснялась еще и его хорошей осведомленностью о том, что делается в главных штабах этих союзников, — у Рузвельта координатором всей его внешней политики был советский шпион Алгер Хисс (он получил только пять лет), у англичан на ответственных правительственных и разведывательных постах оказалось четыре советских шпиона — Маклин, Бёрджес. Блонт и сам заместитель шефа английской разведки Ким Филби, позже учитель Юрия Андропова по западным делам.

Кончилась война. Выполняя свои обещания о свободных выборах, Сталин провел их в Польше в 1947 году. Результат: коммунисты получили 93,3 процента, 6,7 процента получила крестьянская партия. Вопреки «пессимизму» Сталина, Польша стала коммунистической. Но так как сам Сталин хорошо знал цену такому коммунизму, то он поставил политическую полицию и польскую армию под прямой контроль Москвы, назначив во главе их советских генералов. Говорят, что когда только что назначенный военным министром Польши советский маршал Рокоссовский пожаловался Сталину, что он не хотел бы надевать польскую форму, то Сталин ответил ему: «Мне легче надеть на тебя одно польскую форму, чем на всю польскую армию — советскую!»

Вернусь к воспоминаниям.

В Берлине я познакомился со многими представителями мусульманской, кавказской и русской эмиграций. Почти у всех были свои «национальные комитеты» и свои национальные формирования — так называемые «восточные легионы», созданные немцами из бывших военнопленных разных народов СССР. Эти «легионы» входили в состав вермахта как восточные добровольческие войска. «Национальные комитеты» никакого влияния на них не имели. «Национальные комитеты» упорно добивались, чтобы Германия официально заявила, что она признает право народов СССР на независимость и, соответственно, предоставит председателям «комитетов» дипломатический статус послов, аккредитованных при немецком правительстве. Гитлер об этом и слышать не хотел и в отличие от Сталина был честен: он не обещал того, чего не собирался делать. Поэтому он, хотя и терпел «национальные комитеты», но отдал их в ведение «Восточного министерства»

Розенберга, прочно закрыв их представителям доступ к «национальным легионам». Ведущие представители кавказских, как, впрочем, и других эмигрантских политических организаций, отказались по этой причине сотрудничать с немецким правительством. Так поступили и два ведущих лидера народов Северного Кавказа из двух конкурирующих национально-политических организаций — группа Саид-бека Шамиля (внука имама Шамиля), имевшая до войны резиденцию в Варшаве и издававшая журнал «Северный Кавказ» (главный редактор Барасби Байтуган), и группа, возглавляемая Гайдаром Бамматом, бывшим министром иностранных дел независимой Республики Северного Кавказа 1918—1919 годов (резиденция этой группы находилась в Париже; вместе с другими кавказцами — грузинами, армянами и азербайджанцами — группа Баммата издавала там общекавказский журнал «Кавказ»). Те и другие выдвигали своей программной целью создание Кавказской федерации. Когда лидеры Северного Кавказа отказались от сотрудничества с Германией, была создана третья группа — «Северокавказское национальное единение» во главе с Алиханом Кантемиром (бывшим послом Республики Северного Кавказа в мусаватистском Азербайджане) и Ахметом-Наби Мамомой (бывшим руководителем Аварского округа Республики Северного Кавказа). Эта группа создала в Берлине «Северокавказский национальный комитет», который считал своими важнейшими задачами: во-первых, освободить из лагерей военнопленных всех северокавказцев, а во-вторых, проповедовать и дальше идею национальной независимости и добиваться ее признания Германией. Первую задачу этот комитет выполнил — тысячи северокавказцев были спасены от неминуемой смерти в лагерях военнопленных и освобождены оттуда; успехи по осуществлению второй задачи свелись лишь к многочисленным меморандумам, которые никто не читал, а если и читал, то тут же выбрасывал в мусорный ящик.

В январе 1943 года меня ввели в состав Северокавказского национального комитета. Кроме Кантемира (Осетия), Магома (Дагестан), в него входили бывшие генералы Русской императорской армии Султан Келеч Гирей (Черкесия) и Улагай (Адыгей), бывший офицер французского иностранного легиона Дайдаш Тукаев (Чечня), Албагачиев (Ингушетия), Муратханов (Дагестан), Байтуган (Осетия). Жили в Германии и старые национальные деятели Северного Кавказа — Васангирей Джабаги (ингуш, бывший председатель Северокавказского парламента), профессор Айтек Намиток (черкес), Ибрагим Чуликов (чеченец, бывший председатель Чеченского национального комитета при правителе Чечни генерале-от-артиллерии Эрнсхане Алиеве), генерал Бичерахов (осетин), — они

не входили в комитет, но я с ними часто встречался, и эти встречи, видимо, были взаимно полезны: они мне рассказывали о национально-политических движениях периода революции и гражданской войны на Кавказе, а я им — историю советского режима. Там же я познакомился с Кабарда Тамби, из кабардинской княжеской семьи, который после войны возглавил устройство и эмиграцию за океан северокавказцев.

Наиболее резко гитлеровское правительство демонстрировало свою враждебность к идее свободы и независимости народов в отношении тех, кто от слов переходил к делу. Вот два примера.

В первые дни войны украинские националисты Бандеры провозгласили независимость Украины, создали во Львове украинское национальное правительство с антибольшевистской программой и предложили Германии военно-политический союз. Гитлер арестовал это правительство во главе со Стецко. Лидеры российских солидаристов (НТС), которые проповедовали антибольшевистскую и антинацистскую программу «третьей силы» под знаменем сохранения независимой России, тоже были арестованы (Байдалаков, Поремский, Романов, Глеб Рар, Околович и другие). Было много случаев преследования и представителей других народов за такие же действия. Конечно, после всего сказанного встает вопрос: почему же тогда и русские, и националы искали сотрудничества с Германией? Философия антибольшевиков в этом вопросе известна всем: «Хоть с дьяволом, но против Сталина» и плюс обоснованная надежда — перехитрить ослабленного в войне Гитлера и провозгласить свою независимость против его воли. Такова была цель и власовского движения. Я с А. А. Власовым встречался до того, как он стал во главе Русской освободительной армии (РОА). Это было в начале 1943 года в ОКВ (Oberkommando der Wehrmacht), где нас познакомил капитан фон Гроте (фон Гроте родился в России и в первую мировую войну служил адъютантом командира Ингушского полка в составе Туземной, или, как ее иначе называли, Дикой дивизии, которой командовал брат императора — Великий князь Михаил Александрович). Потом мы встретились дважды в русском ресторане «Медведь» и немецком «Фатерлянде». Власов был редкий советский генерал с высоко развитым чувством критического политического мышления. В политическом прошлом у меня с ним было много общего — в партию мы оба вступили в одном и том же году (1927), во время оппозиций держались «генеральной линии», во время чистки были сами «оппозиционерами», правда, только в мыслях, оба считали, что Советская власть сама по себе хороша, но ее опоганил Сталин. Были у нас и общие знакомые из бывших выпускников ИКП, которые работали по линии политпарата в армии. Власов был выдающимся дипломатом (недаром

он был и на военно-дипломатической работе в Китае). Но немцы его слишком поздно «открыли», когда война уже практически была проиграна... Единственно, что удалось Власову, и это останется его исторической заслугой, — он спас от верной гибели миллионы советских военнопленных и своей борьбой засвидетельствовал перед историей, что, кроме России сталинской, есть еще Россия национальная, антисталинская.

Власов был не только дипломатом, но и мужественным человеком. Он не согласился создать учредительный съезд своего движения в немецкой столице — в Берлине, а настоял на том, чтобы создать его в древнеславянской столице — в Праге. Он ввел в свою декларацию пункт о праве народов СССР на национальное самоопределение и на независимость, но отказался включить в нее пункт против евреев.

Ко мне обращались с предложением войти в состав Комитета освобождения народов России (КОНР), созданного в Праге (от Северного Кавказа туда вошли профессор Цаголов — осетин и Сижаж — кабардинец), но я считал, что такой комитет должен быть создан на другой основе и в иной форме и не по персональному признаку, а по договору между собой независимых национально-политических организаций. К сожалению, даже для Власова оказалось невозможным создать такой комитет, да и немцы противодействовали этому.

К власовскому движению среди самой русской эмиграции было разное отношение. Крайне правые и крайне левые осуждали его даже после войны, пока не выступили в его защиту Д. Ю. Далин и Б. И. Николаевский. В западной печати господствовала советская концепция о «предателе» Власове.

В отношении как к РОА генерала Власова, так и «национальным легионам» историк А. Некрич, правда, будучи еще в СССР, написал следующее: «Те, кто поднял оружие против своей родины... ренегаты и предатели своих собственных народов». (А. Nekrich, *The punished peoples Norton, New York, 1977, p. 9*.) От этой оценки А. Некрич отказался в своей новой работе — см. «Утопия у власти», т. II (Лондон, 1982).

Здесь возникает принципиальный, исторический и политический важности вопрос: правомерна ли борьба против тоталитарного, деспотического режима в собственной стране, если страна находится в войне с другим государством? Послевоенная Германия ответила на этот вопрос положительно — отсюда ежегодные траурные собрания, посвященные жертвам заговора 1944 года против Гитлера, отсюда же и выдвижение в руководство новой Германии тех, «кто поднял оружие против своей родины» (самые известные примеры: майор норвежской армии Вилли Брандт из социалистов, немецкий комментатор Би-Би-Си барон Гуттенберг из христианских демок-

ратов, эмигрантский публицист Герберт Венер из коммунистов).

В двух войнах с той же Германией двое русских ответили на поставленный вопрос тоже положительно: Ленин и Власов.

В ноябре 1914 года, через четыре месяца после начала войны, Ленин писал в «Манифесте ЦК РСДРП»:

«Для нас, русских с.д., не может подлежать сомнению, что... наименьшим злом было бы поражение царской монархии» («КПСС в резолюциях...», ч. 1, 1954, с. 323).

Через семь месяцев, когда, разбив две русские армии в Восточной Пруссии, немцы через Польшу двинулись к этническим границам России, Ленин писал в резолюции конференции своих зарубежных организаций:

«Больше чем когда бы то ни было верны теперь слова «Коммунистического Манифеста», что «рабочие не имеют отечества»... Победа России влечет за собою усиление реакции внутри страны... В силу этого поражение России при всех условиях представляется наименьшим злом» (там же, сс. 326, 329).

Значит, для Ленина и большевиков Россия не была «Родиной», и они «при всех условиях» стояли за ее поражение и активно боролись за это — хотя Россия 1914 года Николая II представляла собой сверхдемократию по сравнению с Россией 1941 года (ведь большевистские газеты, журналы, книги выходили в России легально, а депутаты всех политических партий, в том числе и большевики, сидели в Государственной думе).

Через 27 лет началась вторая война с Германией — после того как ученик Ленина Сталин разделил с Гитлером Польшу, захватил прибалтийские страны, аннексировал части Финляндии и Румынии. Началась она в условиях, когда в России был не просто реакционный, а тиранический режим беспрецедентной в истории инквизиции. К началу этой войны Сталин уже успел:

1) по его же собственному признанию в беседе с Черчиллем, — уничтожить во время коллективизации около десяти миллионов крестьян как «кулаков»;

2) уморить искусственным голодом в 1931—1932 годах около пяти-шести миллионов украинцев и столько же туркестанцев;

3) убить, искалечить и загнать в концлагеря в 1937—1939 годах, во время ежовщины-бериевщины, около восьми — десяти миллионов человек...

Вот такова была обстановка, когда генерал Власов пришел к выводу: только поражение сталинской России и заключение почетного мира с Германией спасет свободную, независимую Россию от сталинской инквизиции, а весь мир от коммунизма. Спрашивается: почему же тогда Ленин не изменник, а Власов изменник?

Сталин стоял у Одера, на подступах к

Берлину, его башибузуки из Смерша почти свободно орудовали в Берлине, и перспектива попасть в их руки в третий раз означала верную смерть. Я решил уехать из Берлина.

Гибель «третьего рейха» застала меня на пути к кавказским беженцам в северной Италии в какой-то альпийской деревушке. Там я настиг и большую группу наших кавказцев. Дальше движения поездов не было — разбомбили железнодорожные пути. Наши беженцы тем временем спустились с итальянских гор в Австрию и обосновались в долине реки Дравы под Лиенцем. Тут же рядом расположились и казаки-беженцы. Долина Дравы стала для них «долиной смерти». Английское правительство Черчилля — Идена выдало Сталину на растерзание десятки тысяч казаков и горцев с семьями, а тех, кто сопротивлялся или пытался бежать в горы, тут же пристреливали. Это преступление Англии история уже занесла в анналы преступлений гитлеровско-сталинского класса. В той массовой трагедии сыграли свою роль как обман англичан, так и самообман беженцев. Руководители беженских масс — со стороны казаков генерал Краснов, со стороны горцев — генерал Султан Гирей Клыч — поверили честному слову английского командования, что их совместно со всеми офицерами приглашают в штаб командования для переговоров о дальнейшей судьбе беженцев, а повезли их прямо к Советам и выдали на убийство Сталину. Та же судьба постигла Власова и его штаб.

У нашей небольшой кавказской группы в Альпах тоже была своя трагическая судьба. Еще не зная о происшедшем в «долине смерти» под Лиенцем, мы устроили совещание группы, чтобы решить, как быть дальше. В совещании участвовали члены Северокавказского национального комитета — его председатель Магома, Албагачиев, майор Калмук, из тех, кто не входил в состав комитета — генерал Бичерахов, я (я вышел из комитета еще в 1944 году), затем несколько армянских деятелей во главе с бывшим командиром Армянского легиона полковником Саркисяном. Обсуждались два предложения — создать общий Кавказский комитет и от его имени подать американскому командованию Меморандум о том, что Кавказ хочет заключить с Америкой военно-политический союз и воевать с большевизмом (Магома, Саркисян), и мое: сделать себе фальшивые документы и немедленно расходиться по одному, по два человека. Генерал Бичерахов долго колебался между этими двумя предложениями. Каковы были мотивы первого? Те же самые, что и у Краснова, Султана Гирей Клыча, Власова: столкновение между коммунизмом и демократией неизбежно, поэтому демократии надо предложить свои услуги. Я единственный в группе был в курсе текущих событий. Правда, в Германии и Австрии газеты тогда не выходили, а

иностранцы сюда не доходили, но зато я систематически слушал передачи Би-Би-Си на немецком языке, в которых исторические заслуги Советского Союза и величие Сталина в победе над Германией превозносились до небес. Такими же были американские комментарии, которые цитировались в этих передачах. Английское радио на немецком языке подготавлило людей не к конфронтации с коммунизмом, а к кооперации с ним как с русской формой западной демократии. Если бы Запад думал повернуть оружие к концу войны против Сталина, то он принял бы предложение нового рейхсканцлера гросс-адмирала фон Деница о заключении мира с Западом и продолжении войны против Сталина. Америка и Англия ответили повторением старого требования «безусловной капитуляции Германии» как перед западными державами, так и перед СССР. Да, верно, говорил я, столкновения и конфликты между Западом и Востоком неизбежны, но не по инициативе Запада, а по вине Сталина. И это будет не сейчас, а через несколько лет, когда Запад сам, на собственном опыте, убедится в неограниченности аппетита Сталина на путях к мировому господству. Поэтому я был против обращения в штаб американской армии. Большинство голосов собрание отвергло мои доводы и послало человека в американский батальон, который стоял в Цель-ам-Зее, с сообщением, что кавказские генералы и политики вместе с американцами хотят освободить Кавказ от большевизма. Я тут же порвал свой немецкий паспорт (в нем стояла моя подлинная фамилия — Авторханов) и составил себе «справку» на фальшивое имя за подписью комитета, что я паспорт потерял. В тот же день примчались на джипах американские офицеры. Они сообщили: большие политические вопросы у них решаются в штабе дивизии, который стоит в Зальцбурге. Надо поехать туда. Через час руководители Комитета Магома, генерал Бичерахов, полковник Саркисян, майор Калмук и лейтенант Магомед Абдулкадыров уехали вместе с американцами. Через дня три мы получили от Ахмет-Наби Магомы записку, которая начиналась словами: «Молитесь за нас, мы сидим в американской тюрьме!» Магома и Бичерахов отсидели по два года, а Саркисяна выдали Советам.

Годы 1945—1948 были годами большой охоты англо-американо-советских борзых за теми, кого американцы нарекли курезным именем «displaced persons» — «ди-пи» («перемещенные лица»). Не «беженцы» и не «эмигранты», а «перемещенцы», которые, согласно Ялтинскому соглашению, должны вернуться туда, откуда их «переместили», — в СССР. Людей выдавали целыми лагерями. Никакие доводы, что их никто не «перемещал», а они сами бежали от Сталина и поэтому они политические беженцы и дома им грозит верная смерть, — во внимание не принимались. Притчей во языцех

стал диалог между американским чиновником, агитировавшим «ди-пи» добровольно вернуться на родину, и одним из этих «ди-пи»:

— Сталин — бандит, и в его империю я не вернусь, — сказал «ди-пи».

Чиновник, походя отвесив ему пощечину за оскорбление «главы дружественной державы», ответил:

— Уезжайте домой, и если вам Сталин не нравится, то выбирайте себе другого человека!

В этой были или небылице приблизительно воспроизведено понимание политической природы «советской демократии» средним американцем во время войны и сейчас же после нее. Не лучше обстояло дело и на верхах американского правительства, как это показали конференции в Тегеране и Ялте. Уверенность в советской добропорядочности у американцев была так велика, что Рузвельт даже собирался после войны очень скоро увести свою армию из Европы. Когда Сталин не без задней мысли спросил Рузвельта, сколько времени американская армия будет находиться в Европе, то президент ответил: «Максимум два года». Но вот война кончилась. При других обстоятельствах очень осторожный и терпеливый, Сталин в послевоенной Европе проявил опрометчивую спешку и крайнюю нетерпимость: он форсирует большевизацию Восточной Европы; он не хочет уходить из Персии; он предъявляет претензии на турецкие земли и на контроль в районе проливов; он хочет установить контроль над Ливией, пользуясь уходом отсюда Италии; он поддерживает гражданскую войну коммунистов в Греции; он устраивает берлинскую блокаду — все это решительно отрезвило американцев.

После войны я узнал и о подробностях трагической судьбы своего народа. Ограничусь здесь лишь некоторыми справками и свидетельствами.

15 января 1939 года в газете «Известия» было опубликовано следующее сообщение ТАСС: «Пятилетие Чечено-Ингушетии», Грозный, 14 января (ТАСС). Пять лет тому назад, 13 января 1934 года, две народности Кавказа — чеченцы и ингуши, родственные по своему языку, культуре и быту, объединились в одну автономную Чечено-Ингушскую область. 5 декабря 1936 года область была преобразована в Автономную советскую социалистическую республику. История Чечено-Ингушетии — это десятилетия кровавой борьбы свободолюбивого народа против колонизаторов...»

23 февраля 1944 года, т. е. ровно через пять лет после этого сообщения ТАСС, в течение буквально двух-трех часов, данных на сборы, поголовно все чеченцы и ингуши Чечено-Ингушской республики арестовываются и начинается их погрузка в арестантские эшелоны для отправки в неизвестном направлении. Еще через два года и четыре месяца — 25 июня 1946 года — в тех же «Извес-

тиях» был опубликован Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О ликвидации Чечено-Ингушской советской республики и выселении ее населения». Указ гласит: «Многие из чеченцев и ингушей, подстрекаемые немецкими агентами, присоединились добровольно к организованным немцами формированиям и вместе с немецкими вооруженными силами выступали с оружием в руках против Красной Армии».

Официальный мотив уничтожения моего народа — коллаборационизм с немцами — был рассчитан на невежество советских людей и на неосведомленность Запада. 1) Как уже говорилось, во время второй мировой войны даже ноги немецкого солдата ни разу не было на территории Чечено-Ингушской республики. 2) Присоединяться к немецким формированиям чеченцы и ингуши и физически не могли, так как на Чечено-Ингушетию не распространялся закон об обязательной военной службе. Частичная мобилизация во время советско-финской войны была отменена уже в начале войны немецко-советской, с освобождением от службы в Красной Армии всех чеченцев и ингушей (приказ по главному командованию Красной Армии от февраля 1942-го года мотивировал это освобождение тем, что чеченцы и ингуши по религиозным убеждениям отказываются есть свинину).

Ключ же к истинному мотиву указа Верховного Совета РСФСР о выселении чеченцев и ингушей заложен в вышецитированном нами первом советском документе, а именно: «История Чечено-Ингушетии — это десятилетия кровавой борьбы свободолюбивого народа против колонизаторов».

По свидетельству очевидцев, часть чечено-ингушского народа была уничтожена на месте (группами расстреляна), а выселили, главным образом, женщин, детей и тех из мужчин, в лояльности которых не было сомнения даже у НКВД. Женщинам разрешили забрать только ручной багаж. Ужасная трагедия продолжалась и в пути. Погруженные в товарные вагоны люди не получали сутками не только пищи, но и воды. Так как путешествие продолжалось неделями и даже месяцами при отсутствии какой-либо медицинской помощи в переполненных вагонах, то начались массовые заболевания. По единодушному свидетельству уцелевших, среди депортированных уже в пути вспыхнул тиф, который скопил не менее 50 процентов выселенцев...

Совершенно такая же расправа была учинена над другими северокавказцами — балкарцами и карачаевцами, а также над калмыками, крымскими татарами и немцами Поволжья...

Участие в Висбаденской конференции эмигрантов

Недели за три до капитуляции Германии умер Рузвельт. Новый американский

президент Гарри Трумэн довольно быстро раскусил Сталина. Он спас Западную Европу от уготованной ей Сталиным большевизации, а Средний и Ближний Восток от намеченного советского поглощения четырьмя историческими актами: 1) ультимативно потребовал от Сталина уйти из Персии и распустить созданные им там советские сателлиты под названием «народные республики» Курдистана и Азербайджана, что Сталин и вынужден был сделать; 2) провозгласил «доктрину Трумэна», чем закрыл Сталину дорогу в Турцию, Грецию и на Ближний и Средний Восток; 3) создал «план Маршалла» по экономическому восстановлению и возрождению Европы (по этому плану получить помощь имели право и СССР и восточноевропейские государства, но Сталин ее отверг); 4) организовал НАТО.

Таким образом Трумэн спас от Сталина то, что еще можно было спасти после капитулянтской политики Рузвельта и Черчилля, а сам Сталин спас нас, своих бывших рабов — около одного миллиона «ди-пи» (около пяти миллионов уже было возвращено в СССР), — своей чрезмерной спешкой в агрессивной политике. Теперь мы, не боясь мордобития и насильственной репатриации, кричали на наших бесчисленных «ди-пи»-митингах: «Сталин — бандит!» Но все это было позже. До этого чекисты хозяйничали в Европе, как у себя дома.

В соответствии с политикой Трумэна «остановить экспансию коммунизма», Кремль тоже меняет свои методы и формы глобальной экспансии, сочетая фронтальные атаки с атаками с тыла. На первую линию наступления против свободного мира вместо Красной Армии выходит тайная армия чекистов. Даже по отношению к «ди-пи» резко меняется чекистская тактика. Создаются Комитет за возвращение на Родину и газета под тем же названием. «Предатели Родины» вдруг превращаются в «дорогих соотечественников». Советские разведчики наводяют Европу и действуют по методу того пресловутого кавалера, который каждой даме, с которой он танцевал, предлагал идти с ним в постель: в 99 случаях он получал пощечину, а вот соотечественница оказавшаяся охочей до авантюры, оказывалась охочей до авантюры, оказывалась охочей до авантюры. Чекисты навещали в СССР наших родственников, брали у них теплые, сердечные письма для нас с приложением семейных фотографий или же выуживали письма от наших бывших друзей с рекомендацией завязать полезное нам «знакомство» с подателями таких писем. Ни одного из более или менее видных «ди-пи» чекисты не оставляли без внимания: авось, один из ста клюнет. К чести «ди-пи» надо сказать, что из миллиона новых эмигрантов чекисты заманили к себе или домой только пару десятков уголовников, которые сидели в тюрьмах за грабежи и убийства.

Расскажу о визите ко мне. В 1948 году я жил в Розенхайме и считал себя

глубоко законспирировавшимся, вне досягаемости НКВД. Как раз здесь меня и настигли чекисты. Ко мне пришел немец из восточного Берлина и, заявив, что хочет со мною поговорить, вручил мне письмо с фотографией от бывшего наркома Чечено-Ингушетии Мариам Чентиевой, которая любезно сообщала, что две мои дочери находятся в Казахстане и там учатся. Разумеется, в письме не было сказано, почему они вместо Кавказа очутились в Казахстане, да и само письмо, вероятно, было подложным. Немец добавил устно: «майор Александр» из советской администрации в Берлине просил передать, что если я нуждаюсь в деньгах, то он готов помочь мне... Вызывать полицию не имело никакого смысла. Таких не только не арестовывали, но иногда даже и не допрашивали. Но мне было важно донести до «майора Александра» мое мнение о нем и его работодателях.

— Скажите майору, что есть еще на свете люди, которых невозможно купить за всю валлоту, которой располагает советское государство, хотя я мог бы быть и более сговорчивым, но только если у майора появится возможность повесить на Красной площади Берию и Сталина. Точно передайте эти мои слова майору. Если вы ему их не передаете, он вас потом накажет, так как я собираюсь мой разговор с вами опубликовать в свободной русской печати.

Видно, немец все это передал. Чекистские майоры мне денег больше не предлагали.

Как бы я ни храбрился, но благоразумие требовало, чтобы я переменял адрес. Пришлось переехать в Мюнхен. Задумав я решил приобрести какую-нибудь профессию. Я поступил на двухгодичные курсы автомехаников в Ингольштадте. Где это было возможно, продолжал я и свою публицистическую деятельность. Такие возможности сразу после войны были очень ограничены. Военные правительства в западных зонах Германии (американской, английской и французской) монополизировали всю печать, и без их лицензий никто не имел права издавать периодику, даже бюллетени на ротаторе. Запрещена была всякая антикоммунистическая деятельность. Только две политические организации после окончания войны продолжали свое подпольное существование и издавали подпольные бюллетени. Это украинская организация бандеровцев, ставшая ядром АБН (Антибольшевистского блока народов), и НТС. Антиподы по национальному вопросу, обе организации имели для меня свои притягательные стороны: АБН был бескомпромиссен в деле отстаивания права каждого народа СССР на независимость, а НТС был столь же бескомпромиссен в деле организации испровержения большевистской тирании, но обе страдали крайней неподвижностью в тактике, что вредило их же собственной большой стратегии. Я имею в виду русофобство АБН и великоросий-

ность НТС. Обе эти линии расходились с моим пониманием тактики и стратегии борьбы с большевизмом. Моим идеалом был синтез национальной стратегии по самоопределению народов одной организации и революционной стратегии по уничтожению тирании по всему СССР — другой.

Я связался с украинскими националистами Бандеры, имел встречи со Стецко, договорился с ним о сотрудничестве. Мое предложение об общем издании на русском языке с программой организации единого фронта всех народов СССР, включая и русский народ, против большевизма нашло полную поддержку. Такой журнал я и начал издавать вместе с одним из украинских публицистов, которого друзья называли за его большой теоретический талант «украинским Бухариным». Журналу я дал название «Набат», апеллируя к памяти Герцена. Вышло несколько его номеров на ротаторе с серией моих статей «Философия тирании». Я тогда подписывался как «Суровцев». Потом сотрудничество с АБН прекратилось. Мне хотелось пробиться к более широкой эмигрантской публике, читающей по-русски. Началось мое сотрудничество в русской печати. Я близко сошелся с главным редактором тогдашнего еженедельника «Посев» Евгением Романовичем Романовым, передовые статьи которого производили на меня глубокое впечатление. В «Посеве» начала печататься с октября 1950 года и моя первая книга — «Покорение партии». Несколько статей по вопросам советской системы мне удалось напечатать и на немецком языке в газете «Нойе цайтунг», которую издавала американская военная администрация...

В том же 1949 году я познакомился в Мюнхене с известным русско-американским публицистом Д. Ю. Далиным. Это знакомство предопределило направление моей дальнейшей карьеры — как служебной, так и литературной. Он поинтересовался, есть ли у меня что-нибудь написанное о моем опыте в СССР. Только по чистой случайности я мог ответить на этот вопрос положительно. В 1948 году в Розенхайме один мой земляк принес мне толстую конторскую книгу для записей в 500—600 чистых листов (в это время нельзя было достать даже ученической тетради) и предложил:

— Абдурахман, напиши сердитую книгу о большевиках!

Он был убежден, что для того, чтобы написать «сердитую книгу» о большевиках, достаточно его бумаги и моей памяти. Ведь никаких источников под руками не было, все библиотеки лежали в руинах, негде было достать даже простого справочника об СССР. Когда я ему объяснил все это, земляк не растерялся, а отправился на поиски «справочной литературы». Через пару дней он вернулся сияющим от счастья: притащил мне откуда-то «Краткий курс» товарища Сталина! Он верил, впрочем, как и Сталин, что это есть справочник всех справочни-

ков и мне теперь остается только приступить к делу. Похвальное усердие земляка приободрило меня, и я начал писать свою первую книгу на Западе. Месяца через три я исчерпал свой «бумажный фонд». Мне удалось перепечатать рукопись в двух экземплярах. Один из этих экземпляров я дал Далину, а другой переслал в еженедельник «Посев». Далин заинтересовал моей рукописью Бориса Суварина, который и помог ее издать по-французски под названием «Staline au pouvoir» (Париж, 1951). Потом она вышла по-английски, по-итальянски, по-испански.

Я дорожил этой книгой именно потому, что она вышла при жизни Сталина и, может быть, была когда-нибудь положена на его рабочий стол (ее переиздали в Америке в 1977 году). Д. Ю. Далин рассказывал мне, что во Франции она даже попала в число бестселлеров. Что же касается гонорара, то издатель заплатил мне за французское издание двести долларов и за все иностранные издания двадцать франков!

Вернусь к своим курсам автомехаников. Новая профессия давалась мне туго. Когда от чистой теории надо переходить к практике — разбирать и собирать мотор да еще запоминать названия тысяч деталей на нескольких языках (еще неизвестно было, куда удастся эмигрировать из Германии), — то я вообще пришел в ужас. Но, как говорится, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Я героически старался преодолеть трудности новой профессии и в моем классе был не из самых последних, как вдруг получил от своей второй жены — Людмилы Петровны из Мюнхена письмо: срочно, мол, приезжай домой, есть серьезное дело. Приезжаю, и жена подает мне телеграмму от американского полковника Гоффмана. Полковник предлагает приехать в Гармиш прочесть несколько лекций о Советском Союзе в американской военной школе. Я и понятия не имел, что это за школа и что я там должен читать. Зато в те же дни газеты писали, что в Австрии выявлено несколько случаев, когда какой-то американский разведчик продавал «ди-пи» советским разведчикам. Было сказано, что виновник наказан, но от этого пострадавшим «ди-пи» легче не было. Поэтому я решил не рисковать. Купил билет не в Гармиш, а дальше, в Миттенвальд. Там осели некоторые мои знакомые. Я хотел узнать от них, слышали ли они что-нибудь об американской школе по русским делам в Гармише. Мне сказали, что такая школа действительно существует. В Миттенвальд приезжали учащиеся в ней американские студенты собирать новые советские термины среди «ди-пи». Только тогда я вернулся в Гармиш и явился к полковнику. Полковник очень вежливо принял меня и сообщил, что я рекомендован ему господином Далиным, рассказал об общей программе школы, которая тогда называлась

«Детachment Р», и попросил меня составить список тем, по которым я мог бы у них читать лекции. Я набросал приблизительную тематику, преимущественно историческую, а из истории советского периода предложил несколько политических портретов ведущих советских лидеров. Полковник Гоффман одобрил предложенные мною темы, и я приступил к чтению лекций. Я читал их по-русски и по реакции студентов видел, что они меня хорошо понимают (в эту школу зачислялись только офицеры и дипломаты, которые уже прошли в Америке двухгодичную подготовку по русскому языку). Вероятно, я имел успех, ибо в следующем, 1949 году (к этому времени школа переехала в Регенсбург) полковник Гоффман пригласил меня на штатную должность преподавателя. Он подверг меня принятой в таких случаях проверке. Помню его первый вопрос:

— Какую форму государственного правления вы предпочитаете?

Я ответил:

— Любую форму государства, правительство которого я могу критиковать, не рискуя лишиться личной свободы...

Так началась моя тридцатилетняя преподавательская работа в Русском институте американской армии, как сейчас называется эта школа. Советские газеты и журналы создали вокруг школы миф, будто это институт по подготовке шпионов и диверсантов. Между тем Русский институт американской армии — самая обыкновенная по учебной программе, но уникальная в системе американского образования школа повышения квалификации военных и гражданских дипломатов по русским делам. Здесь изучают русский язык и литературу, историю России, историю и организацию советского государства, его политику и экономику, его физическую и экономическую географию, идеологию и структуру КПСС, то есть все те учебные дисциплины, которые изучаются во всякой нормальной советской школе. В этой школе никогда не преподавались и не преподаются дисциплины, которые нужны для профиля разведывательной школы, здесь нет даже дисциплины по истории или о методах работы советской полицейской машины. В Русском институте я был профессором по политическим наукам и с самого начала до ухода в отставку преподавал следующие предметы: 1) политическую историю России — СССР в XIX — XX столетиях; 2) историю и организацию КПСС; 3) идеологию и доктрину советского коммунизма. Одновременно я заведовал кафедрой политических наук и был председателем Академического совета института. Не прерывая преподавательской работы, написал и защитил докторскую диссертацию и получил звание Dr. rer. pol. (доктор политических наук). Однако я не забывал, что ушел на Запад не ради куска хлеба, а чтобы бороться с системой, превратившейся у меня на глазах из квазисоциалистического госу-

дарства в тоталитарную тиранию, по сравнению с которой немецкий нацизм и итальянский фашизм были политически-ми конструкциями сущих дилегантов. Эту борьбу я мыслил себе не в качестве политического деятеля, а в роли историка Советского Союза и аналитика его политической системы. Это было и мое настоящее призвание. Я мечтал о профессии исследователя в каком-нибудь из американских исследовательских институтов по советским делам, но как бывшему коммунисту дорога для меня в Америку оказалась закрытой. Отпали и смелые исследовательские замыслы, которые я собирался осуществить, если бы удалось работать на этом поприще. Поэтому, когда ко мне в Регенсбург приехал из Мюнхена Борис Александрович Яковлев (Троицкий), тогда руководитель власовской организации, с предложением создать совместно эмигрантский Институт по изучению СССР, я немедленно дал согласие быть одним из его учредителей.

Учредительное собрание состоялось в 1950 году в Богенхаузене в русской библиотеке. Нас было несколько бывших советских научных работников — Яковлев, профессор К. Штепа, профессор А. Филиппов, профессор К. Криптон, профессор Ниман, полковник Генерального штаба Советской Армии Нерянин и автор этих строк. Мы торжественно объявили себя Институтом по изучению истории и культуры СССР. Избрали директором Б. А. Яковлева, заместителем директора А. Авторханова и ученым секретарем В. Марченко. Позже к нам присоединились профессор Миллер, профессор Юванковский, профессор Буданов, профессор Иванов, профессор Давлетшин, доктор Шульц. Разумеется, не было у нас ни помещения для института, ни денег, ни высокого покровителя или богатого мецената. Было только неистощимое и искреннее желание рассказать Западу о теории и практике советской системы, которую Запад до сих пор знал только по советским книгам, журналам и газетам. Была у нас и нескрываемая надежда, что если мы собственными усилиями начнем делать что-нибудь полезное и нужное для понимания советского прошлого и настоящего, то появится и меценат. Действительно, получилось так, что организация института совпала с приездом в Мюнхен так называемой «Гарвардской экспедиции» по изучению советского общества. «Экспедиция» предложила институту сотрудничество, и мы его с энтузиазмом приняли...

Через год началась политическая акция американских друзей народов СССР. Весной 1951 года в связи с этой акцией в Регенсбург приехал известный американский публицист Исаак Дон Левин. У нас состоялась длительная беседа, во время которой он мне рассказал, что в Нью-Йорке создан Американский комитет освобождения от большевизма. В его состав входят виднейшие американские

публицисты и эксперты по советским делам — Евгений Лайонс (председатель), Дон Левин, Спенсер Вильямс, Чемберлен, Роберт Нелли (впоследствии председатели были адмиралы Керк и Стивенс, Сарджент). Программа Американского комитета была изложена в книге Лайонса «Наши тайные союзники» (народы СССР). Это было явное доказательство, что в Америке подул другой ветер — ветер отрезвления, былая беззаботность в оценке советской политики и игнорирование политической эмиграции как потенциального посредника между народами СССР и Америкой начали проходить. До полного понимания природы советского империализма и программы его глобальной экспансии, конечно, было еще далеко, но лед тронулся: американцы так-таки додумались — советский коммунизм открыто метит в гробовщики демократии. Дон Левин рассказывал, что он и Лайонс принадлежали к той маленькой группе специалистов по советским делам (они оба были до войны американскими корреспондентами в Москве), которые еще во время войны и сразу же после нее предупреждали Америку об истинных целях Сталина. Но тогда этого никто не хотел и слышать и их статьи редко печатали.

Дон Левин был автором дюжины книг о Советском Союзе. Он являлся и первым биографом Сталина на Западе (его книга «Сталин» вышла по-немецки в 1931 году). Ни один западный исследователь не произвел на меня такого впечатления по глубине знаний и тонкости анализа советской системы, как Дон Левин. Он был далек от университетских академиков, сочиняющих всякие модные теории, от «деидеологизации» до «конвергенции», лишь бы доказать, что и в Кремле тоже сидят порядочные люди. Если собрать воедино псевдоученые пророчества западных советологов и публицистов о перспективах развития большевизма, получится такой клубок благоглупостей, что совсем неудивительно, что западная политика во время второй мировой войны, основанная на советах подобных «экспертов», только способствовала экспансии большевизма. Западные ученые никогда не понимали, что иррациональная природа большевизма не поддается изучению при помощи рационального метода. Большевики называли свою партию партией «нового типа», свое государство — государством «нового типа», свою политическую глобальную стратегию — стратегией создания во всем мире вот таких партий и государств «нового типа», а университетские либеральные профессора, которые в свое время толкнули Рузвельта на союз со Сталиным, теперь ударились в другую крайность и стали сочинять новые теории, что советская глобальная стратегия — всего лишь повторение русского империализма, игнорируя тот элементарный исторический факт, что русский империализм по своей природе и по своим стремлениям был им-

периализмом региональным — евро-азиатским, а советский империализм — ин-терконтинентальный, внерасовый, идеологический, а потому глобальный. Некоторые договорились даже до того, что идеалом русского человека от самой древности было и остается духовное и физическое рабство и что даже само первоначальное название русских — «славяне» — рабского происхождения, ибо, до-казывал один из таких «специалистов по России», сам по себе этноним «славяне», «slave», означает по-английски «раб». Другой автор с серьезным видом знатока доказывал: агрессивная природа советской политики объясняется тем, что русские матери слишком туго пеленают своих младенцев. Даже антикоммунисты из штаба Маккарти были осведомлены о коммунизме не лучше. Один из его советников начинал свою книгу о коммунизме с утверждения: «Николай Ленин совершил в 1916 г. революцию...»

Дон Левин был слишком умен, чтобы поддаться этому модному в пятидесятые годы повертию. Он знал вместе с Жан-Жаком Руссо, что человек рождается свободным и только потом тираны превращают его в раба. Так было со всеми народами в истории. Так было и с народами в советской империи. На этом была основана и концепция Американского комитета по созданию единого фронта всех народов СССР для их освобождения от большевистской тирании внутренними силами самих народов. Дон Левин сделал мне предложение участвовать в этой акции, став во главе северокавказцев. При всем моем согласии с целями Американского комитета я все же считал, что буду более полезен по линии Института по изучению истории и культуры СССР в Мюнхене (который теперь поддерживал Американский комитет), и поэтому отклонил предложение Дон Левина. К тому же, будучи штатным преподавателем в школе, я не мог уделить достаточно времени всем тем хлопотам, с которыми связано создание эмигрантского политического центра. Дон Левин был очень разочарован, но поскольку я ему обещал лично приложить все усилия, чтобы северокавказцы поддержали Американский комитет, то мы расстались друзьями. Однако все мои старания свести наших эмигрантских политиков старшего поколения с Американским комитетом оказались тщетными. Меня безоговорочно поддержали только бывший председатель парламента независимой республики Северного Кавказа Васан-Гирей Джабаги, генерал Л. Ф. Бичерахов, Вексултан Батырхан (впоследствии и Барисби Байтуган). Новая эмиграция поддерживала меня почти вся. Так как я был связан обещанием, данным Дон Левину, организовать ему северокавказскую поддержку, то созвал съезд северокавказцев, и на этом съезде мы создали Северокавказское антибольшевистское национальное объединение (СКАНО) с программой организации единого фронта политической

эмиграции из СССР. Мы учредили и свой собственный орган — журнал «Свободный Кавказ».

В годы пребывания в Берлине под впечатлением античеловеческой национальной политики Гитлера в оккупированных русских районах и национальных республиках (Украина, Белоруссия, балтийские страны, автономные области и республики Северного Кавказа), с одной стороны, и в результате глубокого разочарования в западной политике безуслобной поддержки Сталина, с другой, у меня выработалась собственная политическая концепция путей освобождения народов СССР от большевиков. Я начал ее проповедовать еще во время войны и продолжал после капитуляции Германии. Я исходил из того, что никакая внешняя сила завоевателей никогда не приносила и не приносит свободы чужим народам. Гитлер хотел убить большевизм, но на его место поставил свой национал-социализм. Рузвельт же и Черчилль вообще не хотели убивать большевизм, а только умиротворить его, подарив Сталину дюжину чужих государств. Свобода никогда не приходила и не приходит извне, свободу завоевывают изнутри. Для этого надо создать «единый и неделимый фронт» народов СССР против большевизма. Эту свою концепцию я изложил концептивно в первом номере журнала «Свободный Кавказ». Сколько ядовитых стрел летели в мою сторону из-за этой концепции от некоторых кавказских урапатриотов, обвинивших меня чуть ли не изменником Кавказа. Сколько нареканий я слышал и от русских «квасных патриотов», обвинявших меня в злостных намерениях «расчленив Россию». Однако тезисы, опубликованные тогда, кажутся мне верными и до сих пор. Позволю себе их процитировать:

«Существуют непреложные истины, которые мы должны усвоить твердо.

Истина первая: пока Сталин сидит в Москве, не бывать нам на Кавказе.

Истина вторая: путь в Тбилиси, Владикавказ, Ташкент, Киев лежит через Москву.

Истина третья: чтобы объявить национальную независимость, нужно завоевать условия для ее объявления, то есть политическую свободу.

Истина четвертая: чтобы завоевать эту политическую свободу, нужно уничтожить существующую в СССР политическую и социальную систему. Короче, нужно похоронить большевизм идейно, политически и физически.

В сфере своего влияния большевизм не знает локальных свобод. История подсказывает, что свобода русского народа есть предварительное условие свободы других народов СССР. Будет русский народ свободен — свободны будем и мы; будет он под ярмом Сталина — тогда уж тянуть нам это ярмо вместе. Сталинская тюрьма народов — единая и неделимая. Чтобы освободить узников из одной ее

камеры, надо взорвать крепостную стену со всей ее стражей. Вот почему большевизм — враг номер один для всех. На этом, собственно, кончается наша революционная, разрушительная историческая миссия. На второй же день после гибели большевизма мы приступаем к нашей творческой национальной миссии — к созданию Свободного Кавказа. Одни, видимо, выйдут из состава будущей России, другие с нею будут федерироваться, третьи получают национально-культурную автономию. Но эти вопросы национальной независимости, форм государственного строя или взаимоотношений с бывшей метрополией будут решать сами нерусские народы. Воля этих народов должна быть священна и для русских... Должны ли угнетенные большевизмом народы получить право на независимость — этот вопрос вне дискуссии. Судьи Сталина и зодчие нового общежития находятся там, в горах Кавказа, шахтах Украины, кишлаках Туркестана, селах Тамбова и тюрьмах «необъятной Родины». Кто имеет смелость признать эти истины — является самым мужественным человеком в нашу «сталинскую» эпоху. Таковы наши общие задачи в отношении консолидации общего единого фронта народов СССР» («Свободный Кавказ», № 1, октябрь 1951, Мюнхен).

Оказалось, что эти мои «кistiны» не устраивали ни националов, ни русских. Националы развели демагогию, говоря, будто я утверждаю, что национальное самоопределение может быть объявлено только по разрешению Москвы («дорога через Москву»), тогда как из всего контекста видно, что я утверждаю другое: без уничтожения большевистской системы в ее центре невозможно никакая свобода, в том числе и национальная, ибо «в сфере своего влияния большевизм не признает локальных свобод»; насколько это соответствует действительности, показали последующие события в советских сателлитах Восточной Европы: в Венгрии, Чехословакии и Польше. Только очень наивные в политике люди могут представлять себе, что рядом с большевистской Россией могут существовать свободная Украина, свободный Кавказ, свободный Туркестан. Утописты и те, кто думает, что будущая свободная Россия будет повторением «России единой и неделимой».

Такова была моя национально-политическая концепция, когда я включился в американскую акцию и участвовал в Висбаденской конференции пяти русских и шести национальных политических организаций. Опыт, который я приобрел на четырех конференциях в Висбадене, Мюнхене, Тегернзее, Штарнбергзее в попытках создать единый фронт эмигрантских политических организаций против советской тирании, был негативным: я разочаровался в эмигрантской политике. Но опыт этот, пусть и лишенный исторического значения, все же интересен

в плане политико-психологическом, ибо я имел возможность наблюдать, как интеллигентные и убежденные враги большевизма могут оказаться его невольными пособниками, если их захлестывает стихия великодержавного и националистического угара.

Важнейшей из наших конференций была учредительная конференция в Висбадене 3—7 ноября 1951 года.

Скажу несколько слов о ведущих участниках. В мою задачу не входит попытка нарисовать здесь их политические портреты. То, что я о них скажу, — это наблюдения историка плюс впечатления от личных встреч.

Центральными фигурами конференции были известные деятели времен русской революции 1917 года А. Ф. Керенский, С. П. Мельгунов и Б. И. Николаевский, а среди националов — деятели периода кавказской независимости 1918—1921 годов Н. К. Цинцадзе и Дж. Хаджибейли.

О Керенском каждый политически мыслящий человек имеет свое собственное суждение, а в истории за ним укрепилась репутация «мостостроителя», способствовавшего приходу большевизма к власти. Однако беда Керенского заключалась прежде всего в том, что он был слишком честен, слишком искренен, слишком благороден, то есть обладал теми рыцарскими качествами, которые противопоказаны для успешной политической деятельности. «Верность», «долг», «демократия» — были для него абсолютными ценностями. Поэтому он отвергал немедленный выход из войны как «измену» союзникам, поэтому он не провел земельной реформы, считая, что это правомочно сделать лишь Учредительное собрание, поэтому он не запретил партии большевиков и не ликвидировал ее лидеров, считая это нарушением норм демократии.

Имеются воспоминания А. Ф. Керенского, посвященные 1917 году. Разбирая эти воспоминания, С. П. Мельгунов сделал ряд важных замечаний:

«Память Керенского так же сумбурна, как сумбурно сами события, в которых ему пришлось играть активнейшую роль, когда он падал в обморок от напряжения и усталости и когда, по его собственным словам, он действовал как бы в тумане и руководствовался больше инстинктом, нежели разумом... Нет ничего удивительного, что тогда у него не было ни времени, ни возможности вдумываться в происходящие события. В воспоминаниях он пытается объяснить свое равнодушие к программным вопросам тем, что никакие программы не помогли изменить ход событий...» (С. П. Мельгунов. Мартовские дни 1917 года. Париж, 1961). Увы, программные документы самих большевиков, демагогические по форме и лживые по существу, а именно «Апрельские тезисы» Ленина, «Декрет о мире», «Декрет о земле» (украденный у эсеров)

Второго съезда Советов доказали, как глупоко заблуждался Керенский.

Талантливый адвокат, выдающийся оратор, враг деспотизма, эмоциональный «правозащитник» народа, Керенский в возрасте 36 лет оказался во главе величайшего в мире государства на рубеже двух эпох в его истории, когда оно нуждалось не в «правозащитнике», а в «правотворце» — в русском Бонапарте. И такой Бонапарт был налицо — генерал Корнилов, который двинулся на Петроград, чтобы очистить его от большевизма за два месяца до большевистского переворота. Для спасения «ягненка» — злополучной русской демократии — Керенский обратился за помощью к Советам, то есть, по существу, к большевистскому «волку». «Волк» проглотил и «ягненка», и Россию...

Именно то, что он предотвратил приход Корнилова в Петроград, переоценив опасность реставрации справа (а ведь Корнилов был республиканцем) и недооценив опасность большевизации слева, было самой страшной и самой трагической из всех ошибок Керенского. Конечно, мы все крепки задним умом, однако тот, кто решил возглавить великое государство в период его эпохального кризиса, не имеет права пользоваться привилегией «заднего ума».

Таково было мое общее представление о Керенском, когда мне посчастливилось позже обсуждать с ним причины исторической катастрофы России. Если он при всех моих расспросах с пристрастием «самоуверенного» историка о «вечных загадках» русской катастрофы все же оставался невозмутимым, то тут сказывалась просто школа высокой политической культуры, столь чуждая советскому воспитанию. Это сразу же расположило меня к нему...

На конференции Керенский выступал с обоснованием согласованной позиции русских групп. Его поддерживали справа Мельгунов, а слева Николаевский.

Керенский продемонстрировал на этой конференции свой пламенный патриотизм и любовь к великой России, но и трагическое непонимание психологии ее нерусских народов. Он справедливо возмущался, когда на Западе русский народ отождествляли с большевиками, но столь же искренне недоумевал, почему народы Кавказа и Туркестана свою зависимость от советской Москвы считают зависимостью от России, а не от большевиков. Убеждая нас, националов, он действовал больше как юрист, а не политик, как государственный, а не психолог. С возрастом он стал менее гибким, более консервативным как раз по вопросу, которому будущее, вероятно, отведет роль исторического оселка великого испытания единства или распада России, — национальному вопросу в многонациональной империи. Помощь Керенскому справа — со стороны Мельгунова — только губила его в глазах националов.

Историк большого масштаба, выдающийся знаток революционной эпохи (но больше эмпирик, чем аналитик), Сергей Петрович Мельгунов в политике «рубил сплеча» и всегда в императивном тоне. Надо было с ним сидеть за столом на десятках заседаний, чтобы убедиться, что человек он милейший, но политик — негибкий в ущерб собственной же позиции. Этот старый русский либерал, по недоразумению оказавшийся когда-то в русских «народных социалистах», ничего на свете так не боялся, как слова «самоопределение». Поэтому он болезненно реагировал, когда националы начинали доказывать, что право на национальное самоопределение вытекает из существа демократии. После одной такой горячей дискуссии Сергей Петрович угрожающе сказал мне: «Я о вас напишу в своем дневнике!» В другой раз сообщил, что в рецензии на мою книгу в редактируемом им журнале «Возрождение» было написано: «...Авторханов стоит на российских позициях» (а я к этой фразе добавил «по крайней мере в данной книге»). Что вы теперь скажете?

— Дорогой Сергей Петрович, я никогда не стоял на антироссийских позициях, а вот вы совсем не скрываете, что стоите на антинациональных позициях. Вы даже не замечаете, что после последней войны в мире осталась только одна империя — СССР.

То, что Керенскому портил справа Мельгунов, старался исправить слева Борис Иванович Николаевский. Николаевский, доподлинный социал-демократ в прямом смысле этого словосочетания, входил в состав Заграничной делегации РСДРП (меньшевиков) и в редакцию ее политического органа «Социалистический вестник». В свое время Николаевский имел хорошие связи в информированных кругах Москвы. Не говоря о родственных связях (его сестра была замужем за Рыковым), он был близок к директору Института Маркса — Энгельса Д. Рязанову и являлся сотрудником этого института в Берлине. После прихода к власти нацистов правление немецких социал-демократов передало ему для хранения и спасения архив Маркса и Энгельса, который он вывез из Германии. Еще в начале 1936 года Кремль командировал Н. И. Бухарина в Париж для переговоров о покупке этого архива. Переговоры, кажется, не имели успеха, но оченьгодились Сталину во время процесса над Бухариным и Рыковым в 1938 году — Бухарина обвинили, что он связывался в Париже с Николаевским в контрреволюционных целях!

Николаевский представлял на нашей конференции то течение среди меньшевиков, которое помогло разъяснить Западу исторический смысл всей второй эмиграции как массового антикоммунистического движения. Николаевский был и гибким политиком, и пронзительным знатоком советской системы, но метод его анализа был скорее интуитивным,

чем строго научным. Он был одним из основоположников западной школы «кремленологии». Эта школа выработала определенную систему критериев, по которым она судила о движении дел и личностей в Кремле, но поскольку само движение было не прямолинейное, а зигзагообразное, то «кремленологи» очень часто попадали со своими прогнозами в промах.

С моими национальными коллегами по конференции — Цинцадзе и Хаджибейли — я не был ранее знаком. В ходе конференции я научился ценить их политический талант и глубокий кавказский патриотизм. Как человеческие типы они были разные люди. Цинцадзе всеми фибрами своего существа был политиком, еще студентом в Московском университете примкнул к социал-демократам и был арестован в 1915 году. Входил в состав правительства независимой Грузинской республики. В эмиграции примыкал к группе Е. П. Гегечкори. Для Хаджибейли, европейски образованного интеллигента, политика была просто «хобби» — думаю, даже тогда, когда он являлся министром независимой республики Азербайджан в 1918 году. Он был сноб и аристократ по происхождению. И как представитель устоявшихся симпатий и непреложных принципов чурился самого понятия «гибкость».

После почти трехдневных обсуждений как по группам делегаций, так и на пленарных заседаниях, были доложены компромиссные предложения по главному вопросу расхождений между русскими и националами, как сформулировать в основном документе право народов на самоопределение. Докладчиками выступили от русских Керенский и от националов Авторханов.

После внимательного изучения и обсуждения всех компромиссных предложений национальные делегации на своем частном совещании приняли единогласно общую формулу по национальному вопросу, которую на общем пленарном заседании огласила наша северокавказская делегация: «Исходя из принципа национального самоопределения, мы, вступившие в организацию (имя будет названо), признаем за народами, населяющими нынешнюю территорию Советского Союза, безусловное право свободно, на основе демократического волеизъявления, либо путем плебисцита, либо решением национальных учредительных собраний, либо через всероссийское учредительное собрание определить свою судьбу, а также реальное обеспечение этого права».

Итоги голосования русских организаций:

«Мельгунов: Я только могу приветствовать».

Керенский: Мы принимаем.

Романов: Мы тоже.

Яковлев: Нам этот текст вполне приемлем.

Николаевский: Согласны.

Керенский: Принято всеми единогласно...»

В отношении названия будущего политического центра национальные организации предлагали: «Совет освобождения народов Советского Союза» или в крайнем случае Совет освобождения народов СССР (России). Русские группы хотели видеть в названии слово «Россия» вместо Советского Союза. Обосновывая точку зрения националов, я говорил:

«Мы считаем, что существует Россия историческая. Однако мы вынуждены считаться и с другим фактом: существует Россия юридическая, в государственной форме, под названием «СССР». Поэтому, как бы нам ни хотелось с вами согласиться, что мы будем говорить пока об исторической России, мы не можем игнорировать факта международного института права, что сейчас есть не Россия, а СССР... Если бы вы даже взяли на себя обязательства только в отношении СССР, — они для нас были бы недостаточны, точно так же, как если бы вы взяли обязательства только по отношению к России. Поэтому мы говорили на нашем совещании, что там, где вы хотели сказать только «СССР», мы добавляли бы «Россию», потому что юридическое не всегда совпадает с историческим... Поэтому мы говорим: «признание равноправия всех народов СССР (России)».

Мы достигли согласия по главному программному вопросу, а в тупик завело нас само название того политического центра, который мы хотим создать. Русские группы категорически настаивали на своем названии — Совет освобождения народов России. Националы предлагали: Совет освобождения народов СССР. Потом, после нескольких обсуждений по делегациям, нашли новые варианты названия: русские предложили — Совет освобождения народов России (СССР), националы то же самое, но за скобками поставить «СССР», а в скобках — «Россия». Лично для меня была приемлема любая из этих формул, но стороны так уперлись каждая на своем, что совещанию угрожал явный крах. Я вновь взял слово: «У нас идет академический спор. Хотя я не голосовал за резолюцию националов, я не противопоставляю себя ей, но все-таки спор у нас чисто академический. В скобках ли Россия? Я русских друзей сегодня просил разрешить поставить Россию в скобки хотя бы на полтора месяца (до новой встречи), но, видимо, они не согласны. Это вполне понятно, непонятно другое: из-за этих скобок должны ли мы идти на разрыв? Рабы ли мы самой формы, а не существа дела?.. Сидят ли за этим столом ответственные политические деятели — и национальные и русские?.. Конечно, каждая сторона права, если говорить с точки зрения чувства. Какому русскому человеку не дорога Россия! Я люблю Россию со-

вершенно искренно, но еще больше люблю свой Кавказ, и это совершенно понятно. И вы, предположим, жители Тамбовской губернии, любите эту Тамбовскую губернию, но, наверное, еще больше любите деревню Ивановку, в которой вы родились. Но вот именно потому, что мы любим и Россию, и Кавказ, и эти народы — неужели нельзя перестать быть рабами этих сенок и пунктов? Я категорически заявляю, что мы находимся на ложном пути!

Прав был Дон Левин, когда он полусерьезно сказал, что пошлет поздравительную телеграмму Сталину: его враги никак не могут договориться между собою о совместной борьбе против него».

По данному вопросу разногласия происходили не только между русскими и националами, но и внутри самих этих групп. Сказывались и прошлые закоренные национальные предрассудки, и совершенно очевидное давление «эмигрантской улицы», когда, выражаясь по-парламентски, делегаты вынуждены были «говорить через окно», чтобы одних не обвиняли, что они «расчленяют Россию», а других — что они «продались русским». Таких демагогов в обоих лагерях было предостаточно. Кроме того, сказывался опыт разных поколений. Мы, тогда новые эмигранты, имели другой опыт, чем старшие, как среди русских, так и среди националов...

Совещание кончилось принятием общей декларации. Название решили обсудить на следующем совещании в Мюнхене. Была избрана межнациональная комиссия с правом созыва этого совещания и ведения текущих дел...

Печать правых как в русской, так и сепаратистской среде, встретила соглашения в Висбадене крайне враждебно. Причем те и другие были далеки от аргументированной и деловой критики. Для них большевизм как общий враг номер один вообще не существовал. Для сепаратистов врагом номер один была Россия безотносительно к тому, большевистская она или демократическая, а для русских великодержавников в России была только одна нация — русская, а все остальные — «мелюзга», как выражался Пуришкевич. Мои кавказские противники писали обо мне не только в своей прессе, но и в своих доносах в разные разведки (копии этих доносов передавали мне их же сотрудники), что я при Советах был коммунистом, занимал «крупный административный пост», при Гитлере входил в Северокавказский комитет в Берлине, и это писали те, кто как раз возглавлял названный комитет! Я издавал в то время журнал «Свободный Кавказ» и принципиально не отвечал на такую «критику» (большевики потом широко пользовались тем, что эти кавказцы, несомненные антикоммунисты, в своем озлоблении сочиняли по моему адресу). Русская правая печать не прибегала к личным инсинуациям, но

угрожала мощным русским кулаком и... Красной Армией.

Мы продолжали думать, что заложили фундамент большого межнационального здания в эмиграции, как вдруг обогналась первая трещина: Национально-трудовой союз (российские солидаристы) вынес от 1 июня 1952 года совершенно неожиданное для всех решение о программе будущего политического центра. В этом решении было сказано: «Деятельность центра не может быть направлена на расчленение России».

Таким образом, Политический центр, который еще не был создан, оказался между двух огней: русские организации начали обвинять нас в «расчленении России», а национальные организации — в измене своим народам, те и другие — в продажности за доллары, в полном согласии с большевиками. Так как обвинители были в крикливом большинстве в обоих лагерях, то судьба всего предприятия была предрешена.

...После крушения идеи создания Политического центра я решил переключиться на исследование советской системы и политики. Я начал систематически печатать результаты своих исследований в органах Института по изучению СССР, который обнародовал свои анализы и исследования на многих языках — русском, английском, немецком, французском, испанском, турецком, арабском. Это был коллективный вклад второй русской и национальной эмиграций в советологию. Издания института высоко ценились как в университетских, так и в журналистских кругах Запада. Институт устраивал международные конференции и симпозиумы по советским проблемам, которые привлекали много ученых и специалистов со всех стран мира. Приезжала даже делегация из Академии наук СССР, чтобы, изучив наш опыт, открыть свой собственный Институт по изучению Америки и Канады. И тогда история еще раз решила поиздеваться над нами, эмигрантами, на этот раз уже без нашей вины: почти одновременно ввиду «разрядки» в Москве открылся Институт по изучению США и Канады, а в Мюнхене закрылся Институт по изучению СССР!

Под советским молотом на американской наковальне

В американском журнале «Saga» за август 1966 года перечислялись бывшие граждане СССР, убитые Советами: Виктор Кравченко (автор нашумевшей книги «Я избрал свободу»), генерал Виктор Кривицкий (невозвращенец-чекист) и «Абдурахман Авторханов, русский эмигрант, который работал для американской армии».

В отношении моей смерти сведения эти оказались, как выражался Марк Твен, преувеличенными. Но сказано: нет дыма без огня. Был огонь, который, по счастливому стечению обстоятельств,

меня миновал, оставив один лишь дым. Надо заметить, что, кроме указанных лиц, чекистами были убиты в пятидесятые годы в Мюнхене украинские национальные деятели С. Бандера, профессор Ребет, главный редактор азербайджанской редакции радио «Свобода», мой друг А. Фаталибейли; в Берлине был украден один из руководителей НТС доктор А. Трушнович, а капитан Н. Хохлов, присланный убить руководителя НТС Г. Околовича, сдался американцам. Так же поступил и другой советский агент, присланный убить В. Поремского.

23 января 1955 года, около 11 часов вечера, ко мне на квартиру в Регенсбурге приехал начальник нашей школы, американский полковник польского происхождения — г. Масловский. Он сказал, что мне нужно по серьезному делу поехать с ним на главную квартиру американской контрразведки (Си-Ай-Си). Через полчаса мы были там. Чиновник контрразведки задал моему начальнику вопрос: в курсе ли я дела? Когда последовал отрицательный ответ, чиновник быстро вытащил из ящика стола револьвер и, показывая его мне, довольно торжественно заявил: «Мы вчера поймали советского террориста, который хотел вас убить из этого револьвера!»

Это сообщение, обставленное столь торжественно да еще поздней ночью, на меня, бывавшего в худших переплетках и от чекистов ничего другого не ожидавшего, не произвело никакого впечатления. Я хладнокровно принял его к сведению и, кажется, с этого момента, собственно, и начались мои неприятности.

Чиновник, видно, был очень озадачен моим хладнокровием и начал внушать мне, от какой ужасной участи я спасен и что должен быть если не благодарен его учреждению, то осторожен. Тут я ему высказал запоздалую благодарность, но присовокупил, что я политический эмигрант из СССР и в попытке покушения на меня со стороны НКВД ничего неожиданного для меня нет. До часа ночи меня допрашивали, потом отпустили домой с решительным предупреждением об осторожности.

Через два-три дня в школу приехал американский майор из главной квартиры армии и в присутствии моего начальника сказал: ввиду того что опасность, которая мне угрожает, более серьезна, чем я думаю, он уполномочен командованием армии просить меня, чтобы я согласился, во-первых, поставить себя под личную охрану американской военной полиции и, во-вторых, дать американской контрразведке исчерпывающие сведения о себе. Я, не колеблясь, согласился на оба эти условия. Майор взял с меня расписку, что я добровольно ставлю себя под охрану и без ее сопровождения не могу нигде отлучиться — ни на работу, ни в город. Под этой охраной я находился более двух месяцев — до конца марта. Когда я увидел, что американцы придают делу серьезное значение и очень заинтере-

ресовались моим прошлым, то до малейших подробностей рассказал им всю свою жизнь: что я делал в СССР, что делал в Берлине, что делаю сейчас, — ничего не утаивая. Рассказал также, как Советы хотели завербовать меня. Допросы все еще продолжались, но меня совсем не информировали, какие показания дает арестованный террорист, оказавшийся немцем из Восточной Германии. Скоро у меня появился новый следователь, который сказал, что этот арестованный немец, террорист, вовсе не был пойман, а сам добровольно явился в контрразведку, что он был не один, а со своим шефом, но шеф успел удрать. Немец показал, что он уже ранее два раза приезжал меня убить, но оба раза не мог застать меня одного — то я гулял с женой и детьми, то в какой-нибудь компании знакомых. За убийство ему предложили солидную сумму и освобождение от уголовного наказания за какое-то преступление. Когда он прибыл в Регенсбург в третий раз, то отказался совершить террористический акт и сдался американцам. Следователь сообщил мне, что благодаря сведениям, полученным от этого немца, арестован в Берлине и его бывший шеф. После первых пяти-шести допросов в моем следствии произошел резкий поворот и по тону и по существу. Я обвинялся ни больше ни меньше как в том, что перебросен на Запад в качестве советского разведчика!.. Я понял, что охрана приставлена не для того, чтобы защищать меня от новых террористов, а чтобы я не сбежал в СССР. Новый следователь, собственно, начал весьма осторожно:

— Почему это большевики должны были убить именно вас, вы ведь один из сотни тысяч безвестных эмигрантов? (Я не помню, сказал ли следователь, что не такой уж я «безвестный» — я издал еще при жизни Сталина книгу о нем на главных европейских языках, написал другую книгу «Народубийство в СССР», четыре года издавал журнал «Свободный Кавказ», активно участвовал в создании Политического центра и радиостанции «Освобождение».)

— Если вы так ставите вопрос, то я вам облегчу переход к существу ваших будущих вопросов: или — или. Или я действительно вредный для советских интересов антибольшевик, поэтому меня надо убить; или я действительно советский агент, и поэтому надо поднять мою цену в глазах американцев, разыграв комедию покушения на меня. Я стою на первом ответе, вы можете думать о втором. Теперь продолжайте ваш допрос.

И вот дальнейшее следствие велось с целью выяснения, не советский ли я разведчик на американской службе. Ввиду чудовищности подозрения я слишком возмущался и очень грубо отвечал следователю (это, наверное, шло мне на пользу), но, если говорить по существу, то мои следователи по долгу своей службы должны были изучить и расследовать обо мною же поставленных вопросах: или —

или. Но меня ожидал новый повод для возмущения: мне сообщили, что у американцев есть такая удивительная машина, которая безошибочно устанавливает, говорит ли подследственный правду или ложь во время допроса. Машина эта называется «детектор лжи». От меня требовали расписку, что я добровольно соглашаюсь подвергнуться испытаниям на этой машине. Одной «добровольной» распиской я уже подверг себя аресту, пусть даже домашнему, второй распиской, может быть, вообще себя загублю: если человек врет, то почему не может врать созданная им и неизвестная мне машина? Я заявил моим следователям (их теперь стало несколько), что дал исчерпывающие показания, которые поддаются объективной проверке, но ставить свою честь и, может быть, свою судьбу в зависимость от колебания электроволн в неизвестной мне машине я отказываюсь. Допросы кончились, но охрана продолжала меня «охранять». Через некоторое время она вдруг исчезла. Я заявился к моим следователям с «претензией» — куда исчезла моя «лейб-гвардия»? Каковы результаты следствия? Как я себя должен вести дальше? Мне сказали, что охрана исчезла по воле высокого начальства, а на другие вопросы они ответить не могут. Тогда я попросил адрес высокого начальства. Мне его тоже не дали. Так кончился двухмесячный домашний арест. Через несколько дней в местных газетах, а потом по радио Би-Би-Си и «Голосу Америки» сообщалось, что в Регенсбурге чекисты хотели убить одного эмигранта из СССР. Убить должен был советский агент — немец из Восточного Берлина. Ни мое, ни его имена не назывались. Но речь шла обо мне.

Этим дело не кончилось. Ровно через год, 20 января 1956 года, по настойчивому совету моего начальника, который, вероятно, боялся потерять меня как преподавателя, я дал согласие подвергнуться допросу на «детекторе лжи». Я подписал бумагу, что добровольно подвергаюсь этой процедуре, однако сделал заявление, что не признаю ни положительных, ни отрицательных результатов данной проверки. Сначала меня накормили казенной пищей, хотя я решительно отказывался, ибо в том нервном состоянии, в каком я находился, у меня не было никакого аппетита, но мне сказали, что принять эту пищу в моих же интересах. После этого меня обмотали с ног до головы бесконечными проводами и шнурами со всякими закорючками и плитками, соединенными с «детектором лжи». Для начала провели «маленькую игру», как выразился чиновник-«машинист». Он предложил мне выбрать из пятнадцати «номеров-карточек» какой-нибудь номер и держать его в руках. Он будет перечислять номера, а я должен отвечать, стоя к нему спиной, неизменное «нет». Он угадает, какой у меня номер. Когда сеанс кончился, он сказал, что у меня номер десять, а я ему показал номер один. Он объяс-

нил свою неудачу тем, что я шевелил пальцем. Он предложил повторить проверку, на этот раз я ни пальцем не шевелил, ни глазом не моргал. Проверка кончилась, и «машинист» (лжист!), торжествуя на этот раз в предчувствии победы, сказал, что я в руке держу номер девять. Я ему показал номер одиннадцать! Таким образом, после того, как на моих же глазах «детектор лжи» дважды соврал (специалисты утверждают, что он правдив на 90 процентов), мы приступили к самому допросу (на каждый вопрос я должен был отвечать односложно «да» или «нет»). Главные «разведывательные» вопросы вперемешку с вопросами бытовыми:

— Были ли вы в комсомоле?

— Были ли вы в партии?

— Являетесь ли вы сейчас членом КПСС?

— Послал ли вас НКВД во время войны работать к немцам в пользу Советов?

— Являетесь ли вы сейчас агентом советской разведки?

— Предложили ли вам Советы изменить данные о себе после войны?

— Даете ли вы советской разведке сведения об американской школе?

— Били ли вы свою жену?

— Организовала ли советская разведка покушение на вас в Регенсбурге, чтобы поднять вашу репутацию у американцев?

— Можете ли вы покорять женщин?

— Предложила ли вам советская разведка не подвергаться проверке через «детектор лжи»?

— Изменяли ли вы своей жене?

После трехкратных «тестов» на протяжении трех часов «машинист» сказал, что ему нужно сходить в туалет, и ушел, оставив меня привязанным к машине. Вернулся только минут через сорок. Формально извинившись, он сказал, что хочет прервать проверку ввиду моей усталости, с тем чтобы продолжить ее в другой раз. Я ответил, что мне было обещано окончить проверку за четыре часа и за оставшийся час со мною ничего не случится да и за здоровье мое ему не надо беспокоиться.

Он очень неохотно провел еще пару проверок, потом прекратил их, сославшись на то, что из-за моей усталости машина показывает плохую для меня реакцию (пожалел волк кобылу!). Несмотря на мои настойчивые требования закончить проверку он наотрез отказался ее продолжать. Я попрощался с ним, сообщив ему, что больше мы никогда не увидимся.

Вернувшись в школу, я заявил полковнику, что если моя работа зависит от моего согласия на продолжение проверки на «детекторе лжи», то он может уволить меня сейчас же.

На следующий вызов я ответил отказом, и полковник меня не уволил.

За десять лет после войны чекисты провели в отношении меня четыре операции: сначала хотели завербовать — не

вышло; тогда решили убить — сорвалось; потом подкинули американцам провокационный материал, рисуя меня своим агентом, — не вышло; и под конец прибегли к самому дьявольскому приему — заставили мою дочь, депортированную со всей семьей и народом в Казахстан, подписать следующее письмо:

«Отцу Абдурахману Геназовичу Авторханову от дочери Зары.

Папа, прежде всего о себе и о нашей семье. Я успешно учусь на пятом курсе медицинского института, получаю стипендию. В следующем году буду уже врачом. Комета учится в восьмом классе. Мама работает. Как видишь, папа, мой жизненный путь определился. Теперь буду помогать Комете, она хорошо учится и тоже хочет получить высшее образование. Нам дорого твое имя, папа! Я не могу смириться с тем, что ты находишься не на Родине, которая тебя вырастила, дала высшее образование и сейчас заботится о твоих детях. Мне кажется, что ты мог бы приехать на Родину и честно трудиться для ее блага. Мы ждем тебя, папа!

Мой адрес: г. Алма-Ата, ул. Шевченко, дом 114.

Твоя дочь Зара»

(газета «За возвращение на Родину», № 10, март 1956).

Как было объяснить моей дочери, которую власти заставили не только отказаться от отца, но и от его имени, что она была для меня дороже всего на свете и что развлек меня, как и миллионы других отцов и детей, самый сатанинский в истории человечества режим?! Я вспомнил все. Был глубоко тронут, больше — душевно потрясен. (Эти чувства живы во мне до сих пор. По моим рассказам полюбившая свою падчерицу моя вторая жена дала нашей дочери здесь то же имя — Зара, она подарила нам уже двух очаровательных внуков: Наташу и Таню.) Мысленно я еще раз повторил свою «Аннибалову клятву», которую дал себе после расстрела у Терского хребта. По отношению к режиму, который заставляет детей отречься от своих родителей, у меня даже при последнем вздохе найдется сила, чтобы, перефразируя слова римского сенатора Катона, крикнуть: «И все же я полагаю, чекистский Карфаген должен быть разрушен!»

Будучи как раз в этом настроении, я в 1957 году закончил писать новую книгу — «Технология власти». Работая над ней, я поставил перед собой одну лишь узкую задачу: рассказать на личном опыте и на документах самой партии, как происходил процесс становления сталинской тирании. Я собирался не ругать, а рассказать и показать эту тиранию в развитии. Этого требовала и так называемая «научно-историческая объективность» западной историографии. Однако человек — не машина и советский политический эмигрант — не гарвардский либеральный профессор, который одинаково объектив-

но может рассуждать как о движении небесных тел, так и о движении дел в советской империи. Обычный довод против нас, эмигрантских исследователей, был и остается: «Вы бежали от режима, потому ваше отношение к нему не может быть объективным». Словом, жертвы не могут быть объективными, только палачам доступно это чувство. Даже после разоблачений Хрущева, что Сталин сам организовал убийство Кирова, послужившее прелюдией ко всеобщей инквизиции, один из этих либеральных профессоров, считающийся звездой в советологии, писал, что утверждение Хрущева бездоказательно и необъективно. Выходит, что почтенный профессор, сидя где-то под Бостоном, осведомлен лучше, чем вождь Кремля, который располагает архивами КГБ и ЦК да и докладывает об этом на двух съездах высшей элиты партии. Судите поэтому, как трудно было нам, эмигрантам, рассказывать на Западе правду о советской системе. Лично мне все-таки повезло — на мои книги, которые выходили даже только по-русски, появлялись положительные рецензии в ведущих американских журналах по советским и восточноевропейским делам, хотя я не скрывал своего антикоммунизма. В предисловии к «Технологии власти» я заранее ответил своим будущим советским и западным критикам: «Что скажет об этой книге казенная критика диктатуры — мне безразлично, а на возможные упреки ученых скептиков в «пристрастии» к событиям и лицам можно ответить словами великого Гете: «Быть искренним я обещаю, быть безучастным — не могу». Эти слова относятся и к моей книге «Технология власти», по-английски она вышла в Нью-Йорке у Прегера в 1959 году...

Много лет мне надо было находиться на Западе, чтобы понять наконец следующую элементарную истину: официальный Запад никогда не думал и не думает помогать народам СССР освободиться от тоталитарной тирании; нам сочувствует только его интеллектуальный пролетариат, но помочь в чем-либо эффективно он не может — на то он и «пролетариат». Правда, после войны каждая партия в Европе и каждый президент в Америке приходили к власти под громкими лозунгами антикоммунизма, но стоило им добраться до вождельных кресел президентов и премьер-министров, как они в первую же очередь протягивали руку «кооперации» именно владыкам Кремля, а не угнетенным ими народам. Советский коммунизм для них служил не объектом борьбы, а просто-напросто жупелом, чтобы, пугая им свои народы, приходиться к власти. В этом их эгоизме есть и своя объективная польза — указывая на бедность народных масс при коммунизме по сравнению со свободным миром и на бесчеловечность самого коммунистического режима, они оберегают Запад от коммунизма. Но, чтобы, периодически пугая коммунизмом, приходиться к власти и со-

хранять статус-кво собственной социальной системы, им нужен по соседству вечный коммунизм. Леволлиберальные тугодумы прямо с университетских кафедр воспевают этот коммунизм, но жить предпочитают при капитализме.

Это запоздалое прозрение привело меня к выводу, что надо перестать донкихотствовать и воображать, будто миссия политической эмиграции — «просвещение» Запада в отношении истинной природы коммунизма. Коммунизм невозможно познать, кроме как через собственный опыт. Поэтому у наших народов в исторической перспективе больше шансов избавиться от коммунистической тирании, чем у западных народов противостоять ей. Вот почему я думаю, что, отказавшись от бесплодных усилий «просвещать» Запад, нам полезно взяться за политическое просвещение собственных народов с единственной целью: пользоваться нашими скромными возможностями в эмиграции, методически и систематически рассказывать народам СССР о преимуществах правового демократического строя. На протяжении многих десятков лет Советский Союз был и остается рынком сбыта и источником сырья для западных индустриальных стран, а мораль бизнесменов на этот счет провозгласил бывший английский премьер Ллойд-Джордж еще во времена Ленина: «Торговать можно и с людоедами». С гибелью «советского социализма» Запад потерял бы не только гигантский бизнес с его всевозрастающим профитом, но у него появился бы на мировом рынке страшнейший в его истории конкурент, поскольку освобожденная от догматических оков коммунизма экономика великой страны с ее талантливыми народами была бы способна на такие экономические чудеса, которых не знал классический капитализм даже в его лучшие времена.

При этом мы должны перестать винить Запад или Америку в том, что им свои государственные интересы дороже и ближе, чем наша свобода, завоеванная при их помощи. Единственно, чего Запад хочет и чего он добивается, — это чтобы советский коммунизм остался в своих имперских границах и по-прежнему служил для него рынком сбыта и источником сырья.

Отсюда — у народов СССР нет другого пути к свободе, как преодоление советской тирании своими внутренними силами. Ключ к свободе нам показал исторический опыт Польши: союз интеллигентов с рабочими. Временная неудача этого опыта в Польше не говорит о его порочности. За спиной генерала Ярузельского стоял Кремль, готовый двинуть советские танки на Польшу. Какие же танки придут на помощь владыкам из Кремля, когда вариант польской мирной революции повторится в Советском Союзе? Китайские? В книге «Сила и бессилие Брежнев», изданной за год до польской революции, я писал: «В любом случае и при любом варианте есть одно кар-

динальное условие, без которого никогда никакая революция — мирная или насильственная — не происходила: наличие организованного давления народа на правительство для радикального улучшения своего материального и правового положения»...

Я пребывал в блаженном неведении простофили, когда узнал «секрет полишинеля»: оказывается, со времени покушения на меня в 1955 году я все время находился между советским молотом и американской наковальней. Советские разведчики поставляют, а американские контрразведчики «разрабатывают» материалы на меня. У чекистов есть известная манера: если они хотят дискредитировать своего противника, но не находят для этого других средств, то просто объявляют его своим агентом. Люди с Лубянки достаточно умны, чтобы знать, что нельзя наклейть на человека более мерзкого ярлыка, чем ярлык их сотрудника.

Стоял 1973 год. К этому времени в Москве, Ленинграде, Киеве и других городах прошел ряд политических процессов, на которых диссидентам инкриминировали распространение в числе другой запрещенной литературы и «Технологии власти»*, а его автора разные советские печатные органы рисовали отчаянным разбойником. Эта кампания против меня еще продолжалась, когда американская разведка вновь начала меня допрашивать:

— Какие у вас связи с советской разведкой? А не есть ли советская шумиха двойная игра, чтобы поднять престиж своего агента на Западе?..

— Простите, сколько же может продолжаться такая игра? Попытки покушения на меня в 1955 году оценили как двойную игру, «Технология власти» и кампания против ее автора тоже считаются двойной игрой.

На первом же допросе я заявил решительный протест. Двадцать четыре года я беспрекословно и под американским наблюдением учу американских офицеров и дипломатов истории, идеологии и практике советского режима. За эту четверть века сменилось много начальников школы, от которых я получил наилучшие характеристики, за это время моими слушателями было много американских офицеров от капитанов, майоров и до полковников, в моем личном деле лежат данные ими высокие оценки. Что же, все это ничего не значит? Или я такой «тихий агент», которого Советы хотят активизировать посмертно? Возмущению моему не было предела.

Допрос кончился поздно вечером. Продолжение перенесли на завтра. В тот же вечер я тяжело заболел. Поднялась температура. Поэтому я не мог прибыть на продолжение допроса, зато явились ко мне сами следователи, думая, вероятно,

* СП «Слово» — Центр «Новый мир», М., 1991.

что если я не убежал к Советам, то, должно быть, симулирую болезнь. Только убедившись, что я действительно серьезно болен, они наконец оставили меня в покое.

Зато ухудшилось мое положение в институте.

В нашем институте все мои бывшие начальники до единого не только поддерживали и поощряли мои исследования по советским делам, но и разрешили мне работать политическим комментатором радио «Свобода». Этому пожелал положить конец новый начальник (1970—1973 гг.). Первым делом он запретил мне выступать по радио, а потом присвоил себе право быть моим цензором, более того — ссылаясь на какие-то пункты инструкции правительства об обязанностях его служащих, он начал решать, о чем мне можно писать и что мне можно публиковать. (Ссылка на правительственные инструкции не выдерживала никакой критики, ибо там не было запрещения литературной деятельности. В том случае, если выступление было важное и его могли выдать за мнение правительства или департамента армии, следовало сделать в статье такое примечание: «Данное выступление не является выражением мнения американского правительства или армии».)

На мое несчастье, приход в институт нового начальника совпал с началом злополучной «разрядки» между Никсоном и Брежневым, между Киссинджером и Громыко под лозунгом «Кооперация вместо конфронтации». Я, конечно, настойчиво доказывал в печати, что «разрядка» — это советский блеф, рассчитанный на осуществление триединой стратегии Кремля: во-первых, морально разоружить Запад перед лицом коммунистической опасности; во-вторых, пользуясь психологическим климатом «разрядки», расширить рамки советской политики глобальной экспансии в третьем мире; в-третьих, получать от стран свободного мира кредиты, технику и технологию, чтобы развернуть бешеную гонку вооружений. Все мои статьи были посвящены анализу текущей внутренней и внешней политики Кремля и параллельно дублировались на всех языках, на которых выходили печатные издания мюнхенского Института по изучению СССР, — на английском, французском, испанском, турецком, арабском. Поскольку многие из них из-за злободневности перепечатывались в странах третьего мира, то у меня создавалась даже своя аудитория.

Первое распоряжение моего начальника от 21 января 1970 года было скромным: он ставил мне на вид, что я опубликовал без его ведома пять статей (хотя они были опубликованы по-английски в субсидируемой американским правительством прессе) и что в дальнейшем в порядке «вежливости», прежде чем послать статьи в печать, я должен их представлять ему. «Вежливость» — качество хорошее, но она не должна мешать свобо-

де личного творчества. Поэтому я, пренебрегая «вежливостью», продолжая печатать статьи. Узнав об этом, он написал мне новое «предупреждение»: «...не намерен толерировать в будущем Вашу публицистическую деятельность», — и сообщил, что данное предупреждение вносится в мое «личное дело». Это был уже приказ, и мне пришлось, подчиняясь ему, придумывать себе разные псевдонимы, чтобы все-таки продолжать писать. Однако совсем неожиданно всплыл новый вопрос: одно американское полуофициальное издательство в Риме обратилось ко мне с просьбой разрешить ему выпустить «Технологию власти» вторым изданием. Книга выходила в 1959 году, и, полагая, что «предупреждение» моего начальника не имеет обратной силы, я дал свое согласие на ее второе издание. Мой шеф узнал и об этом. 1 марта 1973 года последовало его новое распоряжение, что, какими бы ни были материалы, требуется разрешение Департамента армии до их публикации. Шеф добавлял: «Ваша репутация как серьезного ученого по советским делам бесспорна, и я буду поощрять Ваше участие в разрешенных публикациях, но я не буду терпеть несоблюдения данных мной указаний». Я ответил, что уже заключил договор с издательством в Риме и бессилён приостановить переиздание книги. Тогда 27 апреля последовало очередное и последнее распоряжение: «Департамент армии после всестороннего анализа потенциальных последствий предполагаемой публикации расширенного издания и распространения «Технологии власти» пришел к выводу, что не в интересах Департамента армии и Русского института американской армии дать разрешение на печатание и распространение этой книги. Поэтому приказываю Вам поставить в известность Вашего издателя, что Вы береге назад расширенное издание «Технологии власти». Вы должны направить такое письмо не позднее 5 мая 1973 г. Невыполнение приказа приведет к рассмотрению вопроса о Вашей дальнейшей работе в этом институте». Я был готов уволиться просто из принципа, если бы в этом случае не лишился права на пенсию (ведь не начинать же на старости лет зарабатывать новую пенсию). Однако все наведенные мною справки привели меня к выводу, что пенсии я скорее всего лишусь, поскольку мой работодатель — армия. Если бы я был одинок, вероятнее всего, я ушел бы, но у меня была семья, а дети еще учились. Пришлось капитулировать. Я написал издателю, что по приказу моего начальства с великим сожалением должен объявить наш договор недействительным. Тот подал жалобу на моего начальника в Вашингтон. На смешанной комиссии Госдепартамента и Департамента армии при участии начальства моего издателя было решено, что запрет остается в силе.

Когда этого начальника наконец сменили (он был уволен в отставку), я подал

заявление новому начальнику, чтобы он поставил перед Пентагоном вопрос о «реабилитации» «Технологии...». В конце концов Вашингтон снял запрет, и издательство «Посев» выпустило второе издание «Технологии власти» (свое издательство в Риме Вашингтон закрыл на пользу «разрядке»).

Ленин писал, что допустить свободное слово в советской России означало бы для большевиков совершить самоубийство (это лучшее доказательство того, что большевизм держится не идеями, а насильем). Его ученики из Кремля тоже знают, что если они когда-нибудь погибнут, то не от внешней интервенции, а от свободного слова изнутри. Вот почему советские владыки боятся этого свободного слова больше, чем всех атомных и водородных бомб американцев. Одна лишь мысль, что их многомиллионная партия может узнать со стороны, из нефальсифицированной истории, свое собственное происхождение, наводит на них ужас (кстати, и моя двухтомная историческая работа «Происхождение партokratии»*, находившаяся в производстве в издательстве «Посев», была также затребована моим начальником на проверку, но издательство отказало)...

Я так подробно остановился на «Технологии власти», чтобы в этом маленьком, но символическом примере показать, как дух Сталина глобально витал над «разрядкой». Сталинисты из Москвы и дилетанты из Вашингтона одинаково были убеждены, что разоблачение Сталина противопоставлено успехам «разрядки». Я никогда не понимал, не понимаю и сейчас, почему американцы так беспечны в политике. Может быть, все дело в национальном характере и пуританской традиции благородной нации Вашингтона и Линкольна, которой органически чужда любая форма макиавеллизма в политике. Не знаю. Не мне судить об этом. Однако то, что писал на эту тему в 1957 году искренний друг Америки и знаток американского национального характера знаменитый английский драматург Ноэл Ковард, не может не навести на грустные размышления как раз политических друзей Америки:

«Американцы — дружелюбная, гостеприимная, жизненная раса, и их традиции крепки, но я желал бы, чтобы они не были так раздражительно неуравновешенны, так эмоционально подвержены влиянию, так дьявольски наивны...»

Они живут рекламой, быстрым обогащением, большим бизнесом и ужасающей сентиментальностью... Очень обескураживающе и очень опасно» (The Noel Coward Diaries, Little Brown (Co., New York)).

Возможно, что автор слишком сгущает краски и утрирует национальный характер американцев, но одно кажется мне правдоподобным: некоторые истоки ошибок американской политической фи-

лософии в нашу эпоху нащупаны с невероятной пронизательностью, а именно — «дьявольская наивность» в политике. Ведь американская политика в войне за безусловную поддержку Сталина, американская капитуляция перед Сталиным в Тегеране и Ялте, американская капитуляция перед «разрядкой» Кремля — вехи одного и того же трагического пути заблуждений, изменивших ход мировой истории. Все это оказалось возможным в результате взаимодействия двух факторов: советской гениальной дезинформации и американской добросердечной наивности. Выдача по той же дезинформации миллионов «ди-ши» на расправу Сталину не потревожила совесть не только западных союзников Сталина, но и западной общественности (об этом не разрешалось ни писать в газетах, ни передавать по радио, ни показывать это на экранах). Уже сам по себе антикоммунизм бывшего советского гражданина считался достаточным основанием для выдачи его Сталину, ибо антикоммунизм был приравнен к фашизму, а коммунизм — к демократии. Вот до какой виртуозности большевики умеют доводить свою технику дезинформации. Если Западу суждено когда-нибудь погибнуть, то не от советских атомных ракет, а от советской дезинформации, инфильтрации и политико-морального растления. Вот об этом я и писал в своих статьях и книгах.

Как преподаватель в американской военной школе, я честно и лояльно выполнял свои обязанности, но как советолог я критиковал ошибочную политику Америки. Человеку, мало-мальски смыслящему в советских делах, негрудно было представить, куда, например, целит советская «разрядка»: под знаменем «разрядки» Кремль хотел легализовать пути советской глобальной экспансии. В статье, против публикации которой в 1971 году был мой начальник, я писал:

«Министр обороны США Лэйрд сказал, что Америка не хочет играть роль «мирового полицейского», однако политическая природа тоже не терпит пустоты: откуда будет уходить Америка, туда будут приходить СССР и Китай. Они, конечно, будут приходить и туда, где Америка вообще не бывала. На то коммунистическая стратегия и глобальна».

И что же? Киссинджер и Лэйрд ушли из Индокитая, туда пришел СССР (Киссинджер умудрился даже за эту капитуляцию получить Нобелевскую премию мира); Америка остыла к Латинской Америке, туда пришел СССР; Америка вообще не была в Африке, туда пришел СССР.

Никсон и Киссинджер оказали Брежневу еще одну прямо-таки историческую услугу, на которую на Западе не обратили никакого внимания. Администрация Никсона — Киссинджера впервые за все время существования советского государства признала, что КПСС выше советского государства, ее генсек выше советского главы государства или председа-

* «Октябрь», 1991, №№ 2—3. Журнальный вариант.

ля Совета Министров СССР. Что это так де-факто — нет сомнения, но чтобы это признать и де-юре, надо было, чтобы в Белом доме очутились Никсон и Киссинджер... Когда Никсон начал заключать серию договоров с Брежневым, подписанных: «Президент США Никсон, Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев», — я послал в Белый дом письмо, в котором доказывал, что эти договоры не имеют юридической силы. Это письмо попало и в печать. Хочу привести ту его часть, которая появилась на первой странице нью-йоркского «Нового русского слова» от 16 июня 1972 года:

«Проживающий в Германии проф. А. Авторханов, специалист по советоведению, автор нескольких книг о Сталине и об аппарате компартии, вышедших по-английски и по-французски, отправил 2 июня 1972 г. президенту Никсону весьма интересное письмо, в котором он доказывает, что соглашение, подписанное в Москве, не имеет никакой юридической силы. Соглашение это подписал Генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, тем самым лишив документ юридической силы. По Конституции СССР, международные договоры могут быть подписаны только от имени Президиума Верховного Совета СССР или от имени Совета Министров СССР. Нет никакого сомнения, что Генсек фактически является главой советского государства, пишет проф. Авторханов, но де-юре он не имеет никаких прав подписывать международные договоры. Именно потому, что Сталин и Хрущев это отлично понимали, они совмещали должность Генсека с должностью председателя Совета Министров, что давало им право подписывать международные договоры, но чтобы Генсек подписывал такие договоры или соглашения, еще не было случая в истории советского государства...»

Из Госдепартамента последовала канцелярская отписка, что, мол, Брежнев предъявил соответствующие полномочия при подписании, но как раз эти полномочия и не были указаны после его подписи в договорах. Скоро кремлевские правители додумались, что каждый международный договор, даже явно им выгодный, подписанный лишь Генсеком, — филькина грамота. Тогда Генсеку дали пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР, и его фактическая власть приобрела силу юридической.

Немного хочу остановиться на своем сотрудничестве с радиостанцией «Свобода». Я систематически сотрудничал с ней с самого начала ее создания. Я был и организатором ее северокавказской редакции. В разгар своего любвеобильного «романа» с Громыко Киссинджер, после более чем двадцатилетней успешной работы нашей северокавказской редакции, о чем свидетельствовала и многократная советская критика, закрыл ее с оскорбительным для нас мотивом: незачем тратить даром средства на малые народы. Как раз в дни закрытия нашей редакции

Киссинджер ездил по Африке и хвалил американскую политику для «малых народов».

В шестидесятые годы я читал курс радиолекций «История культуры личности» и вел постоянный раздел «Партия сегодня». Выступал я под псевдонимом «профессор Темиров». Позже «Свобода» передавала весь текст моей «Технологии власти» и двух томов «Происхождения партokratии», а потом и «Загадку смерти Сталина»*. В семидесятые годы меня попросили, чтобы я свои текущие комментарии делал под своей настоящей фамилией, как Авторханов, поскольку в Советском Союзе меня знают по моим книгам под этой фамилией, да и чекисты от литературы постарались создать этому имени определенное, хотя и отрицательное «паблисити», что в глазах советского критического читателя является положительной характеристикой. Кажется, в начале 1977 года директор «Свободы» Френсис Роналдс предложил мне разработать курс радиолекций в помощь изучающим историю КПСС в советских парт- и политшколах. Я представил соответствующий план. Он был одобрен. Курс назывался «История партии, как она была». Я дошел только до 1917 года, когда новое начальство, сменившее Роналдса, сняло мой курс без объяснения причин... Однако я хорошо знал, что политика «Свободы» делается не в Мюнхене, а в Вашингтоне и что я вновь стал жертвой «разрядки».

Но иные времена — иные песни. С приходом в Белый дом президента Рейгана подул другой ветер. В связи с XXVI съездом КПСС в 1981 году радиостанция «Свобода» без моего ведома начала передавать мою книгу «Сила и бессилие Брежнева». Когда я узнал об этом, я выразил свое неудовольствие моему издателю, но было уже поздно. Однако «Свобода» решила повторить передачу этой книги в конце 1981 года, на этот раз к 75-летию Брежнева, и в письме ко мне попросила разрешения. Я разрешил, но вспомнил поговорку: не плюй в колодец, пригодится воды напиться.

Я собирался уходить в отставку из института еще в 1978 году, но мой последний начальник, полковник Ладжой, человек редкоко юмора и добрейшей души, попросил меня остаться еще на один год. Через год мы ушли оба — он уехал военным представителем Америки в Москву, а я удалился в баварское захолустье пенсионером.

Я был чрезвычайно тронут, когда перед уходом в отставку американская армия высоко оценила мою преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность, наградив меня медалью...

Люди по-разному писали о поколениях XX века. Одни писали о «потерянном поколении», другие об «обреченном поколении», но я свое поколение назвал бы «бездумным поколением идолопоклонни-

* СП «Слово» — Центр «Новый мир», М., 1992.

ков» и «детьми обманутых отцов». Мы поклонялись фальшивым богам, и они нас обманули. Люди, которые штурмовали 25 октября 1917 года Зимний дворец, были обмануты Лениным; люди, которые дрались на полях сражений в гражданской войне, были обмануты Троцким; люди, которые воздвигали «великие стройки коммунизма», были обмануты Сталиным. К последнему поколению принадлежал и я. Ни наши отцы, ни мы в

пьяном угаре «пролетарской революции» и за дымовой завесой ее социальной демагогии так и не узрели ее звериного нутра. Мы все были обмануты, и за то, что обманулись, мы все были и наказаны. История — не точная наука, в ней нет квазинаучных законов истмата, как нет предупредительных сигналов против заблуждений, но зато у нее есть неистребимая страсть: обманывать жаждущих быть обманутыми...

1983, 1992

Подготовка текста к публикации С. НИКОЛАЕВА
Примечания Д. Г. ЮРАСОВА

Вместо послесловия

Осенью 1950 года, в Бутырках, я коротал время за партией в шашки. Моим партнером был учитель, пытавшийся возродить русскую школу при немцах. Потом он скрывался, его выловили по всесоюзному розыску и дали 15 лет. Помню веселый блеск в глазах, с которым он начинал размен, и поговорку: главное дело — начать, а потом будешь плакать да кончать!

Однажды я спросил его, почему он сделал свой выбор. Партнер взглянул на меня в упор своими серо-стальными глазами и сказал: «Я был свидетелем коллективизации. Простить этого не мог». Ответ показался мне исчерпывающим. Я кивнул головой, и мы продолжали партию.

Признание законности его выбора не означало для меня ревизии своего собственного. Для меня врагом номер один был Гитлер. Но чем дальше, тем больше я понимал, что хрен редьки не слаще. История поставила наше поколение перед абсурдным выбором. Можно было воевать за Сталина против Гитлера, за Гитлера против Сталина, но ни то, ни другое не давало выхода из пропасти абсурда, и дезертирство тоже не было выходом, по крайней мере для мужчины. Я выбрал свою роль в этой пьесе, но не стал рабом своего поступка и признавал право другого действовать иначе. Если вы против Сталина, то логично искать союза с Гитлером. Другое дело — на каких условиях и что из этого могло выйти...

Чистая случайность, что Авторханов не был выдан советским властям и не запытан до смерти, как генерал Власов. Помню наигранный пафос, с которым следователь Мыславский, допрашивая меня по какому-то делу, говорил об Авторханове, у которого руки по локоть в крови...

Не было этого всего. Был человек, поворачивавшийся всем корпусом. Сперва — ортодоксальный большевик, потом — такой же ортодоксальный антикоммунист. Прямолинейность ума сказывается, например, в однозначной оценке национальных движений азербайджанцев и курдов Ирана как советской интриги. Интрига там, конечно, была, но не одна интрига. Иначе как пойдёте к движению курдов Ирака? Или к национально-му восстанию чеченцев, в котором Авторханов участвовал?..

Я устроен иначе. Однако расхождение в иных оценках не снижало моего интереса к мемуарам. Поразительна встреча с Постышевым в Бутырках и спор Постышева с Варейкисом. Скептики могут сказать, что диалоги недостоверны, нельзя помнить их наизусть 30—40 лет. Я возразил бы на это, что отдельные поразившие меня фразы помню с тех же лет — например, фразу Л. Е. Пинского: «Наша родина — маяк социализма, но где ставят маяки? Там, где скалы, где подводные рифы, куда плыть нельзя!» Так же мог врезаться в память ответ Постышева Варейкису: «Не заговор Ежова против Сталина, а заговор Сталина против Ежова!..»

Образ Постышева, созданный в мемуарах, — замечательный противовес к характерам сталинских прихвостней, обрисованных в «Технологии власти». Сейчас многие воспринимает большевиков так, словно они родились с копытами и хвостами. Глубоко человеческий Постышев разрушает этот стереотип. И Авторханов-мемуарист поправляет Авторханова-теоретика.

Картина террора 30-х годов в Чечне также производит сильное, даже болезненное впечатление. Понимаешь истоки современной ненависти к российскому центру — ненависти, против которой Авторханов пытался бороться, но ничего не мог с ней поделать. Хотя сам он после неудачного опыта союза против России искал путь к свободе Кавказа через союз с народом России. Споры же между русской и национальной эмиграциями, которые велись (при участии Авторханова) за десятки лет до образования СНГ, удивительно напоминают нынешние конфликты.

Я останавливаюсь на главном в моем собственном восприятии. Но, вероятно, каждый читатель прибавит к этому списку что-то свое.

Григорий ПОМЕРАНЦ

Литературная критика

К столетию Марины Цветаевой

Марина ЦВЕТАЕВА

Девять писем с десятым, невернувшимся, и одиннадцатым, полученным, — и послесловием

В основу публикуемой повести Марины Цветаевой в письмах была положена ее непродолжительная переписка с Абрамом Григорьевичем Вишняком.

А. Г. Вишняк (1895 — 1943) был редактором и управляющим делами небольшого литературного и художественного книгоиздательства «Геликон», которое в сентябре 1921 г. возобновило свою деятельность в Берлине.

С концом гражданской войны, введением нэпа и установлением дружественных отношений между Советской Россией и Веймарской республикой в Берлине возникает целый ряд издательских предприятий, которые печатали книги русских авторов, живших как в России, так и вне ее, обслуживая одновременно и советский, и эмигрантский рынок. Некоторые издательства, в том числе и «Геликон», проставляли на титульных листах своих книг: «Москва/Берлин».

Еще в Москве издававшиеся «Геликоном» с 1918 г. книги привлекли внимание критики высококачественным художественным и полиграфическим исполнением. Эту репутацию издательство старалось сохранить и в Берлине. За два с небольшим года берлинского существования «Геликоном» было выпущено около 50 названий книг и журналов, включая произведения А. Белого, Б. Пастернака, И. Эренбурга, А. Ремизова, М. Цветаевой.

Однако экономические условия деятельности издательств в Берлине скоро начали осложняться и в конце 1923 г. настолько ухудшились, что издательства стали одно за другим закрываться. Тяжелый удар по издательствам нанес и введенный российский правительством запрет на ввоз в страну заграничных изданий.

После краха своего издательства А. Г. Вишняк переезжает в конце 1925 г. с семьей в Париж, где живет вплоть до немецкой оккупации. 22 июня 1941 г. его арестовывают и отправляют в концентрационный лагерь в Германии, находившийся на границе с Чехословакией. Он погиб от силикоза легких в 1943 г. в Чехословакии, где узники лагеря работали на соляных коях.

М. И. Цветаева впервые услышала о Вишняке скорее всего от И. Г. Эренбурга, дружившего с издателем и активно сотрудничавшего с ним. По рекомендации Эренбурга «Геликон» выпустил в начале 1922 г. книжку стихов Цветаевой «Разлука», дабы помочь ей собрать деньги на поездку к мужу, попавшему после поражения Белой армии в Прагу.

Личное знакомство Цветаевой с Вишняком состоялось буквально на другой день по приезде Цветаевой 15 мая 1921 г. в Берлин. Эренбург пригласил его отобедать в пансионе «Траутенау-Хаус», где остановилась Цветаева и где жили сами Эренбурги. С этого дня у Цветаевой завязались с Геликоном (в Берлине было принято называть издателей именами их заведений) близкие отношения. Она часто приходила в контору «Геликона», неизменно с дочерью Алей, иногда читала сотрудникам восхитительные записки из Алиного дневника (см. описание Геликоновой конторы глазами девятилетней Али в (книге: А. Эфрон. *О Марине Цветаевой*. М., 1989).

А. Г. Вишняк, не лишенный поэтического вкуса, восхищался Цветаевой как поэтом. Он с энтузиазмом взялся за издание ее сборника стихов «Ремесло», предложил ей перевести повесть «Флорентийские ночи» Г. Гейне, убеждал Цветаеву сделать книгу прозы из ее дневниковых зарисовок московской жизни 1917—1919 гг.

Однажды Вишняк посвятил Цветаеву в свою семейную драму — увлечение жены, которую он обожал, другим, — рассказал ей о своих душевных муках, ища сочувствия

и утешения. Он, по-видимому, не предполагал, на какую благодатную почву падут его исповеди. Цветаевой, движимой всепоглощающей страстью любить, показалось, что она нужна человеку. Да и Вишняк давал понять, что не равнодушен к ней. Трудно сказать, насколько искренне Вишняк был увлечен Цветаевой. Человек аристократической стати и мягкой обходительности, столь импонировавших женщинам, он, по некоторым свидетельствам, пользовался репутацией сердцееда.

Как бы то ни было, возникшее взаимное притяжение перешло в почти ежевечерние долгие прогулки с чтением стихов, беседами, признаниями. Полетели цветаевские письма, писанные ночами после встреч, полились стихи, обращенные к возлюбленному.

Влюбленность поэта длилась всего несколько недель. Все произошло (и будет еще не раз случаться впоследствии) по как бы заданному кругу: Цветаева влюблялась в выдуманного человека, пыталась оторвать его от земли и унести в свои заоблачные духовные выси, а потом вдруг обнаруживала, что этот человек вовсе иной породы. Наступали горькое прозрение и расплата за «попытку жить». Этот трагический жизненный сюжет и составляет пафос «Девяти писем...», как, впрочем, и многих других цветаевских произведений.

31 июля Цветаева, разочарованная и опустошенная, уезжает с дочерью в Прагу. После непродолжительной спорадической переписки с Геликоном (в основном делового характера) Вишняк, к которому, кроме неприязни, Цветаева уже больше ничего не испытывает, исчезает из ее поля зрения. Однако спустя чуть более десяти лет Цветаева воскрешает его в образе одного из двух (правда, безымянных) действующих лиц «Девяти писем...».

Как упоминалось, в основу этого короткого повествования о трагическом разминовении душ легли девять писем Цветаевой к Вишняку лета 1922 г. и одно его ответное письмо, присланное в конце октября того же года. «Девять писем...» были частью более широкого замысла автора: издать по-французски небольшой сборничек из двух вещей, объединенных общей темой обреченности поисков абсолюта в «земной любви».

К реализации замысла Цветаева приступает в 1932 г. Как раз в этот период она пытается пробиться к французскому читателю. В сборник мыслилось включить «Девять писем...» и «Письмо к Амазонке» — написанное по-французски эссе, обращенное к американской писательнице Натали Клифффорд Барни, известной парижской «амазонке». Французский язык, который не был для Цветаевой каждодневным, давал ей, по-видимому, какую-то дополнительную свободу выражения.

Из отобранных писем она составляет русский текст повести и переводит его на французский язык, снабдив письма в ряде мест ремарками и комментариями, отразившими ее реакцию на события десятилетней давности. Цветаева дополнила повествование сценой «Последняя флорентийская ночь» и послесловием.

Однако эта работа так и осталась неопубликованной при жизни поэта. 7 марта 1933 г. Цветаева пишет своему чешскому другу А. Тесковой: «Стихов за зиму писала мало: большая работа о М. Волошине и перевод своей собственной вещи на французский: 9 (своих собственных настоящих) писем и единственное, в ответ, мужское — и послесловие: *Postface ou Face Posthume de choses* (Послесловие, или Посмертное слово вещей/фр./ — Ю. К.) — и последняя встреча с моим агрессором, пять лет спустя, в Новогородную ночь. Получилась цельная вещь, написанная жизнью. Но с моим обычным везением — похвалы (французов) со всех сторон, а рукопись лежит. И очевидно будет лежать, — как мой французский Млодец, иллюстрированный Гончаровой».

Эта французская миниатюра увидела свет лишь в 1983 г. благодаря стараниям итальянской славистки Серены Витале, которая осуществила первоначальный цветаевский замысел — издать по-французски под одной обложкой «Девять писем...» (повести публикатором было дано название «Флорентийские ночи») и «Письмо к Амазонке».

Двумя годами позднее под тем же названием — «Флорентийские ночи» — повесть была опубликована в русском переводе в журнале «Новый мир» (1985, № 8) по тексту французской машинописи с авторской правкой, хранящемуся в ЦГАЛИ.

Новый перевод сделан по копии той же машинописи. Он впервые выполнен с учетом дневниковых записей Цветаевой и, в сущности, воспроизводит в основной своей части оригинальный русский текст с его особенным языком, от которого отталкивалась Цветаева, создавая французский вариант.

Письмо первое

17-го июня 19...

Мой родной! Книга, которая сейчас — Вашей рукой — врезалась в мою жизнь — не случайна*. Прочтя на обложке его имя — обмерла.

Вы сами не знаете — Вы ничего не знаете — до чего все правильно. Но Вы ничего не знаете, Вы только очень чутки (не сочувственно, чувствуя

* «Флорентийские ночи» (сноска М. Цветаевой).

не душой, — как волк: всем востромордием, не сердцем, — ощупью) — в какие-то минуты Вы безошибочны.

Я не преувеличиваю Вас, все это в пределах темнот (которые беспредельны: самое беспредельность) — мехов и шкур (все тот же волк приходит на ум — видите?)

Я знаю Вас, Вашу породу, Вы больше вглубь, чем ввысь, всегда будет погружение в Вас: не подъем — говорю лишь об ощущении направленности.

Погружение в ночь (точно по лестнице — с одной ступеньки на другую, — которой никогда не будет конца).

Погружение в самое ночь. Поэтому мне с Вами так хорошо, без света. («Деревня в сорок светильников...» С Вами — я деревня без единого огонька, может, большой город, а может, и ничто — «была когда-то...» Я Вам ничем себя не обнаружу, ибо гасну дотла.) ... Без света: в голосах (как в мехах!). Поэтому во все **такие** часы Вашей жизни Вы будете — со мной, присутствующим в отсутствии.

Есть люди страстей — чувств — ощущений — Вы человек дуновений. Мир Вы воспринимаете наочно: это не меньше чем: душевно. Через кожу Вы воспринимаете и чужие души, и это верней. Ибо в своей области Вы — виртуоз. Вам не надо всей руки в руку, достаточно одного — даже смутного — желания. Чуткость на умыслы. Гений умысла. Мгновенное схватывание умысла. Инстинкт. Звериный инстинкт. (Если бы знала, что все так просто!)

Возле Вас я, бедная, чувствую себя оглушенной и будто насквозь замороженной (привороженной). (Не делайте из меня глухую или немую: я не есмь, что же до слепости — вспомните Гомера.)

Я не преувеличиваю Вас в своей жизни — Вы легки даже на моих страстных, милосердных, неправедных весах. Я даже не знаю, **есть** ли Вы в моей жизни? В просторах души моей — нет. Но в том возле-души, в каком-то **между**: небом и землей, душой и телом, в сумеречном, во всем предсонном, после-сновиденном, во всем, где «я — не я и лошадь не моя» — там Вы не только есть, но только Вы и есть.

Вы слегка напоминаете мне одного моего друга — несколько лет назад — благодаря которому я написала много стихов, враждебных всем как не мои и близких только — всей его породе. Но я не хочу сейчас говорить о нем, я его давно и **совсем** забыла, я хочу сейчас радоваться Вам и тем темным силам, которые Вы из меня выколдовываете. Колдун-открыватель родников может и не созавать: ни своей силы, ни достоинства ключа. Это — случайный дар и посему чаще всего достается неведающим и неблагодарным. Как все дары: кроме дара души, которая есть не что иное как созавание и узнавание. (Для смеха: если Вы — ключелов, то я Крысолов из немецкой легенды, уводящий своей флейтой крыс и детей, а, может, заодно и ключи!)

Последние годы я жила такой другой жизнью, так круто, в таких ледяных задыханиях, что сейчас руками развожу: я???

Мне от Вас нежно (человечно, женственно, зверино) как от меха. Другие будут говорить Вам о Ваших высоких духовных качествах, еще другие — о прекрасной внешности. Может быть. — А для меня — огненность (лисьего хвоста). Но мех — разве меньше? Мех — ночь — логово — звезды — завывающий голос (голос-волос) — и опять просторы...

Мой нежный... (от присутствия которого мне нежно: дающий мне это великое блаженство: быть нежной, нежить руки...).

Письмо второе

19 июня. ночь.

Вы высвобождаете во мне мою женскую сущность, самое темное и скрытое во мне. Я не становлюсь менее зоркой. Зоркость не убита, но блаженное право на слепость.

Мой нежный (от которого мне...), всей моей двуединой сущностью, вдвойне и неразрывно единой, всей моей сущностью двуострого лезвия (одаренного утешающей добродетелью ранить только себя) я хочу к Вам — в **Вас**: как в ночь. — «Стихи и сон!» а проще: прочесть и уснуть — (Ваши слова, — все помню). Как многие увидели во мне только стихи.

Всё через душу, дружок, и всё обратно в душу. (Самопитающийся фонтан. Великие фонтаны Великого Короля.) Только шкуры — нет. Вы это знаете, с Вашей звериной, гениальной ощущью. (Мой «сплошной мех».) Мех не только зверь, — и хвоя, ель, любимый можжевельник...

А если в окрасках: Вы — карий. Как Ваши глаза.

Мой родной, таких писем я не писала никому (с тех пор как перо стала держать — нет, как перо держит меня, — нет, даже до пера, когда на мне еще были ангельские перышки! — всем, всегда. Поверьте мне).

Все знаю, Человеке, — и Вашу поверхностность, и легковесность, и пустоту, но Ваша безграничная звериность мне безгранично дороже других душ. Вы так хорошо знаете, что такое холодно, жарко, хотеть есть, пить, спать. За Вашей пустотой — пустота, которую нельзя представить иначе как заполненную звездами или атомами, то есть населенную живыми мирами. Будьте пусты сколь Вам будет хотеться и мочься: я — жизнь, не терпящая пустоты.

Мое дитя (позвольте так...) — мой мальчик! Если я иногда не отвечаю в упор, то потому что иных слов в иных стенах нельзя говорить, не терпит, в иных стенах, сам воздух. Стены — всё терпят и ничего им не делается, они — единственное, чего я не терплю и от чего я больше всего натерпелась. Ибо знаете: та, которую Вы видите только словесницей, в большие часы жизни — тот спартаец с лисенком: помните? (Позвольте повеселиться: с целым выводком лисенят!)

Не знаю, залюблены ли Вы (закормлены любовью) в жизни — скорей всего: да. Но знаю — (и пусть в тысячный раз слышите!) — что никто (ни одна!) никогда Вас так не..... И на каждый тысячный есть свой тысяча первый раз. Мое **так** — не мера веса, количества или длительности, это — величина качества: сущности. Я люблю Вас ни так сильно, ни настолько, ни до..., — я люблю Вас так именно. (Я люблю Вас не настолько, я люблю Вас **как**.) О, сколько женщин любили и будут любить Вас сильнее. Все будут любить Вас больше. Никто не будет любить Вас **так**. Если моя любовь остается исключительной во всех жизнях, то исключительно благодаря двуединству в ней любимого и меня. Поэтому ее никогда и не принимают за любовь.

«Любите меня великим, любите меня красивым, любите меня всяким!». Я же всегда хотела, больше — требовала, чтобы любили меня — такой, какая я есть, — за то, что я есть, — потому, что я есть. Не за то, какой, по-Вашему, я могла бы, должна бы, должна была быть. Пусть во мне любят — меня, а не идеальное и ложное существо, плод воображения того новоявленного поэта третьего разряда, который именно так и любит, коль скоро не отродясь — поэт, не отродясь — мыслитель. По мне, лучше быть сфотографированной, отраженной, повторенной, данной в невыгодном свете равнодушным объективом, чем написанной, то есть данной в выгодном свете, одушевленной художником, у которого не известно, есть ли душа? и рука которого зачастую в руках какой-нибудь одной мании.

Не делайте меня хуже, чем создала природа — или делает зеркало — это все, о чем я смиреннейше прошу художника и любящего. — «Лицо — лишь отправная точка». — Да, но хорошо ли Вам известна моя (своя) направленность? Чем бы я в конце концов стала, до чего бы я в конце концов поднялась, если бы..? Можете ли Вы хотя бы следовать за мной — Вы, хотящий обогнать меня, чтобы вести за собой? Великий мастер может явить идеальное, ибо он являет то, что долженствует быть, реальное в потенции. Высокую реальность. Всем же остальным, заурядным мастерам в искусстве и любви, дано только списывать (живописуя, любя) с натуры. Явите «меня» — если можете.

Я всегда предпочитала быть узанной и посрамляемой, нежели придуманной и любимой. Посмотрите на меня всею зоркостью Ваших глаз или идите «творить» Вашу подругу, которая будет Вам за это только признательна и которая будет узнавать себя в каждом из Ваших «портретов», ибо она не знает самое себя — просто потому, что в ней нечего знать. Ничто, годное для любых форм. А я, я уже сотворена и сотворил меня Бог. Довольно и одного творения. Такого творца.

Меня могла бы осуществить только любовь того, кто избрал бы меня из всех существ — прошлых, настоящих, будущих; мужских, женских; во-

дяных, огненных, воздушных, земных, небесных. И прочих — на других планетах!

Вот я такая. Если я Вас огорчаю — простите, что я *есть*.

—

Подумать только, если бы мы были вместе, я бы так и не знала того, о чем только что Вам поведала!

Как все находит разлука. Как все сводит отдаленность!

—

Мой маленький! Сейчас четыре часа утра, я с Вами, лбом в плечо, я бы все свои стихи (бывшие и будущие) отдала Вам: не как ценности, — как вещи, которые Вам нравятся.

— И еще это — хотите?

Верность: невозможность иначе. Остальное — Люцифер (гордыня) и Лютер (долг). Как видите, учусь у сердца.

—

И возьмите меня как-нибудь на целый вечерок с собой. Чтобы я немного забыла Вас, обрета. Чтобы мы несли Вас вдвоем.

Письмо третье

Когда я только что сидела с Вами на той бродяжной скамейке — скорее поврозь, чем рядом — у меня душа разрывалась от нежности, мне хотелось взять Вашу руку к губам, держать, так, долго — так долго...

Скамья отказная,

Скамья бродяжная...

(Отказ. Это богатство бедности, так чудно дающее одним только словом две вещи, одним только звуком — два смысла, расширяя его и обогащая!)

Но Вы видите: мы расстались... галантно (Первые птицы! Наш невозможный час!). Я могу без Вас, я не девочка и не женщина, мне не нужны ни куклы, ни мужчины. Я могу без всех, но, может, в первый раз мне хочется не мочь.

Может быть Вы скажете: — Такой мне Вас не нужно (слабой, как все другие, и куда менее милостивой). Иду и на это! На одно не пойду: обман. Я хочу, чтобы ты любил меня всю, какая я есть. Это единственное средство быть любимой — или нелюбимой. Чувствую себя Вашей (Вас не чувствую моим). Уже не боюсь слов, не бойтесь и Вы, ибо это важно только для меня и никогда не будет — для Вас. Когда возобновятся все ваши перекрестные крутежи, я сделаю прыжок, как прыгают с лодки, которая потом вальсирует. О боли моей Вы не будете знать. Не останется даже пустоты, потому что я не занимала никакого места в Вашей жизни. Что до «душевной пустоты», — чем душа пустее, тем полнее наполняется. Имеет значение лишь пустота физическая. Пустота вот этого стула. В жизни Вашей не будет стула, пустующего мной.

Наш век с Вами — час, который уже проходит. И мне нужно от Вас только одного: Вашего разрешения любить Вас: только вот этих сухих слов: «Люби меня как хочешь и как не хочешь: всей собой».

Я ведь говорю не о жизни, не о беге часов. Знаю, что все жизни и все часы заняты, и я вовсе не хочу посягать на право собственности (одинаково презираю и права и собственников). Любовь моя не соответствует никакому времени, никакому месту. Она никогда не будет вхождением в такую-то комнату в такой-то час. Она есть выход из всего, начиная с моей собственной кожи! Когда она кончается, наступает великое возвращенье в себя самое. Пока я Вас люблю, Вы всегда будете находить меня *между* собою и мной; никогда в Вас или во мне. В пути, как струя фонтана или поезд. Какое время когда вмещало любовь, ведь сама душа изливает ее целыми потоками (я тебя люблю невместно! — где? в моем теле!), ведь ее первое слово — «всегда», а последнее — «никогда». Полночь не более ее час, чем полдень, — все это из словаря влюбленных, из обихода — такого расхожего! То, что время вмещает, думая что вмещает любовь — нечто иное. Отказ

любить. Дорога, кончающаяся комнатой — ложка, и именно по ней я никогда не давала бежать своим ногам.

Я говорю о Вашем разрешении на внутренний разбег, ибо и его могу сдерживать. Сдерживаю. (Уже не сдерживаю!)

Мне нужно от Вас: моя свобода к Вам. Мое доверие. Мне нужно от Вас: моя любовь к Вам, Вами принятая. — И еще: знать, что Вам от этого не смутно.

Небо совсем светлое. Над колоколенкой слева — заря. Это невинно и вечно. Я тебя люблю сейчас, как могла бы любить твоего сына, кем ты должен был бы быть.

Не думай, что я миную в тебе простое земное. Люблю тебя всего — с глазами, с улыбкой, с повадками, с твоей исконной, родной, прирожденной ленью, со всем твоим темным (для тебя, не для меня) началом души: жаления, страдания, отдачи. Что это не на меня, не из-за меня идет — ничего. Я для себя от тебя хочу так многого, что ничего не хочу. (Лучше не начинать!)

Только знай — мой недолгий гость — что никто и никогда тебя ... (не настолько, а так. Таким образом, **так именно, так по-моему**). И что я отступив от тебя, уступив тебя: как всё всем, всякому — дорогу, никогда от тебя не отступлюсь.

Рассвет. Я сейчас совсем спокойна, как мертвая, и в этой полной ясности утра и головы говорю тебе: «с тобой мне нужны все тесноты логова и все просторы ночи. Вся ночь вне и вся ночь внутри».

Какое бесправье — земная жизнь! Какое сиротство!

Жму твою руку к губам. Пиши мне, пиши больше. Буду спать с твоим письмом. Мне необходимо от тебя что-нибудь живое. Все небо в розовых раковинах. Если небо — пляж, **что тогда море?** Это самый нежный час. Спи спокойно. Первые шаги на улице, наверное рабочий. — И птицы.

Рассвет какого-то июньского дня, суббота.

Письмо четвертое

Несколько слов в Ваш утренний сон: только что рука от нежности все-таки не удержала пера.

У меня к Вам еще два камня, две блаженных горы на сердце — колеблюсь — нужно, чтоб знали, но — если Вы человек — Вам не может не сделаться больно. Буду ждать. Не камни: две лютые мечты, неосуществимые в сей жизни, немислимые в той, врожденная, до меня рожденная жажда, самая тайная жажда моего существа, запечатанная, как колодец камнем Рёнштаттена, дабы Ундина не смогла возвратиться в лоно свое: обрести себя. (Все врожденное есть до-рожденное. Наша врожденная жажда — наше родимое море.)

Эти две жажды теснейше связаны: нет одной без другой. То для чего я на свет родилась и без чего мне надо будет уйти.

Кто знает? — Было однажды у Вас — при мне — слово, которое уже тогда (мы увиделись мельком) ожгло меня болью. Не забудьте: живу наперед, опережаю жизнь!)

Когда-нибудь это письмо будет для Вас так же ясно, как эти буквы. Но будет уже поздно.

Утро того же июньского рассвета.

(Только у большого человека такое письмо не вызовет самодовольной улыбки. У большого — вообще и у большого в любви. Казановы, от меньшего — плакавшего!) Посмертная пометка.

Письмо пятое

25 июня, воскресенье.

Дружочек! Рвусь сейчас между двумя искушениями: Вами и солнцем. Две поверхности: песчаная — этого листа, и каменная — балкона. Обе чистые, обе жесткие и обе усыпляют. И одолевает песчаная!

Вчера не горел свет, и я руки себе грызла от желания писать Вам (от ярости, что не могу). У меня были такие верные, такие вещи — в упор — слова о Вас, к Вам. Неслось и неслось, как поток. Это был **самый мой час** с Вами, час, который у меня отобрали, украли, с ключьями вырвали. Я лежала на полу — и рычала, как собака.

Я сейчас поняла — с другим у меня было **р**, моя любимая (мужественность!) буква:

мороз, гора, герой, Спарта (зверенок-лисенок!): все прямое, твердое, крепкое во мне.

А с Вами: шепотá, жжение, малодушие, тишина и — больше всего — «дружочек»!

Мой родной дружочек, знаю, что это безобразие с утра: любовь вместо рукописей. Но это со мной так редко, так **никогда!** Все боюсь, что это мне во сне снится, что проснусь и опять: гора, герой...

Письмо шестое

26 июня, ночь.

Родной, то, что сегодня слетело на пол и чего Вы даже не увидели — так скоро я его спрятала, было письмо к Б.

Сейчас, когда я пишу это, Вы спите. Боже, до чего я умиляюсь всеми земными приметами в Вас! Усталостью (тирино-откровенными зевками), зябкостью («не знаю почему — зубы стучат» — у подъезда, — я же знаю: потому что три часа бродил со мной по пустым улицам города и не менее пустынным проспектам моих мыслей. Без единой чашечки «обычного кофе» для тела и без единой улыбки — для души.)

До чего Вы меня умиляете внезапной, еженощной (но непременно) прожорливостью и...

— Но Вы из меня делаете какое-то животное!

Не знаю. Люблю таким.

И еще — меня сейчас осенило. Вы добры: Вам часто жаль того, что обязательно случается с Вами. И еще в Вас есть болевая возбудимость: Вам часто больно и необязательно от чего-то физического. (У меня болит. Что у меня болит? Палец? Нет. Голова? Нет. Зубы? Нет. Тело не болит. Вот что: душа.)

Мой родной мальчик, беру в обе ладони Вашу дорогую головочку — как странно чувствовать вечность черепа через временность волос, вечность горы через временность травы... Теперь слушайте, это настоящая жизнь. Вы спите, я вхожу. Сажусь на край этой огромной кровати — русла реки нашего сна, этой огромной реки сновидений, замечаю свешивающуюся руку, завладеваю ею (такой не мой глагол), несу ее (такое мое действие!) к губам... Вы приоткрываете глаза.

Я Вам рассказываю — всякие нелепости, вы смеетесь, я смеюсь, смеюсь. Ничего любовного: ночь наша, что хотим, то и делаем. И счастливая — такая счастливая, что не влюблена — что могу говорить — что не надо целоваться — из чистой благодарности: я Вас целую.

Вы прелестно целуете (уничтожьте мои письма!) — так человечно. В этом больше всего ощущается Ваша душа. (Как я не догадалась раньше: зверь — что может быть одушевленное зверя? 1) ведь стоит только в апіта* убрать *l*, чтобы получилась душа.** 2) ведь он на целую букву больше души. А если серьезно: зверь — по самой своей сути существо одушевленное. Почти душа.)

* зверь (франц.).

** апіта (лат.) — душа.

С вами не смутно (тяжелой смутой), ничего муторного. Мы не в неведомой стране. Хорошо, очень хорошо, **еще** лучше, сверх-сил хорошо... Оставаясь при этом собой. Это не зло-деяние, а добро-чувствие и раньше всего: добродушие. Да, Вы добродушны. Вы не враг, не сопреступник. Товарищ. Тьмы Вы сюда не вносите. Только темноты.

Как я бы хотела, как я бы хотела — ведь это нежнейшее, что есть! — Вашего засыпания, какой-нибудь недоконченной фразы, вязнущей во сне, всей предсонной нежности с Вами. Чтобы лучше любить. Ибо тогда души безоружнее и значит более достойны любви.

(«Предсонье..... разоруженье душ»...).

Милый друг, я только в самом начале любви к Вам — еще ничего не было (все будет!) Я только учусь. Вслушиваюсь!

Я бы хотела многих Ваших слов, никогда не скажу каких. Чувство: ничего не опережать, заострить внимание (напряжение ума), замереть, чтоб услышать Вашу жизнь (рождение?). Вся любовь — огромное ухо (меня подмывает сказать: слух — рыб) и как раз поэтому она слепа: ничего не видеть (не знать), чтобы все слышать (понимать). («Бабушка, бабушка, отчего у Вас такие длинные уши? — Чтобы лучше слышать тебя, дочка». О, какие у любви длинные, предлинные уши!)

Уши в сторону — из этого может вырасти подлинно огромное, но все можно повернуть самовольно, исказить. Посему давайте замрем.

Придет час, когда мне будет не до смеха — ах, знаю! — но это еще не скоро, и ни от чего в мире, включая Вас, — ни от Вас самих не зависит отдалить или приблизить его.

Это — будет еще одной ступенью бесконечной лестницы: ночи.

Дружочек, загодя предупреждаю: не обманывайтесь внешними признаками: руки и губы нетерпеливы, это — дети, им нужно давать волю (чтобы не мешали!), но не они (губы и руки) играют главную роль: выигрывают. Это будет только переход к.

Спокойной ночи. Прочтите это письмо на ночь, и тут же — выпадающим от сна карандашом — несколько слов мне, не думая.

Сегодня вечером в кафэ мне на секунду было очень больно. Вы невинны, это я безмерна, Вам этого не нужно знать.

Спите. Не хочу ввинчиваться в Вас как штопор, ничего не хочу преодолевать, ничего не хочу хотеть. Если все это — замысел, а не случайность, не будет ни Вашей воли, ни моей, вообще — не будет, не должно будет быть — ни Вас, ни меня. Иначе — ни складу, ни ладу. «Милых мужчин» — сотни, «милых дам» — тысячи.

Письмо седьмое

28 июня, ночь.

Мой дорогой друг! — Ибо сейчас обращаюсь к безразличной привязанности. Хотите правду о себе, правду, которую Вы никогда не услышите от любящей Вас души, тем менее от не любящей.

Мы сейчас сидели за столиком. Вы слушали музыку, и стихи, и меня. Теперь я дома и одна и думаю. И первая мысль: это человек прежде всего наслаждения. О, не думайте: «наслаждение» — я беру это слово во всей его тяжести и оттого, что я его так беру — мне больно, ибо это — неизлечимо. Не наслаждение: женщины, бега и прочие плотские банальности, а: растение, звук, свет. **Все** доходит, но исключительно через шкуру, которая у Вас бесконечно **глубока** и которая, боюсь, у Вас вместо души. Все Вас гладит, все по Вас — как ладоню. Мне любопытно: чем Вы слушаете Бетховена? Не говорите: не люблю. Боюсь слишком явной расщелины, ибо бетховенское: «через страдание — к радости» — мое первое и последнее на земле и на не-земле!

Ладонь — люблю, вся жизнь — в ладони, но поймите меня! — нельзя — только ладонь! И есть вещи больше «жизни»!

Служат ли Вам твердая тыльная часть ладони, сила пальцев, упругость кисти? Любите теплое, гладкое, мягкое — велика заслуга! Лучше уж оставаться в материнской утробе.

Стихи Вы любите — даже не как цветы: как духи: приятность, без которой можно обойтись. Разрывается у Вас от них душа? Боль — что она в

Вашей жизни? (В моей — всё.) Мой любимый! Если бы это окончательно было так на все дни Вашей жизни, я бы нынче не говорила этих слов, как ничего не говорят стихотворцу, у которого все стихи — одинаковые нули. Но я еще в Вас верю! Я хочу для Вас боли, но не грубой, когда поленом или железкой по голове и человек тупеет или погибает, а такой: по жилам как по струнам. Как смычок! И чтобы Вы за этот смычок — отдали последнюю душу. — Чтоб Вы жили в ней, поселились в ней совершенно по своей воле, чтоб Вы дали ей в себе волю, отдали все то место в Вас, занимаемое наслаждением, чтоб Вы не разделялись с ней в два счета (вечно-мужским): «больно — не хочу». Чтобы Вы, сплошная кожа (со всей глубиной Вашего кожного покрова), в какой-то час жизни стояли — без кожи. С содранной кожей, живым мясом наружу.

Я не хочу, чтобы Вы — такой — такой — такой — (все восторженные эпитеты, какие только найдете) в искусстве, миновали что бы то ни было «потому, что оно причиняет боль». (Должно быть больно, иначе это «оно» — чем бы оно ни было — не существует, не имеет права называться «оно», оно меньше, чем ничто.) Вы не любите (не хотите) Бетховена и Вам чужд Микеланджело — пусть это будет сила в Вас, а не слабость, преодоление через знание, а не закрывание глаз и затыкание ушей — жалким страусом в пустыне наслаждения! (Ничто так не вызывает у меня представления о наслаждении, как песок, и ощущение песка, как наслаждение. Думал утонуть в море, в целом море, а стал задыхаться в сухом, бесконечно раздробленном, чему никогда не быть целым.)

Ах, мой маленький! Перечисляя Ваши звериные качества («Вы так хорошо знаете, что такое холодно, жарко...»), я забыла одну существенность: что-такое-страшно. Ибо именно страх заставляет Вас не любить Бетховена, тот самый страх, заставляющий выть волка на луну, собаку — под рылем.

Я не могу Вас слабым, потому что не смогла бы Вас любить. (Любить презирая — для других!)

Будьте слабым в проявлениях, что называется, личной жизни, но есть жизнь без проявлений, и она не терпит ни слабости, ни личных вольностей. Вспомните, что эпикурейцы из всех искусств жизни лучше всего умели умирать. Эпикурейство обязывает. Будьте...

—

Это слово случайно осталось последним. Это слово не случайно осталось последним.

—

Бесконечно (не вдоль времени, а вглубь того, у чего нет времени, что не есть время, что есть не-время) — бесконечно! Вы мне дали так много: всю возможность человеческой нежности во мне, столько сожалений, столько желаний... Сделайте так, чтобы Ваша грудь — эта клетка из прутьев ваших ребер — меня вынесла, — нет! — чтобы мне было просторно в ней, — нет! — чтобы я растворилась в ней, расширьте ее, раздвиньте себя — не ради меня: случайности, а ради всего того, что через меня в Вас рвется.

Возьми меня с собой в твой самый сонный сон, я буду очень тиха: только сердце. Мне так бы хотелось однажды — («однажды жила-была» — всю мою жизнь только и было что «однажды жить-будет», однажды, которое будет так же сомнительно, как было до него...). Слушай, я непременно хочу, понимаешь? — (я — нет: глагол, время, наклонение так мало мои!). Я непременно хочу в какой-то день увидеть тебя спящим — день, который был бы ночью, — иначе это будет жечь меня (тоска по тебе, спящему, Спящему красавцу) до самого моего последнего часа.

Поцелуй за меня мою вторую тоску.

—

Пометка на полях: («У надежды есть крылья». Мои же надежды — камни на сердце: желания, которые, не успев стать надеждами, были отродясь, дородясь — безнадежностями, грузом, грузным грузовиком.

Дай мне Бог никогда ни на что больше не надеяться!).

Письмо восьмое

2-го июля, ночь.

Милый друг! Как Вы похожи на Ваше письмо (читала его более внимательно, чем Вы — писали). Все та же линия наименьшего сопротивления.

Мне нравится Ваше письмо: перечитывала его за два дня — четыре раза. Я бы одно только хотела знать: для меня ли Вы его писали или для себя?

...Не гребя, по течению, на спине — Вашей и волны. Как это у Вас еще хватило силы держать перо? (Не силы — действенности!).

Все места, которых сразу не разобрала, так и остались темными. Утешаюсь тем, что там, должно быть, — самое любовное. Вы зря считаете Ваше письмо «косноязычным». Все абсолютно связно, плавно, **плывущее**. Не заика тот, кто запинается нарочно. Ничего темного, кроме почерка. — А вы уже вообразили, что тонете в лирическом потоке?

Вы любите слова, Вы к ним нежны, и Ваша нежность ко мне — на самом деле к ним. Я не знаю, любите ли Вы глагол, требующий большего, требующий все. Но точно знаю: Вы любили меня через мои стихи. Другие любили мои стихи через меня. В обоих случаях скорее терпели, чем любили. Чтоб было совсем ясно: меня всегда было несколько больше для людей, со мной соприкасавшихся: «несколько» — читайте: на большую половину, на еще одну меня или меня живущую или живущее во мне моими стихами. Никому не приходило в голову, что это — два лица одной и той же силы, силы, способной принимать тысячи ликов и быть тем не менее единым целым. Но у Вас уже напрягается чело — от благородного усилия сосредоточиться — и также напрягаются желваки — от не менее похвального усилия подавить неудержимую зевоту.

Впрочем, как говорят немцы, «ich schenke es Ihnen» (по-французски: я Вам это прощаю). Подарите мне в ответ мундштук — только чтоб ни из янтаря, ни из серебра, ни из пенки, ни из слоновой кости, ни из всего, что пахло бы обладанием. Я свой вчера потеряла, во время большой прогулки с Б. Список моих просьб растет (По слову одной женщины-поэта: «Сколько просьб у любимой всегда! У разлюбленной просьб не бывает»... В данном случае — сколько просьб у **любящей!**).

Вчера с иронической рыцарственностью весь вечер защищала Вас. Все упреки к Вам — справедливы, но это мое дело, а не их — ведь ни у кого не хватило души (простодушия!) пострадать от Вас, кроме меня. «Из-за него мы теряем время!» «Из-за него» я теряю — большее.

Есть нежные слова в Вашем письме, глядящие по сердцу: слова-ладони. С таким письмом хорошо спать. — Спасибо. И праведные слова — в моем: которые должны выправить Ваше сердце: слова-вербные ветви. С таким письмом хорошо бодрствовать. Благодарите.

По Вас не скучаю — пока, но (знаю себя) через три дня бы заскучала. (У меня свой счетчик разлук.) И потом — Вы дома, очень думать о Вас значило бы — и Вас заставить подумать обо мне, то есть из дому — увести на воздух, высвободить Вас. А я против даже самого освободительного насилия.

А если сами думаете обо мне — Вам меня уводить не приходится, я уже уведена из всех земных мест и из самой себя к единственному, до которого мне никогда не дойти. (Какое малодушие говорить Вам такое!) И для вышей точности и дабы не обременять Вас — даже тенью ответственности: **я уродилась уведенной!**

Продолжайте писать мне. Второе письмо — испытание. Испытайте себя!

«Нежность на исходе» (от растраты). Это глубоко и правильно, но это не все. И смотрите: от «на исходе» (нежности или всякой другой силы) — неизбывность. Чем больше даем, тем больше остается, начинаем растрачивать — тут же прибывает! Вскрываем жилы — свои — и вот мы — живой родник.

...Я бы хотела прочесть Ваши стихи. — Дадите? — Прочту внимательно и скажу правду. (Правда! какой прелестный соблазн для любителя и любимого, которые только и живут тем, что скрывают ее от себя. Оттого, видно, и не дал. Пометка на полях.)

Вы, конечно, не напишете мне ни строчки — потому что у Вас есть мои стихи. Вы вроде ребенка, которого учат ходить, соблазняя яблоком — протягивают, но не дают, так как стоит ему завладеть яблоком, он больше не делает ни шагу. Вы это яблоко заполучили.

Вы не напишете мне: днем — море, вечером — сон.

Когда я уеду — и вот, не знаю, что дальше. Вижу себя, глядящую (согласно Вашему определению, возможно, это так и есть) вполоборота, через плечо, но не на Вас, дружочек: на себя — эту, которую я уже начинаю преодолевать.

—

Мой родной! Завтра или послезавтра спрошу Вас, что в точности Вам снилось во втором часу ночи, нынче, в воскресенье. Мне приснилось, что Вы умерли.

Помню Ваши утренние волосы: кудрявые, и дневные: проборные, и ночные: лохматые — самые юные. И всю Вашу небрежную нежность. Но слишком думать о Вас нельзя.

Спокойной ночи. Если Вам сейчас мирно спится — то, конечно, моей милостью. Я бы могла быть коварной, как другие, но это не была бы я, и если бы Ваша любовь ко мне была результатом моего коварства, Вы любили бы не меня. (Смогла бы я быть коварной, подобно другим?).

Я отродясь больше любила убаюкивать, а не лишать сна, кормить, а не лишать аппетита, образумливать, а не заставлять терять голову. Мне отродясь было дороже давать, чем лишать, давать, чем получать, давать, чем — иметь.

—

Р. С. (Внезапная мысль) Подлинный палач, палач средневековья, имевший право поцеловать свою жертву, — тот, кто предаёт смерти, а не тот, кто лишает жизни. Это не одно и то же. Подумайте над этим.

—

Письмо девятое

9 июля, полночь.

От сосредоточения (напряжения) мне страшно захотелось спать. Я ждала Ваших шагов, мне не хотелось, чтобы я когда-нибудь смогла сказать себе, что проглядела Вас — в трижды печальном смысле: упустить случай, не заметить Его Высочества и, — как ребенку — проглядеть глаза в ожидании матери, — хоть раз по своей вине. Я легла на пол — головой в дверях балкона, на совершенно плоском и твердом, чтобы не заснуть. Подымаю глаза: две створки двери — и все небо. Шагов было много, я скоро перестала слушать, где-то играла музыка, я вдруг почувствовала свою низость (всех последних дней с Вами — о, обиды нет! — я была малодушной, Вы были собой). Я знаю, что я не такая, — это только потому, что я пытаюсь — жить.

Жить — это кроить и неустанно кривить и потом выправлять — и ни одна вещь не стоит (да и не стбит! простите эту грустную, серьезную игру слов).

Как только я пытаюсь жить, я ощущаю себя последней, захолустной швейей: ей никогда не сшить ничего красивого, она только портит работу и ранит пальцы, и вот, бросив все: ножницы, лоскутья, нитки, она пускается петь. У окна, за которым льет вековечный дождь.

Я еще полна этим пустым небом. Оно плыло, я лежала неподвижно, я знала, что я, лежащая, пройду, а оно, плывущее, останется, пребудет. Небо плывет вечно и безостановочно: и я всё прохожу безостановочно и вечно. Я — это все те, которые так лежали и смотрели, будут так лежать и смотреть. Видите — я тоже «вечна».

Я ли — этим утром? Это была просто не я. Разве я — могу кроить и рассчитывать? Я могу рваться — да! — как ребенок: к тебе! — раскинуть руки: одну — к востоку, другую — к западу, но больше... но меньше... Нет, это жизнь — насильница душ — заставляет меня силой играть этот фарс.

Подбирать на коленях лоскутья (урезки) после такой кройки?.. Нет и еще раз — нет. Завожу руки за спину. И — прямоту хребта!

Разве могла я искать — даже ради Царства Небесного! — такого осуществления — такой ценой? Мой дорогой друг, должно быть небо — и для любви. Не над-ложное. А радужное.

Мой дорогой друг, Вы не пришли сегодня вечером, потому что писали письма (своим). Мне уже не больно от таких вещей — приучили — Вы и все, Вы ведь тоже вечны: неисчислимы (как та я на полу и в небе). Все тот же Вы, не идущий к все той же мне, все так же ждущей его.

Когда Вы когда-нибудь, на досуге, перечтете мои записные книжки — не только ради формулы и анекдота — когда Вы их перечтете, чтоб найти там меня живую, Вы заново увидите нашу встречу.

В жизни со мной поступали обычно, а я чувствовала, как было обычно для меня. Поэтому никого не сужу.

От Вас как от близкого я видала много боли, как от чужого — только доброту. Никогда не чувствовала Вас ни тем, ни другим, боролась в себе за каждого — значит: против каждого.

Это скоро кончится — чую — уйдет назад, под веки, за губы. — Вы ничего не потеряете, стихи останутся. Жизнь прекрасно разрешит задачу, Вам не придется стоять распятием между своими и «другой» (да простят мне Бог и Ваше чувство меры — от которого я так безмерно страдала! — непомерность сравнения).

Родной! Вне всех любезностей, ласковостей, нежностей, брэнностей, низостей — Вы мне дороги. Но мне с Вами просто нечем было дышать.

Я знаю, что в большие часы жизни (когда Вам станет дышать нечем, как зверю, задохнувшемуся в собственном меху) — миную мужские дружбы, женские любви и семейные святыни — придете ко мне. По свою бесмертную душу.

А теперь — спокойной ночи. Целую Вашу черную головочку.

—

Письмо десятое и последнее, невозвращенное

.....

Письмо одиннадцатое, полученное

29 октября 19...

Вы поймите, мой друг, как мне трудно писать: я сознаю себя кругом виноватым, виноватым прежде всего в отсутствии той воспитанности, внутренней и внешней, которую Вы так цените. Но постигает же людей чума, и я впал на многие месяцы в состояние жестокой прострации, полного оглушения и онемения.

Все проходило мимо, и никакие силы не могли бы заставить меня делать то, что делать было необходимо. Сейчас, когда я Вам пишу, все это — позади, и я чувствую какую-то особенную, послеболезненную бодрость. Мне очень тяжело, что мое молчание могло Вас навести на ложные предположения. Спящие не ходят на почту. (Пометка на полях: но все же ходят в ресторан!) Прощу этому верить.

—

Я возвращаю Вам письма, дабы у Вас была полная уверенность в том, что они — не у меня. Я оставил только одно — последнее, переданное Вами в день отъезда. Оно мне дорого, как завершение какого-то пути, как последнее слово удаляющегося голоса. Впрочем, если Вам не по себе от этого листочка в моих руках — верну его тотчас.

Я шлю Вам (заказным):

- 1) 2 конверта с письмами
- 2) толстую синюю тетрадь
- 3) стихи 19...
- 4) стихи 19...
- 5) две записных книжки
- 6) книжки с автографами X
- 7) Buch der Lieder *

* Книга песен (нем.).

Книжечку цвета замши, куда Вы записывали стихи, посвященные мне, я оставил. Не в виде документа или памятки, а просто как кусок жизни, переплетенный в кожу. Если это не по праву, если это вопреки Вашим «законам», — у Вас они есть на всё! — напишите, пришлю.

Ради Бога вышлите как можно быстрее книгу Б. с посвящением, которую я забыл у Вас взять перед Вашим отъездом. Вы знаете, сколь я дорожу автографами! Экспресс-заказным, пожалуйста! Не буду спать спокойно, пока ее не получу.

Если напишете — отвечу без промедления. Я проснулся. У меня отшибло память на события личной жизни. Помню человеческое и общее. И Вас помню на балконе, лицом вверх и глазами в ночное небо, равно безжалостное для всех.

Х. шлет Вам привет и просит прислать что-нибудь для его журнала. Что пишете нового? Продолжаете ли переводить «Флорентийские ночи»? Из записных книжек не хотите чего-нибудь смастерить? Много ли новых стихов? Пришлите, пожалуйста, в память о былом.

Желаю Вам всяческого добра. —

— **Пометка на полях:**

«Все люди берегли мои стихи. Все — возвращали мне мою душу (возвращали меня к моей душе)». —

Кстати, о коже: «кусок жизни, переплетенный в кожу» — противная ассоциация. И еще: плохо сказано — три слова вместо одного — сердце. (Сердце в коже). Кроме того, не сомневаюсь, что наряду с остальными, моему корреспонденту сильно нравилась сама видимость «книжечки» («толстую-то синюю тетрадь» он мне вернул!) — замша столь же приятна на вид, как и на ощупь и на запах.

Так, и на этот раз оправдалась — с почти нежданной естественностью и негаданной очевидностью — моя о нем «кожа».

Последняя флорентийская ночь

Новогодняя ночь. Бал-маскарад. Залы, гостиные. В одной из них с притушенным светом и удушливой мебелью — нищая заемная роскошь! — я, без маски, в кругу нескольких знакомых.

Врывается шумный хоровод в костюмах, один отделяется от группы, подходит, кланяется. Белый бурнус, тюрбан. Маски нет.

— Вы меня узнаете?

— Нет.

— Вглядитесь, разве костюм может так изменить меня?

(Я «вглядываюсь»).

— Неужели Вы меня и впрямь не узнаете? (Его голос, сперва радостный, все больше выдает уязвленное самолюбие.)

Молодое, довольно привлекательное лицо. Смуглые волосы.

Я, нетвердо: — Да-да, у меня сейчас такое впечатление, что мне действительно, кажется, приходилось, быть может, Вас однажды где-то видеть... Скорее слышать... Мне кажется, что Ваш голос для меня не...

(Смотрю еще раз.) — Нет-нет, я решительно вижу Вас впервые!

Вокруг оживленно-изумленные смешки, возгласы, и из глубины всего этого гула — явственно:

— Я — (такой-то).

— Вы? Господи! Извините ради Бога, но я так плохо вижу, и у меня нет никакой зрительной памяти, да и не виделись мы очень давно, и к тому же у Вас были тогда усы.

— У меня усы? Я в жизни не носил усов!

— Не может быть! Я точно помню: маленькие такие усики, щеточкой.

— Уверяю Вас, клянусь, что я в жизни не...

Другие, вмешиваясь: — Вы ошибаетесь, мадам, Вы его принимаете за кого-то другого, он действительно никогда не носил усов!

— Странно. Я точно помню. Вот такие маленькие, щеточкой.

Он, в отчаянии: — Я **никогда** не носил никаких усов — маленьких или больших, щеточкой или под Вильгельма!

Я, тронутая тем, что незнакомец так огорчился из-за меня:

— Ну что Вы! Успокойтесь! Я Вам верю! И все-таки — странно: я точно помню: черненькие усики. Впрочем — постойте, постойте! — не могли ли это быть очки? Наверняка это было что-то, чего сейчас нет — да, конечно, очки, а усики щеточкой — это были брови. (И соотнося): Большие брови. Так оно, должно быть, и было. Только все равно удивительно — я точно помню...

— И в самом деле удивительно.

Он, уязвленный, удаляется.

Руку на сердце: узнала ли я его или нет? Неужели я его так напрочь не узнала?

В первое мгновение — да (то есть нет), во второе — что-то мелькнуло, в третье — я уже **знала** (узнала) голос, не лицо (которое, кстати, я так и не узнала), но под воздействием моего первого правдивого «нет», уже взятого тона, я продолжала не узнавать до последнего.

С тех пор — ни слова. Иногда я слышу о нем — всегда одно: дела идут скверно, сын взрослеет.

Ну а усы? В усы я верила совершенно искренне. Я не только их помнила, но едва он назвался, я их **увидела** и увидела, что их не хватает. И эти «щеточки бровей» вовсе не были выдумкой ради забавы. Было видение чего-то над чем-то. А было ли это два уса над парой губ или пара бровей над очками — это уже деталь, знать которую должен он, а не я. Довольно с него и «щеточки».

Надо ли еще говорить, что он никогда не носил очков?

После-словие, или Посмертное слово вещей

Мое полное забвение и мое абсолютное неузнавание сегодня — лишь тождественность твоего абсолютного присутствия и моей полной поглощенности вчера. Насколько ты был — настолько тебя нет. Абсолютное присутствие с обратной стороны. Абсолютное может быть только абсолютным. Такое присутствие может стать только таким отсутствием. Вчера — все, сегодня — ничего.

Мое полное забвение и мое абсолютное неузнавание — лишь эхо (увеличенное!) Вашего собственного забвения и неузнавания — неважно, узнаете ли Вы меня на улице или нет, справляетесь ли обо мне или нет.

Если Вы не забыли меня, как я забыла Вас, то это потому, что Вы никогда не болели мной так, как болела Вами я. Если Вы меня не забыли абсолютно, то это потому, что в Вас нет ничего абсолютного, даже равнодушия. Я кончила тем, что не узнала Вас; Вы же и не начинали меня узнавать. Я кончила тем, что забыла Вас, в Вас же никогда не было меня настолько, чтобы было что забывать. Что такое забыть кого-то? Это забыть причиненные им страдания.

Я больше не знаю о Вашем существовании, Вы же никогда не знали, что я существую.

Чтобы мне, не знавшей вчера ничего, кроме Вас, не узнать Вас сегодня, надо было именно не знать вчера ничего, кроме Вас. Мое забвение Вас — еще один патент на благородство. Удостоверение Вашего достоинства в прошлом.

Посмертная месть? Нет. Во всяком случае — не моя. Какая-то сила (великая сила!) мстит за меня и через меня. Вас интересует ее имя, которое я еще не знаю? Любовь? Нет. Дружба? Тоже нет, но совсем близко: душа. Раненая душа во мне и во всех других женщинах. — Раненная Вами и всеми другими мужчинами, вечно ранимая, вечно возрождающаяся и в итоге неуязвимая.

Неизлечимая неуязвимость.

—

Это душа мстит за себя, покинув Вас, в ком она находила кров и кого укрывала лучше, чем море укрывает берег, — и вот Вы наги, как пляж с оставшимся от моего прилива: башмаками, досками, пробками, обломками, щепнем — моими стихами, в которые Вы, до сих пор ребенок, играете — это она мстит за себя, ослепив меня настолько, что я забыла Ваши черты, прояснив мне Ваши **настоящие**, которые я бы никогда не полюбила.

Вступление и перевод с французского Юрия КЛЮКИНА.

Н. КАТАЕВА-ЛЫТКИНА

Поэт Марина Цветаева и семья композитора С к р я б и н а

*Драгомилово, Рогожская,
Другие...
Широко ж твоя творилась
Литургия.*

М. Цветаева

В трагические дни гражданской войны в голодной Москве 1920—1922 гг., написав в «чердачном дворце» свои лучшие книги и сотни блистательных стихов, «устав от дня», «плясуньей длинноногой» кружила и кружила «до самой тьмы» и во тьме ночной 27-летняя Марина Цветаева, «гонимая тоской, всей страстью — позабыть», «меж всех штыков, мешков и граждан» и — не одна! Она нашла себе идеального спутника — отчаянную, хрупкую и отважную, с убывающей жизнью в глазах миниатюрную вдову композитора Скрябина — Татьяну Федоровну Шлецер-Скрябину. Как и Цветаева, Татьяна Федоровна тоже была гонима тоской, а еще бессонницей и той же жаждой — позабыть. Интеллектуально-художественная атмосфера и идеи великого композитора были живы в ее доме, и это объединяло их в дружбе, в потребности тепла и света не только физических. Их бродяжничество — «попытать молодежи счастья, в переулочках тех Игнатьевских!» — было не метафорой — болью, живой страстью «уйти в ночь», «в страну мечты и одиночества, где мы Величества, Высочества». Мари-

на Ивановна с Татьяной Федоровной бродяжили по Москве в надежде на манящий огонек, на «окно, где не спят», на совместные бдения стихами и музыкой, беседами у камелька. Марина Ивановна и Татьяна Федоровна совпадали во времени, в интенсивности чувств, в отваге поступков, загнанной внутрь тоске, в публичном одиночестве.

И как бы Марина Ивановна ни была «счастлива жить образцово и просто», просто не получалось.

Стремительная, рискованная дружба вдовы и поэта, неумолимо ведшая к трагической развязке, определялась еще и редкостью натур и характеров и несла в себе некую художественную завершенность.

Взаимная заинтересованность и свобода отношений, во всем разность и единство в главном, небывалая для Марины Цветаевой слитность дают основание отнести этой дружбе особое место в биографии поэта.

Истории этих отношений по времени всего два года — со 2 июня 1920 г. по май 1922-го.

Чтобы многое понять в этой дружбе,

необходимо углубиться в круг лиц, «сопровожающих» перекрестные отношения, которые во многом взаимно формируют их. Главными действующими лицами совместности их дружбы были актер-музыкант А. А. Подгаецкий, князь С. М. Волконский, поэты Бальмонт и Балтрушайтис, соратник Мейерхольда режиссер В. М. Бебутов. Когда будет открыт московский архив Цветаевой, откроются многие подробности.

Сейчас — что там было еще — можно только гадать.

Отечественные религиозные философы, к которым обращен сейчас XX век, — Н. Бердяев, Вяч. Иванов, С. Булгаков, Л. Шестов* — были не только современниками Цветаевой. Они были друзья, корреспонденты и собеседники, в живом общении, со взаимопосвящениями. Они также были близкими друзьями композитора Скрябина.

Марине Ивановне было 27 лет, Татьяна Федоровне — 37. Их встреча произошла на том витке жизни, когда жизненное напряжение у обеих достигло предела. Они нужны были друг другу. Их совместность была им спасением.

Татьяна Федоровна Шлецер-Скрябина девять лет была женой самого знаменитого и модного тогда композитора с мировой славой. Она вошла в его аристократический дом, в круг блестящего общества просвещенных аристократов, музыкантов, философов, поэтов, художников, писателей. В доме были свои сложности. Фамилию Скрябина формально она не носила. Государь Император отказал ей в просьбе: у Скрябина не было развода. У них с Татьяной Федоровной было две дочери и два сына. В семье царил культ Скрябина. Росла его слава. Жизнь двигалась по восходящей...

Катастрофа была внезапной.

Вдруг у Скрябина поднялась температура из-за фурункула на губе. Были приглашены лучшие врачи. Через несколько дней его не стало. Хоронили его тысячи людей. Татьяна Федоровна закаменела и от этого удара уже никогда не оправилась.

Удар за ударом: 22 июня 1919 г. при таинственных обстоятельствах трагически погиб в Киеве их 11-летний сын Юлиан, одаренный музыкант, надежда семьи. За двадцать дней до годовщины смерти Юлиана, 2 июня 1920 г., когда встретились Скрябина с Цветаевой, было ровно четыре месяца со дня не менее трагической голодной смерти младшей дочери Цветаевой — Ирины. Марина Ивановна к тому же не знала, жив ли ее муж. Он пропал на дорогах гражданской войны, в «белом стане». Она пребывала в скорби и страхе, в противостоянии — «высоковольтном» напряжении — «Я с вызовом ношу его кольцо». Мысленно она неслась, «как по тем донским бо-

ям — в серединку самую», и готова была ко всему:

Пусть весь свет идет к концу —
Достою у всеобщей!
Чем с другим каким к венцу —
Так с тобою к стеночке!

Со Скрябиной им вместе «шкурно — душевно хорошо». Это было их общей нотой.

В 1912 г. А. Н. Скрябин переехал в Большой Николо-Песковский переулок в дом № 11 проф. Грушки. Он заключил контракт на три года. «Срок был по 14 апреля 1915 г., т. е. в точности по день смерти Александра Николаевича. Это была та самая квартира, в которой он скончался в тот самый день, который предназначил себе контрактом» (Л. Сабанеев. Воспоминания о Скрябине. — Н. К.-Л.). Мистический факт этот произвел сильное впечатление на религиозно-философский кружок Булгакова-Бердяева.

После смерти композитора в доме навсегда остались его тень и его идея всемирной «Мистерии» и «Предварительного действия» — всеобщей гибели людей в огне и «растворения» человечества в космосе, в едином порыве к Солнцу. Теософия, антропософия, мистицизм, англославянизм Брянчанинова, Рудольф Штейнер, Блаватская, Кришна-Мурти, Мессия — все это в доме Скрябиных продолжало жить и не сходило с уст.

«Вдова Скрябина <...> манерная, стилизованная, посвящая себя ему и после смерти, — угасала в Бессонницах <...>». Вот тут-то, как помнит подруга ее дочери Жданко, и оказалась Марина Ивановна с нею рядом. Весь цикл «Бессонница» посвящая Татьяна Федоровне. Вместе они искали по ночам «окно, где опять не спят», и у них в доме «завелось такое».

Около Татьяны Федоровны был верный оруженосец ее Алексей Александрович Подгаецкий. Он был много лет завсегдатаем дома Скрябиных и частым гостем Марины в Борисоглебском. Большой Николо-Песковский переулок прямо продолжался в Борисоглебский. Дома их были рядом. «Татьяна Федоровна Шлецер — бледная маленькая брюнетка с узкими злыми губами и редкими взорами в лицо собеседнику. Она держится с преувеличенной строгостью, «как принцесса крови», — пишет Леонид Сабанеев. При этом он признает, что она «обладала чрезвычайно живым умом и умением ядовито отпаривать слова, а часто и даром метких характеристик». Она писала стихи, а до замужества — и музыку. Друг Скрябина пианист М. Н. Мечик говорит, что она была ослепительна.

Татьяна Федоровна бегала девочкой в семейство Шлецеров (дядя — профессор консерватории. — Н. К.-Л.), хорошо знала Верочку (Веру Ивановну Исакович, пианистку, первую жену Скрябина). Когда Скрябин играл, стояла перед ним

* Похоже, что Лев Шестов менее был связан со Скрябиным. — Прим. автора.

на коленях с распущенными волосами и говорила: «Мой Бог».

А. Н. Скрябин происходил из семьи всенной аристократии. Был воспитан и жил в традициях своего круга. Тесно был связан с Трубецкими, Лермонтовыми, Гагариными, дружил с Волконским. Это были люди передовых идей, связанные с университетами, философией, искусством. Они собирались друг у друга вечерами, музицировали, читали, дискутировали. Бывали здесь и близкие Скрябину актер Подгаецкий, композитор А. Крейн с женой, Гнесины, Борис Зайцев с женой, Андрей Белый, Бальмонт. Леонид Осипович Пастернак был дружен с семьей композитора. (Он оставил прекрасные портреты Скрябина и Татьяны Федоровны.) Приходили сюда и Гершензоны, Вяч. Иванов, философы Бердяев, Булгаков.

Часто предвечерние общие разговоры кончались «парадными» гостями в вечерних туалетах.

В «замечательном особнячке-музее на Новинском бульваре — у Гагариных — собиралось изысканное общество». Сабанееву казалось, «что если не Скрябин <...>, то Татьяна Федоровна была несколько под гипнозом их родовитости и блеска».

Дети Скрябина подолгу гостили в семье Гагариных.

После смерти Скрябина и Юлиана никто из высоких друзей не оставил в беде Татьяну Федоровну. Гонимые революцией, оставались они рыцарями чести.

«Татьяна Федоровна и Скрябин очень отличали Волконского как уточненного и аристократически изысканного «интересного» человека.

<...> Волконский сильно спорил со Скрябиным <...> Но с Волконским Скрябин оставался в самых дружеских отношениях, и они довольно часто порой виделись.

<...> Скрябин любил Волконского за его тонкий и культурный ум, за истинную любовь к искусству, за его независимый характер <...>» (Л. Сабанеев. — Н. К. Л.) В 1920 — 1921 гг. Волконский посещал Скрябиных и Цветаеву.

В Борисоглебском у Цветаевой он, кроме занятий литературой, музицировал — играл с Мариной Ивановной в четыре руки.

«Когда однажды в 1921 году в Москве был потоп и затопило три посольства (все бумаги поплыли), — пишет Иваску Цветаева, — и вся Москва пошла босиком, С. М. Волконский предстал в обычный час. Я, обомлев: «С. М.! Вы? В такой потоп? И... мы ведь договорились. Я знала себя, свое: свой рост, свою меру человека — и все же была залита благодарностью. Но, так как такое (не такие потопа, а такие приходы) — раз в жизни, а обратное каждый день, все дни, я так до конца и не решила, кто из нас урод. Я? Они?» Несомненный «час ученичества» — «душа обязана трудиться».

Сиятельный князь Волконский, внук декабриста, посланец почти «осмнадцатого века», носитель старой культуры, сразу был понят Цветаевой как событие. Волконский, Стахович и позже молодой князь Шаховской были для Цветаевой постижением сути «старинного благоговения» и ученичества у «обращенных к звезде».

Шаг за шагом Цветаева упорно завывала расположение князя. Не отличаясь покорностью — была покорна, не отличаясь кротостью — была кроткой, стала вдруг образцом прилежания и последовательности. Часы, дни, а затем годы ученичества «из чистого восторга» — феномен Цветаевой.

Учась особенно русскому языку у князя, углубляясь в совместность, она от руки переписала ему три тома его воспоминаний. «Я раб, свои взлюбивший цепи, благословляющий Сибирь.» Ночные переулочки и иноческий труд — какие вслохо зарниц над поэтом!

В 20-е завихренные годы закономерно возникает интерес Цветаевой к гигантам ренессансного масштаба — великим авантюристам. Тогда-то она пишет своего «Казанову».

Все это происходит одновременно с упоением фольклором, со страстью к цыганам, удали, риску, к «малиновым ритмам». И пишутся, пишутся стихи и книги.

Голод, разбой, «солдатики», бродяги, мошенники, спекулянты, языковое «разноцветье» «о ту пору, как над рекой-Москвой» бродят Марина и Татьяна Федоровна и «слипаются у них фонари», ибо чаще бродят ночами.

Но времени их встречи дом Цветаевой в Борисоглебском хотя и оставался подкинсовски волшебным, но был уже «чердачным дворцом» и завершил свое пещерное превращение: сплошной чердак — в трущобу.

6 декабря 1920 г. она пишет Евгению Ланну: «Поняв трущобность, удовлетворилась ею и ушла ночевать в приличный дом — к знакомым Скрябиной. Там были одни женщины, говорили про спиритизм и сомнамбулизм, я лежала на огромном медведе, слушала, спорила, соглашалась и спала. Ночью тридцать раз просыпалась, курила, бродила, будила и ушла до света, оставив всех в недоумении — зачем приходила». Душа трудилась неустанно. «Все это было». «Мои стихи дневник». «Поэзия собственных имен». Постижения, наблюдения, накопления.

Скрябины, похоже, стали потребностью, ежедневностью жизни Марины Цветаевой. «Сплю. Просыпаюсь, темнеет. Али нет. Иду к Скрябиным». (Из того же письма.)

«...Пошли к Антокольским (Он поэт и неплохой). Съели очень много черного хлеба и ушли оттуда на Арбатскую площадь — уже 12 часов, оттуда к Скрябиным, оттуда в 2 часа ночи по домам». Или: «А я уже 3 дня как не дома. Зна-

ете, где я вчера была? — Судьба! В Спасо-Болвановском!!! Дружок, он есть!.. Какая там советская Москва! — времен Иоанна Грозного!

Мы шли со Скрябиной — она в своей котиковой шубе, на узких, как иголки, каблукках, я медведем в валенках, и она все время падала.

И как — мне — было — жаль! (NB — не ее конечно!)». А кого?

Татьяна Федоровна на Оке в Алексине вместе со Скрябиным когда-то тоже рискнула погулять и отправилась по российским дорогам на французских каблучках. Здравый смысл? Но и она, и Скрябин были не в ладах с природой и, по просту не зная, что это такое, попадали впросак. На «русский сквозняк» ее занесли в Болвановский переулок — «болвановское» время и совместность с Цветаевой — шкурно-душевное.

Томный скрябинский дом и дом Бальмонта, как и другие дома, тоже пережили свои превращения.

Маленькая Ариадна Эфрон-Цветаева запомнила: «Когда Бальмонты собрались за границу, думалось, что ненадолго, оказалось — навсегда, мы провозжали их дважды: один раз у Скрябиных, где всех нас угощали картошкой с перцем и настоящим чаем в безукоризненном фарфоре, все говорили трогательные слова, прощались и целовались; на следующий день возникли какие-то неполадки с эстонской визой (это будет учтено Цветаевой — Балтрушайтис сделает ей литовскую. — Н. К.-Л.) и отъезд был ненадолго отложен. Окончательные проводы происходили в невыразимом ералаше, табачном дыму и самоварном угаре оставляемого Бальмонтами жилья, в сутолоке снимающегося с места цыганского табора».

«...в первые годы революции Бальмонт и Марина выступали на одних и тех же литературных вечерах, встречались в одних и тех же домах. Очень часто бывали у большой приятельницы Марины Татьяны Федоровны Скрябиной, красивой, печальной, грациозной женщины, у которой собирался небольшой кружок людей, прикосновенных к искусству».

«Жили Бальмонты в 2-х шагах от Скрябиных неподалеку от нас. Зайдешь к ним, Елена вся в саже, копошится у сопровитвляющей печурки, Бальмонт пишет стихи, зайдут Бальмонты к нам — Марина пишет стихи. Марина же и печку топит. Зайдешь к Скрябиным — там чисто, чинно, тепло — может быть, потому, что стихов не пишет никто, а печи топят прислуга...»

Здесь многое сказано для «красного словца». Стихи в доме Скрябиных писали все и всерьез. Сам Скрябин писал стихи для «Предварительного действия». Писали их Татьяна Федоровна, младшая дочь Марина. Старшая дочь Ариадна в Париже в 1924 г. издаст свой сборник стихов и пошлет его Цветаевой.

15 русского января 1921 г. Цветаева

сообщает Ланну: «Татьяна Федоровна Скрябина получила паек — пока на бумаге. Продолжает рубить и топить — руки ужасные, глаза прекрасные, почти все вечера забрасываемся куда-нибудь — все равно — куда, я — устав ото дня, она — от жизни, нам вместе хорошо. Большое шкурно-душевное сочувствие: любовь к метели, ослепительно-горячему питью — курение, уплывание в никуда.

Как-то катались с Бебутовым на извозчике — сани вроде дровней — извозчик вроде ямщика, казалось, что едем не в «I театр РСФСР» (это к Мейерхольду! — Н. К.-Л.) — а в Рязань, — всю дорогу бредили: он — о своем, я — о своем и ямщик о своем — доходили только интонация, прелестно прокатились...» Полифония, написанная Цветаевой, спасительная своей самоиронией, в ней угадывается и еще один контрапункт беды.

Бебутов был вторым режиссером у Мейерхольда. Режиссером и актером был и Алексей Александрович Подгаецкий, по сцене — Чабров.

Он с 1906 г. был другом композитора Скрябина, с 1910-го или раньше был дружен и с С. М. Волконским. Волконский посвятил ему главу в своей книге «Разговоры», другую главу этой книги он посвятил Татьяне Федоровне Скрябиной. Возможно, с 1914 г. Чабров был уже знаком и с Эфронами. Ариадна Эфрон писала: «Среди завязавшихся в те годы отношений длительнее всех оказались приятельские связи Марины и Сережи с талантливым актером и музыкантом А. Подгаецким-Чабровым, незабываемым Арлекином из «Покрывала Пьеретты», человеком мятущимся, неуравновешенным. Ему Марина посвятила в 20-е годы свою поэму «Переулочки» за негасимость его смятенности и за то, что в такое бесподарочное время он — однажды — подарил ей розу».

Дочь Марины Ивановны Аля (Ариадна Эфрон) дружила с младшей дочерью Скрябина Мариной, 1911 года рождения, — на год старше ее.

Ариадне Скрябиной в 20-м году было 14 лет. Она училась в школе рядом с «Марининым домом», но вскоре оставила ее. Бесспорно, Марина Ивановна тогда уже проявляла интерес к незаурядной экзальтированной Ариадне и потом — в Чехии и Париже — поддерживала с ней отношения.

Ариадна — «капризная, похожая на мать... в которой скрябинского было только дырочка на подбородке», честолюбивая, властная. Ее соученица по школе Ильина рассказывает, что она уже тогда собиралась организовывать театр для «Великого Мистерии», говорила о совершенствовании через творчество и страдание и о светомызыке. «Все красивое будет на сцене, вспыхнет огонь, сожжет всю Россию, а затем весь мир». Соученица боялась, что ее посадят в ВЧК или в сумасшедший дом. В МГУ на Моховой находится ФОН — факультет общественных наук, а при нем

ГИС — государственный институт слова. Ариадну туда зачислили по категории А-2. Она слушала лекции философа Ильина. У нее в доме Скрябина в то время поселились ее подруга Екатерина Жданко. Тогда же к Скрябиным переселился и Подгаецкий. Екатерина Жданко пишет: «Обе наши комнаты висели над аркой ворот. Постепенно я познакомилась со всем окружением вдовы композитора. <...> Среди посещавших уже большую Татьяну Федоровну Жданко помнит Елену Усиевич — вдову революционера, Марину Цветаеву с дочерью, Зайцева с женой, супругов Крейн, молодого черкеса поэта-имажиниста Кусикова, сиделку в галифе и сапогах с крагами — известную Киру Пинес, которая исчезла, когда наняли сиделок-монашек из Зачатьевского монастыря. Жданко описывает, как они зимой 22 года ходили с Ариадной Скрябиной за пайком. «Миллионы, или, как их называли, «лимоны», росли и росли и в 1922-м году выросли до миллиардов... Мясо, сахар, сливочное масло — миллионный паек по ценам того времени академики и семья Скрябиных получали бесплатно. Мы с Ариадной увозили продукты на длинных детских салазках». Дальше она описывает изрешеченный пулями Арбат, асфальтовые котлы — жилище беспризорных — и говорит, что в характере Ариадны «гнездились самозабвение, нетерпимость и спесь».

Товарищами детства Ариадны были сын писателя Даниил Андреев, дочь профессора МГУ Шура Любавская, Вера Кропоткина — родственница революционера, Фрэнк — Франческа Бем — балерина труппы Касьяна Голызовского. В университете ей нравился Константин Поливанов, сын профессора и брат Ольги Поливановой, ставшей женой Рубена Симонова, который сменил Вахтангова. «Семья Поливановых жила дружно и красиво, у них приятно было бывать». Зимой в Большом зале Московской консерватории Ариадна и Катя слушали выступление Владимира Маяковского.

Полуразрушенная, измученная невгодами и голодом Москва переживала всплеск художественной жизни.

В 18 лет, уже в эмиграции, Ариадна вышла замуж. Имела троих дочерей. Один из мужей, поэт Довид Гнут, после войны написал о ней книгу. Ариадна Скрябина приняла во Франции иудаизм, поменяла свое имя на Сарру. Участвовала в Сопротивлении. 22 июля 1944 г. погибла. Награждена посмертно. Ее младшая дочь Бэтти (Елизавета) — вся в мать. Кажется, стала членом террористической организации в Израиле.

1925 год. 27.IV. Вшеноры. Цветаева писала Ольге Черновой: «Не встречались ли с Ариадной Скрябиной? <...> Недавно получила от нее <...> о рождении дочери (3-го февраля, двумя днями моложе Георгия) и розовую кофточку <...>. Вот мы и сравнялись — она, в 1922 г. девочка (16 лет), и я, такая же,

как сейчас. У меня сын, у нее дочь. Возрасты стертые». И 10 мая 1925 г. тоже Черновой: «...И еще «Молодца» для Ремизова. И для Ариадны Скрябиной <...> (Адрес узнаете у Веры Зайцевой)».

Узнав, что С. Эфрон жив, Цветаева собралась уезжать. Решили ехать вместе со Скрябиными. В марте 1922 г. Цветаева написала Эренбургу: «Чабров — мой приятель: умный, острый, врывающийся в комический бок вещей <...> прекрасно понимающий стихи, очень причудливый, любящий всегда самое неожиданное и всегда до страсти! Друг покойного Скрябина».

Захожу к нему <...> Он как раз топтит печку, пьет кофе, взаимодействуем над нашими отъездами (— Ну-с, как ваш?? — А ваш как?). Никогда не говорим всерьез. Но он дворянин, умеющий при необходимости жить изнеженной жизнью, а я? Кто я? — даже не богема. У него памятное лицо: глаза как дыры, голодные и горящие, но не тем (мужским) — бесовским жаром, отливающий лоб и оскал островитянина».

Сабанеев его видел иначе: «Алексей Александрович Подгаецкий — бритый мужчина актерского типа с кривым ртом и лысой головой, но еще молодой. Он говорил, мотая головой (у него был какой-то тик), говорил необычайно изысканно, постоянно впутывая в разговор французские слова с фатовским произношением <...>. Недавно вернулся из-за границы <...> Первое впечатление от этого типа было, что это шарлатан <...>. Мне он был весьма противен». Н. Берберова была от него в восторге. «Чабров был гениальным актером и мимом, — пишет она, — <...> магия его и яркий талант были исключительны <...>. Я и сейчас помню каждую подробность этого поразительного спектакля — ничто никогда не врезалось в мою память, как это «Покрывало», — ни Михаил Чехов в Эрике IV-ом, ни Барро в Мольере, ни Цакони в Шекспире, ни Павлова в «Умиравшем лебеде», ни Люба Величь в Саломее <...> я впервые поняла, что такое настоящий театр, и у меня еще и сейчас проходит по спине холод <...>».

Ехать вместе со Скрябиными Цветаевой не пришлось. Татьяна Федоровна скончалась. Скрябины задерживались. Перед отъездом, помнит Аля Эфрон: «Мама отправила меня к Скрябиным за жившим там Чабровым, велела привести его немедленно, и я мчалась наизусть знакомыми переулками — Борисоглебским и Никола-Пересулским, через Собачью площадку <...>. У Скрябиных наскоро расцеловалась с Марой, еще вчера подругой <...> Чабров, ждавший Марининово зова, был наготове. Мы с ним тотчас отправились к нам. Марина <...> просияла навстречу Чаброву, его достоверной готовности помочь.

<...> Чабров отправился за извозчиком <...>».

Перед отъездом Скрябиных за границу Чабров-Подгаецкий взял опеку над их детьми. Это было необходимо, ибо остались только дети и бабушка-бельгийка, не говорившая по-русски. Нужны были хлопоты и оформление документов.

Были слухи, что там не все было «чисто». В одном из писем Саломее Гальперн в Париже Цветаева пишет: «Я уговорила с Чабровым (монахом) прийти к вам <...> телеграммой назначьте, пригласите нас к обеду, чтобы ему не сразу уехать <...> чтобы успел поиграть» (был пианистом. — Н. К.-Л.).

В другом письме к ней же, говоря о художнике Н. Синезубове: «Истати, это выкормыш того странного монаха, который у Вас что-то унес. Монах сейчас священник в Марселе и обучает маленьких детей (как уносить подальше) <...>».

С Волконского и Стаховича, пожалуй, не написать «Казанову» без Подгаецкого.

Два года необычайной дружбы М. И. Цветаевой и Т. Ф. Шлецер-Скрябиной, «душевно-шкурное» сочувствие, новый поворот общения с замечательными людьми, общность в утратах, интерес к культуре, перекличка характеров, взаимоприятие натур, друзья-дети, житейские «подмоги»... Совпадения во времени сделали эту дружбу исключительной, единственной во всем ее своеобразии.

Дружба, последняя страсть
Недосоженного тела!

Обе они, «в воронку втянутые», решали вопросы бытия и быта через совместный личный опыт. Если Волконский, как говорила Цветаева, «вторая ступень восхождения», то здесь тоже своя ступень.

Через месяц после отъезда, 22 июня 1922 г., Цветаева пишет Пастернаку: «11-го апреля 1922 г. похороны Скрябиной. Я была с ней в дружбе два года подряд — ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся в деле и беседе, мужская, вне нежностей земных примет. И вот провожаю ее большие глаза в землю».

«Задумываюсь о Т. Ф-не. Ее последний земной воздух <...> Занята Т. Ф-ной (допроводить ее <...> Ровно через месяц день в день — я уехала».

Это, должно быть, отклик на письмо Пастернака ей от 4.VI.22, где он пишет: «Простите! Простите! Простите!»

Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Т. Ф-ны, я не знал с кем иду? <...> Как странно и глупо кроится жизнь. Месяц назад <...> существовали уже «Версты». Да и не только «Версты» — существовало уже так много!

За 1920—1922 гг. столько написано! Как? Когда? И параллельно: Волконский, Бердяев, Бальмонт, Звягинцева, Скрябина, Подгаецкий, Ланн, Бебутов, Кузнецова-Гринева, Вышеславцев, Милиоти, Шенгели, Антокольский, — таких имен более 30-ти. Студии, театры, концерты, быт, смерть дочери, тревоги, тоска-дневники, письма — все те же 1920—1922 гг. «Все это было», — скажет она, и это в то самое время, когда «страшно слушать черную полночь в пустом дому».

Через 29 лет Ариадна Эфрон из ссылки тому же Пастернаку 9 ноября 1951 г.:

«Скрябин! Ты помнишь, где он жил? Борисоглебский или Николо-Песковский, кажется. Я играла с его дочками, с Ариадной и Мариной, а жена его и мать все не могли пережить этой смерти, жена его красивая, черноглазая, вся бархатная, плакала над его нотами и никому не давала прикоснуться к его инструменту. Ее звали Татьяна Федоровна. У нее всегда болела голова. Она умерла от этого — от воспаления мозга. Только после ее смерти квартира Скрябина была превращена в музей».

Был ли, говоря словами Пастернака, их диалог «на высоте Джомолунгмы»? Обе они не были «держателями обыкновенных чувств и мыслей», и поэтому-то у них в эти два года всегда

Был легендой день вчерашний
И был безумьем — каждый день!

Ничто для поэта не проходит даром.

В горле — легкий громон,
Голос встречных дорог,
От Судьбы ветерок:
Говорю, говорю,

Необязательные з а м е т к и

ПО МОТИВАМ «АПОКАЛИПСИСА НАШЕГО ВРЕМЕНИ»
В. РОЗАНОВА

1

Похолодало.

На переходе осени к зиме это всегда как-то особенно ощутимо: зябко становится, стыло. Снег еще не лег, воздух сырой, от этого еще холодней, промозглей, да еще ветер налетает порывами, пронизывает насквозь. Насквозь еще и потому, что последние листья опали, природа как бы обмерла в предчувствии зимы, предоставив человеку самому устраивать свои дела и лишив его даже этого утешения — живого шелеста листьев, этого хоть и запыленного, но все-таки зеленого или багряного заслона от подступающей, им же сотворенной серости.

Уныло и зябко.

Холодно, странничек, холодно...
Голодно, странничек, голодно...

— цитирует В. Розанов в «Апокалипсисе нашего времени», предсмертном, итоговом своем сочинении, написанном в распадцы 1917—1918 годы, поэта-страдальца за народную Русь Н. Некрасова. Был этот самобытный русский мыслитель как-то особенно чувствителен к стихии холода, так что мотив противоборства тепла и холода, противостояния холоду пронизывает многие его произведения, ложится в основу двух главных его идей — семьи и дома.

В том же «Апокалипсисе...» он пишет: «Это ужасное замерзание ночью. Страшные мысли приходят. Есть что-то враждебное в стихии «холода» — организму человеческому, как организму «теплокровному». Он боится холода, и как-то душевно боится, а не кожно, не мускульно. Душа его становится грубою, жесткою, как «гусиная кожа на холоду». Вот вам и «свобода человеческой личности». Нет, «душа свободна» — только если в комнате тепло натоплено. Без этого она не свободна, а боится, напугана и груба».

Физический холод теснит душу, делая ее грубой, примитивной, несвободной. Эту тему разовьет в своих колымских

рассказах и стихах В. Шаламов. Один из его рассказов так и называется — «Вечная мерзлота». Холод Колымы проникает в душу заключенного, мертвя ее. Страдает не только тело, но терпят непоправимый ущерб человечность и все с ней связанное — духовные, нравственные ценности, культура. Образ льда, эта овеществившаяся стихия холода, символизирует у В. Шаламова небытие, гибель.

Переданное В. Розановым тягостное впечатление от разрухи, принесенной революцией, переживание частным человеком загнанности в тупик холода и голода смыкаются с мучительной памятью колымчанина о смертельном холоде советской каторги.

Но В. Розанов вкладывал в понятие холода гораздо более емкий смысл. И говорит он не только о холоде физическом, но и о той социальной, нравственной атмосфере, от которой зябнет человеческая душа.

Холодно, странничек, холодно... —

можем повторить и мы вслед за ним, ибо Россия, очнувшись после многолетнего морока, вновь ощутила себя в пути и странницей. Вроде был дом, крепкий, монолитный, на века, и вдруг рухнул, рассыпался пылью, развеялся, как мираж. А впереди легла дорога, долгая, и не одна — много. Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь — как в русских сказках. Свобода выбора. Да и застарелый зуд странничества в крови — то ли пойти святым мощам поклониться, то ли с кистенем промышлять, то ли просто сорваться с насиженного места в поисках того-не-знаю-что, короче, распространиться вширь, исчезнуть, затеряться в немереных пространствах родной державы.

«Нет, уж лучше просто большая дорога, так просто выйти на нее и пойти и ни о чем не думать, пока только можно не думать. Большая дорога — это есть нечто длинное-длинное, чему не видно конца, — точно жизнь человеческая,

точно мечта человеческая. В большой дороге заключается идея; а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи... *Vive la grande route*, а там что бог даст», — такие увлекательные мысли пронеслись в воспаленном сознании Степана Трофимовича Верховенского, одного из центральных персонажей «Бесов» Ф. Достоевского.

Если в 1917 году Россия устремилась с подорожной в светлое коммунистическое будущее, то нынче она действительно ступила на большую дорогу, минуя, кажется, соблазны всяких «измов», готовых тотчас же предоставить ей все ту же подорожную. Воистину: *vive la grande route*, а там что бог даст. Правда, есть еще одна идея — вернуться с большой дороги, ведущей в никуда, — в лоно мировой цивилизации. Но ведь и это, как ни крути, тоже путь, требующий к тому же немало усилий и терпения, а много ли его осталось даже у самых стойких?

Так или иначе, но мы все ощутили, что «птица-тройка» стронулась, заскрипела заржавленными рессорами брочка, закачалась, затряслась на ухабах и рытвинах, которых у нас всегда в преизбытке, ветер, туман и дождь понесло в щели. Мы все ощутили себя в дороге, в которой, повторим за Степаном Трофимовичем, есть идея. Но есть ли в ней тепло?

Увы, тепла в дороге нет, тем более в такой чреватой неожиданными препятствиями и непредвиденными обстоятельствами дороге, как История. Выразительно об этом сказано в незаконченном романе «Счастливая Москва» Андрея Платонова, недавно опубликованном «Новым миром»: «Блуждающее сердце! Оно долго содрогается в человеке от предчувствия, сжатое костями и бедствием ежедневной жизни, и наконец бросается вперед, теряя свое тепло на холодных прохладных дорогах».

Холод настагает сегодня многих, независимо от степени благосостояния и материальной обеспеченности. Он настагает тех, кто искренне верил и потерпел крушение, кто не верил, но работал всю жизнь, а в итоге оказался у разбитого корыта, тех, кто не чувствует себя готовым к новым условиям жизни, кто не видит для себя никакого утешения в множестве открывающихся возможностей, кто остро ощутил, что почва уходит из-под ног, а настоящей социальной защиты не предвидится, кто боится и не хочет конкуренции, кто сомневается в собственных силах и способностях и в способности власть имущих вывести страну из тупика, в способности страны переродиться и преобразиться...

Да, свобода — сладкое слово! Но тепло ли оно?

Уверен, что у многих от него ломит зубы, как от ключевой воды.

В тоталитарном социалистическом обществе все были уравнены в несвободе и нищете, многими просто не осознаваемыми как несвобода и нищета. Нынче

же все стали свободны, то есть получили возможность выбора. Кто захочет, тот может уехать, или заняться предпринимательством, или попробовать себя на общественно-политическом поприще. Если раньше выпускник школы мог поступать лишь в один вуз, теперь — хоть в три, никто ему слова не скажет. Свобода!

Но это же прекрасно! — слышу восклицание записного либерала и тут же готов с ним согласиться: разумеется, прекрасно! Только — один имеет средства или приглашение, чтобы съездить за рубеж, другой нет; один умеет хорошо работать, другой нет; один талантлив, другой так себе... Тут-то все и разошлись. Один лопатой гребет, другой еле-еле концы с концами сводит. А хотя-то как лучше — все, все знают о своем праве жить не хуже других, даже не прикладывая к этому особых стараний, — воспитание такое, что ж делать. Как тут удержаться от недоброжелательно-завистливого взгляда на соседа! Каин, где брат твой Авель?

Вот оно откуда повеяло холодом, чувствуете?

То вроде все были, пусть иллюзорно, вместе и равны. Всем было ни окончательно плохо, ни замечательно хорошо. Всем было средне. Ни холодно, ни горячо. Традиционно-русский общинный дух почил на тоталитарной всеобщей усредненности. Когда всем плохо, то как бы и не совсем плохо.

Почему нередко с ностальгией вспоминаются времена так называемого застоя? Да потому, что, как правильно замечает Андрей Битов, «есть преимущества плохой жизни. Солдатом легче быть, чем командиром, потому что ни за что не отвечаешь. И в плохой жизни есть свой комфорт. Ты ссылаешься на внешние обстоятельства. Они тебе не дают — иначе ты был бы другой. А так все вроде были сыты, всем хватало. Внутри застоя тоже была жизнь, отрицательная, но жизнь, со своими формами. Как вода обтекает камень, находя всякие отверстия и ложбинки. Все вроде было монолитно, но — дыряво. Люди стали приворовывать, спекулировать, пить, разлагаться... Но и распад, — продолжает А. Битов, — имел свои преимущества: то весело, то безответственно, то смешно, то как-то необязательно... И вот от этого нужно вдруг отказываться. Жизнь-то вроде прежняя».

В том и разнича, что распад времен застоя производил из себя некоторое количество тепла, в котором согревались начинавшие было забнуть души. От распада же теперешнего несет только холодом. Он не только не выделяет тепло, но, напротив, поглощает его вместе с силами и нервами, которые, хочет он того или не хочет, тратит человек на сопротивление ему.

Сравнивая перестроечные годы с концом 50-х, когда повеяло обновлением, тот же Андрей Битов подмечает очень важное отличие: «В 50-е годы народ находился в более общем состоянии — еще

близка была война, общая жизнь. Поэтому и общий старт, и общие надежды, и общая энергия. С тех пор все расшлось — социально, имущественно, поколенчески... Все оказались в разных социальных точках».

Иностранцы, приезжавшие раньше в Россию, воодушевлялись: у вас, дескать, в стране какая-то особая атмосфера, тепло у вас, люди душевные, распахнутые. У них, на индивидуалистическом Западе, иначе. У них, хотя все есть и даже уютно, тем не менее прохладно, зябко.

Вступая в новую эпоху, есть основание предполагать, что и в этом пункте мы скоро сойдемся. У нас еще не будет всего, а тем более уютно, но холодно будет точно. У них дом построен, а мы опять почти с нуля начинаем. Мы — в дороге. А новая эпоха вполне может оказаться, как оно обычно и бывает, хорошо замаскированным старым — эпохой всеобщего «уединения и обособления», о чем тревожилась еще русская классика в пору зарождения капиталистических отношений в царской России.

Одиночество и отчуждение — это ведь не злокозненным Марксом придумано. Да, и у нас такое тоже бывало, в нашем отдельно взятом отечестве, где, как писал А. Платонов, «улыбающийся, скромный Сталин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, неизвестного социалистического мира...» Всеобщий страх и взаимная подозрительность тоже делали свое дело. И маленькое утешение, что было или есть, потому что еще и предстоит — в масштабах и интенсивности пока неведомых. Но уже сегодня пробирает морозцем, потихоньку вкрадывающимся в человеческие отношения.

2

Дурному сегодня, кажется, уже мало кто удивляется. Наоборот, удивляются хорошему. Удивляются, что еще не стало хуже, и к этому худшему готовятся.

Увы, будущее по-прежнему смутно, настоящее тревожно, и вполне закономерно, что словесность, откликаясь на наши общие тревоги, время от времени одаривает читателя какой-нибудь очередной невеселой антиутопией. Достаточно вспомнить появившиеся в последние годы произведения А. Кабакова, А. Курчаткина, Вяч. Рыбакова, Л. Петрушевской, В. Маканина...

Антиутопия — не только предвидение и предостережение, не только некая художественная модель более далекого или более близкого будущего, опровергающего утопические проекты и беспочвенный оптимизм.

Антиутопия — еще и путеводитель по нашим страхам. Путеводитель по массовому подсознанию, куда вытесняются подрывающие душевное спокойствие и равновесие тревоги, на которые стол щедра нынешняя действительность. Пу-

теводитель по нашим ночным кошмарам. Повесть Владимира Маканина «Лаз» интересна прежде всего в этом отношении — как портрет напуганной обступающим хаосом и неизвестностью души. Как сколок навязчивых фобий и смятений, вызванных социальным распадом. Настоящим и предчувствуемым.

В художественном пространстве повести как бы сомкнулись две реальности. Одна — та, что под землей и куда ведет таинственный лаз, — словно из мечты, из застарелой нашей тоски по неведомому и недостижимому обществу изобилия и благоденствия, где и товара всяческого полно по бесчисленным лавчонкам и магазинчикам, и люди преспокойно закусывают в кафе и ресторанах, предаваясь душевным беседам, и улицы с переулками прекрасно освещены... Цивилизация, одним словом. Вождьленный золотой век.

По нашим талонным понятиям, лучше и быть не может. Не так ли, собственно, и грезится многим закордонный благословенный мир, где есть все, чего нет у нас, и даже больше? Сплошное непреходящее застолье, где только одно-единственное и беспокоит: как там у вас?

«У вас» в повести — значит наверху, в темных и неприветливых городских джунглях, откуда проникает в заповедный подземный мир через лаз, каждый раз обдираясь в кровь, герой В. Маканина Ключарев. Здесь в отличие от подземного, запредельного Китежа — неосвещенные окна, пустые магазины с кое-где разбитыми витринами, пугающиеся собственной тени прохожие и безликие, несущиеся неведомо куда толпы, сметающие все на своем пути... Здесь бесчинствующие хулиганы и полупарализованный быт, в котором задыхаются притаившиеся, потерявшие связь друг с другом люди. Мутно небо, ночь мутна...

Вот и роет Ключарев в овраге неподалеку от дома пещеру, чтобы было где спрятаться с женой и ребенком.

Мотив погружения в недра земли для В. Маканина не нов. И в «Лазе» герой не просто спасается, роя пещеру, от грозящих опасностей. Слово ребенок у матери, ищет он у нее, у Матери-Земли, защиты, потому что больше ему искать ее негде. Он стремится зарыться в нее, в ее глубину, но земля не принимает.

Разрушена пещера, зарастает лаз. Призрак насилия бродит по повести.

В. Маканин свел в одном произведении утопию и антиутопию, мечту и реальность. При всей умозрительности его символики, нередко приправленной иронией, чувствуешь, что она тем не менее соприкасается с подлинным самоощущением человека сегодня.

Емок символ пещеры в «Лазе». Пещера — лоно земли, в котором стремится укрыться от страшного мира человек. Если в обжитом человеком и им же разрушаемом мире холодно, то земля, оберегая, сулит тепло.

В этом символе есть двойственность.

Земля — это ведь еще и могила, смерть, небытие, а смерть обычно ассоциируется в нашем сознании именно с холодом. Роя пещеру, человек как бы роет себе могилу. Однако смерть всегда была связана с идеей воскресения: если падшее зерно не умрет...

Но пещера — это и символ первобытного существования, биологического выживания, к которому подталкивает человека в кризисные ситуации спасительный инстинкт самосохранения. По верному наблюдению критика М. Золотоусова, не только в жизни, но и в культуре «...возникает ощущение известного упрощения жизни, приближения ее к биологическим, если так можно выразиться, стихийным основаниям. В матрицу основных понятий вошли три: смерть, ненависть, страх. Они приобрели неизвестное ранее значение, хотя и не всегда претворены в художественных произведениях».

Однако, думаю, что спектр социально значимых «первоощущений» и переживаний, связанных с нынешней действительно острокризисной ситуацией, шире. В. Розанов в «Апокалипсисе...» писал: «Впечатления еды теперь главные».

И сегодня, пусть голода нет, и хочется надеяться, что не будет, тем не менее наличие симптомов некоторого оголодания, обостренного, почти болезненного аппетита. Но не потому, думается, что многие стараются наесться впрок, заранее, в предчувствии исчезновения последних продуктов. Еда всегда служила не только для утоления голода. Еда согревает, успокаивает и умиротворяет. «Тепло разлилось по всему его телу». Пища в желудке — как огонь в очаге. Огонь в очаге — уже некоторый уют и ощущение устойчивости.

Голодный человек — злой, раздраженный. Не потому ли гостя на Руси и не только на Руси сразу усаживают за стол и стараются сытно накормить-напоить, как бы умиловливая его. Сытость погружает человека в сладкую дремоту, в забвение страхов и забот. Любому психологу известно: огорченный, расстроенный, переживший стресс человек часто стремится поспытнее наесться, как бы включая — в противовес высшим нервным функциям — элементарные физиологические механизмы организма.

Вспомним, как поразил Вадима Глебова в «Доме на набережной» Ю. Трифонова жующий профессор Ганчук, которого он случайно заметил в кондитерской сразу после разгромного собрания, на котором Ганчука клеймили и обличали и за которым могло последовать еще более страшное. «Тот стоял у высокого столика, за которым пьют кофе, и с жадностью ел пирожное «наполеон», держа его всеми пятью пальцами в бумажке. Мягкое, в розовых складках лицо выражало наслаждение, оно двигалось, дергалось, как хорошо натянутая маска, вибрировало всей кожей от челюсти до бровей. Была такая поглощенность слад-

стью крема и тонких, хрустящих перепоночек, что Ганчук не заметил...»

Еда — способ защиты от экзистенциального и социального холода. Еда — та же пещера, где человек укрывается от житейских бурь и невзгод, его убежище от социальной разрухи, к сожалению, достаточно иллюзорное. Но инстинкт насыщения, даже с такой вот смысловой подоплекой, — естественный инстинкт, предусмотренный, видимо, самой природой, и бегство в нее, в природу, тоже естественно, особенно в ситуации, когда трещит и расползается по швам и базис, и надстройка и только биология еще сохраняет свою безусловность как основа жизни.

Конечно, можно сетовать на развращение и падение нравов, на открыто продающуюся с кооперативных лотков порнографию и демонстрируемые по видео порнофильмы. Да и вполне respectable издания типа журнала «Иностранная литература», публикации «Любовника леди Чаттерлей» Д. Лоуренса, «Тропик Рака» Г. Миллера, восполняют пробелы в «образовании» нашего целомудренного читателя.

Но ведь и спрос на такого рода продукцию тоже не случаен. И дело не только в том, что советский человек, раньше только тем и занимавшийся, что строил счастливое будущее, теперь обратился наконец лицом к текущему дню, к «мгновению» и как бы заново открывает для себя эту чрезвычайно занимательную область — эротику и секс.

В безрадостности, убогости нашего существования эротика для многих — не роскошь, а способ поддержания необходимой теплоты, своего рода компенсация недостатка иных положительных, «согревающих» впечатлений. Отдушина. Опять же спасительная пещера, которую пытается откопать человек в себе самом и в окружающем его социокультурном пространстве.

Ведь и набоковская «Лолита», разрекламированная как высшее достижение таланта этого писателя и растрогаиваемая многими издательствами, — роман не о случайном увлечении нимфеткой, но об утраченном тепле, одно из самых трагических, самых страшных произведений новейшей литературы. И холод бытия, от которого убегают герой романа, не только сжимает вокруг него свое ледящее, парализующее кольцо, но и пронизывает все повествование.

Глубоко симптоматично, что автору с его изумительным стилистическим искусством, виртуозно владеющему словом, тем не менее не удается «продышать» эту оледенелость вокруг героя и внутри него. Спасаясь от холода жизни, герой посвящает на детство, на ребенка. Чем меньше жизни и тепла в самом Гумберте, чем ближе к нему небытие, тем более притягательны для него чистота и самодостаточность, «теплокровность» его возлюбленной. Но холод в итоге все равно оказывается непреодолим.

В «Лазе» В. Маканина пещера, открытая героем, оказывается разрушенной. Также и «безлюбая любовь», как называл секс В. Семин, не только не способна укрыть человека, но даже и согреть его по-настоящему. Напротив, на смену кажущемуся теплу приходит еще более острое ощущение холода и опустошенности. Отказ от души, от духа в пользу биологии, пусть даже и продиктованный инстинктивным самоохранным желанием спрятаться, чреват разрушением, деградацией — как самого человека, так и культуры.

3

Кажется, Владимир Максимов сказал в интервью, что Москва кажется ему после долгих лет отсутствия покрытой серым налетом, словно пеплом присыпанной. И действительно, с осенним безлистием обнажаются нищета и убогость нашего хозяйства: выщербленные, кое-где неопрятно залатанные наспех положенным асфальтом мостовые, груды мусора вокруг мусорных контейнеров и возле магазинов, хрупающие под ногами бесчисленные осколки бутылок, пропахшие мочой подъезды, разбитые или вывернутые лампочки, жженые черные разводы на побеленных потолках, изрезанные перила и исчерканные стенки лифтов, грязные пустые прилавки или не менее грязные базарчики, стихийно возникшие возле станций метро...

Нет, это не разруха. Никто не нападал, не громил, не разрушал. Это просто вопиющая, жалкая, отвратительная неряшливость, нечистоплотность и... безвкусица. Хаос и энтропия. Чему здесь нет места, так это красоте, форме, даже мало-мальской опрятности. Да что там красота! Хотя бы порядок, самый элементарный, чтобы не оскорбляло глаз, не травмировало эстетическое чувство и душу. Хотя бы лад, ладность, благообразие, не совсем же чуждые сердцу россиянина.

Впрочем, чистоплотность, аккуратность и пунктуальность издревле в России служили предметом насмешек: неметчина! Или недоумения: как это им удается и зачем? Для русской души в таком образцовом порядке всегда таился оттенок мертвизны, суженности жизни, неприятного холода, тогда как беспорядок — нечто более теплое, живое, своего рода природненность изначальному хаосу.

Однако не все тут просто. У того же Ф. М. Достоевского можно найти на этот счет самые парадоксальные и весьма любопытные высказывания, которые он, сам необычайно чуткий как к красоте, так и беспорядку, вкладывал в уста своих героев. К примеру, один из персонажей романа «Подросток» считает, что «желание беспорядка — и даже чаще всего — происходит, может быть, от затаенной жажды порядка и благообразия». А герой романа «Игрок» констатирует:

«Русские слишком богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму».

Действительно, есть над чем серьезно призадуматься. Может, и вправду не дают утвердиться на российской многострадальной земле порядку и вкусу богатство, широта и многосторонняя одаренность русской природы? Или молодость нации, как утверждает Л. Гумилев? Или еще что-то?

«Красивые формы» Достоевский считал принадлежностью западного человека и западного мира по преимуществу. Но, по его мнению, при всей их органичности они не являются заслугой самого человека, его личным достижением, которое, собственно, и делает человека личностью. Они дарованы ему историей.

«Национальная форма француза, то есть парижанина, — рассуждает герой «Игрока», — стала складываться в изящную форму, когда мы были еще медведями. Революция наследовала дворянству. Теперь самый пошлейший французшишка может иметь манеры, приемы, выражения и даже мысли вполне изящной формы, не участвуя в этой форме ни своею инициативой, ни душою, ни сердцем; все это им досталось по наследству. Сами собою они могут быть пуще пустейшего и подлее подлейшего».

Был, однако, и в России для Достоевского тип «культурных русских людей», русское родовое дворянство, в котором был «возможен хоть вид красивого порядка и красивого впечатления». Но ведь и в нем, по его же, Достоевского, красноречивейшему свидетельству, уже тогда происходили упадок и разложение «красивых форм».

Достоевский уповал, что красота спасет мир, и хорошо понятно, почему его так мучила эта проблема, остающаяся актуальной и сегодня. Западный мир наследовал дворянству, то есть высшему типу «культурных людей» даже в революции, сохранив тем самым свое эстетическое чувство, инстинкт культуры.

А кому, спрашивается, наследуем мы? Суть ведь не столько даже в форме, в эстетике, сколько в идее достоинства. Разве оно не унижено, не поправлено загаженными улицами и подъездами, плохо работающим транспортом, пустыми магазинными полками, бесконечными очередями и, разумеется, самым обычным, рядовым, заурядным, но тем не менее омерзительным хамством, с которым мы сталкиваемся на каждом шагу и которое находит для себя благодатную питательную почву в социальной и нравственной энтропии? Или в каком-то просто-таки роковым для нас отсутствии вкуса, проявляющемся в самых разных сферах жизни.

Трудно не согласиться с М. Туровской, которая пишет: «...Каждый раз, когда я читаю или слышу «Санкт-Петербург», то каждый же раз заново столбенею от бесшабашной китчевости современного сознания. Даже и при царе град свя-

того Петра упростился до Петербурга, сохранив аббревиатуру «СПБ» где-нибудь в выходных книжных данных. Неужто граждане, пардон, господа, то бишь судари, мечущиеся с талонами в зубах по очередям, не чувствуют грубого новодела в своем новом старинном названии? Вроде новодела в убранстве нового старого Арбата, по сравнению с которым «вставная челюсть» Москвы, уже относительно не новый Новый Арбат, выглядит почти достопочтенно?»

Это лишь один из примеров, за которыми стоят сотни прогрессивных переименований, произведенных в той странной и безвкусной спешке, словно только от этого зависит решение всех наших проблем. Но пример чрезвычайно красноречивый.

Нет, пожалуй, трудно списать нашу безвкусицу и неряшливость на богатство и широту натуры. Да и стоит ли, если опыт показывает, что неспособность, неумение обустроить жизнь по-человечески, цивилизованно, не говоря уже о культуре, не просто ставят богатство под сомнение, но и совершенно очевидно ведут к деградации. Так же, как беспорядок в окружающей жизни находит свое продолжение в личной жизни, в забвении элементарных правил чести, в самой обыкновенной непорядочности.

Важно и другое. Вкус связан не только с достоинством, которого нам так катастрофически не хватает, но и с все той же теплотой жизни, что рождает в нас ощущение дома.

С каким любованием написан в «Пушкинском доме» Андрея Битова дядя Диккенс, аристократ, чья цельность и благородство манер чаруют Левушку Одоевцева, героя романа. «Лева раз удостоился присутствовать при туалете дяди Диккенса — и забыть этого не мог: у зрелища была своя отточенность и ритуальная красота, хотя вот уж и фетишистом дядя Диккенс не был. Туалет его был повестью о природе вещей, и, казалось, он имел дело с самым понятным каждой вещи, а не с материальной ее формой. Когда он надевал рубашку, то он как бы понимал рубашку, повязывал галстук — это было то, как он понимает галстук». И т. д.

«У старика был вкус» — резюме очарованного Левушки и согласного с ним автора. Но что еще притрачивается за эстетическим чувством старого «зека», неведомо какими путями достигшего согласия с жизнью и, что не менее существенно, сохранившего чувство собственного достоинства не только по форме, но и по сути, — это «подлинность». Левушка ощущал во рту ее «металлический вкус».

И все, кто соприкасается с дядей Митей, не только Лева, испытывают прилив... теплоты. Дядя Диккенс с его почти мистической способностью сообщать окружающим его вещам подлинность, с его ненатурным, органическим аристократизмом — греет. Для аморфного,

растекающегося Левушки он не просто сохранившийся чудом реликт, не просто «высший тип культурного человека», но еще и — возможность человека, чья личность, само присутствие ее в жизни преобразует хаос в космос и противостоит энтропии.

Парадокс, однако, заключается в том, что «истинный аристократизм, по словам А. Битова, человек не хочет иметь, а имеет как данность». И принадлежать он может не только аристократу по происхождению, но и крестьянину, и кому угодно. Необходимо, правда, добавить, что возможно это там, где есть соответствующая среда, традиции, питательная почва для главного — достоинства. Где есть необходимая мера свободы и социальной защищенности человека, где есть условия для формирования нормального правосознания и где человек чувствует себя не «пешкой», не «винтиком» или «клавишей», а самоценной индивидуальностью.

Допускаю, что занесло нас далековато. И о каком аристократизме речь в люмпенизированном обществе? О каком вкусе? Так неужто правы были те отечественные мыслители, писавшие о национальном российском апокалипсизме как чаянии конца света и истории, которое подталкивает нас явно и неявно к саморазрушению и самоуничтожению? Да и опороженный графинчик в руках пьяньегого аристократа Диккенса (дядя Мити) — символ, если вдуматься, страшнее зеленого змия на грозных антиалкогольных совдеповских плакатах.

«Собственно, отчего мы умираем? — задается вопросом В. Розанов в «Апокалипсисе...». — Нет, в самом деле, — как выразить в одном слове, собрать в одну точку?»

Ответ его свободен от мистицизма и горек в своей трезвости: «Мы умираем от единственной и основательной причины: неуважения себя. Мы, собственно, самоубиваемся».

Признаем, слово найдено точное. Откуда и впрямь взяться достоинству, если нет уважения к себе, побуждающего хорошо делать дело, стыдиться неопрятности и безвкусицы, в чем бы они ни проявлялись.

4

«По-моему, Россия есть игра природы, не более!» — изрек глубокомысленно капитан Лебядкин в «Бесах» Достоевского. И среди многих разных голосов в нашей нынешней беллетристике нет-нет, да и промелькнет похожий голос — персонажа или даже рассказчика.

Ну хоть бы такой, к примеру: «На самом деле пресловутая загадочность русской души разгадывается очень просто: в русской душе есть все. Положим, в немецкой или какой-нибудь сербохорватской душе, при всем том, что эти души несколько не мельче нашей, а, пожалуй, кое в чем осязательнее, композицион-

ней, как компот из фруктов, овощей, пряностей и минералов, так вот при всем том, что эти души нисколько не мельче нашей, в них обязательно чего-то недостает. Например, им довлеет созидательное начало, но близко нет духа всеотрицания, или в них полным-полно экономического задора, но не прослеживается восьмая нота, которая называется «гори все синим огнем», или у них отлично обстоит дело с чувством национального достоинства, но совсем плохо с витанием в облаках». И т. д.

Пассаж этот взят из рассказа Вячеслава Пьецуха «Центрально-Ермолаевская война». Собственно, он так и начинается, сей философической экспозицией предваряя дальнейшее сюжетное, тоже весьма забавное действие. Существенно, что и многие другие рассказы В. Пьецуха пронизаны сходными интонациями, с аналогичными стилистическими ужимками и припрыжками, когда «дух всеотрицания» соседствует с «композиционным компотом из фруктов» и «довлеющим созидательным началом», если не с еще более явными «словоерсами». Вроде бы серьезная мысль излагается, но как!

Тут-то и вспоминается незабвенный капитан Лебядкин с его «бурлескным», по определению Петра Верховенского, характером. Того, между прочим, тоже тянуло воспарить мыслью в философические выси из «неблагодарной» или, что еще точнее, «угловой» прозы жизни.

«Не ответил «почему?» Ждете ответа на «почему?» — переговорил капитан подмигивая. — Это маленькое словечко «почему» разлито во всей вселенной с самого первого дня мироздания, сударыня, и вся природа ежеминутно кричит своему творцу: «Почему?» — и вот уже семь тысяч лет не получает ответа. Неужто отвечать одному капитану Лебядкину, и справедливо ли выйдет, сударыня?»

А ведь недурно, в сущности, сказано — про крик природы Творцу. Действительно — кричит, вопиет даже. Однако в исполнении подмигивающего капитана Лебядкина образ тут же обретает пародийность. В самом деле: вопрос — Творцу, а отвечать — одному Лебядкину. Разве не пародия, не бурлеск?..

Ну хорошо, с этим персонажем Достоевского, «поэтом в душе», который «желал бы называться князем де Монбаром, а между тем... только Лебядкин, от лебедя», — с ним более или менее ясно: его шутство и юродивость — от чувства собственной униженности. Своего рода реакция самозащиты. Дескать, знаю, что вы надо мной потешаетесь, не принимаете всерьез, так я и сам над собой смеюсь.

Но В. Пьецуху-то это зачем? Любопытно, что даже в его «рассуждениях о писателях», о том же Достоевском или, скажем, о Бабеле, текстах вроде бы авторских, без «лебядкинской» словесно-речевой маски, и там возникают подобные интонации и «словоерсы», как если бы капитан Лебядкин взял да и написал

о своем создателе. А что? В этом, пожалуй, есть юмор.

Или, может быть, автор настолько сжился с этой стилистической маской, что она как бы стала его собственным лицом, срослась с ним, как произошло с героем романа японского писателя Кубо Абэ «Чужое лицо»?

Впрочем, В. Пьецух — лишь один, наиболее заметный пример из современной беллетристики. Между тем и наша постмодернистская поэзия, если присмотреться к ее литературной генеалогии, тоже как будто из лебядкинской шинели вышла. Сочинил, к примеру, Лебядкин басню:

Жил на свете таракан,
Таракан от детства,
И потом попал в стакан,
Полный мухоедства...

А ему вторит Дмитрий Александрович Пригов:

Вот дождь идет. Мы с тараканом
Сидим у мокрого окна
И вдаль глядим, где из тумана
Встает желанная страна
Как некий запредельный дым...

Собственно, лебядкинское начало — пародия, бурлеск, сюжетное и стилевое юродство — лежит в основании нашей нынешней или чуть более ранней «пост-словесности», совсем недавно вышедшей из самиздатовских катакомб. Лебядкин не только маска, не просто некое эстетическое качество. Лебядкин — духовно-психологическое явление, ключ к современной культуре, если хотите.

Нельзя унизить того, кто уже унизился и продолжает самоунижаться. Над кем смеетесь — над собой смеетесь, — это как раз тот принцип, который вполне устраивает современных литературных нонконформистов, превращающих жванецко-здорновскую хохму в жизненную норму, сатиру — в онтологию. Чем высренне-трагедийно рвать на себе рубаху и кричать, тыкая себя в грудь, про извращенный советский менталитет, про антропологический сдвиг, разрушенный генофонд и прочие жуткие последствия эпохи тоталитаризма, не лучше ли — про таракана?

Тут кстати снова вспомнить В. Розанова, но уже не только в связи с его «Апокалипсисом...». Любопытный факт: кто из отечественных мыслителей серебряного века был быстрее других растиражирован самыми разными нашими издательствами на волне демократизации и гласности?

Он, Василий Васильевич Розанов.

К нему все скопом кинулись, как бы разом почувствовав: вот кто все знает! В том числе и про наше, простите, «тараканье». Вот кто нам нужен позарез и нам скажет!

Он и сказал. Но что примечательно — с теми же зачастую лебядкинскими, а то даже и карамазовскими (имеется в виду Федор Павлович), еще более юродивыми интонациями и прочими шокирующими речевыми жестами. Не этой ли, между

прочим, егзовливой, ернической словесной повадкой Розанов и в свое серебряное время многих от себя отталкивал? Как будто было в ней нечто нечистоплотное, была та самая «насекомость», за которую ненавидели своего папашу Карамазова с его «мовешками» благородные отпрыски, высоко настроенные души, озабоченные вопросом: все позволено или не все? Вопросом, который мы и сегодня никак не решим.

Известно: стиль — это человек. Но стиль — это и определенная задача, решающую которую писатель входит в культуру. Цель, которую пытается достичь. В. Розанов в своих сочинениях, особенно в «Уединенном» и «Опавших листьях», касался столь неожиданных, непривычных для тогдашнего (да и теперешнего, пожалуй, не в меньшей степени) сознания тем и предметов, о стольком высказывался более чем вызывающе, что без подобной юрдивой маски ему бы не справиться.

Под прикрытием юродства В. Розанов вторгался в запретные области, нарушая социальные и эстетические табу, или даже в пределах установленной конвенции выгораживая площадку, где позволял себе порезвиться, дразня правых и левых, красных, белых и черных... Даже у вполне, казалось бы, благопристойных тем умел находить такие повороты, которые воспринимались, и не без основания, как откровенное глумление и кощунство.

Не случайно, что именно он, В. Розанов, — один из главных духовных отцов отечественного постмодерна, любимейший автор обоих Ерофеевых, один из которых — Виктор — пишет предисловие к тому его сочинению, а другой — Венедикт — замечательный рассказ-эссе «Василий Розанов глазами эксцентрика», где можно прочесть такую очень емкую и выразительную характеристику:

«Баламут с тончайшим сердцем, ипохондрик, мизантроп, грубиян, весь сотворенный из нервов, без примесей, он заводил пасквильности, чуть речь заходила о том, перед чем мы привыкли благоговеть, — и раздавал панегирики всем, над кем мы глумимся, — и все это с идеальной систематичностью мышления и полным отсутствием системы в изложении, с озлобленной сосредоточенностью, с нежностью, настоящей на черной желчи, и с «метафизическим цинизмом».

Последнее здесь особенно точно и важно — «**м е т а ф и з и ч е с к и й ц и н и з м**».

Балансируя на грани благочестия и кощунства, глубокий истолкователь религиозности в широком смысле, а не только христианства или иудаизма, Розанов действительно часто оказывался без Бога и в эти самые тоскливые свои минуты юродством словно бросал вызов именно Ему. Да ведь и Федор Павлович Карамазов, всячески подчеркивая собственную «насекомость», юродством своим дразнил и искушал не столько, может быть,

даже сыновей — Дмитрия, Ивана и Алешу, сколько — Бога. Он Его как бы провоцировал низостью на некий ответ, на возмездие, если угодно. «**М е т а ф и з и ч е с к и м ц и н и з м о м**» взывал к Нему.

Классика, понятно, и есть классика: в ней даже таракан вопиет к Творцу и себя Им мерит. Здесь аршин другой: отрицая и кощунствуя, все равно вопросительно поглядывают на небеса, тревожащие своей пустотой, — не расколятся ли от гневного громового раската и последней вспышки молнии.

И в «Апокалипсисе...» Розанов ставит главный диагноз революции и связанным с ней бедствиям, вскрывая их метафизический характер: «Нет сомнения, что глубокий фундамент всего теперь происходящего заключается в том, что в европейском (всем, — и в том числе русском) человечестве образовались колоссальные пустоты от былого христианства; и в эти пустоты проваливается все: троны, классы, сословия, труд, богатства. Все погрясены. Все гибнут, все гибнет. Но все это проваливается в пустоту души, которая лишилась древнего содержания».

Но если вместе с золотым и наследовавшим ему серебряным веком уходит в прошлое метафизика, то цинизм и юродство, также укорененные в российской культурной традиции, остаются. И таракан, который, будем объективны, не в эпоху тоталитаризма рожден, хотя и был ею в таракан и ще выкормлен, тоже.

То, что человек в нашем многострадальном отечестве унижен и обкраден, — это, бесспорно, трагедия. Не метафизическая, а вполне реальная. Но ведь и цинизм бывает, по тонкому замечанию все того же Розанова, от страдания. Реального или метафизического.

5

«Он предвкушал близкое будущее и работал с сердцебиением счастья, к себе же самому, как рожденному при капитализме, был равнодушен», — сказано в романе А. Платонова «Счастливая Москва» об одном из персонажей.

С таким же предвкушением живут многие персонажи этого писателя, отражая реальное умонастроение людей того бурного времени. Религия счастливого и справедливого будущего заменяет и вытесняет всякую другую религию, хотя в глубине своей чаяние скорого осуществления коммунистической утопии сродни все тому же апокалипсизму как свершившемуся «концу истории».

Главное, что многие верили в утопию, горели энтузиазмом воплотить идею в жизнь и готовы были временно терпеть лишения, приближая вождевленное будущее с его уже вечным царством равенства, братства и справедливости.

Сегодня идея скомпрометирована, отнята, а будущее смутно и уже не манит миражом «хрустального дворца». Его как бы нет вовсе. Вполне допустимо, что человек, подобно персонажу А. Платоно-

ва, может быть равнодушен к себе самому как рожденному при социализме, но трудно представить, что он будет «работать с сердцебиением счастья» в предвкушении близкого капитализма. Как бы ни была сильна реакция на открывшиеся мерзость и гнусность существовавшей системы, простая замена знаков на противоположные тоже вряд ли возможна.

А ведь знаменитое «не хлебом единым...» не пустые слова, но глубочайшее проникновение в человеческую природу. Может ли человек жить без идеала, без идеи, возвышающей его над заскорузлой повседневностью, над бесконечной и однообразной житейской суетой, без некоего освещающего его путь маяка, без некоего обещания?

Н. Н. Страхов убежденно писал в прошлом веке: «Люди никогда не жили и никогда не будут жить иначе, как под властью идей, под их руководством. Какое бы ничтожное по содержанию общество мы ни вообразили, заправлять его жизнью всегда будут некоторые понятия, может быть, извращенные и смутные, но все-таки не могущие утратить своей идеальной природы».

Если это так, то что заменит человеку утраченное?

Не потому ли на место будущего заступает у нас прошлое, которое подобно набирающей скорость лавине? Возвращение отторгнутого культурного наследия, переименования, запоздалая идеализация и канонизация исторических деятелей прошлого и т. д. Правда, нередко все это тяготеет к преимущественно внешним проявлениям, в частности, и такой важнейший процесс, как возрождение церковности, оборачиваясь в конечном счете очередной стилизацией. Но и модой это не назовешь, — потребность здесь истинная, глубинная. Вот только вера, к сожалению, не дается по первому желанию. А рядом с традиционным православием оживают различные виды оккультизма, восточная мистика и разное прочее — все, что способно заполнить тот смысловой и экзистенциальный вакуум, который образовался на руинах прежней идеологии светлого будущего.

То, что мы наблюдаем сегодня, — судороги восстановления утраченного смысла, которым становится даже само отрицание и разрушение существовавшей тоталитарной системы; поиск, нередко бессознательный, некоего заместителя. Идея отнята, но идеология воспроизводит себя на самых разных уровнях и в самых разных понятиях, в смене одних клише другими, со сходной или прямо противоположной направленностью. Поиск виновных, жажда расправы, поношение и возвеличение, новые жертвы и новые герои — все словно снято с одной и той же матрицы, но — воодушевляет и наполняет энергией.

Дальнее снова становится дорожке

ближнего. Мы ведь не привыкли жить настоящим, радоваться ему, ценить обыденное как высший дар и соответствующим образом обиходить его, лелеять и пестовать, неся в него дух и красоту. Идея ответственности за близлежащее, заботливой любви к окружающему кажется нам слишком мелкой и как-то плохо прививается на нашей почве.

Справедливо писал П. Флоренский: «Уметь видеть и ценить глубину того, что окружает тебя, находить высшее в «здесь» и «теперь» и не врать искать его непременно в том, чего нет или что далеко. Страсть тем-то и вредна, что во имя того, чего нет, человек проходит мимо того, что есть и что, по существу, гораздо более ценно. Она ослепляет. Уставившись в точку, человек лезет на нее, не замечая красоты ближайшего. «Хочу того-то» и потому пренебрегаю всем остальным. А через некоторое время, когда этого уже нет, «хочу» этого и не пользуюсь тем, чего хотел раньше и что уже достигнуто».

Эти строки взяты из письма П. Флоренского из концлагеря на Соловках. Он почти не касается условий, в которых находится, а если и касается, то явно украшает их, чтобы успокоить близких. Зато его письма полны живых наблюдений над окружающим природным миром, многообразными сведениями, которыми он, энциклопедически образованный и многоотрасленно одаренный человек, делится со своими детьми.

Но это вовсе не значит, что он закрывает глаза на реальное, жестокое зло, опутавшее страну. Однако, по его мысли, это зло не должно было заслонить широты и глубины бытия, красоты мира, блага жизни. Не должно было взять верх в самом человеке, подталкивая к тому «кошмар истории». Флоренский напоминал о том, что могло и должно было поддержать душу, просветить и обустроить ее. Но он имел в виду и другое — необходимость устройства окружающей жизни, которой часто пренебрегают в чаянии «того, чего нет».

Трудно пока сказать с определенностью, созрели ли мы для этой идеи и какие вообще уроки извлечены из нашей немилосердной истории, из нашего почти уникального опыта. Смысл жизни и систему ценностей не установить декретом, сколь бы мудрым он ни был. Они должны естественным образом произрасти из постепенно преобразующегося миропонимания. От этого зависит не только настоящее, но и прошлое, и будущее.

Вернемся напоследок снова к В. Розанову. В финале «Апокалипсиса...» мыслитель завещает юношеству: «И помни: жизнь есть дом. А дом должен быть тепел, удобен и кругл».

Будет ли наш дом таким?

Три революции

Передо мной три книги о трех самых крупных революциях мировой истории: американской конца XVIII века, Войне за независимость (Т. Джефферсон. Автобиография. Заметки о штате Виргиния. Л., «Наука», 1990), французской 1789—1794 гг. (Т. Карлейль. Французская революция. История. М., «Мысль», 1991), русской — период от Февраля по Октябрь включительно (Н. Суханов. Записки о революции. Тт. 1, 2, 3. М., Политиздат, 1991). Первая написана лидером революции, третья — свидетелем и непосредственным участником, вторая — историком и философом, обладавшим замечательным литературным даром. Каждая книга заслуживает, безусловно, отдельного и обстоятельного разговора. Но, прочитанные параллельно, они дают возможность увидеть общие силовые линии явлений, общую логику процессов и их критические точки.

Особый интерес эти книги вызывают еще и потому, что мы, как говорят, тоже совершаем революционную ломку — переходим от странного социализма к обычновенному, нормальному капитализму. И, значит, можем чему-то научиться на примерах прошлого. Правда, Гегель как-то сказал, что история учит тому, что ее уроки никогда еще не шли впрок.

Эта мысль приходит в голову, когда читаешь «Автобиографию» Томаса Джефферсона — крупного мыслителя, идеолога демократии, автора знаменитой «Декларации независимости» (ее текст полностью приведен в «Автобиографии»), первого варианта всех последующих «Деклараций прав человека». Джефферсон исповедует идеи, способные, кажется, вызвать лишь скуку у наших современников. Например, он, как просветитель, искренне видит в социальном неравенстве и власти собственников безусловное зло. Резко и опять-таки в традициях ныне устарелого просветительства критикует официальную религию, поскольку она «поистине была религией богатых». Этот третий в истории США президент действительно немало усилий направил на то, чтобы ограничить власть богатых, поставить их под контроль всего народа. Наверное, не случайно оседает на полках книжных магазинов первое в нашей стране издание главных трудов «отца американской де-

мократии». Кто сегодня будет читать революционера, да к тому же еще и демократа, когда у всех на устах тэтчеризм и рейганомика?

Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что американская революция заложила основы современного так называемого «цивилизованного общества». Нельзя отрицать, что своей революцией Америка гордится до сих пор и памятники ее лидерам не сброшены с пьедесталов. Да и наши свободолюбивые современники традиционно и с явным пиететом снимают шляпу перед «Декларацией прав человека». Может быть, потому, что они ее не читали или не вдумались в ее текст?

Помню, с каким восторгом мои знакомые цитировали Джефферсоновские слова: каждый человек имеет право «на стремление к счастью». Они, наверное, не знали, что автор «Декларации» взял за основу формулу Локка «жизнь, свобода и собственность», но заменил в ней «собственность» на «стремление к счастью». Джефферсон — представьте себе — еще не отождествлял неимущего с люмпеном. И в желании бедных освободиться от «множества злоупотреблений и притеснений» он видел законное право человека. А если богатые и знать не хотят идти на компромисс, то святое право народа — «сбросить с себя прищипывающих его наездников». Да, так и сформулировано в «Декларации»: «право и долг народа свергнуть такое правительство».

Настораживает не только общая формулировка этого революционного принципа, но и практическое его осуществление, не останавливающееся перед насильственными средствами: даже девятилетняя борьба с Англией не положила тогда конца революционным войнам в Америке. Джефферсон как радикальный поборник равноправия негров, враг рынка, «где человека можно купить и продать», завещал XIX веку одну из самых ожесточенных и кровопролитных гражданских войн в истории человечества, войну Северных и Южных штатов.

И все-таки Америке повезло больше, чем, например, Франции, не говоря уже о России. «Самой удачной, самой законной» назвал Гизо американскую революцию — в отличие от французской. Джеф-

ферсон был живым свидетелем трагических событий в объёме пожара народного восстания Франции — он рассказывает о них в своей «Автобиографии», предостерегая народы и политиков от повторения чего-либо подобного в будущем. Непримириемость, неспособность к компромиссу борющихся социальных сил привела к хаосу, а он, в свою очередь, позволил, пишет американский демократ, захватить власть «военному авантюристу». Наполеон, попирая права человека, повел страну дорогой «чудовищных преступлений», которые «деморализовали все народы мира и уничтожили — и уничтожат еще в будущем — миллионы и миллионы их жизней». Гораздо лучше было бы для Франции, завершись конфликт миром, стать конституционной монархией.

Не склоняется ли автор «Декларации», когда говорит о Французской революции, к более современным и либеральным идеям? Ведь слова, сказанные представителями русской либеральной буржуазии в 1917 году, кажутся прямым и непосредственным развитием джефферсоновской идеи социального компромисса: «Мы шли к власти не путем революции. Этот путь мы отвергали, этот путь был не наш...»

Автор «Записок о революции» Н. Суханов прокомментировал приведенные выше строки заявления «Прогрессивного блока» российской буржуазии более чем язвительно. В них, пишет Суханов, «отразился весь наш отечественный либерализм с его лисьим хвостом и волчьими зубами, с его трусостью, дряблостью и реакционностью». Фраза эта полна такого уничтожающего презрения, что кажется написанной не Сухановым, ведущим публицистом горьковской «Новой жизни», а самим Лениным. Не проявление ли это той нетерпимости, которой так боялся Джефферсон и которая приводит к непоправимым и ужасным последствиям?

Богатый, влиятельный, пресыщенный земными благами либерал — вспомните, например, генерала из «Скверного анекдота» Достоевского — любит поговорить о гуманности, о сострадании. Он даже готов к благотворительности и демократическим жестам. Но когда низы заявляют о своем праве на человеческую жизнь, на счастье, когда с ними действительно нужно поделить свои привилегии, тут уже либерал не может сдерживать своего раздражения, перерастающего в негодование. Люмпены, отродье, что они могут? Дали люмпену волю, вот он и совершил немислимое злодеяние, именуемое Французской революцией. Так или примерно так рассуждала русская либеральная буржуазия накануне Февраля.

Вот здесь-то и возникает незаметное на первый взгляд расхождение, маленькая трещина между либеральной буржуазией, с одной стороны, и Джефферсоном, Карлейлем, Сухановым — с другой. Тре-

щина, расширяющаяся в реальной социальной практике до пропасти.

Иной либеральный судья, к примеру, много и красноречиво рассуждает о необходимости правового государства, умалчивая, разумеется, о своей собственной практике. Тогда как Джефферсон с толстовской резкостью и прямоотой говорит «про продажность судей и их благоволение к богатым». Он заостряет вопрос, а не сглаживает его: или власть имущие действительно пойдут на компромисс с низами, действительно уравниются с ними, добровольно отказываясь от своих несправедливых привилегий, или либеральные фразы, как в предреволюционной Франции, произносятся на деле только для того, чтобы скрыть «чудовищные злоупотребления властью, стирание здесь людей в порошок».

Необходимость реформы стала очевидной для королевской власти во Франции к концу XVIII века. Что касается низов, то «среди угнетенных распространилось общее чувство, — пишет Карлейль, — что было бы лучше жить в Турции». Или вообще не жить. И вот влиятельный при дворе реформатор задумывает «осуществить во Франции революцию мирным путем», встречая вначале поддержку короля; но затем следует отставка и опала реформатора. Почему? Да просто потому, что Тюрго помышлял не о новом способе обмана народа, а о настоящем компромиссе между низами и верхами. Такой компромисс, в частности, означал, «что духовенство, дворянство и даже члены парламента будут платить налоги, как и все остальные простые люди!». И будут отменены или урезаны многие другие привилегии. В том числе — привилегии богатой буржуазии, обеспечившей себе под крылом королевской бюрократии и продажного судейства монопольное положение на рынке.

В Америке такие люди, как Джефферсон, Вашингтон, Линкольн, имели в отличие от французских реформаторов реальную власть потому, что за ними стоял поднятый революцией, достаточно организованный народ, а не развращенная либералами толпа, жаждущая нового Цезаря. И Джефферсон знал: условие успеха политики реального компромисса — это приручение народа к функциям самоуправления. Только с помощью народа, реально участвующего в управлении государством, можно умерить аппетиты буржуазии, поставить под контроль богатых собственников. Ведь именно бесконтрольная власть собственников в некоторых колониях, власть, опирающаяся не на закон, а на негласные связи, как подчеркивает Джефферсон, являлась одной из причин экономической отсталости этих колоний. И Америка, повинувшись воле народа и своих демократических лидеров, пошла семимильными шагами по пути цивилизации.

А во Франции господствующие сословия не прислушались — и не хотели, не

могли прислушаться — к предупреждению Мирабо-старшего: «Правительство, которое играет в жмурки и, спотыкаясь, заходит слишком далеко, кончит всеобщим переворотом». Но правительство пыталось облапошить темный народ и тем самым развращало его, вместо того чтобы просвещать. Просвещать не только светом знания, но прежде всего избавляя от «множества злоупотреблений и притеснений», от тиранической власти лицемерного судьи, безмерно разжиревшего, «праздного и аморального» (Джефферсон) духовенства, безжалостного ростовщика. И страна погружалась неудержимо, с фантастической скоростью в смуту, безвластие, безвременье...

Чего можно еще ждать от власти, обещававшей компромисс между сословиями, но на деле пекущейся об интересах только знатных, только богатых — унижая и развращая низы? Тираны всех времен и их умные, циничные советники убеждены в том, что так называемый народ — это миф. Ведь умный человек исходит только из данного, из опыта. А опыт реального политика учит, что было подвластно либо кнуту, либо прянику. Так думала и русская либеральная буржуазия, которая неплохо устроилась под крылом черносотенной бюрократии, жандармерии, церкви — хотя и возмущалась злоупотреблениями властей. Однако политика кнута и пряника, политика развращения народа, провоцирования погромов (уж лучше управляемый бунт, чем революция!) имела неожиданный результат. В России, как и во Франции XVIII века, вместо локальных, служащих целям провокаторов бунтов явилась революция. Ставка на люмпенизацию народа провалилась. Вчерашняя темная толпа вдруг, как бы по волшебству, превратилась в народ. Объединенный общим порывом самопожертвования ради спасения других, всей страны. Уже в первые дни февраля Петроград пишет Суханов. «проявлял чудеса самодеятельности», низы возвращали городу жизнь и порядок, тогда как охранники, полицейские, жандармы, дворники провоцировали «свалку и анархию».

Рассказанное Сухановым о первых днях Февраля — чудо, а в чудеса современный человек, даже если он заигрывает с религией, не верит. Может быть, по этой причине Солженицын, конечно, знакомый с «Записками» Суханова, поверил не ему, а тем, кто видел русскую революцию глазами жандармов и охранников?

Томас Карлейль рассказывает о событиях Французской революции как о сошествии на землю Святого Духа, и его слог приобретает почти библейскую возвышенность. «Не бойтесь санкюлотизма, псаймите, — убеждает Карлейль, — что на самом деле он зловещий, неизбежный конец и чудесное начало многого. И еще одно необходимо осознать: он также исходит от Бога — разве не встречался он и прежде? Исстари, как сказано в Писа-

нии, идут пути его в великую глубину вещей; и ныне, как и в начале мира, страшно и чудесно слышится глас Его в столпе облачном...»

Историософская концепция Французской революции как самопорождения мирового разума, идущего своим непредсказуемым путем, оказала огромное влияние на общественное сознание. Рассказывают, что Чарльз Диккенс носил с собой повсюду книгу Карлейля вместо Библии, а Дж. Ст. Милль назвал ее гениальным художественным произведением. При этом Карлейль не скрывал ни ужасов так называемых «сентябрьских убийств» аристократии во Франции, ни других чудовищных эксцессов загнанного в угол, обманутого и обезумевшего народа. Такова расплата «аристократии богатства» за превращение подобных себе в жалких бессловесных тварей, расплата за подлое отождествление санкюлота (неимущих, живущих, однако, своим трудом и кормящих привилегированные сословия) — с люмпенством. Что же вы жалуетесь теперь и проклинаете, пожиная плоды своих усилий — проступающие на челе народной революции мрачные черты люмпенского бунта?

Если во Франции моральную ответственность за кровавую междоусобицу несет аристократия, «нетерпимая ко всему, что противоречит ее воле, стремящаяся к наслаждениям» (слова Джефферсона о королеве), то несколько иначе обстояло дело в России. Моральную ответственность за гражданскую войну вместе с царским двором, дворянством и буржуазией несет, по мнению Суханова, и русская демократия. Которая, увы, пошла по стопам не демократа Джефферсона, а тех советников французского короля, что привели Францию к санкюлотскому пожару.

Руководство Советов рассуждало примерно так: если у нас революция буржуазная, то и действовать нужно в интересах буржуазии. Забывая главный урок буржуазно-демократических революций прошлого: привилегированная буржуазия, плутократия — на стороне реакции. Заключив негласный союз с плутократией, пришлось так или иначе служить ей и перенимать у нее свойственные для олигархических, а не демократических режимов приемы и правила политической борьбы. Получив в свое распоряжение «доверие и поддержку бессловесных масс», руководство Советов в лице умного и порядочного Чернова, благородного Церетели, упрямого и решительного Дана «узурпировало», по словам Суханова, власть и посредством «закулисной механики» ликвидировало оппозицию, то есть тех, кто мешал бесконтрольной власти плутократии. И приходилось только удивляться, продолжает Суханов, «как быстро, грубо, беспардонно пошла по этому пути группа наших советских лидеров».

П. Миллюков не брезговал ни обманом, ни обыкновенным подлогом, когда нужно

было организовать угодное ему «общественное мнение». Желания этого «реформатора» угадывались с полуслова. «Тут для самых «люяльных» и «демократических» газетчиков, — саркастически замечает Суханов, — непременно желавших соблести весь декорум, сохранить весь показной пиетет демократии, — тут для них была открыта полнейшая свобода языка. И Лениным занялись без удержу, без отдыха, без стыда».

Идеологическая кампания против большевизма завершилась полным успехом. Большого и желать было нельзя. Инвалиды войны шли по улицам Петрограда с лозунгами «Долой Ленина!», матросы балтийского флота, Московский солдатский Совет, рабочие на питерских заводах требовали: «Ленина — назад, в Германию!». Но победа нашей демократии оказалась пирровой. В 1924 году Виктор Чернов, уже в эмиграции, сравнил Ленина с «ванькой-встанькой» — уже, казалось, полностью разгромленный и поверженный в прах лидер большевиков неожиданно для всех возродился из небытия, набравшись новых сил.

Причина тому — не только личные качества этой «монументальной величины революции» (Суханов). Увы, демократия, доказывает на многих страницах своего повествования автор «Заметок», способствовала своим неразумием и блоком с плутократией конечному успеху Ленина. Руководство не заметило, что разгром левого фланга средствами клеветы и шельмования поднял со дна общества самые темные силы и инстинкты, принес большой, «даже слишком большой успех черносотенной компании». Но тогда и не жалуйтесь, если в одночасье обнаружите вместо Керенского генерала Корнилова или еще какого-нибудь генерала, который идет во главе черносотенного офицерства с приказом «пленных не брать!».

Вместе с буржуазией, не желавшей ничего, кроме максимальной прибыли, руководство Советов трудилось над созданием плотины, преграждающей дорогу мощному напору масс. Тщетные усилия! Когда плотина была прорвана, народ, разочарованный в демократии и демократах, обратился к крайним партиям.

Ленин в изображении Суханова, безусловно, ужасен — и привлекателен. Вообще автор «Заметок» нарисовал любопытные портреты деятелей революции — от Миллюкова и Керенского до Каменева и Зиновьева. Сцена встречи Ленина на Финляндском вокзале, Октябрьский переворот, как и многие другие эпизоды и события революции, изображены талантливym литературным пером. С Лениным в атмосферу русской советской демократии, занятой закулисными сделками и интригами, ворвался новый и ослепительный свет. «Мне не забыть этой громоподобной речи, потрясшей и изумившей не одного меня... Я утверждаю, что никто не ожидал ничего подобного. Казалось, из всех логовиц поднялись все

стихии и дух всеразрушения, не ведая ни преград, ни сомнений, ни людских трудностей, ни людских расчетов, носился по зале Кшесинской».

Это была стихия санкюлотской революции, «это был подход к социализму со стороны деревни». Такая революция напугала Суханова, он отвернулся от нее, ошеломленный жестокостью и беспощадностью гражданской войны. Кстати, в изображении Солженицына Суханов (он один из персонажей «Красного колеса») предстает человеком рассудка, который стремится, говоря словами Карлейля, подчинить действительность «мертво-логической формуле».

Но мне кажется, что главная идея Суханова — создание единого демократического фронта, твердой рукой проводящего реформы в интересах трудящегося большинства, а не плутократии, — верна. Другой вопрос: стоило ли держаться этой формулы, когда демократия уже разложилась и развалилась, когда приходилось выбирать между черносотенной реакцией, с одной стороны, и санкюлотским пожаром — с другой?

Спору нет, такой выбор трагичен, он заставляет даже сильных духом содрогнуться и отступить. Революция «пофранцузски» внушала ужас даже таким олимпийцам, спокойно взирающим на ход мировой истории, как Гете и Гегель. Но не будем все же спешить с окончательным приговором, принимая во внимание слова очень умеренного и либерального историка Гизо, сказанные о революции 1789 года: бывают события, которые «так непостижимы, так сложны, что... остаются неразгаданными в глубине таких бездн, где готовятся удары, решающие судьбы народов».

А что же в нашем современном мире, начиненном водородными бомбами, раскаленным ядро земли уже остыло и нам не грозят землетрясения? Урок истории, который дают авторы трех книг, по-моему, таков: в революционные эпохи циничный ум политиков и привилегированных сословий, с успехом дурачивших доверчивый народ, посрамлял себя. В топку, где уже «возгорался санкюлотизм» (Карлейль), подбрасывали дрова его будущие жертвы.

Основу для подлинного согласия можно искать, опираясь на коренной принцип Джефферсона, который он сформулировал так — «создание благоприятных условий не для аристократии богатства, приносящей обществу больше вреда и опасности, чем пользы, а для аристократии добродетели и таланта». Эти слова могут показаться утопической фразой или дежурным лозунгом. Но для Джефферсона они стали программой реальной политики, сплотившей граждан. А всему человечеству идеи и практика американских демократов, «подхваченные», по выражению третьего президента США, революционной Францией, подарили новый мировой принцип — «Декларацию прав человека».

«ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

открыто для вас!

Впервые в России — газета для тех, кто ищет пути реализации своего «я»; газета, цель которой — гуманитарное просвещение личности.

Говоря доступно и просто о сложном, мы снимаем психологические барьеры на пути познания.

Мы стремимся к тому, чтобы газета работала на вашу перспективу, компетентно и конкретно помогая разобраться в себе и в окружающем мире.

Всегда на наших страницах самое интересное из областей традиционного и нетрадиционного образования, психологии, этнографии, экологии, философии, права, а также обзоры кино-, теле- и книжных новинок.

Вы станете обладателем закрытой информации о широко не тиражируемых знаниях, в том числе из богатейшей мировой практики индивидуального и коллективного выживания.

Для удобства подписчиков большинство материалов снабжены библиографией, ссылками, необходимыми адресами и телефонами.

Мы за то, чтобы человек, задумавшись о своем бытии, искал пути выживания не в высоких энергиях политических страстей или на тропе войны, а в преодолении собственных слабостей, грехов и незнания.

Издатель газеты «Открытое образование» — Российский открытый университет. Наш индекс 32071 в первом приложении к подписному каталогу Роспечати.

Цена: на месяц — 22 рубля,

на 3 месяца — 66 рублей,

на 6 месяцев — 132 рубля.

Адрес редакции: 101000, Москва, ул. Маросейка, д. 11/4.

Телефон: (095) 921-18-95.


Новости

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГИ!

Издательство «Новости» в 1993—1994 годах выпустит библиотечку из 18 книг под общим названием «ШЕДЕВРЫ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ».

В нее включены произведения русских писателей и поэтов XIX—XX вв. [до 1917 г.]

1. А. БЛОК. Стихотворения и поэмы.
2. И. БУНИН. Рассказы (1901—1916).
3. Н. ГОГОЛЬ. Вечера на хуторе близ Диканьки, Ревизор, Петербургские повести (Невский проспект, Записки сумасшедшего, Нос, Шинель, Портрет). Тарас Бульба.
4. И. ГОНЧАРОВ. Обломов.
5. Ф. ДОСТОЕВСКИЙ. Идиот.
6. В. КОРОЛЕНКО. Рассказы и повести.
7. И. КРЫЛОВ. Повести и сатиры (Каиб, Похвальная речь в память моему дедушке, Подщипа). Басни.
8. А. КУПРИН. Яма. Поединок. Рассказы.
9. М. ЛЕРМОНТОВ. Поэмы (Мцыри, Демон), Герой нашего времени. Маскарад.
10. Н. ЛЕСКОВ. Рассказы и повести. Романы (Некуда, На ножах).
11. Н. НЕКРАСОВ. Поэмы (Мороз, Красный Нос, Княгиня Волконская, Княгиня Трубецкая, Кому на Руси жить хорошо).
12. А. ПУШКИН. Поэмы (Полтава, Медный всадник). Евгений Онегин. Маленькие трагедии (Моцарт и Сальери, Скупой рыцарь, Каменный гость, Пир во время чумы). Повести Белкина (Выстрел, Метель, Гробовщик, Станционный смотритель, Барышня-крестьянка). Борис Годунов.
13. М. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. Пошехонская старина. История одного города. Господа Головлевы.
14. А. ТОЛСТОЙ. Князь Серебряный. Драмы (Смерть Иоанна Грозного, Царь Федор Иоаннович, Царь Борис).
15. Л. ТОЛСТОЙ. Анна Каренина.
16. И. ТУРГЕНЕВ. Дворянское гнездо. Ася. Дым. Ночь. Вешние воды.
17. Ф. ТЮТЧЕВ. А. ФЕТ. Стихотворения.
18. А. ЧЕХОВ. Повести и рассказы.

ИЗДАНИЕ ПОДПИСНОЕ

Объем каждой книги — 500—700 стр., в твердой обложке, в серийном оформлении.

Ориентировочная цена 95 руб.

Подписку принимают книжные магазины, распространяющие подписные издания.